

А. С. ГРИН

А. С. ГРИН



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»  
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КЛАССИКА



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ШЕСТИ ТОМАХ

ТОМ 5

МОСКВА  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»  
1980

Издание выходит  
под общей редакцией  
Вл. Россельса

Составление  
В. Ковского, Вл. Россельса,  
Е. Прохорова,

Иллюстрации художника  
С. Бродского

© Издательство «Правда», 1980  
(Составление. Примечания. Иллюстрации 6, 7, 8.)



# БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ

## Роман

Это Дезирада...  
О Дезирада, как мало мы обрадовались тебе, когда из моря выросли твои склоны, поросшие манцениловыми лесами.

Л. Шадурн

### ГЛАВА I

Мне рассказали, что я очутился в Лиссе благодаря одному из тех резких заболеваний, какие наступают внезапно. Это произошло в пути. Я был снят с поезда при беспамятстве, высокой температуре и помещен в госпиталь.

Когда опасность прошла, доктор Филатр, дружески развлекавший меня все последнее время перед тем, как я покинул палату,— позаботился принскать мне квартиру и даже нашел женщину для услуг. Я был очень признателен ему, тем более, что окна этой квартиры выходили на море.

Однажды Филатр сказал:

— Дорогой Гарвей, мне кажется, что я невольно удерживаю вас в нашем городе. Вы могли бы уехать, когда поправитесь, без всякого стеснения из-за того, что я нанял для вас квартиру. Все же, перед тем как путешествовать дальше, вам необходим некоторый уют,— остановка внутри себя.

Он явно намекал, и я вспомнил мои разговоры с ним о власти Несбывшегося. Эта власть несколько ослабела благодаря острой болезни, но я все еще слышал иногда, в душе, ее стальное движение, не обещающее исчезнуть.

Переезжая из города в город, из страны в страну, я повиновался силе более повелительной, чем страсть или мания.

Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, Несбывшееся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. Тогда, очнувшись среди своего мира, тягостно спохватываясь и дорожа каждым днем, всматриваемся мы в жизнь, всем существом стараясь разглядеть, не начинается ли сбываться Несбывшееся? Не ясен ли его образ? Не нужно ли теперь только протянуть руку, чтобы схватить и удержать его слабо мелькающие черты?

Между тем время проходит, и мы плывем мимо высоких, туманных берегов Несбывшегося, толкуя о делах дня.

На эту тему я много раз говорил с Филатром. Но этот симпатичный человек не был еще тронут прощальной рукой Несбывшегося, а потому мои объяснения не волновали его. Он спрашивал меня обо всем этом и слушал довольно спокойно, но с глубоким вниманием, признавая мою тревогу и пытаясь ее усвоить.

Я почти оправился, но испытывал реакцию, вызванную перерывом в движении, и нашел совет Филатра полезным; поэтому, по выходе из госпиталя, я поселился в квартире правого уголовного дома улицы Амилего, одной из красивейших улиц Лисса. Дом стоял в нижнем конце улицы, близ гавани, за доком,— место корабельного хлама и тишины, нарушаемой, не слишком назойливо, смягченным, по расстоянию, зыком портового дня.

Я занял две большие комнаты: одна — с огромным окном на море; вторая была раза в два более первой. В третьей, куда вела вниз лестница,— помещалась прислуга. Старинная, чопорная и чистая мебель, старый дом и прихотливое устройство квартиры соответствовали относительной тишине этой части города. Из комнат, расположенных под углом к востоку и югу, весь день не уходили солнечные лучи, отчего этот ветхозаветный покой был полон светлого примирения давно прошедших лет с неясным, вечно новым солнечным пульсом.

Я видел хозяина всего один раз, когда платил деньги. То был грузный человек с лицом кавалериста и тихими, вытолкнутыми на собеседника голубыми глазами. Зайдя получить плату, он не проявил ни любопытства, ни оживления, как если бы видел меня каждый день.

Прислуга, женщина лет тридцати пяти, медлительная и настороженная, носила мне из ресторана обеды и ужины, прибирала комнаты и уходила к себе, зная уже, что я не потребую ничего особенного и не пушусь в разговоры, затеваемые большей частью лишь для того, чтобы, болтая и ковыряя в зубах, отдаваться рассеянному течению мыслей.

Итак, я начал там жить; и прожил я всего — двадцать шесть дней; несколько раз приходил доктор Филатр.

## ГЛАВА II

Чем больше я говорил с ним о жизни, сплине, путешествиях и впечатлениях, тем более уяснял сущность и тип своего Несбывшегося. Не скрою, что оно было громадно и — может быть — потому так неотвязно. Его стройность, его почти архитектурная острота выросли из оттенков параллелизма. Я называю так двойную игру, которую мы ведем с явлениями обихода и чувств. С одной стороны, они естественно терпимы в силу необходимости: терпимы условно, как ассигнация, за которую следует получить золотом, но с ними нет соглашения, так как мы видим и чувствуем их возможное преображение. Картины, музыка, книги давно утвердили эту особость, и хотя пример стар, я беру его за неизменением лучшего. В его морщинах скрыта вся тоска мира. Такова нервность идеалиста, которого отчаяние часто заставляет опускаться ниже, чем он стоял, — единственно из страсти к эмоциям.

Среди уродливых отражений жизненного закона и его тяжбы с духом моим я искал, сам долго не подозревая того, — внезапное отчетливое создание: рисунок или венок событий, естественно свитых и столь же неуязвимых подозрительному взгляду духовной ревности, как четыре наиболее глубоко поразившие нас строчки любимого стихотворения. Таких строчек всегда — только четыре.

Разумеется, я узнавал свои желания постепенно и часто не замечал их, тем упустив время вырвать корни этих опасных растений. Они разрослись и скрыли меня под своей тенистой листвой. Случалось неоднократно, что мои встречи, мои положения звучали как обманчи-

вое начало мелодии, которую так свойственно человеку желать выслушать прежде, чем он закроет глаза. Города, страны время от времени приближали к моим зрачкам уже начинающий восхищать свет едва намеченного огнями, странного, далекого транспаранта,— но все это развивалось в ничто; рвалось, подобно гнилой пряже, натянутой стремительным челноком. Несбывшееся, которому я протянул руки, могло восстать только само, иначе я не узнал бы его и, действуя по примерному образцу, рисковал наверняка создать бездушные декорации. В другом роде, но совершенно точно, можно видеть это на искусственных парках, по сравнению с случайными лесными видениями, как бы бережно вынутыми солнцем из драгоценного ящика.

Таким образом я понял свое Несбывшееся и покорился ему.

Обо всем этом и еще много о чем — на тему о человеческих желаниях вообще — протекали мои беседы с Филатром, если он затрагивал этот вопрос.

Как я заметил, он не переставал интересоваться моим скрытым возбуждением, направленным на предметы воображения. Я был для него словно разновидность тюльпана, наделенная ароматом, и если такое сравнение может показаться тщеславным, оно все же верно по существу.

Тем временем Филатр познакомил меня со Стерсом, дом которого я стал посещать. В ожидании денег, о чем написал своему поверенному Лерху, я утолял жажду движения вечерами у Стерса да прогулками в гавань, где под тенью огромных корм, нависших над набережной, рассматривал волнующие слова, знаки Несбывшегося: «Сидней»,— «Лондон»,— «Амстердам»,— «Тулон»... Я был или мог быть в городах этих, но имена гаваней означали для меня другой «Тулон» и вовсе не тот «Сидней», какие существовали действительно; надписи золотых букв хранили неоткрытую истину.

Утро всегда обещает...

говорит Монс,—

После долготерпения дня  
Вечер грустит и прощает...

Так же, как «утро» Монса,— гавань обещает всегда; ее мир полон необнаруженного значения, опускающегося



с гигантских кранов пирамидами тюков, рассеянного среди мачт, стиснутого у набережных железными боками судов, где в глубоких щелях меж тесно сомкнутыми бортами молчаливо, как закрытая книга, лежит в тени зеленая морская вода. Не зная — взвиться или упасть, клубятся тучи дыма огромных труб; напряжена и удержана цепями сила машин, одного движения которых доволно, чтобы спокойная под кормой вода рванулась бугром.

Войдя в порт, я, кажется мне, различаю на горизонте, за мысом, берега стран, куда направлены бугшпри-ты кораблей, ждущих своего часа; гул, крики, песня, демонический вопль сирены — все полно страсти и обещания. А над гаванью — в стране стран, в пустынях и лесах сердца, в небесах мыслей — сверкает Несбывшееся — таинственный и чудный олень вечной охоты.

### ГЛАВА III

Не знаю, что произошло с Лерхом, но я не получил от него столь быстрого ответа, как ожидал. Лишь к концу пребывания моего в Лиссе Лерх ответил, по своему обыкновению, сотней фунтов, не объяснив замедления.

Я навещал Стерса и находил в этих посещениях невинное удовольствие, сродни прохладе компресса, приложенного на больной глаз. Стерс любил игру в карты, я — тоже, а так как почти каждый вечер к нему кто-нибудь приходил, то я был от души рад перенести часть остроты своего состояния на угадывание карт противника.

Накануне дня, с которого началось многое, ради чего сел я написать эти страницы, моя утренняя прогулка по набережным несколько затянулась, потому что, внезапно проголодавшись, я сел у обыкновенной харчевни, перед ее дверью, на террасе, обвитой растениями типа плюща с белыми и голубыми цветами. Я ел жареного мерлана, запивая кушанье легким красным вином.

Лишь утолив голод, я заметил, что против харчевни швартуется пароход, и, обождав, когда пассажиры его начали сходить по трапу, я погрузился в созерцание сутолоки, вызванной желанием скорее очутиться дома или в гостинице. Я наблюдал смесь сцен, подмечая

черты усталости, раздражения, сдерживаемых или явных неистовств, какие составляют душу толпы, когда резко меняется характер ее движения. Среди экипажей, родственников, носильщиков, негров, китайцев, пассажиров, комиссионеров и попрошаек, гор багажа и треска колес я увидел акт величайшей неторопливости, верно-сти себе до последней мелочи, спокойствие, принимая во внимание обстоятельства, почти развратное, — так неподражаемо, безупречно и картинно произошло сошествие по трапу неизвестной молодой девушки, по-видимому небогатой, но, казалось, одаренной тайнами подчинять себе место, людей и вещи.

Я заметил ее лицо, когда оно появилось над бортом среди саквояжей и сбитых на сторону шляп. Она сошла медленно, с задумчивым интересом к происходящему вокруг нее. Благодаря гибкому сложению, или иной причине, она совершенно избежала толчков. Она ничего не несла, ни на кого не оглядывалась и никого не искала в толпе глазами. Так спускаются по лестнице роскошного дома к почтительно распахнутой двери. Ее два чемодана плыли за ней на головах смуглых носильщиков. Коротким движением тихо протянутой руки, указывающей, как поступить, чемоданы были водружены прямо на мостовой, поодаль от парохода, и она села на них, смотря перед собой разумно и спокойно, как человек, вполне уверенный, что совершающееся должно совершаться и впредь согласно ее желанию, но без какого бы то ни было утомительного с ее стороны участия.

Эта тенденция, гибельная для многих, тотчас оправдала себя. К девушке подбежали комиссионеры и несколько других личностей как потрепанного, так и благопристойного вида, создав атмосферу нестерпимого гвалта. Казалось, с девушкой произойдет то же, чему подвергается платье, если его — чистое, отглаженное, спокойно висящее на вешалке — срывают торопливой рукой.

Отнюдь... Ничем не изменив себе, с достоинством переводя взгляд от одной фигуры к другой, девушка сказала что-то всем понемногу. раз рассмеялась, раз нахмурилась, медленно протянула руку, взяла карточку одного из комиссионеров, прочла, вернула бесстрастно и, мило наклонив головку, стала читать другую. Ее взгляд упал на подсунутый уличным торговцем стакан прохла-

дительного питья; так как было действительно жарко, она, подумав, взяла стакан, напилась и вернула его с тем же видом присутствия у себя дома, как во всем, что делала. Несколько волосатых рук, вытянувшись над ее чемоданами, бродили по воздуху, ожидая момента схватить и помчаться, но все это, по-видимому, мало ее касалось, раз не был еще решен вопрос о гостинице. Вокруг нее образовалась группа услужливых, корыстных и любопытных, которой, как по приказу, сообщилось ленивое спокойствие девушки.

Люди суетливого, рвущего день на клочки мира стояли, ворочая глазами, она же по-прежнему сидела на чемоданах, окруженная незримой защитой, какую дает чувство собственного достоинства, если оно врожденное и так слилось с нами, что сам человек не замечает его, подобно дыханию.

Я наблюдал эту сцену не отрываясь. Вокруг девушки постепенно утих шум; стало так почтительно и прилично, как будто на берег сошла дочь некоего фантастического начальника всех гаваней мира. Между тем на ней были (мысль невольно соединяет власть с пышностью) простая батистовая шляпа, такая же блузка с матросским воротником и шелковая синяя юбка. Ее потертые чемоданы казались блестящими потому, что она сидела на них. Привлекательное, с твердым выражением лицо девушки, длинные ресницы спокойно-веселых темных глаз заставляли думать по направлению чувств, вызываемых ее внешностью. Благосклонная маленькая рука, опущенная на голову лохматого пса, — такое напрашивалось сравнение к этой сцене, где чувствовался глухой шум Несбывшегося.

Едва я понял это, как она встала; вся ее свита с возгласами и чемоданами кинулась к экипажу, на задке которого была надпись «Отель Дувр». Подойдя, девушка раздала мелочь и уселась с улыбкой полного удовлетворения. Казалось, ее занимает решительно все, что происходит вокруг.

Комиссионер вскочил на сиденье рядом с возницей, экипаж тронулся, побежавшие сзади оборванцы отстали, и, проводив взглядом умчавшуюся по мостовой пыль, я подумал, как думал неоднократно, что передо мной, может быть, снова мелькнул конец нити, ведущей к запятанному клубку.

Не скрою,— я был расстроен, и не оттого только, что в лице неизвестной девушки увидел привлекательную ясность существа, отмеченного гармонической цельностью, как вывел из впечатления. Ее краткое пребывание на чемоданах тронуло старую тоску о венке событий, о ветре, поющем мелодии, о прекрасном камне, найденном среди гальки. Я думал, что ее существо, может быть, отмечено особым законом, перебирающим жизнь с властью сознательного процесса, и что, став в тень подобной судьбы, я наконец мог бы увидеть Несбывшееся. Но печальнее этих мыслей — печальных потому, что они были болезненны, как старая рана в непогоду,— явилось воспоминание многих подобных случаев, о которых следовало сказать, что их по-настоящему не было. Да, неоднократно повторялся обман, принимая вид жеста, слова, лица, пейзажа, замысла, сновидения и надежды, и, как закон, оставляя по себе тлен. При желании я мог бы разыскать девушку очень легко. Я сумел бы найти общий интерес, естественный повод не упустить ее из поля своего зрения и так или иначе встретить желаемое течение неоткрытой реки. Самым тонким движениям насущного души нашей я смог бы придать как вразумительную, так и приличную форму. Но я не доверял уже ни себе, ни другим, ни какой бы то ни было громкой видимости внезапного обещания.

По всем этим основаниям я отверг действие и возвратился к себе, где провел остаток дня среди книг. Я читал невнимательно, испытывая смуту, нахлынувшую с силой сквозного ветра. Наступила ночь, когда, усталый, я задремал в кресле.

Меж явью и сном встало воспоминание о тех минутах в вагоне, когда я начал уже плохо сознавать свое положение. Я помню, как закат махал красным платком в окно, проносящееся среди песчаных степей. Я сидел, полузакрыв глаза, и видел странно меняющиеся профили спутников, выступающие один из-за другого, как на медали. Вдруг разговор стал громким, переходя, казалось мне, в крик; после того губы беседующих стали шевелиться беззвучно, глаза сверкали, но я перестал соображать. Вагон поплыл вверх и исчез.

Больше я ничего не помнил,— жар помрачил мозг.

Не знаю, почему в тот вечер так назойливо представилось мне это воспоминание; но я готов был признать,



что его тон необъяснимо связан со сценой на набережной. Дремота вила сумеречный узор. Я стал думать о девушке, на этот раз с поздним раскаянием.

Уместны ли в той игре, какую я вел сам с собой, — банальная осторожность? бесцельное самолюбие? даже — сомнение? Не отказался ли я от входа в уже открытую дверь только потому, что слишком хорошо помнил большие и маленькие лжи прошлого? Был полный звук, верный тон, — я слышал его, но заткнул уши, мнительно вспоминая прежние какофонии. Что, если мелодия была предложена истинным на сей раз оркестром?!

Через несколько столетних переходов желания человека достигнут отчетливости художественного синтеза. Желание избегнет муки смотреть на образы своего мира сквозь неясное, слабо озаренное полотно нервной смуты. Оно станет отчетливо, как насекомое в янтаре. Я, по сравнению, имел предстать таким людям, как «Дюранда» Летьерри предстоит стальному Левиафану Трансатлантической линии. Несбывшееся скрывалось среди гор, и я должен был принять в расчет все дороги в направлении этой стороны горизонта. Мне следовало ловить все намеки, пользоваться каждым лучом среди туч и лесов. Во многом — ради многого — я должен был действовать наудачу.

Едва я закрепил некоторое решение, вызванное таким оборотом мыслей, как прозвонил телефон, и, отогнав полусон, я стал слушать. Это был Филатр. Он задал мне несколько вопросов относительно моего состояния. Он приглашал также встретиться завтра у Стерса, и я обещал.

Когда этот разговор кончился, я, в странной толчее чувств, стеснительной, как сдержанное дыхание, позвонил в отель «Дувр». Делаю такого рода обычная мысль, что все, даже посторонние, знают секрет вашего настроения. Ответы, самые безучастные, звучат как улика. Ничто не может так внезапно приблизить к чужой жизни, как телефон, оставляя нас невидимыми, и тотчас, по желанию нашему, — отстранить, как если бы мы не говорили совсем. Эти бесцельные для факта соображения отметят, может быть, слегка то беспокойное состояние, с каким начал я разговор.

Он был краток. Я попросил вызвать Анну Макферсон, приехавшую сегодня с пароходом «Гран-

виль». После незначительного молчания деловой голос служащего объявил мне, что в гостинице нет упомянутой дамы, и я, зная, что получу такой ответ, помог недоразумению точным описанием костюма и всей наружности неизвестной девушки.

Мой собеседник молчаливо соображал. Наконец он сказал:

— Вы говорите, следовательно, о барышне, недавно уехавшей от нас на вокзал. Она записалась — «Биче Сениэль»

С большей, чем ожидал, досадой я послал замечание.

— Отлично. Я спутал имя, выполняя некое поручение. Меня просили также узнать...

Я оборвал фразу и водрузил трубку на место. Это было внезапным мозговым отвращением к бесцельным словам, какие начал я произносить по инерции. Что переменилось бы, узнай я, куда уехала Биче Сениэль? Итак, она продолжала свой путь — наверное в духе безмятежного приказания жизни, как это было на набережной, — а я опустился в кресло, внутренне застегнувшись и пытаюсь увлечься книгой, по первым строкам которой видел уже, что предстоит скука счетом из пяти-сот страниц.

Я был один, в тишине, отмериваемой стуком часов. Тишина мчалась, и я ушел в область спутанных очертаний. Два раза подходил сон, а затем я уже не слышал и не помнил его приближения.

Так, незаметно уснув, я пробудился с восходом солнца. Первым чувством моим была улыбка. Я приподнялся и уселся в порыве глубокого восхищения, — несравненного, чистого удовольствия, вызванного эффектной неожиданностью

Я спал в комнате, о которой упоминал, что ее стена, обращенная к морю, была, по существу, огромным окном. Оно шло от потолочного карниза до рамы в полу, а по сторонам на фут не достигало стен. Его створки можно было раздвинуть так, что стекла скрывались. За окном, внизу, был узкий выступ, засаженный цветами.

Я проснулся при таком положении восходящего над чертой моря солнца, когда его лучи проходили внутрь комнаты вместе с отражением волн, сыпавшихся на экране задней стены.

На потолке и стенах неслись танцы солнечных привидений. Вихрь золотой сети сиял таинственными рисунками. Лучистые веера, скачущие овалы и кидающиеся из угла в угол огневые черты были, как полет в стены стремительной золотой стаи, видимой лишь в момент прикосновения к плоскости. Эти пестрые ковры солнечных фей, мечущийся трепет которых, не прекращая ни на мгновение ткать ослепительный арабеск, достиг неистовой быстроты, были везде — вокруг, под ногами, над головой. Невидимая рука чертила странные письмена, понять значение которых было нельзя, как в музыке, когда она говорит. Комната ожила. Казалось, не устоя пред нашествием отскакивающего с воды солнца, она вот-вот начнет тихо кружиться. Даже на моих руках и коленях беспрерывно соскальзывали яркие пятна. Все это менялось неуловимо, как будто в встряхиваемой искристой сети билась прозрачные мотыльки. Я был очарован и неподвижно сидел среди голубого света моря и золотого — по комнате. Мне было отрадно. Я встал и, с легкой душой, с тонкой и безотчетной уверенностью, сказал всем у: «Вам, знаки и фигуры, вбежавшие с значением неизвестным и все же развеселявшие меня серьезным одиноким весельем, — пока вы еще не скрылись — вверяю я ржавчину своего Несбывшегося. Озарите и сотрите ее!»

Едва я окончил говорить, зная, что вспомню потом эту полусонную выходку с улыбкой, как золотая сеть смеркла; лишь в нижнем углу, у двери, дрожало еще некоторое время подобие изогнутого окна, открытого на поток искр, но исчезло и это. Исчезло также то настроение, каким началось утро, хотя его след не стерся до сего дня.

#### ГЛАВА IV

Вечером я отправился к Стерсу. В тот вечер у него собрались трое: я, Андерсон и Филатр.

Прежде чем прийти к Стерсу, я прошел по набережной до того места, где останавливался вчера пароход. Теперь на этом участке набережной не было судов, а там, где сидела неизвестная мне Биче Сениэль, стояли грузовые катки.

Итак,— это ушло, возникло и ушло, как если бы его не было. Воскрешая впечатление, я создал фигуры из воздуха, расположив их группой вчерашней сцены: сквозь них блестели вечерняя вода и звезды огней рейда. Сосредоточенное усилие помогло мне увидеть девушку почти ясно; сделав это, я почувствовал еще большую неудовлетворенность, так как точнее очертил впечатление. По-видимому, началась своего рода «сердечная мигрень» — чувство, которое я хорошо знал и хотя не придавал ему особенного значения, все же нашел, что такое направление мыслей действует как любимый мотив. Действительно — это был мотив, и я, отчасти развивая его, остался под его влиянием на неопределенное время.

Раздумывая, я был теперь крайне недоволен собой за то, что оборвал разговор с гостиницей. Эта торопливость — стремление заменить ускользающее положительным действием — часто вредила мне. Но я не мог снова узнавать то, чего уже не захотел узнавать, как бы ни сожалел об этом теперь. Кроме того, прелестное утро, прогулка, возвращение сил и привычное отчисление на волю случая всего, что не совершенно определено желанием, перевесили этот недочет вчерашнего дня. Я мысленно подсчитал остатки сумм, которыми мог располагать и которые ждал от Лерха: около четырех тысяч. В тот день я получил письмо: Лерх извещал, что лишь недавно вернувшись из поездки по делам, он, не ожидая скорого требования денег, упустил сделать распоряжение, а возвратясь, послал — как я и просил — тысячу. Таким образом, я не беспокоился о деньгах.

С набережной я отправился к Стерсу, куда пришел, уже застав Филатра и Андерсона.

Стерс, секретарь ирригационного комитета, был высок и белокур. Красивая голова, спокойная курчавая борода, громкий голос и истинно мужская улыбка, изредка пошевеливающаяся в изгибе усов, — отличались впечатлением силы.

Круглые очки, имеющие сходство с глазами птицы, и красные скулы Андерсона, инспектора технической школы, соответствовали коротким вихрам волос на его голове; он был статен и мал ростом.

Доктор Филатр, нормально сложенный человек, с спокойными движениями, одетый всегда просто и хоро-



шо, увидев меня, внимательно улыбнулся и, крепко пожав руку, сказал:

— Вы хорошо выглядите, очень хорошо, Гарвей.

Мы уселись на террасе. Дом стоял отдельно, среди сада, на краю города.

Стерс выиграл три раза подряд, затем я получил карты, достаточно сильные, чтобы обойтись без прикупки.

В столовой, накрывая стол и расставляя приборы, прислуга Стерса разговаривала с сестрой хозяина относительно ужина.

Я был заинтересован своими картами, однако начал хотеть есть и потому с удовольствием слышал, как Дэлиа Стерс назначила подавать в одиннадцать, следовательно — через час. Я соображал также, будут ли на этот раз пирожки с ветчиной, которые я очень любил и не ел нигде таких вкусных, как здесь, причем Дэлиа уверяла, что это выходит случайно.

— Ну, — сказал мне Стерс, сдавая карты, — вы покупаете? Ничего?! Хорошо. — Он дал карты другим, посмотрел свои и объявил: — Я тоже не покупаю.

Андерсон, затем Филатр прикупили и спасовали.

— Сражайтесь, — сказал доктор, — а мы посмотрим, что сделает на этот раз Гарвей.

Ставки по условию разыгрывались небольшие, но мне не везло, и я был несколько раздражен тем, что проигрывал подряд. Но на ту ставку у меня было сносное каре: четыре десятки и шестерка; джокер мог быть у Стерса, поэтому следовало держать ухо востро.

Итак, мы повели обычный торг: я — медленно и беспечно, Стерс — кратко и сухо, но с торжественностью двух слепых, ведущих друг друга к яме, причем каждый старается обмануть жертву.

Андерсон, смотря на нас, забавлялся, так были мы все увлечены ожиданием финала; Филатр собирал карты

Вошла Дэлиа, девушка с поблекшим лицом, загорелым и скептическим, такая же белокурая, как ее брат, и стала смотреть, как я с Стерсом, вперив взгляд во лбы друг другу, старались увеличить — выигрыш или проигрыш? — никто не знал, что.

Я чувствовал у Стерса сильную карту — по едва приметным особенностям манеры держать себя; но силь-

нее ли моей? Может быть, он просто меня пугал? Наверное, то же самое думал он обо мне.

Дэлию окликнули из столовой, и она ушла, бросив: — Гарвей, смотрите не проиграйте.

Я повысил ставку. Стерс молчал, раздумывая — согласиться на нее или накинуть еще. Я был в отличном настроении, но тщательно скрывал это.

— Принимаю, — ответил наконец Стерс. — Что у вас?

Он приглашал открыть карты. Одновременно с звуком его слов мое сознание, вдруг выйдя из круга игры, наполнилось повелительной тишиной, и я услышал особенный женский голос, сказавший с ударением: «...Бегущая по волнам». Это было, как звонок ночью. Но более ничего не было слышно, кроме шума в ушах, поднявшегося от резких ударов сердца да треска карт, по ребру которых провел пальцами доктор Филатр.

Изумленный явлением, которое, так очевидно, не имело никакой связи с происходящим, я спросил Андерсона:

— Вы сказали что-нибудь в этот момент?

— О нет! — ответил Андерсон. — Я никогда не мешаю игроку думать.

Недоумевающее лицо Стерса было передо мной, и я видел, что он сидит молча. Я и Стерс, занятые схваткой, могли только называть цифры. Пока это пробегало в уме, впечатление полного жизни женского голоса оставалось непоколебленным.

Я открыл карты без всякого интереса к игре, проиграл пяти трефам Стерса и отказался играть дальше. Галлюцинация — или то, что это было, — исключила меня из настроения игры. Андерсон обратил внимание на мой вид, сказав:

— С вами что-то случилось?!

— Случилась интересная вещь, — ответил я, желая узнать, что скажут другие. — Когда я играл, я был исключительно поглощен соображениями игры. Как вы знаете, невозможны посторонние рассуждения, если в руках каре. В это время я услышал — сказанные вне или внутри меня — слова: «Бегущая по волнам». Их произнес незнакомый женский голос. Поэтому мое настроение слетело.

— Вы слышали, Филатр? — сказал Стерс.

— Да. Что вы слышали?

— «Бегущая по волнам»,— повторил я с недоумением.— Слова ясные, как ваши слова.

Все были заинтересованы. Вскоре, сев ужинать, мы продолжали обсуждать случай. О таких вещах отлично говорится вечером, когда нервы настороже. Дэлня, сделав несколько обычных замечаний иронически-серьезным тоном, явно указывающим, что она не подсмеивается только из вежливости, умолкла и стала слушать, критически приподняв брови.

— Попробуем установить,— сказал Стерс,— не было ли вспомогательных агентов вашей галлюцинации. Так, я однажды задремал и услышал разговор. Это было похоже на разговор за стеной, когда слова неразборчивы. Смысл разговора можно было понять по интонациям, как упреки и оправдания. Слышались ворчливые, жалобные и гневные ноты. Я прошел в спальню, где из умывального крана быстро капала вода, так как его неплотно завернули. В трубе шипел и бурлил, всхлипывая, воздух. Таким образом, поняв, что происходит, я рассеял внушение. Поэтому зададим вопрос: не проходил ли кто-нибудь мимо террасы?

Во время игры Андерсон сидел спиной к дому, лицом к саду; он сказал, что никого не видел и ничего не слышал. То же сказал Филатр, и, так как никто, кроме меня, не слышал никаких слов, происшествие это осталось замкнутым во мне. На вопросы, как я отнесся к нему, я ответил, что был, правда, взволнован, но теперь лишь стараюсь понять.

— В самом деле,— сказал Филатр,— фраза, которую услышал Гарвей, может быть объяснена только глубоко затаенным ходом наших психических часов, где не видно ни стрелок, ни колесец. Что было сказано перед тем, как вы слышали голос?

— Что? Стерс спрашивал, что у меня на картах, приглашая открыть.

— Так.— Филатр подумал немного.— Заметьте, как это выходит: «Что у вас?» Ответ слышал один Гарвей, и ответ был: «Бегущая по волнам».

— Но вопрос относился ко мне,— сказал я.

— Да. Только вы были предупреждены в ответе. Ответ прозвучал за вас, и вы нам повторили его.

— Это не объяснение,— возразил Андерсон после того, как все улыбнулись.

— Конечно, не объяснение. Я делаю простое сопоставление, которое мне кажется интересным. Согласен, можно объяснить происшествие двойным сознанием Рибо, или частичным бездействием некоторой доли мозга, подобным уголку сна в нас, бодрствующих как целое. Так утверждает Бишер. Но сопоставление очевидно. Оно напрашивается само, и, как ответ ни загадочен,— если допустить, что это — ответ,— скрытый интерес Гарвея дан таинственными словами, хотя их прикладной смысл утерян. Как ни поглощено внимание игрока картами, оно связано в центре, но свободно по периферии. Оно там в тени, среди явлений, скрытых тенью. Слова Стерса: «Что у вас?» могли вызвать разряд из области тени раньше, чем, соответственно, блеснул центр внимания. Ассоциация с чем бы то ни было могла быть мгновенной, дав неожиданные слова, подобные трещинам на стекле от попавшего в него камня. Направление, рисунок, число и длина трещин не могут быть высчитаны заранее, ни сведены обратным путем к зависимости от сопротивления стекла камню. Таинственные слова Гарвея есть причудливая трещина бессознательной сферы.

Действительно — так могло быть, но, несмотря на складность психической картины, которую набросал Филатр, я был странно задет Я сказал:

— Почему именно слова Стерса вызвали трещину?

— Так чьи же?

Я хотел сказать, что, допуская действие чужой мысли, он самым детским образом считается с расстоянием, как будто такое действие безрезультатно за пределами четырех футов стола, разделяющих игроков, но, не желая более затягивать спор, заметил только, что объяснения этого рода сами нуждаются в объяснениях.

— Конечно,— подтвердил Стерс.— Если недостоверно, что мой обычный вопрос извлек из подсознательной сферы Гарвея представление необычное, то надо все решать снова. А это недостоверно, следовательно, недостоверно и остальное.

Разговор в таком роде продолжался еще некоторое время, крайне раздражая Дэлию, которая потребовала, наконец, переменить тему или принять успокоительных



капель. Вскоре после этого я распрощался с хозяевами и ушел; со мной вышел Филатр.

Шагая в ногу, как солдаты, мы обогнули в молчании несколько углов и вышли на площадь. Филатр пригласил зайти в кафе. Это было так странно для моего состояния, что я согласился. Мы заняли стол у эстрады и потребовали вина. На эстраде сменялись певицы и танцовщицы. Филатр стал снова развивать тему о трещине на стекле, затем перешел к случаю с натуралистом Вайторном, который, сидя в саду, слышал разговор пчел. Я слушал довольно внимательно.

Стук упавшего стула и чье-то требование за спиной слились в эту минуту с настойчивым тактом танца. Я запомнил этот момент потому, что начал испытывать сильнейшее желание немедленно удалиться. Оно было непроизвольно. Не могло быть ничего хуже такого состояния, ничего томительнее и тревожнее среди веселой музыки и яркого света. Еще не вставая, я заглянул в себя, пытаюсь найти причину и спрашивая, не утомлен ли я Филатром. Однако было желание сидеть — именно с ним — в этом кафе, которое мне понравилось. Но я уже не мог оставаться. Должен заметить, что я повиновался своему странному чувству с досадой, обычной при всякой несвоевременной помехе. Я взглянул на часы, сказал, что разболелась голова, и ушел, оставив доктора допивать вино.

Выйдя на тротуар, я остановился в недоумении, как останавливается человек, стараясь угадать нужную ему дверь, и, подумав, отправился в гавань, куда неизменно попадал вообще, если гулял бесцельно. Я решил теперь, что ушел из кафе по причине простой нервности, но больше не жалел уже, что ушел.

«Бегущая по волнам»... Никогда еще я не размышлял так упорно о причуде сознания, имеющей относительный смысл,— смысл шелеста за спиной, по звуку которого невозможно угадать, какая шелестит ткань. Легкий ночной ветер, сомнительно умеряя духоту, кружил среди белого света электрических фонарей тополе-вый белый пух. В гавани его намело по угольной пыли у каменных столбов и стен так много, что казалось, что север смешался с югом в фантастической и знойной зиме. Я шел между двух молотков, когда за вторым от меня увидел стройное парусное судно с корпусом, напоминаю-

щим яхту. Его водоизмещение могло быть около ста пятидесяти тонн. Оно было погружено в сон.

Ни души я не заметил на его палубе, но, подходя ближе, увидел с левого борта вахтенного матроса. Сидел он на складном стуле и спал, прислонясь к борту.

Я остановился неподалеку. Было пустынно и тихо. Звуки города сливались в один монотонный неясный шум, подобный шуму отдаленно едущего экипажа; вблизи меня — плеск воды и тихое поскрипывание каната единственно отмечали тишину. Я продолжал смотреть на корабль. Его коричневый корпус, белая палуба, высокие мачты, общая пропорциональность всех частей и изящество основной линии внушали почтение. Это было судно-джентльмен. Свет дугового фонаря мола ставил его отчетливые очертания на границе сумерек, в дали которых виднелись черные корпуса и трубы пароходов. Корма корабля выдавалась над низкой в этом месте набережной, образуя меж двумя канатами и водой внизу навесный угол.

Мне так понравилось это красивое судно, что я представил его своим. Я мысленно вошел по его трапу к себе, в свою каюту, и я был — так мне представилось — с той девушкой. Не было ничего известно, почему это так, но я некоторое время удерживал представление.

Я отметил, что воспоминание о той девушке не уходило; оно напоминало всякое другое воспоминание, удержанное душой, но с верным живым оттенком. Я время от времени взглядывал на него, как на привлекательную картину. На этот раз оно возникло и отошло отчетливее, чем всегда. Наконец мысли переменялись. Желая узнать название корабля, я обошел его, став против кормы, и, всмотревшись, прочел полукруг рельефных золотых букв:

БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ

## ГЛАВА V

Я вздрогнул,— так стукнула в виски кровь. Вздых — не одного изумления,— бóльшего, сложнейшего чувства,— задержал во мне биение громко затем заговорившего сердца. Два раза я перевел дыхание, прежде чем смог еще раз прочесть и понять эти удивительные слова, бросившиеся в мой мозг, как залп стрел. Этот внезапный удар действительности по возникшим за игрой странным словам был так внезапен, как если человек схвачен сзади. Я был окружен в мгновенно обессилевших мыслях. Так кружится на затерянном следу пес, обнюхивая последний отпечаток ноги.

Наконец, настойчиво отведя эти чувства, как отводят рукой упругую, мешающую смотреть листву, я стал одной ногой на кормовой канат, чтобы ближе нагнуться к надписи. Она притягивала меня. Я свесился над водой, тронутой отдаленным светом. Надпись находилась от меня на расстоянии шести-семи футов. Прекрасно была озарена она скользившим лучом. Слово «Бегущая» лежало в тени, «по» было на границе тени и света, и заключительное «волнам» сияло так ярко, что заметны были трещины в позолоте.

Убедившись, что имею дело с действительностью, я отошел и сел на чугунный столб собрать мысли. Они развertyвались в такой связи между собой, что требовался более мощный пресс воли, чем тогда мой, чтобы охватить их все одной, главной мыслью; ее не было. Я смотрел в тьму, в ее глубокие синие пятна, где мерцали отражения огней рейда. Я ничего не решал, но знал, что сделаю, и мне это казалось совершенно естественным. Я был уверен в неопределенном и точен среди неизвестности.

Встав, я подошел к трапу и громко сказал:

— Эй, на корабле!

Вахтенный матрос спал или, быть может, слышал мое обращение, но оставил его без ответа.

Я не повторил окрика. В этот момент я не чувствовал запрета, обычного, хотя и незримого, перед самостоятельным входом в чужое владение. Видя, что часовой неподвижен, я ступил на трап и очутился на палубе.

Действительно, часовой спал, опустив голову на руки, протянутые по крышке бортового ящика. Я никогда

не видел, чтобы простой матрос был одет так, как этот неизвестный человек. Его дорогой костюм из тонкого серого шелка, воротник безукоризненно белой рубашки с синим галстуком и крупным бриллиантом булавки, шелковое белое кепи, щегольские ботинки и кольца на смуглой руке, изобличающие возможность платить большие деньги за украшения,— все эти вещи были несвойственны простой службе матроса. Кроме того — смуглые, чистые руки, без шершавости и мозолей, и упрямое, дергающееся во сне, худое лицо с черной, заботливо расчесанной бородой являли без других доказательств, прямым внушением черт, что этот человек не из низшей команды судна. Колеблясь разбудить его, я медленно прошел к трапу кормовой рубки, так как из ее приподнятых люков шел свет. Я надеялся застать там людей. Уже я занес ногу, как меня удержало и остановило легкое невидимое движение. Я повернулся и очутился лицом к лицу с вахтенным.

Он только что кончил зевать. Его левая рука была засунута в карман брюк, а правая, отгоняя сон, прошла по глазам и опустилась, потирая большим пальцем концы других. Это был высокий, плечистый человек, выше меня, с наклоном вперед. Хотя его опущенные веки играли в невозмутимость, под ними светилось плохо скрытое удовольствие — ожидание моего смущения. Но я не был ни смущен, ни сбит и взглянул ему прямо в глаза. Я поклонился.

— Что вы здесь делаете? — строго спросил он, медленно произнося эти слова и как бы рассматривая их перед собой. — Как вы попали на палубу?

— Я взошел по трапу, — ответил я дружелюбно, без внимания к возможным недоразумениям с его стороны, так как полагал, что моя внешность достаточно красноречива в любой час и в любом месте. — Я вас окликнул, вы спали. Я поднялся и, почему-то не решившись разбудить вас, хотел пойти вниз.

— Зачем?

— Я рассчитывал найти там кого-нибудь. Как я вижу, — прибавил я с ударением, — мне следует назвать себя: Томас Гарвей.

Вахтенный вытащил руку из кармана. Его тяжелые глаза совершенно проснулись, и в них отметилась нерешительность чувств — помесь флегмы и бешенства.

Должно быть, первая взяла верх, так как, сжав губы, он неохотно наклонил голову и сухо ответил:

— Очень хорошо. Я — капитан Вильям Гез. Какому обстоятельству обязан я таким ранним визитом?

Но и более неприветливый тон не мог бы обескуражить меня теперь. Я был на линии быстро восходящего равновесия, под защитой всего этого случая, во всем объеме его еще не установленного значения.

— Капитан Гез, — сказал я с улыбкой, — если считать третий час ночи началом дня, — я, конечно, явился безумно рано. Боюсь, что вы сочтете повод неуважительным. Однако необходимо объяснить, почему я взошел на палубу. Некоторое время я был болен, и мое состояние, по мнению врачей, станет еще лучше, чем теперь, если я немного попутешествую. Было признано, что плавание на парусном судне, несложное существование, лишенное даже некоторых удобств, явится, так сказать, грубой физиологической правдой, необходимой телу иногда точно так, как грубая правда подчас излечивает недуг моральный. Сегодня, прогуливаясь, я увидел этот корабль. Он, сознаюсь, меня пленил. Откладывать свое дело я не решился, так как не знаю, когда вы поднимете якорь, и подумал, что завтра могу уже не застать вас. Во всяком случае — прошу меня извинить. Я в состоянии заплатить, сколько надо, и с этой стороны у вас не было бы причины остаться недовольным. Мне также совершенно безразлично, куда вы направитесь. Затем, надеюсь, что вы меня поняли, — я думаю, что устранил досадное недоразумение. Остальное зависит теперь от вас.

Пока я говорил это, Гез уже мне ответил. Ответ заключался в смене выражений его лица, значение которой я мог определить как сопротивление. Но разговор только что начался, и я не терял надежды.

— Я почти уверен, что откажу вам, — сказал Гез, — тем более, что это судно не принадлежит мне. Его владелец — Браун, компания «Арматор и Груз». Прошу вас сойти вниз, где нам будет удобнее говорить.

Он произнес это вежливым ледяным тоном вынужденного усилия. Его жест рукой по направлению к трапу был точен и сух.

Я спустился в ярко озаренное помещение, где, кроме нас двух, никого не было. Беглый взгляд, брошенный мной на обстановку, не дал впечатления, противоречаще-

го моему настроению, но и не разъяснил ничего, хотя казалось мне, когда я спускался, что будет иначе. Я увидел комфорт и беспорядок. Я шел по замечательному ковру. Отделка помещения обнаруживала богатство строителя корабля... Мы сели на небольшой диван, и в полном свете я окончательно рассмотрел Геза.

Его внешность можно было изучать долго и оставаться при запутанном результате. При передаче лица авторы, как правило, бывают поглощены фасом, но никто не хочет признать значения профиля. Между тем профиль замечателен потому, что он есть основа силуэта — одного из наиболее резких графических решений целого. Не раз профиль указывал мне второго человека в одном, — как бы два входа с разных сторон в одно помещение. Я отвожу профилю значение комментария и только в том случае не вспоминаю о нем, если профиль и фас, со всеми промежуточными сечениями, уравнены духовным балансом. Но это встречается так редко, что является исключением. Равно нельзя было присоединить к исключению лицо Геза. Его профиль шел от корней волос откинутым, нервным лбом — почти отвесной линией длинного носа, тоскливой верхней и упрямо выдающейся нижней губой — к тяжелому, круто завернутому подбородку. Линия обрюзгшей щеки, подпирая глаз, внизу была соединена с мрачным усом. Согласно языку лица, оно выказывалось в подавленно-настойчивом выражении. Но этому лицу, когда оно было обращено прямо, — широкое, насупленное, с нервной игрой складок широкого лба — нельзя было отказать в привлекательной и оригинальной сложности. Его черные красивые глаза внушительно двигались под изломом низких бровей. Я не понимал, как могло согласоваться это сильное и страстное лицо с флегматическим тоном Геза — настолько, что даже ощущаемый в его словах ход мыслей казался невозмутимым. Не без основания ожидал я, в силу противоречия этого, неприятного, по его смыслу, эффекта, что подтвердилось немедленно.

— Итак, — сказал Гез, когда мы уселись, — я мог бы взять пассажира только с разрешения Брауна. Но, признаюсь, я против пассажира на грузовом судне. С этим всегда выходят какие-нибудь неприятности или хлопоты. Кроме того, моя команда получила вчера расчет, и я не знаю, скоро ли соберу новый комплект. Возможно, что

«Бегущая» простоят месяц, прежде чем удастся наладить рейс. Советую вам обратиться к другому капитану.

Он умолк и ничем не выразил желания продолжать разговор. Я обдумывал, что сказать, как на палубе раздались шаги и возглас: «Ха-ха!», сопровождаемый, должно быть, пьяным широким жестом.

Видя, что я не встаю, Гез пошевелил бровью, пристально осмотрел меня с головы до ног и сказал:

— Это вернулся наконец Бутлер. Прошу вас не беспокоиться. Я немедленно возвращаюсь.

Он вышел, шагая тяжело и широко, наклонив голову, как если бы боялся стукнуться лбом. Оставшись один, я осмотрелся внимательно. Я плавал на различных судах, а потому был убежден, что этот корабль, по крайней мере при его постройке, не предназначался перевозить кофе или хлопок. О том говорили как его внешний вид, так и внутренность салона. Большие круглые окна — «иллюминаторы», диаметром более двух футов, какие никогда не делаются на грузовых кораблях, должны были ясно и элегантно озарять днем. Их винты, рамы, весь медный прибор отличался тонкой художественной работой. Венецианское зеркало в массивной раме из серебра; небольшие диваны, обитые дорогим серо-зеленым шелком; палисандровая отделка стен; карнизы, штофные портьеры, индийский ковер и три электрических лампы с матовыми колпаками в фигурной бронзовой сетке были предметами подлинной роскоши — в том виде, как это технически уместно на корабле. На хорошо отполированном, отражающем лампы столе — дымчатая хрустальная ваза со свежими розами. Вокруг нее, среди смятых салфеток и стаканов с недопитым вином, стояли грязные тарелки. На ковре валялись окурки. Из приоткрытых дверей буфета свешивалась грязная тряпка.

Услышав шаги, я встал и, не желая затягивать разговора, спросил Геза по его возвращении, — будет ли он против, если Браун даст мне согласие плыть на «Бегущей» в отдельной каюте и за приличную плату.

— Вы считаете, что бесполезно говорить об этом со мной?

— Мне показалось, — заметил я, — что ваше мнение связано не в мою пользу такими соображениями, которые являются уважительными для вас.

Гез медлил. Я видел, что мое намерение снести с Брауном задело его. Я проявил вежливую настойчивость и изъявил желание поступить наперекор Гезу.

— Как вам будет угодно,— сказал Гез.— Я остаюсь при своем, о чем говорил.

— Не спорю.— Мое дружелюбное оживление прошло, сменясь досадой.— Проиграв дело в одной инстанции, следует обратиться к другой.

Сознаюсь, я сказал лишнее, но не раскаялся в том: поведение Геза мне очень не нравилось.

— Проиграв дело в низшей инстанции! — ответил он, вдруг вспыхнув. Его флегма исчезла, как взвившаяся от ветра занавеска; лицо неприятно и дерзко оживилось.— Кой черт все эти разговоры? Я капитан, а потому пока что хозяин этого судна. Вы можете поступать, как хотите.

Это была уже непростительная резкость, и в другое время я, вероятно, успокоил бы его одним внимательным взглядом, но почему-то я был уверен, что, минуя все, мне предстоит в скором времени плыть с Гезом на его корабле «Бегущая по волнам», а потому решил не давать более повода для обиды. Я приподнял шляпу и покачал головой.

— Надеюсь, мы уладим как-нибудь этот вопрос,— сказал я, протягивая ему руку, которую он пожал весьма сухо.— Самые невинные обстоятельства толкают меня сломать лед. Может быть, вы не будете сердиться впоследствии, если мы встретимся.

«Разговор кончен, и я хочу, чтобы ты убрался отсюда»,— сказали его глаза. Я вышел на палубу, где увидел пожилого, рябого от оспы человека с трубкой в зубах. Он стоял, прислонясь к мачте. Осмотрев меня замкнутым взглядом, этот человек сказал вышедшему со мной Гезу:

— Все-таки мне надо пойти; я, может быть, отыграюсь. Что вы на это скажете?

— Я не дам денег,— сказал Гез круто и зло.

— Вы отдадите мне мое жалованье,— мрачно продолжал человек с трубкой,— иначе мы расстаемся.

— Бутлер, вы получите жалованье завтра, когда протрезвитесь, иначе у вас не останется ни гроша.

— Хорошо! — вскричал Бутлер, бывший, как я угадал, старшим помощником Геза.— Прекрасные вы гово-



рите слова! Вам ли выступать в роли опекуна, когда даже околевавшая кошка знает, что вы представляете собой по всем кабакам — настоящим, прошлым и будущим?! Могу тратить свои деньги, как я желаю.

Гез не ответил, но проклятия, которые он сдержал, отпечатались на его лице. Энергия этого заряда вылилась в его обращении ко мне. Неприязненный, но хладнокровный джентльмен исчез. Тон обращения Геза напоминал брань.

— Ну как, — сказал он, стоя у трапа, когда я начал идти по нему, — правда, «Бегущая по волнам» красива, как «Гентская кружевница»? («Гентская кружевница» было судно, потопленное лет сто назад пиратом Киддом Вторым за его удивительную красоту, которой все восхищались.) Да, это многие признают. Если бы я рассказал вам его историю, его стоимость, если бы вы увидели его на ходу и побыли на нем один день, — вы еще не так просили бы меня взять вас в плавание. У вас губа не дура.

— Капитан Гез! — вскричал я, разгневанный тем более, что Бутлер, подойдя, усмехнулся. — Если мне действительно придется плыть на корабле этом и вы зайдете в мою каюту, я постараюсь загладить вашу грубость, во всяком случае, более ровным обращением с вами.

Он взглянул на меня насмешливо, но тотчас его лицо приняло растерянный вид. Страшно удивив меня, Гез поспешно и взволнованно произнес:

— Да, я виноват, простите! Я расстроен! Я взбешен! Вы не пожалейте в случае неудачи у Брауна. Впрочем, обстоятельства складываются так, что нам с вами не по пути. Желаю вам всего лучшего!

Не знаю, что подействовало неприятнее, — грубость Геза или этот его странный порыв. Пожав плечами, я спустился на берег и, значительно отойдя, обернулся, еще раз увидев высокие мачты «Бегущей по волнам», с уверенностью, что Гез, или Браун, или оба вместе, должны будут отнестись к моему намерению самым положительным образом.

Я направился домой, не замечая, где иду, потеряв чувство места и времени. Потрясение еще не улеглось. Ход предчувствий, неуловимых, как только я начинал подробно разбирать их, был слышен в глубине сердца,

не даваясь сознанию. Ряд никогда не испытанных состояний, из которых я не выбрал бы ни одного, отмечался в мыслях моих редкими сочетаниями слов, подобных разговору во сне, и я был не властен прогнать их. Одно, противу рассудка, я чувствовал, без всяких объяснений и доказательств,— это, что корабль Геза и неизвестная девушка Биче Сениэль должны иметь связь. Будь я спокоен, я отнесся бы к своей идее о сближении корабля с девушкой как к дикому суеверию, но теперь было иначе,— представления возникали с той убедительностью, как бывает при горе или испуге.

Ночь прошла скверно. Я видел сны,— много тяжелых и затейливых снов. Меня мучила жажда. Я просыпался, пил воду и засыпал снова, преследуемый нашествием мыслей, утомительных, как неправильная задача с ускользнувшей ошибкой. Это были расчеты чувств между собой после события, расстроившего их естественное течение.

В девять часов утра я был на ногах и поехал к Филатру в наемном автомобиле. Только с ним мог я говорить о делах этой ночи, и мне было необходимо, существенно важно знать, что думает он о таком повороте «трещины на стекле».

## ГЛАВА VI

Хотя было рано, Филатр заставил ждать себя очень недолго. Через три минуты, как я сел в его кабинете, он вошел, уже одетый к выходу, и предупредил, что должен быть к десяти часам в госпитале. Тотчас он обратил внимание на мой вид, сказав:

— Мне кажется, что с вами что-то произошло!

— Между конторой Угольного синдиката и углом набережной,— сказал я,— стоит замечательное парусное судно. Я увидел его ночью, когда мы расстались. Название этого корабля — «Бегущая по волнам».

— Как! — сказал Филатр, изумленный более, чем даже я ожидал. — Это не шутка?! Но... позвольте... Ничего, я слушаю вас.

— Оно стоит и теперь.

Мы взглянули друг на друга и некоторое время сидели молча. Филатр опустил глаза, медленно приподняв

брови; по выразительному его лицу прошел нервный ток. Он снова посмотрел на меня.

— Да, это бьет,— заметил он.— Но есть продолжение, конечно?

Предупреждая его невысказанное подозрение, что я мог видеть «Бегущую по волнам» раньше, чем пришел вчера к Стерсу, я сказал о том отрицательно и передал разговор с Гезом.

— Вы согласитесь,— прибавил я при конце своего рассказа,— что у меня могло быть только это желание. Никакое иное действие не подходит. По-видимому, я должен ехать, если не хочу остаться на всю жизнь с беспомощным и глупым раскаянием.

— Да,— сказал Филатр, протягивая сигару в воздух к воображаемой пепельнице.— Все так, положение, как ни верти, щекотливое. Впрочем, это — часто вопрос денег. Мне кажется, я вам помогу. Дело в том, что я лечил жену Брауна, когда, по мнению других врачей, не было уже смысла ее лечить. Назло им или из любезности ко мне, но она спаслась. Как я вижу, Гез ссылается на Брауна, сам будучи против вас, и это верная примета, что Браун сошлется на Геза. Поэтому я попрошу вас передать Брауну письмо, которое сейчас напишу.

Договаривая последние слова, Филатр быстро уселся за стол и взял перо.

— С трудом соображаю, что писать,— сказал он, оборачиваясь ко мне виском и углом глаза.

Он потер лоб и начал писать, произнося написанное вслух по мере того, как оно заполняло лист бумаги.

— Заметьте,— сказал Филатр, останавливаясь,— что Браун — человек дела, выгоды, далекий от нас с вами, и все, что, по его мнению, напоминает причуду, тотчас замыкает его. Теперь дальше. «Когда-то, в счастливый для вас и меня день, вы сказали, что исполните мое любое желание. От всей души я надеялся, что такая минута не наступит; затруднить вас я считал непростительным эгоизмом. Однако случилось, что мой пациент и родственник...»

— Эта дипломатическая неточность или, короче говоря, безвредная ложь, надеюсь, не имеет значения? — спросил Филатр; затем продолжал писать и читать: «...родственник, Томас Гарвей, вручитель сего письма, нуждается в путешествии на обыкновенном парусном

судне. Это ему полезно и необходимо после болезни. Подробности он сообщит лично. Как я его понял, он не прочь был бы сделать рейс-другой в каюте...»

— Как странно произносить эти слова,— перебил себя Филатр.— А я их даже пншу: «...каюте корабля «Бегущая по волнам», который принадлежит вам. Вы крайне обяжете меня содействием Гарвею. Надеюсь, что здоровье вашей глубоко симпатичной супруги продолжает не внушать беспокойства. Прошу вас...»

— ...и так далее,— прикончил Филатр, покрывая конверт размашистыми строками адреса.

Он вручил мне письмо и пересел рядом со мной.

Пока он писал, меня начал мучить страх, что судно Геза ушло.

— Простите, Филатр,— сказал я, объяснив ему это.— Нетерпение мое велико!

Я встал. Пристально, с глубокой задумчивостью смотря на меня, встал и доктор. Он сделал рукой полудерживающий жест, коснувшись моего плеча; медленно отвел руку, начал ходить по комнате, остановился у стола, рассеянно опустил взгляд и потер руки.

— Как будто следует нам еще что-то сказать друг другу, не правда ли?

— Да, но что? — ответил я.— Я не знаю. Я, как вы, любитель догадываться. Заниматься этим теперь было бы то же, что рисовать в темноте с натуры.

— Вы правы, к сожалению. Да. Со мной никогда не было ничего подобного. Уверяю вас, я встревожен и поглощен всем этим. Но вы напишете мне с дороги? Я узнаю, что произошло с вами?

Я обещал ему и прибавил:

— А не уложите ли и вы свой чемодан, Филатр?! Вместе со мной?!

Филатр развел руками и улыбнулся.

— Это заманчиво,— сказал он,— но... но... но...— Его взгляд одно мгновение задержался на небольшом портрете, стоявшем среди бронзовых вещей письменного стола. Только теперь увидел и я этот портрет — фотографию красивой молодой женщины, смотрящей в упор, чуть наклонив голову.

— Ничто не вознаградит меня,— сказал Филатр, закуривая и резко бросая спичку.— Как ни своеобразен, как ни аскетичен, по-своему, конечно, ваш внутренний

мир,— вы, дорогой Гарвей, хотите увидеть смеющееся лицо счастья. Не отрицайте. Но на этой дороге я не получу ничего, потому что мое желание не может быть выполнено никем. Оно просто и точно, но оно не сбудется никогда. Я вылечил много людей, но не сумел вылечить свою жену. Она жива, но все равно что умерла. Это ее портрет. Она не вернется сюда. Все остальное не имеет для меня никакого смысла.

Сказав так и предупреждая мои слова, даже мое молчание, которые, при всей их искренности, должны были только затруднить этот внезапный момент взгляда на открывшееся чужое сердце, Филатр позвонил и сказал слуге, чтобы подали экипаж. Не прощаясь окончательно, мы условились, что я сообщу ему о посещении мной Брауна.

Мы вышли вместе и расстались у подъезда. Вспрыгнув на сиденье, Филатр отъехал и обернулся, крикнув: — Да, я этим не... — Остальное я не расслышал.

## ГЛАВА VII

Контора Брауна «Арматор и Груз», как большинство контор такого типа, помещалась на набережной, очень недалеко, так что не стоило брать автомобиль. Я отпустил шофера и, едва вошел в гавань, бросил тревожный взгляд к молу, где видел вчера «Бегущую по волнам». Хотя она была теперь сравнительно далеко от меня, я немедленно увидел ее мачты и бугшприт на том же месте, где они были ночью. Я испытал полное облегчение.

День был горяч, душен, как воздух над раскаленной плитой. Несколько утомясь, я задержал шаг и вошел под полотняный навес портовой таверны утолить жажду.

Среди немногих посетителей я увидел взволнованного матроса, который, размахивая забытым, в возбуждении, стаканом вина и не раз собираясь его выпить, но опять забывая, крепил свою речь резкой жестикуляцией, обращаясь к компании моряков, занимавших угловой стол. Пока я задерживался у стойки, стукнуло мне в слух слово «Гез», отчего я, также забыв свой стакан, немедленно повернулся и вслушался.

— Я его не забуду,— говорил матрос.— Я плаваю двадцать лет. Я видел столько капитанов, что если их

сразу сюда впустить, не хватит места всем стать на одной ноге. Я понимаю так, что Гез суший дьявол. Не приведи бог служить под его командой. Если ему кто не понравится, он вымотает из него все жилы. Я вам скажу: это бешеный человек. Однажды он так хватил плотника по уху, что тот обмер и не мог встать более часа: только стонал. Мне самому попало; больше за мои ответы. Я отвечать люблю так, чтобы человек весь позеленел, а придаться не мог. Но пусть он бешеный, это еще с полгоря. Он вредный, мерзавец. Ничего не угадаешь по его роже, когда он подзывает тебя. Может быть, даст стакан водки, а может быть — собьет с ног. Это у него — вдруг. Бывает, что говорит тихо и разумно, как человек, но если не так взглянул или промолчал — «понимай, мол, как знаешь, отчего я молчу» — и готово. Мы все измучились и сообща решили уйти. Ходит слух, что уж не первый раз команда бросала его посреди рейса. Что же?! На его век дураков хватит!

Он умолк, оставшись с открытым ртом и смотря на свой стакан в злобном недоумении, как будто видел там ненавистного капитана; потом разом осушил стакан и стал сердито набивать трубку. Все это касалось меня.

— О каком Гезе вы говорите? — спросил я. — Не о том ли, чье судно называется «Бегущая по волнам»?

— Он самый, сударь, — ответил матрос, тревожно посмотрев мне в лицо. — Вы, значит, знаете, что это за человек, если только он человек, а не бешеная собака!

— Я слышал о нем, — сказал я, поддерживая разговор с целью узнать как можно больше о человеке, в обществе которого намеревался пробыть неопределенное время. — Но я не встречался с ним. Действительно ли он изверг и негодяй?

— Совершенная.. — начал матрос, поперхнувшись и побагровев, с торжественной медленностью присяги, должно быть, намереваясь прибавить — «истина», как за моей спиной, перебивая ответ матроса, вылетел неожиданный, резкий возглас: «Чепуха!» Человек подошел к нам. Это был тоже матрос, опрятно одетый, грубого и толкового вида.

— Совершенная чепуха, — сказал он, обращаясь ко мне, но смотря на первого матроса. — Я не знаю, какое вам дело до капитана Геза, но я — а вы видите, что я не начальство, что я такой же матрос, как этот гор-

лан,— он презрительно уставил взгляд в лицо опешившему оратору,— и я утверждаю, что капитан Гез, во-первых, настоящий моряк, а во-вторых, отличнейший и добрейшей души человек. Я служил у него с января по апрель. Почему я ушел — это мое дело, и Гез в том не виноват. Мы сделали два рейса в Гор-Сайн. Из всей команды он не сказал никому дурного слова, а наш брат — что там вилять — сами знаете, народ пестрый. Теперь этот человек говорит, что Гез избил плотника. Из остальных сделал котлеты. Кто же поверит этакому вранью? Мы получали порцион лучший, чем на военных судах. По воскресеньям нам выдавали бутылку виски на троих. Боцману и скорому на расправу Бутлеру, старшему помощнику, капитан при мне задал здоровенный нагоняй за то, что тот погрозил повару кулаком. Тогда же Бутлер сказал: «Черт вас поймет!» Капитан Гез собирал нас, бывало, и читал вслух такие истории, о каких мы никогда не слыхивали. И если промеж нас случалась ссора, Гез говорил одно: «Будьте добры друг к другу. От зла происходит зло».

Кончив, но, видимо, имея еще много чего сказать в пользу капитана Геза, матрос осмотрел всех присутствующих, махнул рукой и, с выражением терпеливого неодобрения, стал слушать взбешенного хулителя Геза. Я видел, что оба они вполне искренни и что речь заступника возмутила обвинителя до совершенного неистовства. В одну минуту проревел он не менее десятка имен, вызывая к их свидетельскому отсутствию. Он клялся, предлагал идти с ним на какое-то судно, где есть люди, пострадавшие от Геза еще в прошлом году, и закончил ехидным вопросом: отчего защитник так мало служил на «Бегущей по волнам»? Тот с достоинством, но с не меньшей запальчивостью рассказал, как он заболел, отчего взял расчет по прибытии в Лисс. Запутавшись в крике, оба стали ссылаться на одних и тех же лиц, так как выяснилось, что хулиитель и защитник знают многих из тех, кто служил у Геза в разное время. Начались бесконечные попреки и оценки, брань и ярость фактов, сопровождаемых бинием кулака в грудь. Как ни был я поглощен этим столкновением, я все же должен был спешить к Брауну.

Вывеска конторы «Арматор и Груз» была отсюда через три дома. Я вошел в прохладное помещение с опу-

щенными на солнечной стороне занавесями, где среди деловых столов, перестрелки пишущих машин и сдержанных разговоров служащих ко мне вышел угрюмый человек в золотых очках.

Прошло несколько минут ожидания, пока он, доложив обо мне, появился из кабинета Брауна; уже не угрюмо, а приветливо поклонясь, он открыл дверь, и я, войдя в кабинет, увидел одного из главных хозяев, с которым мне следовало теперь говорить.

## ГЛАВА VIII

Я был очень рад, что вижу дельца, настоящего дельца, один вид которого создавал ясное настроение дела и точных ощущений текущей минуты. Так как я разговаривал с ним первый раз в жизни, а он меня совершенно не знал,— не было опасений, что наш разговор выйдет из делового тона в сомнительный, сочувствующий тон, почти неизбежный, если дело касается лечебной морской прогулки. В противном случае, по обстоятельствам дела, я мог возбудить подозрение в сумасбродстве, вызывающее натянутость. Но Браун едва ли любил рассматривать яйцо на свет. Как собеседник, это был человек хронически несвободной минуты, пожертвованной ближнему ради морально обязывающего пойти навстречу письма.

Рыжие остриженные волосы Брауна торчали с правильностью щетины на щетке. Сухая, высокая голова с гладким затылком, как бы намеренно крепко сжатые губы и так же крепко, цепко направленный прямо в лицо взгляд черных прищуренных глаз производили впечатление точного математического прибора. Он был долговяз, нескладен, уверен и внезапен в движениях; одет элегантно; разговаривая, он держал карандаш, глядя его концами пальцев. Он гладил его то быстрее, то тише, как бы дирижируя порядок и появление слов. Прочтя письмо бесстрастным движением глаз, он согнул угол бритого рта в заученную улыбку, откинулся на кресло и громким, хорошо поставленным голосом объявил мне, что ему всегда приятно сделать что-нибудь для Филатра или его друзей.

— Но,— прибавил Браун, скользнув пальцами по карандашу вверх,— возникла неточность. Судно это не



принадлежит мне; оно собственность Геза, и хотя он, как я думаю,— тут, повертев карандаш, Браун уставил его конец в подбородок,— не откажет мне в просьбе уступить вам каюту, вы все же сделали бы хорошо, потолковав с капитаном.

Я ответил, что разговор был и что капитан Гез не согласился взять меня пассажиром на борт «Бегущей по волнам». Я прибавил, что говорю с ним, Брауном, единственно по указанию Геза о принадлежности корабля ему. Это положение дела я представил без всех его странностей, как обычный случай или естественную помеху.

У Брауна мелькнуло в глазах неизвестное мне соображение. Он сделал по карандашу три задумчивые скольжения, как бы сосчитывая главные свои мысли, и дернул бровью так, что не было сомнения в его замешательстве. Наконец, приняв прежний вид, он посвятил меня в суть дела.

— Относительно капитана Геза,— задумчиво сказал Браун,— я должен вам сообщить, что этот человек почти навязал мне свое судно. Гез некогда служил у меня. Да, юридически я являюсь собственником этого крайне мне надоевшего корабля; и так произошло оттого, что Вильям Гез обладает воистину змеиным даром горячего, толкового убеждения,— правильное, способности закружить голову человеку тем, что ему совершенно не нужно. Однажды он задолжал крупную сумму. Спасая корабль от ареста, Гез сумел вытащить от меня согласие внести корабль в мой реестр. По запродажным документам, не стоившим мне ни гроша, оно значится моим, но не более. Когда-то я знал отца Геза. Сын ухитрился привести с собою тень покойника — очень хорошего, неглупого человека — и яростно умолял меня спасти «Бегущую по волнам». Как вы видите,— Браун показал через плечо карандашом на стену, где в щегольских рамах красовались фотографии пароходов, числом более десяти,— никакой особой корысти извлечь из такой сделки я не мог бы при всем желании, а потому не вижу греха, что рассказал вам. Итак, у нас есть козырь против капризов Геза. Он лежит в моих с ним взаимных отношениях. Вы едете; это решено, и я напишу Гезу записку, содержание которой даст ему случай оказать вам любезный прием. Гез — сложный, очень тяжелый человек. Со-

ветую вам быть с ним настороже, так как никогда нельзя знать, как он поступит.

Я выслушал Брауна без смущения. В моей душе накрепко была закрыта та дверь, за которой тщетно билось и не могло выбиться ощущение щекотливости, даже, строго говоря, насилия, к которому я прибегал среди этих особых обстоятельств действия и места.

Окончив речь, Браун повернулся к столу и покрыл размашистым почерком лист блокнота, запечатав его в конверт резким, успокоительным движением. Я спросил, не знает ли он истории корабля, на что, несколько помедлив, Браун ответил:

— Оно приобретено Гезом от частного лица. Но не могу вам точно сказать, от кого и за какую сумму. Красивое судно, согласен. Теперь оно отчасти приспособлено для грузовых целей, но его тип — парусный особняк. Оно очень быстроходно, и, отправляясь завтра, вы, как любитель, испытаете удовольствие скользить как бы на огромном коньке, если будет хороший ветер. — Браун взглянул на барометр. — Должен быть ветер.

— Гез сказал мне, что простоят месяц.

— Это ему мгновенно пришло в голову. Он уже был сегодня и говорил про завтрашний день. Я знаю даже его маршрут: Гель-Гью, Тоуз, Кассет, Зурбаган. Вы еще зайдете в Дагон за грузом железных изделий. Но это лишь несколько часов расстояния.

— Однако у него не осталось ни одного матроса.

— О, не беспокойтесь об этом. Такие для других трудности — для Геза все равно, что снять шляпу с гвоздя. Уверен, что он уже набил кубрик головорезами, которым только мигни, как их явится легион.

Я поблагодарил Брауна и, получив крепкое напутственное рукопожатие, вышел с намерением употребить все усилия, чтобы смягчить Гезу явную неловкость его положения.

## ГЛАВА IX

Не зная еще, как взяться за это, я подошел к судну и увидел, что Браун прав: на палубе виднелись матросы. Но это не был отборный, красивый народ хорошо поставленных корабельных хозяйств. По-видимому, Гез взял первых попавшихся под руку.

Справясь, я разыскал Геза в капитанской каюте. Он сидел за столом с Бутлером, проверяя бумаги и отсчитывая на счетах.

— Очень рад вас видеть,— сказал Гез после того, как я поздоровался и уселся. Бутлер слегка улыбнулся, и мне показалось, что его улыбка относится к Гезу.— Вы были у Брауна?

Я отдал ему письмо. Он распечатал, прочел, взглянул на меня, на Бутлера, который смотрел в сторону, и откашлялся.

— Следовательно, вы устроились,— сказал Гез, улыбаясь и засовывая письмо в жилетный карман.— Я искренно рад за вас. Мне неприятно вспоминать ночной разговор, так как я боюсь, не поняли ли вы меня превратно. Я считаю большой честью знакомство с вами. Но мои правила действительно против присутствия пассажиров на грузовом судне. Это надо понимать в порядке дисциплины, и ни в каком более. Впрочем, я уверен, что у нас с вами установятся хорошие отношения. Я вижу, вы любите море. Море! Когда произнесешь это слово, кажется, что вышел гулять, поглядывая на горизонт. Море...— Он задумался, потом продолжал: — Если Браун так сильно желает, я искренно уступаю и перехожу в другой галс. Завтра чуть свет мы снимаемся. Первый заход в Дагон. Оттуда повезем груз в Гельгю. Когда вам будет угодно перебраться на судно?

Я сказал, что мое желание — перевезти вещи немедленно. Почти приятельский тон Геза, его нежное отношение к морю, вчерашняя брань и сегодняшняя учтивость заставили меня думать, что, по всей видимости, я имею дело с человеком неуравновешенным, импульсивным, однако умеющим обуздать себя. Итак, я захотел узнать размер платы, а также, если есть время, взглянуть на свою каюту.

— Вычтите из итога и накиньте комиссионные,— сказал, вставая, Гез Бутлеру. Затем он провел меня по коридору и, открыв дверь, стал на пороге, сделав рукой широкий, приглашающий жест.

— Это одна из лучших кают,— сказал Гез, входя за мной.— Вот умывальник, шкаф для книг и несколько еще мелких шкафчиков и полка для разных вещей. Стол — общий, а впрочем, по вашему желанию, слуга доставит сюда все, что вы пожелаете. Матросами я не

могу похвастаться. Я взял их на один рейс. Но слуга попался хороший, славный такой мулат; он служил у меня раньше, на «Эригоне».

Я был — смешно сказать — тронут: так теперешнее обращение капитана звучало непохоже на его дрянной, искусственно флегматичный и — потом — зверский тон сегодняшней ночи. Неоспоримо-хозяйские права Геза начали меня смущать; вздумай он категорически заявить их, я, по всей вероятности, счел бы нужным извиниться за свое вторжение, замаскированное мнимыми правами Брауна. Но отступить, то есть отказаться от плаванья, я теперь не мог. Я надеялся, что Гез передумает сам, желая извлечь выгоду. К великому моему удовольствию, он заговорил о плате, одном из наилучших регуляторов всех запутанных положений.

— Относительно денег я решил так, — сказал Гез, выходя из каюты, — вы уплачиваете за стол, помещение и проезд двести фунтов. Впрочем, если это для вас дорого, мы можем потолковать впоследствии.

Мне показалось, что из глаза в глаз Геза, когда он умолк, перелетела острая искра удовольствия назвать такую сумасшедшую цифру. Вздвигаясь, я пристально всмотрелся в него, но не выдал ничем великого своего удивления. Я быстро сообразил, что это мой козырь. Уплатив Гезу двести фунтов, я мог более не считать себя обязанным ему ввиду того, как обдуманно он оценил свою уступчивость.

— Хорошо, — сказал я, — я нахожу сумму незатруднительной. Она справедлива.

— Так, — ответил Гез тоном испорченного вдруг настроения. Возникла натянутость, но он тотчас ее замял, начав жаловаться на уменьшение фрахтов; потом, как бы спохватясь, попрощался: — Накануне отплытия всегда много хлопот. Итак, это дело решенное.

Мы расстались, и я отправился к себе, где немедленно позвонил Филатру. Он был рад услышать, что дело слажено, и мы условились встретиться в четыре часа дня на «Бегущей по волнам», куда я рассчитывал приехать значительно раньше. После этого мое время прошло в сборах. Я позавтракал и уложил вещи, устав от мыслей, за которые ни один дельный человек не дал бы ломаного гроша; затем велел вынести багаж и приехал к кораблю в то время, когда Гез сходил на набережную. Его

сопровождал Бутлер и второй помощник — Синкрайт, молодой человек с хитрым, неприятным лицом. Увидев меня, Бутлер вежливо поклонился, а Гез, небрежно кивнув, отвернулся, взял под руку Синкрайта и стал говорить с ним. Он оглянулся на меня, затем все трое скрылись в арке Трехмильного проезда.

На корабле меня, по-видимому, ждали. Из дверей кухни выглянула голова в колпаке, скрылась, и немедленно явился расторопный мулат, который взял мои вещи, поместив их в приготовленную каюту.

Пока он разбирал багаж, а я, сев в кресло, делал ему указания, мы понемногу разговорились. Слугу звали Гораций, что развеселило меня, как уместное напоминание о Шекспире в одном из наиболее часто цитируемых его текстов. Гораций подтвердил указанное Брауном направление рейса, как сам слышал это, но в его болтовне я не отметил ничего странного или особенного по отношению к кораблю. Особенное было только во мне. «Бегущая по волнам» шла без груза в Дагон, где предстояло грузить ее тремястами ящиков железных изделий. Наивно и предстательно красуясь здоровенной грудью, обтянутой кокосовой сеткой, выпячивая ее, как петух, и скаля на каждом слове крепкие зубы, Гораций, наконец, проговорился. Эта интимность возникла вследствие золотой монеты и разрешения докурить потухшую сигару. Его сообщение встревожило меня больше, чем предсказание шторма.

— Я должен вам сказать, господин, — проговорил Гораций, потирая ладони, — что будет очень, очень весело. Вы не будете скучать, если правда то, что я подслушал. В Дагоне капитан хочет посадить девиц, дам — прекрасных синьор. Это его знакомые. Уже приготовлены две каюты. Там уже поставлены: духи, хорошее мыло, одеколон, зеркала; послано тонкое белье. А также закуплено много вина. Вино будет всем — и мне и матросам.

— Недурно, — сказал я, начиная понимать, какого рода дам намерен пригласить Гез в Дагоне. — Надеюсь, они не его родственницы?

В выразительном лице Горация перемигнулось все, от подбородка до вывернутых белков глаз. Он щелкнул языком, покачал головой, увел ее в плечи и стал хохотать.

— Я не приму участия в вашем веселье,— сказал я.— Но Гез может, конечно, развлекаться, как ему нравится.

С этим я отослал мулата и запер дверь, размышляя о слышанном.

Зная свойство слуг всячески раздуть сплетню, а также, в ожидании наживы, присочинять небылицы, которыми надеются угодить, я ограничился тем, что принял пока к сведению веселые планы Геза, и так как вскоре после того был подан обед в каюту (капитан отправился обедать в гостиницу), я съел его, очень довольный одиночеством и кушаньями. Я докуривал сигару, когда Гораций постучал в дверь, впустив изнемогающего от зноя Филатра. Доктор положил на койку коробку и сверток. Он взял мою руку левой рукой и сверху дружески прикрыл правой.

— Что же это? — сказал он.— Я поверил по-настоящему, только когда увидел на корме ваши слова и — теперь — вас; я окончательно убедился. Но трудно сказать, в чем сущность моего убеждения. В этой коробке лежат карты для пасьясов и шоколад, более ничего. Я знаю, что вы любите пасьянсы, как сами говорили об этом: «Пирамида» и «Красное-черное».

Я был тронут. По молчаливому взаимному соглашению мы больше не говорили о впечатлении случая с «Бегущей по волнам», как бы опасаясь повредить его странно наметившееся хрупкое очертание. Разговор был о Гезе. После моего свидания с Брауном Филатр говорил с ним в телефон, получив более полную характеристику капитана.

— По-видимому, ему нельзя верить,— сказал Филатр.— Он вас, разумеется, возненавидел, но деньги ему тоже нужны; так что хотя ругать вас он остережется, но я боюсь, что его ненависть вы почувствуете. Браун настаивал, чтобы я вас предупредил. Ссоры Геза многочисленны и ужасны. Он легко приходит в бешенство, редко бывает трезв, а к чужим деньгам относится как к своим. Знайте также, что, насколько я мог понять из намеков Брауна, «Бегущая по волнам» присвоена Гезом одним из тех наглых способов, в отношении которых закон терзается, но молчит. Как вы относитесь ко всему этому?

— У меня два строя мыслей теперь,— ответил я.— Их можно сравнить с положением человека, которому вручена шкатулка с условием: отомкнуть ее по приезде на место. Мысли о том, что может быть в шкатулке,— это один строй. А второй — обычное чувство путешественника, озабоченного вдобавок душевным скрипом отношений к тем, с кем придется жить.

Филатр пробыл у меня около часа. Вскоре разговор перешел к интригам, которые велись в госпитале против него, и обещаниям моим написать Филатру о том, что будет со мной, но в этих обыкновенных речах неотступно присутствовали слова: «Бегущая по волнам», хотя мы и не произносили их. Наш внутренний разговор был другой. След утреннего признания Филатра еще мелькал в его возбуждении. Я думал о неизвестном. И сквозь слова каждый понимал другого в его тайном полнее, чем это возможно в заразителном, увлекающем признании.

Я проводил его и вышел с ним на набережную. Раставаясь, Филатр сказал:

— Будьте с легкой душой и хорошим ветром!

Но по ощущению его крепкой, горячей руки и взгляду я услышал больше, как раз то, что хотел слышать. Надеюсь, что он также услышал невысказанное пожелание мое в моем ответе:

— Что бы ни случилось, я всегда буду помнить о вас.

Когда Филатр скрылся, я поднялся на палубу и сел в тени кормового тента. Взглянув на звук шагов, я увидел Синкрайта, остановившегося неподалеку и сделавшего нерешительное движение подойти. Ничего не имея против разговора с ним, я повернулся, давая понять улыбкой, что угадал его намерение. Тогда он подошел, и лишь теперь я заметил, что Синкрайт сильно навеселе, сам чувствует это, но хочет держаться твердо. Он представился, пробормотал о погоде и, думая, может быть, что для меня самое важное — обрести чувство устойчивости, заговорил о Гезе.

— Я слышал,— сказал он, присматриваясь ко мне,— что вы не поладили с капитаном. Верно, поладить с ним трудно, но, если уж вы с ним поладили,— этот человек сделает все. Я всей душой на его стороне; скажу прямо: это — моряк. Может быть, вы слышали о нем плохие вещи; смею вас уверить,— все клевета. Он вспыльчив и

самолюбив,— о, очень горяч! Замечательный человек! Стоит вам пожелать — и Гез составит партию в карты хоть с самим чертом. Велик в работе и маху не даст в баре: три ночи может не спать. У нас есть также библиотека. Хотите, я покажу ее вам? Капитан много читает. Он и сам покупает книги. Да, это образованный человек. С ним стоит поговорить.

Я согласился посмотреть библиотеку и пошел с Синкрайтом. Остановясь у одной двери, Синкрайт вынул ключи и открыл ее. Это была большая каюта, обтянутая узорным китайским шелком. В углу стоял мраморный умывальник с серебряным зеркалом и туалетным прибором. На столе черного дерева, замечательной работы, были бронзовые изделия, морские карты, бинокль, часы в хрустальном столбе; на стенах — атмосферические приборы. Хороший ковер и койка с тонким бельем, с шелковым одеялом, — все отмечало любовь к красивым вещам, а также понимание их тонкого действия. Из полуоткрытого стеного углубления с дверцей виднелась аккуратно уложенная стопа книг; несколько книг валялось на небольшом диване. Ящик с книгами стоял между стеной и койкой.

Я осматривался с недоумением, так как это помещение не могло быть библиотекой. Действительно, Синкрайт тотчас сказал:

— Каково живет капитан? Это его каюта. Я ее показал затем, что здесь во всем самый тонкий вкус. Вот сколько книг! Он очень много читает. Видите, все это книги, и самые разные.

Не сдержав досады, я ответил ему, что мои правила против залезания в чужое жилье без ведома и согласия хозяина.

— Это вы виноваты, — прибавил я. — Я не знал, куда иду. Разве это библиотека?

Синкрайт озадаченно помолчал: так, видимо, изумили его мои слова.

— Хорошо, — сказал он угасшим тоном. — Вы сделали мне замечание. Оно, допустим, правильное замечание, однако у меня вторые ключи от всех помещений, и... — Не зная, что еще сказать, он закончил: — Я думаю, это пустяки. Да, это пустяки, — уверенно повторил Синкрайт. — Мы здесь все — свои люди.



— Пройдем в библиотеку,— предложил я, не желая останавливаться на его запутанных объяснениях.

Синкрайт запер каюту и провел меня за салон, где открыл дверь помещения, окруженного по стенам рядами полок. Я определил на глаз количество томов тысячи в три. Вдоль полки, поперек корешков книг, были укреплены сдвижные медные полосы, чтобы книги не выпадали во время качки. Кроме дубового стола с письменным прибором и складного стула, здесь были ящики, набитые журналами и брошюрами.

Синкрайт объяснил, что библиотека устроена прежним владельцем судна, но за год, что служит Синкрайт, Гез закупил еще томов триста.

— Браун не ездит с вами? — спросил я. — Или он временно передал корабль Гезу?

На мою хитрость, цель которой была заставить Синкрайта разговориться, штурман ответил уклончиво, так что, оставив эту тему, я занялся книгами. За моим плечом Синкрайт восклицал: «Смотрите, совсем новая книга, и уже листы разрезаны!» или: «Впору университету такая библиотека». Вместе с тем завел он разговор обо мне, но я, сообразив, что люди этого сорта каждое излишне сказанное слово обращают для своих целей, ограничился внешним положением дела, пожаловавшись, для разнообразия, на переутомление.

Я люблю книги, люблю держать их в руках, пробегая заглавия, которые звучат как голос за таинственным входом или наивно открывают содержание текста. Я нашел книги на испанском, английском, французском и немецком языках и даже на русском. Содержание их было различное: история, математика, философия, редкие издания с описаниями старинных путешествий, морских битв, книги по мореходству и справочники, но более всего романы, где рядом с Теккереем и Мопассаном пестрели бесстыдные обложки парижской альковной макулатуры.

Между тем смеркалось; я взял несколько книг и пошел к себе. Расставшись с Синкрайтом, провел в своей отличной каюте часа два, рассматривая карты — подарок Филатра. Я улыбнулся, взглянув на крап: одна колода была с миниатюрой корабля, плывущего на всех парусах в резком ветре, крап другой колоды был великолепный патюрморт — золотой кубок, полный до краев алым

вином, среди бархата и цветов. Филатр думал, какие колоды купить, ставя себя на мое место. Немедленно я разложил трудный пасьянс, и, хотя он вышел, я подозреваю, что только по невольной в чем-то ошибке.

В половине восьмого Гораций возвестил, что капитан просит меня к столу — ужинать.

Когда я вошел, Гез, Бутлер, Синкрайт уже были за столом в общем салоне.

## ГЛАВА X

Гез кратко приветствовал меня, и я заметил, что он не в духе, так как избегал моего взгляда.

Бутлер, наиболее симпатичный человек в этой компании, откашлявшись, сделал попытку завязать общий разговор путем рассуждения о предстоящем рейсе, но Гез перебил его хозяйственными замечаниями касательно провизии и портовых сборов. На мои вопросы, относящиеся к плаванию, Гез кратко отвечал: «Да», «нет», «увидим». В течение ужина он ни разу сам не обратился ко мне.

Перед ним стоял большой графин с водкой, которую он пил методически, медленно и уверенно, пока не осушил весь графин. Его разговор с помощниками показывал мне, что новая, наспех нанятая команда — лишь наполовину кое-что стоящие матросы; остальные были просто портовый сброд, требующий неусыпного надзора. Они говорили еще о людях и отношениях, которые мне были неизвестны. Бутлер с Синкрайтом пили если и не так круто, как Гез, то все же порядочно. Никто не настаивал, чтобы я пил больше, чем хочу сам. Я выпил немного. Прислуживая, Гораций возился с моим прибором несколько тщательнее, чем у других, желая, должно быть, показать, как надо обходиться с гостями. Гез, приметив это, косо посмотрел на него, но ничего не сказал.

Из всего, что было сказано за этой неловкой и мрачной трапезой, меня заинтересовали следующие слова Синкрайта:

— Луиза пишет, что она пригласила Мари, а та, должно быть, никак не сможет расстаться с Юлией, почему придется дать им две каюты.

Все расхохотались своим, имеющим, конечно, особое значение, мыслям.

— У нас будут дамы,— сказал, вставая из-за стола и взглядом наблюдая меня, Гез.— Вас это не беспокоит?

Я ответил, что мне все равно.

— Тем лучше,— заявил Гез.

Наверху раздался крик, но не крик драки, а крик делового замешательства, какие часто бывают на корабле. Бутлер отправился узнать, в чем дело; за ним вскоре вышел Синкрайт. Капитан, стоя, курил, и я воспользовался уходом помощников, чтобы передать ему деньги. Он взял ассигнации особым надменным жестом, очень тщательно пересчитал и подчеркнуто поклонился. В его глазах появился значительный и веселый блеск.

— Партию в шахматы? — сказал он учтиво.— Если вам угодно.

Я согласился. Мы поставили шахматный столик и сели. Фигуры были отличной слоновой кости, хорошей художественной работы. Я выразил удивление, что вижу на грузовом судне много красивых вещей.

Хотя Гез был наверняка пьян, пьян привычно и естественно для него,— он не выказал своего опьянения ничем, кроме голоса, ставшего отрывистым, так как он боролся с желудком.

— Да,— сказал Гез,— были ухлопаны деньги. Как вы, конечно, заметили. «Бегущая по волнам» — бригантина, но на особый лад. Она выстроена согласно личному вкусу одного... он потом разорился. Итак,— Гез повертел королеву,— с женщинами входит шум, трепет, крики; конечно — беспокойство. Что вы скажете о путешествии с женщинами?

— Я не составил взгляда на такое обстоятельство,— ответил я, делая ход.

— Вам это должно нравиться,— продолжал Гез, делая соответствующий ход так рассеянно, что я увидел всю партию.— Должно, потому, что вы — я говорю это без мысли обидеть вас,— появились на корабле более чем оригинально. Я угадываю дух человека.

— Надеюсь, вы пригласили женщин не для меня?

Он молчал, трудясь над задачей, которую я поставил ему ферязью и конем. Внезапно он смешал фигуры и объявил, что проиграл партию. Так повторилось два раза; наконец я обманул его ложной надеждой и объявил мат в семь ходов. Гез был красен от раздражения. Ко-

гда он ссыпал шахматы в ящик стола, его руки дрожали.

— Вы сильный игрок,— объявил Гез.— Истинное наслаждение было мне играть с вами. Теперь поговорим о деле. Мы выходим утром в Дагон, там берем груз и плывем в Гель-Гью. Вы не были в Гель-Гью? Он лежит по курсу на Зурбаган, но в Зурбагане мы будем не раньше как через двадцать — двадцать пять дней.

Разговор кончился, и я ушел к себе, думая, что общество капитана несколько утомительно.

Остаток вечера я просидел за книгой, уступая время от времени нашествию мыслей, после чего забывал, что читаю. Я заснул поздно. Эта первая ночь на судне прошла хорошо. Изредка просыпаясь, чтобы повернуться на другой бок или поправить подушки, я чувствовал едва заметное покачивание своего жнлища и засыпал опять, думая о чужом, новом, неясном.

## ГЛАВА XI

Я еще не совсем выпался, когда, пробудясь на рассвете, понял, что «Бегущая по волнам» больше не стоит у мола. Каюта опускалась и поднималась в медленном темпе крутой волны. Начало звякать и скрипеть по углам; было то всегда невидимое соотношение вещей, которому обязаны мы бываем ощущением движения. Шарахающийся плеск вдоль борта, неровное сотрясение, неустойчивость тяжести собственного тела, делающегося то грузнее, то легче, отмечали каждый размах судна.

На палубе раздавались шаги, как когда ходят по крыше над головой. Встав, я посмотрел в иллюминатор на море и увидел, что оно омрачено ветром с мелким дождем. По радости, охватившей меня, я понял, как бессознательно еще вчера испытывал неуверенность, неуверенность бессвязную, выразить которую ясной причиной сознание не может по отсутствию материала. Я оделся и позвонил, чтобы принесли кофе. Скоро пришел Гораций, объявив, что повар только начал топить плиту, почему предложил вина, но я решил обождать кофе, а от вина отказался, ограничиваясь полустаканом холодного пунша, который держал всегда в дороге и дома. Спросив, где мы находимся, я узнал, что, не будь дождя, Лисс был бы виден на расстоянии часа пути.

— Хороший ветер,—прибавил Гораций.— Капитан Гез держит вахту, так что вам завтракать без него.

При этом он посмотрел на меня просто, как бы без умысла, но я понял, что этот человек подмечает все отношения.

Первые часы отплытия всегда праздничны и напряженны, при солнце или дожде,— все равно; поэтому я с нетерпением вышел на палубу. Меня охватило хорошо знакомое, любимое мною чувство полного хода, не лишённое беспричинной гордости и сознания живописного соучастия. Я был всегда плохим знатоком парусной техники как по бегучему, так и по стоячему такелажу, но зрелище развернутых парусов над закинутым, если смотреть вверх, лицом таково, что видеть их, двигаясь с ними,— одно из бескорыстнейших удовольствий, не требующих специального знания. Просвечивающие, стянутые к концам рей острыми углами, великолепные парусные изгибы нагромождены вверху и вокруг. Их полет заключен среди резко неподвижных снастей. Паруса мчат медленно ныряющий корпус, а в них, давя вперед, нагнетая и выпирая, запутался ветер.

«Бегущая по волнам» шла на резком попутном ветре со скоростью, как я взглянул на лаг, пятнадцати морских миль. В серых пеленах неба таилось неопределенное обещание солнечного луча. У компаса ходил Гез. Увидев меня, он сделал вид, что не заметил, и отвернулся, говоря с рулевым.

Пробыв на палубе более получаса, я сошел вниз, где застал Бутлера, дожидającego завтрака; и мы повели разговор. Я ожидал расспросов с его стороны, но этот человек вел себя так, как если бы давно знал меня; мне такая манера нравилась. Вскоре явился Синкрайт, отсыревший и просвеженный; вчерашний хмель сказывался у него бледностью; руки дрожали. В то время как сумрачный Бутлер говорил мало, Синкрайт говорил много и надоедливо. Так, он подробно, мелочно ругал каждого из матросов, обращаясь ко мне с разъяснениями, которых я не спрашивал. Потом он начал напоминать Бутлеру подробности вчерашнего обеда в гостинице, копаясь в отношениях с неизвестными мне людьми. Им овладела похмельная нервность. Между тем, желая точно узнать направление и все заходы корабля, я обратил-

ся к Бутлеру с просьбой рассказать течение рейса, так как не полагался на слова Геза.

Не дав ничего сказать Бутлеру, которому было, пожалуй, все равно,— говорить или не говорить, Синкрайт тотчас предложил сходить вместе с ним в каюту Геза, где есть подробная карта. Мне не хотелось лезть к Гезу, относительно которого следовало, даже в мелочах, держаться настороже, тем более — с Синкрайтом, сильно не нравящимся мне всей своей повадкой, и я колебался, но, подумав, решил, что идти все-таки лучше, чем просить Синкрайта об одолжении принести карту. Я встал, и мы прошли в каюту Геза, где Синкрайт вынул из клеенчатой папки несколько морских карт, разыскав ту, которая требовалась.

— Я слышал,— сказал Синкрайт,— что вам все равно, куда мы плывем, поэтому вначале я удивился, услышав ваше желание.

— Мне это действительно все равно,— ответил я, морщась от его угодливой улыбки,— но такое отношение не мешает законному любопытству.

Синкрайт ненатурально и без нужды захохотал, вызвав тем у меня желание хлопнуть его по плечу, сказав:

«Вы подделываетесь ко мне на всякий случай, но, милый мой, я это отлично вижу».

Я стоял у стола, склонясь над картой. Раскладывая ее, Синкрайт отвел верхний угол карты рукой, сделав движение вправо от меня, и, машинально взглянув по этому направлению, я увидел сбоку чернильного прибора фотографию под стеклом. Это было изображение девушки, сидевшей на чемоданах.

## ГЛАВА XII

Я узнал ее сразу благодаря искусству фотографа и особенности некоторых лиц быть узнаваемыми без колебания на любом, даже плохом изображении, так как их черты вырезаны твердой рукой сильного впечатления, возникшего при особых условиях. Но это было не плохое изображение. Неизвестная сидела, облокотясь правой рукой; левая рука лежала на сдвинутых коленях. Особый, интимный наклон головы к плечу смягчал чинность позы. На девушке было темное платье с кру-

жевым вырезом. Снимаясь, она улыбнулась, и след улыбки остался на ее светлом лице.

Главной моей заботой было теперь, чтобы Синкрайт не заметил, куда я смотрю. Узнав девушку, я тотчас опустил взгляд, продолжая видеть портрет среди меридианов и параллелей, и перестал понимать слова штурмана. Соединить мысли с мыслями Синкрайта хотя бы мгновением на этом портрете — казалось мне нестерпимо.

Хотя я видел девушку всего раз, на расстоянии, и не говорил с ней,— это воспоминание стояло в особом порядке. Увидеть ее портрет среди вещей Геза было для меня словно живая встреча. Впечатление повторилось, но теперь — резко и тяжело; оно неестественно соединилось с личностью Геза. В это время Синкрайт сказал:

— Отсюда идет течение; даже при слабом ветре можно сделать...

— От десяти до двенадцати миль,— сказал Гез позади меня. Я не слышал, как он вошел.— Синкрайт,— продолжал Гез,— ваша вахта началась четыре минуты назад. Ступайте, я покажу карту.

Синкрайт, спохватясь, ринулся и исчез.

Обветренное лицо Геза носило следы плохо проведенной ночи. Он курил сигару. Не снимая дождевого плаща и сдвинув на затылок фуражку, Гез оперся рукой о карту, водя по ней дымящимся концом сигары и говоря о значении пунктиров, красных линий, сигналов. Я понял лишь, что он рассчитывает быть в Гель-Гью дней через пять-шесть. Затем он скинул кожаный плащ, фуражку и сел, вытянув ноги. Я сел к портрету затылком, чтобы избежать случайного, щекотливого для меня разговора. Я чувствовал, что мой интерес к Биче Сениэль еще слишком живо всколыхнут, чтобы пройти незамеченным такому прохождению, как Гез,— навязчивое самовнушение, обычно приводящее к результату, которого стремишься избежать.

Взгляд Геза был устремлен на пуговицы моего жилета. Он медленно поднимал голову; встретясь наконец с моим взглядом, капитан, прокашлявшись, стал протирать глаза, отгоняя рукой дым сигары.

— Как вам нравится Синкрайт? — сказал он, протягивая руку к столу — стряхнуть пепел. При этом, не

поворачиваясь, я знал, что, взглянув мельком на стол, он посмотрел на портрет. Этот рассеянный взгляд ничего не сказал мне. Я рассматривал Геза по-новому. Он предстал теперь на фоне потаенного, внезапно установленного мной отношения к той девушке, и от сильного желания понять суть отношения — по понять без расспросов — я придавал его взгляду на портрет разнообразное значение. Как бы там ни было, Филатр оказался прав, когда заметил, что «обозначается действие», а он сказал это. Я сам, открыв портрет, был уже твердо, окончательно убежден, что события приведут к действию.

Итак, я ответил на вопрос о Синкрайте:

— Синкрайт, как всякий человек первого дня пути, — человек, похожий на всех: с руками и головой.

— Дрянный человек, — сказал Гез. Его несколько злобное утомление исчезло; он погасил окурки, стал вдруг улыбаться и тщательно расспросил меня, как я себя чувствую — во всех отношениях жизни на корабле. Ответив, как надо, то есть бессмысленно по существу и прилично-разумно по форме, я встал, полагая, что Гез отправится завтракать. Но на мое о том замечание Гез отрицательно покачал головой, выпрямился, хлопнул руками по коленям и вынул из нижнего ящика стола скрипку.

Увидев это, я поддался соблазну сесть снова. Задумчиво рассматривая меня, как если бы я был нотный лист, капитан Гез трюнул струны, подвинтил колки и наладил смычок, говоря:

— Если будет очень противно, скажите немедленно.

Я молча ждал. Зрелище человека с желтым лицом, с опухшими глазами, сунувшего скрипку под бороду и делающего головой движения, чтобы удобнее пристроить инструмент, вызвало у меня улыбку, которую Гез заметил, немедленно улыбнувшись сам, снисходительно и застенчиво. Я не ожидал хорошей игры от его больших рук и был удивлен, когда первый же такт показал значительное искусство. Это был этюд Шопена. Играя, Гез встал, смотря в угол, за мою спину; затем его взгляд, блуждая, остановился на портрете. Он снова перевел его на меня и, доигрывая, опустил глаза.

Спенсер советует устраивать скрипичные концерты в помещениях, обитых тонкими сосновыми досками на



полфута от основной стены, чтобы извлечь резонанс, необходимый, по его мнению, для ограниченной силы звука скрипки. Но не для всякой композиции хорош этот рецепт, и есть вещи, сила которых в их содержании. Шепот на ухо может иногда потрясти, как гром, а гром — вызвать взрыв смеха. Этот страстный этюд и порывистая манера Геза вызвали все напряжение, какое мы отдаем оркестру. Два раза Гез покачнулся при колебании судна, но с нетерпением возобновлял прерванную игру. Я слышал резкие и гордые стоны, жалобу и призыв; затем несколько ворчаний, улыбок, смолкающий напев о былом — Гез, отняв скрипку, стал сумрачно ее настраивать, причем сел, вопросительно взглядывая на меня.

Я похвалил его игру. Он, если и был польщен, ничем не показал этого. Снова взяв инструмент, Гез принялся выводить дикие фиоритуры, томительные скрипучие диссонансы — и так, притворно, увлекся этим, что я понял необходимость уйти. Он меня выпроваживал.

Видя, что я решительно встал, Гез опустил смычок и пожелал приятно провести день — несколько насмешливым тоном, на который теперь я уже не обращал внимания. И я сам хотел быть один, чтобы подумать о происшедшем.

### ГЛАВА XIII

Ища случая разрешить загадку портрета, хотя и не имел для этого ни определенных надежд, ни обдуманного, готового плана, я перебрался на палубу и уселся в шезлонг.

Единственным человеком, которого без особого морального насилия над собой я мог бы вовлечь в интересующий меня разговор, был Бутлер. Куря, я стал ожидать его появления. У меня было предчувствие, что Бутлер придет.

Меж тем погода улучшилась; ветер утратил резкость, сырость исчезла, и солнечный свет окреп; хотя ярко он еще не вырывался из туч, но стал теплее тоном. Прошло четверть часа, и Бутлер действительно появился, если не навеселе, то прогнав тяжкий вчерашний хмель стакашником полезных размеров.

Мне показалось, что он доволен, увидев меня. Не теряя времени, я пригласил его выкурить сигару, взял бодрый, живой тон, рассказал анекдот и, когда увидел, что он изменил несколько напряженную позу на неприужденную и стал связно произносить довольно длинные фразы,— сказал ему, что «Бегущая по волнам» — самое великолепное парусное судно, какое мне приходилось видеть.

— Оно было бы еще лучше,— сказал Бутлер,— для нас, конечно, если бы могло брать больше груза. Один трюм. Но и тот рассчитан не для грузовых операций. Мы кое-что сделали, сломав внутренние перегородки, и тем увеличили емкость, но все же грузить более двухсот тонн немыслимо. Теперь, при высокой цене фрахта, еще можно существовать, а вот в прошлом году Гез наделал немало долгов.

Я узнал также, что судно построено Нэдом Сениэль четырнадцать лет назад. При имени «Сениэль» воздух сошелся в моем горле. Я сохранил внимательную неподвижность лица.

— Оно выстроено для прогулок,— говорил Бутлер,— и было раз в кругосветном плавании. Дело, видите ли, в том, что род ныне умершей жены Сениэля в родстве с первыми поселенцами, основателями Гель-Гью; те были выкинуты, очень давно, на берег с брига, называвшегося, как и наше судно, «Бегущая по волнам». Значит, эта история отчасти фамильная, и жена Сениэля выбрала для корабля тоже такое название. Лет пять назад Нэд Сениэль разорился, когда цена на хлопок пошла вниз. Продал корабль Гезу. Гез с самого начала капитаном «Бегущей»; я здесь недавно. Вся история мне известна от Геза.

— Следовательно,— спросил я,— Гез купил судно после разорения Сениэля?

Смутясь, Бутлер стал молча заклеивать слюной отставший сигарный лист. Он неловко вышел из положения, сказав:

— Теперь, кажется, оно перешло к Брауну. Да, оно так. Впрочем, денежные дела — не моя забота.

Рассчитывая, что на днях мы поговорим подробнее, я не стал больше спрашивать его о корабле. Кто сказал «А», тот скажет и «Б», если его не мучить. Я перешел к Гезу, выразив сожаление, крайне смягченное по остро-

те своего существа, что капитан бездетен, так как его жизнь, по-видимому, довольно беспутна; она лишена правильных семейных забот.

— Детей?! — сказал Бутлер, делая круглые глаза. Он был невероятно изумлен. Мысль иметь детей Гезу крайне поразила Бутлера. — Да он никогда не был женат. Что это вам пришло в голову?

— Простая самонадеянность. Я был уверен, что капитан Гез женат.

— Никогда. Может быть, вы подумали это потому, что увидели на его столе портрет барышни; ну, так это дочь Сениэля.

Я молчал. Бутлер стал смотреть на носок своего сапога. Я внимательно наблюдал за ним. На его крутом, замкнутом лице выступила улыбка — начало улыбки.

Я не ожидал решительных конфиденций, так как чувствовал, что подошел вплотную к разгадке того обстоятельства, о котором, как о несомненно интимном, Бутлер навряд ли стал бы распространяться подробнее малознакомому человеку. После улыбки, которая начала возникать в лице Бутлера, я сам признал бы подобные разъяснения предательством.

Бутлер усиленно затянулся сигарой, стряхнул пепел с колен и ушел, сославшись на дела.

Я остался. Я думал, не следовало ли рассказать Бутлеру о моей встрече на берегу с Биче Сениэль, но вспомнил, что мне, в сущности, ничего не известно об отношениях Геза и Бутлера. Он мог передать этот разговор капитану, вызвав тем новые осложнения. Кроме того, почти одновременное прибытие девушки и корабля в Лисс — не произошло ли с ведома и согласия обеих сторон? Разговор с Бутлером как бы подвел меня к запертой двери, но не дал ключа от замка; узнав кое-что, я, как и раньше, знал очень немного о том, почему фотография Биче Сениэль украшает стол Геза. Человеческие отношения бесконечно разнообразны; я встречал случаи, когда громадный интерес к темному положению расплывался простейшим решением, иногда — пустяком. С другой стороны, надо было признать, что портрет дочери Сениэля, очень красивой и на редкость привлекательной девушки, не мог быть храним Гезом безотносительно к его чувствам. Со всем тем странно

было бы допустить взаимную близость этих двух, столь непохожих людей.

Не делая решительных выводов, то есть представляя их, но оставляя в сомнении, я заметил, как мои размышления о Биче Сениэль стали пристрастны и беспокойны. Воспоминание о ней вызывало тревогу; если мимолетное впечатление ее личности было так пристально, то прямое знакомство могло вызвать чувство еще более сильное и, вероятно, тяжелое, как болезнь. Не один раз наблюдал я это совершенное поглощение одного существа другим — женщиной или девушкой. Мне случалось быть в положении, требующем точного взгляда на свое состояние, и я никогда не мог установить, где подлинное начало этой мучительной приверженности, столь сильной, что нет даже стремления к обладанию; встреча, взгляд, рука, голос, смех, шутка — уже являются облегчением, таким мощным среди остановившей всю жизнь одержимости единственным существом, что радость равна спасению. Но я был на большом расстоянии от прекрасной опасности, и я был спокоен, если можно назвать спокойствием упорное размышление, лишенное терзающего стремления к встрече.

Меж тем солнце пробилось наконец сквозь туманные облачные пласты; по яркому морю кружилась пена. Вскоре я отправился к себе вниз, где, никем не потревоженный, провел в чтении около трех часов. Я читал две книги — одна была в душе, другая в руках.

Приближалось время обеда, который, по корабельным правилам, подавался в час дня. Качать стало медленнее и не так сильно, как утром. Я решил обедать один по той причине, что обед приходился на вахтенные часы Бутлера и мне предстояло, следовательно, сидеть с Гезом и Синкрайтом. Я никогда не чувствовал себя хорошо в обществе людей, относительно которых ломал голову над каким-либо обстоятельством их жизни, не имея возможности прямо о том сказать. Это о Гезе; что касается Синкрайта, — его ползающая улыбка и сальный взгляд были мне нестерпимы.

Вызвав Горация, я сговорился с ним, узнав, что обед будет несколько раньше часа, потому что близок Дагон, где, как известно, Гез должен погрузить железо.

Скоро мне в каюту подали обед. Я отобедал и, слышав на палубе оживление, вышел наверх.

## ГЛАВА XIV

«Бегущая по волнам» приближалась к бухте, раскинутой широким охватом отступившего в глубину берега. Оттуда шел смутный перебой гула. Гез, Бутлер и Синкрайт стояли у бота. Команда тянула фалы и брасы, переходя от мачты к мачте.

Берег разворачивался мрачной перспективой фабричных труб, опоясанных слоями черного дыма. Береговая линия, где угрюмые фасады, акведуки, мосты, краны, цистерны и склады теснились среди рельсовых путей, напоминала затейливый силуэт: так было здесь все черно от угля и копоти. Стон ударов по железу набрасывался со всех концов зрелища; грохот паровых молотов, цикады маленьких молотков, пронзительный визг пил, обморочное дребезжание подвод — все это, если слушать, не разделяя звуков, составляло один крик. Среди рева металлов, отстукивая и частя, выбрасывали гнилой пар сотни всяческих труб. У молов, покрытых складами и сооружениями, вид которых напоминал орудия пытки,— так много крюков и цепей болталось среди этих подобий Эйфелевой башни,— стояли баржи и пароходы, пыля выгружаемым каменным углем.

«Бегущая по волнам» опустила якорь. Паруса упали, потом исчезли. Встретив Бутлера, я спросил, долго ли мы пробудем в Дагоне. Он сказал, что скоро начнут грузить, и действительно, прошло около получаса, как буксир подвел к нам четырехугольный тяжелый баркас, из трюма которого носильщики стали таскать по трапу крепкие деревянные ящики. Чистая палуба «Бегущей» покрылась грязью и пылью. Я ушел к себе, где некоторое время слышал однообразную звуковую картину: топот босых ног, стук брошенного на скат ящика и хриплые голоса. Так продолжалось часа два. Наконец установилась относительная тишина. Все рабочие, как я видел это в иллюминатор, сошли на шаланду, и буксир потащил ее в порт.

Вскоре после этого к навесному трапу, опущенному по той стороне корабля, где находилась моя каюта, подплыла лодка, управляемая наемным лодочником. Шлюпка прошла так близко от иллюминатора, что я бегло рассмотрел ее пассажиров. Это были три женщины: рыжая, худенькая, с сжатым ртом и прищуренными

глазами; крупная, заносчивого вида, блондинка, и третья — бледная, черноволосая, нервного, угловатого сложения. Махая руками, эти три женщины встали, смотря вверх и выкрикивая какие-то отчаянные приветствия. На их плечах были кружевные накидки; волосы подобраны с грубой пышностью, какой принято поражать в известных местах; сильно напудренная, театрально подбоченясь, в шелковых платьях, кольцах и ожерельях, компания эта быстро пересекла круглый экран пространства, открываемого иллюминатором. Я заметил картонки и чемоданы. Гез получил гостей.

Даже не поднимаясь на палубу, я мог отлично представить сцену встречи женщин. Для этого не требовалось изучения нравов. Пока я мысленно видел плохую игру в хорошие манеры, а также ненатурально подчеркнутую галантность, — в отдалении послышалось, как весь отряд бредет вниз. Частые шаги женщин и тяжелая походка мужчин проследовали мимо моей двери, причем на слова, сказанные кем-то вполголоса, раздался взрыв смеха.

В каюте Геза стоял портрет неизвестной девушки. Участники оргии собрались в полном составе. Я плыл на корабле с темной историей и подозрительным капитаном, ожидая должных случиться событий, ради цели неясной и начинающей оборачиваться голосом чувства, так же странного при этих обстоятельствах, как ревнивое желание разобрать, о чем шепчутся за стеной.

Во всем крылся великий и опасный сарказм, зародивший тревогу. Я ждал, что Гез сохранит в распутстве своем, по крайней мере, возможную элегантность, — так я думал по некоторым его личным чертам; но поведение Геза заставило ожидать худших вещей, а потому я утвердился в намерении совершенно уединиться. Сильнее всего мучила меня мысль, что, выходя на палубу днем, я рисковал, против воли, быть втянутым в удалую компанию. Мне оставались — раннее, еще дремотное утро и глухая ночь.

Пока я так рассуждал, стало смеркаться. Береговой шум раздавался теперь глуше; я слышал, как под окрики Бутлера ставят паруса, делаются приготовления плыть далее. Брашпиль начал выворачивать якорь, и погромыживающий треск якорной цепи некоторое время

был главным звуком на корабле. Наконец произвели поворот. Я видел, как черный, в огнях берег уходит влево и океан расстилает чистый горизонт, озаренный закатом. Смотря в иллюминатор, я по движению волн, плывущих на меня, но отходящих по борту дальше, назад, минуя окно, заметил, что «Бегущая» идет довольно быстро.

Из столовой донесся торжествующий женский крик; потом долго хохотал Синкрайт. По коридору промчался Гораций, бренча посудой. Затем я слышал, как его распекали. После того неожиданно у моей двери раздались шаги, и подошедший стукнул. Я немедленно открыл дверь.

Это был надушенный и осмелевший Синкрайт, в первом заряде разгульного настроения. Когда дверь открылась,— из салона, сквозь громкий разговор, послышалось треньканье гитар.

Повинуясь моему взгляду, Синкрайт закрыл дверь и преувеличенно вежливо поклонился.

— Капитан Гез просит вас сделать честь пожаловать к столу,— заявил он.

— Передайте капитану мою искреннюю благодарность,— ответил я с досадой,— но скажите также, что я отказываюсь.

— Надеюсь, вас можно убедить,— продолжал Синкрайт,— тем более, что все мы будем очень огорчены.

— Едва ли вы убедите меня. Я намерен провести вечер один.

— Хорошо! — сказал он удивленно и вышел, повторяя: — Жаль, очень жаль!

Предчувствуя дальнейшие покушения, я взял перо, бумагу и сел к столу. Я начал писать Лерху, рассчитывая послать это письмо при первой остановке. Я хотел иметь крупную сумму.

На второй странице письма снова раздался настойчивый стук; не дожидаясь разрешения, в каюту вступил Гез.

## ГЛАВА XV

Я повернулся с неприятным чувством зависимости, какое испытывает всякий, если хозяева делаются бесцеремонными.

Гез был в смокинге. Его безукоризненной, в смысле костюма, внешности дико противоречила пьяная судорога лица. Он был тяжело, головокружительно пьян. Подойдя так близко, что я, встав, отодвинулся, опасаясь неустойчивости его тела, Гез оперся правой рукой о стол, а левой подбоченился. Он нервно дышал, стараясь стоять прямо, и сохранял равновесие при качке тем, что сгибал и распрямлял колено. На мою занятость письмом Гез даже не обратил внимания.

— Хотите повеселиться? — сказал он, значительно подмигивая, в то время как его острый, холодный взгляд безучастного к этой фразе лица внимательно изучал меня. — Я намерен установить простые, дружеские отношения. Нет смысла жить врозь.

— Синкрайт был, — заметил я, как мог, миролюбиво. — Он, конечно, передал вам мой ответ.

— Я не поверил Синкрайту, иначе я не был бы здесь, — объявил Гез. — Бросьте это! Я знаю, что вы сердитесь на меня, но всякая ссора должна иметь конец. У нас очень весело.

— Капитан Гез, — сказал я, тщательно подбирая слова и чувствуя приступ ярости; я не хотел поддаться гневу, но видел, что вынужден положить конец дерзкому вторжению, оборвать сцену, начинающую делать меня дураком в моих собственных глазах. — Капитан Гез, я прошу вас навсегда забыть обо мне как о компаньоне по увеселениям. Ваше времяпровождение для вас имеет, надо думать, и смысл и оправдание; более я не могу позволить себе рассуждать о ваших поступках. Вы хозяин, и вы у себя. Но я тоже свободный человек, и если вам это не совсем понятно, я берусь повторить свое утверждение и доказать, что я прав.

Сказав так, я ждал, что он пробурчит извинение и уйдет. Он не изменил позу, не шелохнулся, лишь стал еще бледнее, чем был. Откровенная, неистовая ненависть светилась в его глазах. Он вздохнул и засунул руки в карманы.

— Вы нанесли мне оскорбление, — медленно произнес Гез. — Еще никто... Вы выказали мне презрение, и я вас предупреждаю, что оно попало туда, куда вы метили. Этого я вам не прощу. Теперь я хочу знать: как вы представляете наши отношения дальше?! Хотел



бы я знать, да! Не менее тридцати дней продлится мой рейс. Даю слово, что вы раскаетесь.

— Наши отношения точно определены,— сказал я, не видя смысла уступать ему в тоне.— Вы получили двести фунтов, причем я с вами не торговался. Взамен я получил эту каюту, но ваше общество в придачу к ней — не слишком ли незавидная компенсация?

Был один момент, когда, следя за выражением лица Геза, я подумал, что придется выбросить его вон. Однако он сдержался. Пристально смотря мне в глаза, Гез засунул руку во внутренний карман, задержал там ее порывистое движение и торжественно произнес:

— Я тотчас швырну вам эти деньги назад!

Он вынул руку, оказавшуюся пустой, с гневом опустил ее и, повторив, что вернет деньги, добавил: «Вам не придется хвастаться своими деньгами»,— затем вышел, хлопнув дверью.

После этого я немедленно запер каюту ключом и стал у двери, прислушиваясь.

В столовой наступила относительная тишина; меланхолически звучала гитара. Там стали ходить, переговариваться; еще раз пронесся Гораций, крича на ходу: «Готово, готово, готово!» Все показывало, что попойка не замирает, а разворачивается. Затем я услышал шум ссоры, женский горький плач и — после всего этого — хоровую песню.

Устав прислушиваться, я сел и погрузился в раздумье. Гез сказал правду: трудно было ждать впереди чего-нибудь хорошего при этих условиях. Я решил, что если ближайший день не переменит всей этой злобной нечистоты в хотя бы подобие спокойной жизни,— самое лучшее для меня будет высадиться на первой же остановке. Я был сильно обеспокоен поведением Геза. Хотя я не видел прямых причин его ненависти ко мне, все же сознавал, что так должно быть. Он был естествен в своей ненависти. Он не понимал меня, я — его. Поэтому, с его характером, образовалось военное положение, и с гневом, с тяжелым чувством безобразия минувшей сцены, я лег, но лег не раздеваясь, так как не знал, что еще может произойти.

Улегшись, я закрыл глаза, скоро опять открыв их. При моем этом состоянии сон был прекрасной, но наивной выдумкой. Я лежал так долго, еще раз обдумывая

события вечера, а также объяснение с Гезом завтра утром, которое считал неизбежным. Я стал наконец надеяться, что когда Гез очнется — если только он сможет очнуться, — я сумею заставить его искупить дикуую выходку, в которой он едва ли не раскаивается уже теперь. Увы, я мало знал этого человека!

## ГЛАВА XVI

Прошло минут пятнадцать, как, несколько успокоясь, я представил эту возможность. Вдруг шум, слышимый на расстоянии коридора, словно бы за стеной, перешел в коридор. Все или почти все вышли оттуда, возясь около моей двери с угрожающими и беспокойными криками. Было слышно каждое слово.

— Оставьте ее! — закричала женщина.

Вторая злобно твердила:

— Дура ты, дура! Зачем тебя черт понес с нами?

Послышалась плач, возня; затем ужасный, истерический крик:

— Я не могу, не могу! Уйдите, уйдите к черту, оставьте меня!

— Замолчи! — крикнул Гез. По-видимому, он зажал ей рот. — Иди сюда. Берите ее, Синкрайт!

Возня, молчание и трение о стену ногами, перемешиваясь с частым дыханием, показали, что упрямство или другой род сопротивления хотят сломить силой. Затем долгий, неистовый визг оборвался криком Геза: «Она кусается, дьявол!» — и позорный звук тяжелой пощечины прозвучал среди громких рыданий. Они перешли в вопль, и я открыл дверь.

Мое внезапное появление придало гнусной картине краткую неподвижность. На заднем плане, в дверях салона, стоял сумрачный Бутлер, держа за талию раскрасневшуюся блондинку и наблюдая происходящее с невозмутимостью уличного прохожего. Гез тащил в салон темноволосую девушку; тянул ее за руку. Ее лиф был расстегнут, платье сползло с плеч, и, совершенно ошалев, пьяная, с закрытыми глазами, она судорожно рыдала; пытаясь вырваться, она едва не падала на Синкрайта, который, увидев меня, выпустил другую руку жертвы. Рыжая женщина, презрительно подбоченясь, смотрела свысока на темноволосую и курила,

отбрасывая руку от рта резким движением хмельной твари.

— Пора прекратить скандал,— сказал я твердо.— Довольно этого безобразия. Вы, Гез, ударили эту женщину.

— Прочь! — крикнул он, наклонив голову.

Одновременно с тем он опустил руку так, что не ожидавшая этого женщина повернулась вокруг себя и хлопнулась спиной о стену. Ее глаза дико открылись. Она была жалка и мутно, синевато бледна.

— Скотина! — Она говорила, задыхаясь и хрипя, указывая на Геза пальцем.— Это он! Негодяй ты! Послушайте, что было,— обратилась она ко мне.— Было пари. Я проиграла. Проигравший должен выпить бутылку. Я больше пить не могу. Мне худо. Я выпила столько, что и не угнаться этим соплякам. Насильно со мной ничего не сделаешь. Я больна.

— Идешь ты? — сказал Гез, хватая ее за шею.

Она вскрикнула и плюнула ему в лицо. Я успел поймать занесенную руку капитана, так как его кулак мелькнул мимо меня.

— Ступайте, ступайте! — испуганно закричал Синкрайт.— Это не ваше дело!

Я боролся с Гезом. Видя, что я заступился, женщина вывернулась и отбежала за мою спину. Изогнувшись, Гез отчаянным усилием вырвал от меня свою руку. Он был в слепом бешенстве. Дрожали его плечи, руки; тряслось и кривилось лицо. Он размахнулся; удар пришелся мне по локтю левой руки, которой я прикрыл голову. Тогда, с искренним сожалением о невозможности сохранять далее мирную позицию, я измерил расстояние и нанес ему прямой удар в рот, после чего Гез грохнулся во весь рост, стукнув затылком.

— Довольно! Довольно! — закричал Бутлер.

Женщины, взвизгнув, исчезли. Бутлер встал между мной и поверженным капитаном, которого, приподняв под мышки, Синкрайт пытался прислонить к стенке. Наконец Гез открыл глаза и подобрал ногу; видя, что он жив, я вошел в каюту и повернул ключ.

Все трое говорили за дверью промеж себя, и я время от времени слышал отчетливые ругательства. Разговор перешел в подозрительный шепот; потом кто-то из них выразил удивление коротким восклицанием и ушел

наверх довольно поспешно. Мне показалось, что это Синкрайт. В то же время я приготовил револьвер, так как следовало ожидать продолжения. Хотя нельзя было допустить избиения женщины — безотносительно к ее репутации, — в чувствах моих образовалась скверная муть, подобная оскопине.

Послышались шаги возвратившегося Синкрайта. Это был он, так как, придя, он громко сказал:

— Однако наш пассажир молодец! И то правду сказать, вы первый начали!

— Да, я погорячился, — ответил, вздохнув Гез. — Ну, что же, я наказан — и за дело; мне нельзя так распускаться. Да, я вел себя безобразно. Как вы думаете, что теперь сделать?

— Станный вопрос. На вашем месте я немедленно уладил бы всю историю.

— Смотрите, Гез! — сказал Бутлер; понизив голос, он прибавил: — Мне все равно, но — знайте, что я сказал. И не забудьте.

Гез медленно рассмеялся.

— В самом деле! — сказал он. — Я сделаю это немедленно.

Капитан подошел к моей двери и постучал кулаком с решимостью нервной, прямой натуры.

— Кто стучит? — спросил я, поддерживая нелепую игру.

— Это я, Гез. Не бойтесь открыть. Я жалею о том, что произошло.

— Если вы действительно раскаиваетесь, — возразил я, мало веря его заявлению, — то скажете мне то же самое, что теперь, но только утром.

Раздался странный скрип, напоминающий скрежет.

— Вы слушаете? — сказал Гез сумрачно, подавленным тоном. — Я клянусь вам. Вы можете мне поверить. Я стыжусь себя. Я готов сделать что угодно, только чтобы иметь возможность немедленно пожать вашу руку.

Я знал, что битые часто проникаются уважением и — как это ни странно — иногда даже симпатией к тем, кто их физически образумил. Судя по тону и смыслу настойчивых заявлений Геза, я решил, что сопротивляться будет напрасной жестокостью. Я открыл дверь и, не выпуская револьвера, стоял на пороге.

Взгляд Геза объяснял все, но было уже поздно. Синкрайт захватил дверь. Пять или шесть матросов, по-видимому сошедших вниз крадучись, так как я шагов не слышал, стояли наготове, ожидая приказа. Гез вытирал платком распухшую губу.

— Кажется, я имел глупость вам поверить,— сказал я.

— Держите его,— обратился Гез к матросам.— Отнимите револьвер!

Прежде чем несколько рук успели поймать мою руку, я увернулся и выстрелил два раза, но Гез отделался только тем, что согнулся, отскочив в сторону. Прицелу помешали толчки. После этого я был обезоружен и притиснут к стене. Меня держали так крепко, что я мог только поворачивать голову.

— Вы меня ударили,— сказал Гез.— Вы все время оскорбляли меня. Вы дали мне понять, что я вас ограбил. Вы держали себя так, как будто я ваш слуга. Вы сели мне на шею, а теперь пытаетесь убить. Я вас из трону. Я мог бы заковать вас и бросить в трюм, но не сделаю этого. Вы немедленно покинете судно. Не головой вниз,— я не так жесток, как болтают обо мне разные дураки. Вам дадут шлюпку и весла. Но я больше не хочу видеть вас здесь.

Этого я не ожидал, и хотя был сильно встревожен, мой гнев дошел до предела, за которым я предпочитал все опасности моря и суши дальнейшим издевательством Геза.

— Вы затеваете убийство,— сказал я.— Но помните, что до Дагона никак не более ста миль, и, если я попаду на берег, вы дадите ответ суду.

— Сколько угодно,— ответил Гез.— За такое редкое удовольствие я согласен заплатить головой. Помните, однако, при каких странных условиях вы появились на корабле! Этому есть свидетели. Покинуть «Бегущую по волнам» тайно — в вашем духе. Этому будут свидетели.

Он декламировал, наслаждаясь грозной ролью и закусив удила. Я оглядел матросов. То был подвыпивший, мрачный сброд, ничего не терявший, если бы ему даже приказали меня повесить. Лишь молчавший до сего Бутлер решился возразить:

— Не будет ли немного много, капитан?

Гез так посмотрел на него, что тот плюнул и ушел. Капитан был совершенно невменяем. Как ни странно, именно эти слова Бутлера подстегнули мою решимость спокойно сойти в шлюпку. Теперь я не остался бы ни при каких просьбах. Мое негодование было безмерно и перешагнуло всякий расчет.

— Давай шлюпку, подлец! — сказал я.

Все мы быстро поднялись вверх. Стоял мрак, но скоро принесли фонарь. «Бегущая» легла в дрейф. Все это совершалось безмолвно, — так казалось мне, потому что я был в состоянии напряженной, болезненной отрешенности. Матросы принесли мои вещи. Я не считал их и не проверял. Значение совершающегося смутно маячило в далеком углу сознания. Были приспущены тали, и я вошел в шлюпку, повисшую над водой. Со мной вошел матрос, испуганно твердя: «Смотрите, вот весла». Затем неизвестные руки перебросили мои вещи. Фигур на борту я не различал. «К дьяволу!» — сказал Гез. Матрос, двигая фонарем, яркое пятно которого создавало в шлюпке странный уют, держался за борт, ожидая, когда меня спустят вниз. Наконец шлюпка двинулась и встряхнулась на поддавшей ровной волне. Стало качать. Матрос отцепил тали и исчез, карабкаясь по ним вверх.

Все было кончено. Волны уже отнесли шлюпку от корабля так, что я видел, как бы через мостовую, ряд круглых освещенных окон низкого дома.

## ГЛАВА XVII

Я вставил весла, но продолжал неподвижно сидеть, с невольным и бесцельным ожиданием. Вдруг на палубе раздались возгласы, крики, спор и шум — так внезапно и громко, что я не разобрал, в чем дело. Наконец слышался требовательный женский голос, проговоривший резко и холодно:

— Это мое дело, капитан Гез. Довольно, что я так хочу!

Все дальнейшее, что я услышал, звучало изумлением и яростью. Гез крикнул:

— Эй вы, на шлюпке! Забирайте ее! — Он прибавил, обращаясь неизвестно к кому: — Не знаю, где он ее прятал!

Второе его обращение ко мне было, как и первое, без имени.

— Эй вы, на шлюпке!

Я не удостоил его ответом.

— Скажите ему сами, черт побери! — крикнул Гез.

— Гарвей! — раздался свежий, как будто бы знакомый голос неизвестной и невидимой женщины. — Подайте шлюпку к трапу, он будет спущен сейчас. Я еду с вами.

Ничего не понимая, я между тем сообразил, что, судя по голосу, это не могла быть кто-нибудь из компании Геза. Я не колебался, так как предпочесть шлюпку безопасному кораблю возможно лишь в невыносимых, может быть, угрожающих для жизни условиях. Трап стукнул; отвалился и наискось упав вниз, он коснулся воды. Я подвинул шлюпку и ухватился за трап, всматриваясь наверх до боли в глазах, но не различая фигур.

— Забирайте вашу подругу! — сказал Гез. — Вы, я вижу, ловкач.

— Черт его разорви, если я пойму, как он ухитрился это проделать! — воскликнул Синкрайт.

Шагов я не слышал. Внизу трапа появилась стройная закутанная фигура, махнула рукой и перескочила в шлюпку точным движением. Внизу было светлее, чем смотреть вверх, на палубу. Пристально взглянув на меня, женщина нервно двинула руками под скрывавшим ее плащом и села на скамейку рядом с той, которую занимал я. Ее лица, скрытого кружевной отделкой темного покрывала, я не видел, лишь поймал блеск черных глаз. Она отвернулась, смотря на корабль. Я все еще удерживался за трап.

— Как это произошло? — спросил я, теряясь от изумления.

— Какова наглость! — сказал Гез сверху. — Плывите, куда хотите, и от души желаю вам накормить акул!

— Убийца! — закричал я. — Ты еще ответишь за эту двойную гнусность! Я желаю тебе как можно скорее получить пулю в лоб!

— Он получит пулю, — спокойно, почти рассеянно сказала неизвестная женщина, и я вздрогнул. Ее появление начинало меня мучить, — особенно эти беспечные, твердые глаза.

— Прочь от корабля! — сказала она вдруг и повернулась ко мне. — Оттолкните его веслом.

Я оттолкнулся, и нас отнесло волной. Град насмешек полетел с палубы. Они были слишком гнусны, чтобы их повторять здесь. Голоса и корабельные огни отдавались. Я машинально греб, смотря, как судно, уставив паруса, взяло ход. Скоро его огни уменьшились, напоминая ряд искр.

Ветер дул в спину. По моему расчету, через два часа должен был наступить рассвет. Взглянув на свои часы с светящимся циферблатом, я увидел, именно, без пяти минут четыре. Ровное волнение не представляло опасности. Я надеялся, что приключение окончится все же благополучно, так как из разговоров на «Бегущей» можно было понять, что эта часть океана между Гарибой и полуостровом весьма судоходна. Но больше всего меня занимал теперь вопрос, кто и почему сел со мной в дикую ночь.

Между тем стало если не светлеть, то яснее видно. Волны отсвечивали темным стеклом. Уже я хотел обратиться с целым рядом естественных и законных вопросов, как женщина спросила:

— Что вы теперь чувствуете, Гарвей?

— Вы меня знаете?

— Я знаю, как вас зовут; скажу вам и свое имя: Фрези Грант.

— Скорее мне следовало бы спросить вас, — сказал я, снова удивясь ее спокойному тону, — да, именно спросить, как чувствуете себя вы — после своего отчаянного поступка, бросившего нас лицом к лицу в этой проклятой шлюпке посреди океана? Я был потрясен; теперь я, к этому, еще оглушен. Я вас не видел на корабле. Позволительно ли мне думать, что вас удерживали насильно?

— Насильно?! — сказала она, тихо и лукаво смеясь. — О нет, нет! Никто никогда не мог удержать меня насильно, где бы то ни было. Разве вы не слышали, что кричали вам с палубы? Они считают вас хитрецом, который спрятал меня в трюме или еще где-нибудь, и поняли так, что я не хочу бросить вас одного.

— Я не могу знать что-нибудь о вас против вашей воли. Если вы захотите, вы мне расскажете.



— О, это неизбежно, Гарвей. Но только подождем. Хорошо?

Предполагая, что она взволнована, хотя удивительно владеет собой, я спросил, не выпьет ли она немного вина, которое у меня было в баулах,— чтобы укрепить нервы.

— Нет,— сказала она.— Я не нуждаюсь в этом. Но вы, конечно, хотели бы увидеть, кто эта, непрощеная, сидит с вами. Здесь есть фонарь.

Она перегнулась назад и вынула из кормового камбуза фонарь, в котором была свеча. Редко я так волновался, как в ту минуту, когда, подав ей спички, ждал света.

Пока она это делала, я видел тонкую руку и железный переплет фонаря, оживающий внутри ярким огнем. Тени, колеблясь, перебежали в лодке. Тогда Фрезз Грант захлопнула крышку фонаря, поставила его между нами и сбросила покрывало. Я никогда не забуду ее — такой, как видел теперь.

Вокруг нее стоял отсвет, теряясь среди перекатов волн. Правильное, почти круглое лицо с красивой, нежной улыбкой было полно прелестной, нервной игры, выражавшей в данный момент, что она забавляется моим возрастающим изумлением. Но в ее черных глазах стояла неподвижная точка; глаза, если присмотреться к ним, вносили впечатление грозного и томительного упорства; необъяснимую сжатость, молчание,— большее, чем молчание сжатых губ. В черных ее волосах блесст жемчуг гребней. Кружевное платье оттенка слоновой кости, с открытыми гибкими плечами, так же безупречно белыми, как лицо, легло вокруг стана широким опрокинутым веером, из пены которого выступила, покачиваясь, маленькая нога в золотой туфельке. Она сидела, опираясь отставленными руками о палубу кормы, нагнувшись ко мне слегка, словно хотела дать лучше рассмотреть свою внезапную красоту. Казалось, не среди опасностей морской ночи, а в дальнем углу дворца присела, устав от музык и толпы, эта удивительная фигура.

Я смотрел, дивясь, что не ищу объяснения. Все перелетело, изменилось во мне, и хотя чувства правильно отвечали действию, их острота превозмогла всякую мысль. Я слышал стук своего сердца в груди, шее,

висках; оно стучало все быстрее и тише, быстрее и тише. Вдруг меня охватил страх; он рванул и исчез.

— Не бойтесь,— сказала она. Голос ее изменился, он стал мне знаком, и я вспомнил, когда слышал его.— Я вас оставляю, а вы слушайте, что скажу. Как станет светать, держите на юг и гребите так скоро, как хватит сил. С восходом солнца встретится вам парусное судно, и оно возьмет вас на борт. Судно идет в Гель-Гью, и, как вы туда прибудете, мы там увидимся. Никто не должен знать, что я была с вами,— кроме одной, которая пока скрыта. Вы очень хотите увидеть Биче Сениэль, и вы встретите ее, но помните, что ей нельзя сказать обо мне. Я была с вами потому, чтобы вам не было жутко и одиноко.

— Ночь темна,— сказал я, с трудом поднимая взгляд, так как утомился смотреть.— Волны, одни волны кругом!

Она встала и положила руку на мою голову. Как мрамор в луче, сверкала ее рука.

— Для меня там,— был тихий ответ,— одни волны, и среди них один остров; он сияет все дальше, все ярче. Я тороплюсь, я спешу; я увижу его с рассветом. Прощайте! Все ли еще собираете свой венок? Блестят ли его цветы? Не скучно ли на темной дороге?

— Что мне сказать вам? — ответил я.— Вы здесь, это и есть мой ответ. Где остров, о котором вы говорите? Почему вы одна? Что вам угрожает? Что хранит вас?

— О,— сказала она печально,— не задумывайтесь о мраке. Я повинуюсь себе и знаю, чего хочу. Но об этом говорить нельзя.

Пламя свечи сияло; так был резок его блеск, что я снова отвел глаза. Я видел черные плавники, пересекающие волну, подобно буям; их хищные движения вокруг шлюпки, их беспокойное снование взад и вперед отдавало угрозой.

— Кто это? — сказал я.— Кто эти чудовища вокруг нас?

— Не обращайтесь внимания и не бойтесь за меня,— ответила она.— Кто бы ни были они в своей жадной надежде, ни тронуть меня, ни повредить мне они больше не могут.

В то время, как она говорила это, я поднял глаза.

— Фрези Грант! — вскричал я с тоской, потому что жалость охватила меня. — Назад!..

Она была на воде, невдалеке, с правой стороны, и ее медленно относил волной. Она отступала, полуоборотясь ко мне, и, приподняв руку, всматривалась, как если бы уходила от постели уснувшего человека, опасаясь разбудить его неосторожным движением. Видя, что я смотрю, она кивнула и улыбнулась.

Уже не совсем ясно видел я, как быстро и легко она бежит прочь, — совсем как девушка в темной, огромной зале.

И тотчас дьявольские плавники акул или других мертвящих нервы созданий, которые показывались, как прорыв снизу черным резцом, повернули стремглав в ту сторону, куда скрылась Фрези Грант, бегущая по волнам, и, скользнув отрывисто, скачками, исчезли.

Я был один; покачивался среди волн и смотрел на фонарь; свеча его догорала.

Хор мыслей пролетел и утих. Прошло некоторое время, в течение которого я не сознавал, что делаю и где нахожусь; затем такое сознание стало появляться отрывками. Иногда я старался понять, вспомнить — с кем и когда сидела в лодке молодая женщина в кружевном платье.

Понемногу я начал грести, так как океан изменился. Я мог определить юг. Неясно стал виден простор волн; вдали над ними тронулась светлая лавина востока, устремив яркие копы наступающего огня, скрытого облаками. Они пронеслись мимо восходящего солнца, как паруса. Волны начали блестеть; теплый ветер боролся со свежестью; наконец утренние лучи сигналы призрачный мир рассвета, и начался день.

Теперь не было у меня уже той живой связи с ночной сценой, как в момент действия, и каждая следующая минута несла новое расстояние, — как между поездом и сверкнувшим в его окне прелестным пейзажем, летящим — едва возник — прочь, в горизонтальную бездну. Казалось мне, что прошло несколько дней, и я только помнил. Впечатление было разорвано собственной своей силой. Это наступление громадного расстояния произошло быстрее, чем ветер вырывает из рук платок. Тогда я не был способен правильно судить о своем состоянии. Оно прошло сложный, трудный путь,

не повторимый ни при каком возбуждении мысли. Я был один в шлюпке, греб на юг и, задумчиво улыбаясь, присматривался к воде, как будто ожидал действительно заметить след маленьких ног Фрези Грант.

Я захотел пить и, так как бочонок для воды оказался пуст, осушил бутылку вина. На этот раз оно не произвело обыкновенного действия. Мое состояние было ни нормально, ни эксцессивно — особое состояние, которое не с чем сравнить, разве лишь с выходом из темных пещер на приветливую траву. Я греб к югу, пристально рассматривая горизонт.

В одиннадцать двадцать утра на горизонте показались косые паруса с кливерами, стало быть, небольшое судно, шедшее, как указывало положение парусов, к юго-западу при половинном ветре. Рассмотрев судно в бинокль, я определил, что, взяв под нижний угол к линии его курса, могу встретить его не позднее, чем через тридцать — сорок минут. Судно было изрядно нагружено, шло ровно, с небольшим креном.

Вскоре я заметил, что меня увидели с его палубы. Судно сделало поворот и стало двигаться на меня, в то время как я сам греб изо всех сил. На расстоянии далеко хватающего крика я мог уже различить без бинокля несколько человек, всматривающихся в мою сторону. Один из них смотрел в зрительную трубу, причем схватил за плечо своего соседа, указывая ему на меня движением трубы. Появление судна некоторое время казалось мне нереальным; лишь начав различать лица, я встрепенулся, поняв свое положение. Судно легло в дрейф, готовясь меня принять; я был от него на расстоянии десяти минут поспешной гребли. Подплывая, я увидел восемь человек, считая женщину, сидевшую на борту боком, держась за ванту, и понял по выражению лиц, что все они крайне изумлены.

Когда между мной и шкуной оказалось расстояние, незатруднительное для разговора, мне не пришлось начать первому. Едва я открыл рот, как с палубы закричали, чтобы я скорее подплывал. После того, среди сочувственных восклицаний, на дно шлюпки упал брошенный матросом причал, и я продел его в носовое кольцо.

— Все потонули, кроме вас? — сказал долговязый шкипер, в то время как я ступал на спущенный веревочный трап.

— Сколько дней в море? — спросил матрос.

— Не набрасывайтесь на пищу! — испуганно заявила женщина. Она оказалась молодой девушкой; ее левый глаз был завязан черным платком. Здоровый голубой глаз смотрел на меня с ужасом и упоением.

Я ответил, когда ступил на палубу, причем случайно пошатнулся и был немедленно подхвачен.

— Мой случай — совершенно особый, — сказал я. — Позвольте мне сесть. — Я сел на быстро подставленное опрокинутое ведро. — Куда вы плывете?

— Он не так слаб! — заметил шкипер.

— Мы держим в Гель-Гью, — сообщил одинокий голубой глаз. — Теперь вы в безопасности. Я принесу виски.

Я осмотрел этих славных людей. Они переживали событие. Лишь спустя некоторое время они освоились с моим присутствием, сильно их волновавшим, и мы начали объясняться.

## ГЛАВА XVIII

Судно, взявшее меня на борт, называлось «Нырок». Оно шло в Гель-Гью из Сан-Риоля с грузом черепахи. Шкипер, он же хозяин судна, Финеас Проктор, имел шесть человек команды; шестой из них был помощник Проктора, Нэд Тоббоган, на редкость неразговорчивый человек лет под тридцать, красивый и смуглый. Девушка с завязанным глазом была двоюродной племянницей Проктора и пошла в рейс потому, что трудно было расстаться с ней Тоббогану, ее признанному жениху; как я узнал впоследствии, не менее важной причиной была надежда Тоббогана обвенчаться с Дэзи в Гель-Гью. Словом, причины ясные и благие. По случаю присутствия женщины, хотя бы и родственницы, Проктор сохранил в кармане жалованье повара, рассчитав его под благовидным предлогом; пищу варила Дэзи. Сказав это, я возвращаюсь к прерванному рассказу.

Пока я объяснялся с командой шкуны, моя шляпка была подведена к корме, взята на тали и поставлена рядом с шляпкой «Нырка». Мой багаж уже лежал на палубе, у моих ног. Меж тем паруса взяли ветер, и шкуна пошла своим путем.

— Ну,— сказал Проктор, едва установилось подобие внутреннего равновесия у всех нас,— выкладывайте, почему мы остановились ради вас и кто вы такой.

— Это история, которая вас удивит,— ответил я после того, как выразил свою благодарность, крепко пожав его руку.— Меня зовут Гарвей. Я плыл туда же, куда вы плывете теперь, в Гель-Гью, на судне «Бегущая по волнам», под командой капитана Геза, и был ссажен им вчера вечером на шлюпку после крупной ссоры.

В моем положении следовало быть откровенным, не касаясь внутренних сторон дела. Таким образом все предстало в естественном и простом виде: я сел за плату (не называя цифры, я намекнул, что она была прилична и уплачена своевременно). Я должен был также сочинить цель, с какой пустился в этот рейс, чтобы быть правдивым для наступившего положения. В другом месте и другому человеку мне пришлось рассказать истину, когда я думал, что... Словом, экипаж «Нырка» только изредка набивал трубки, чтобы воодушевленной следить за моим рассказом. Мне поверили, потому что я не скрывал той правды, какую ждали они.

У меня (так я объяснил) было желание познакомиться с торговой практикой парусного судна, а также разузнать требования и условия рынка в живом коммерческом действии. Выдумка имела успех. Проктор, длинный, полуседой человек с спокойным мускулисто-гладким лицом, тотчас сказал:

— Вот это правильная была мысль. Я всегда говорил, что, сидя на месте и читая биржевые газеты, как раз купишь хлопок вместо пеньки или патоки.

Остальное в моем рассказе не требовало искажения, отчего характер Геза, после того как я посвятил слушателей в историю с пьяной женщиной, немедленно стал предметом азартного обсуждения.

— Его надо было просто убить,— сказал Проктор.— И вы не отвечали бы за это.

— Он не успел...— заметил один матрос.

— Никогда бы я не сошел в шлюпку; только силой,— продолжал Проктор.

— Он был один,— вмешалась стоявшая тут же Дэзи. Платок мешал ей смотреть, и она вертела головой.— А ты, Тоббоган, разве остался бы насильно?

— Это сказал дядя,— возразил Тоббоган.

— Ну хотя бы и дядя.

— Что с тобой, Дэзи? — спросил Проктор.— Экая у тебя прыть в чужом деле!

— Вы правильно поступили,— обратилась она ко мне.— Лучше умереть, чем быть избитым и выброшенным за борт, раз такое злодейство. Отчего же вы не дадите виски? Смотри, он ее зажал!

Она взяла из рассеянной руки Проктора бутылку, которую, в увлечении всей этой историей, скипер держал между колен, и налила половину жестяной кружки, долив водой. Я поблагодарил, заметив, что не болен от изнурения.

— Ну, все-таки,— заметила она критическим тоном, означавшим, что мое положение требует обряда.— И вам будет лучше.

Я выпил, сколько мог.

— О, это не по-нашему! — сказал Проктор, опрокидывая остаток в рот.

Тем временем я рассмотрел девушку. Она была темноволосая, небольшого роста, крепкого, но нервного, трепетного сложения, что следует понимать в смысле порывистости движений. Когда она улыбалась, походила на снежок в розе. У нее были маленькие загорелые руки и босые тонкие ноги, производившие под краем юбки впечатление отдельных живых существ, потому что она беспрерывно переминалась или скрещивала их, шевеля пальцами. Я заметил также, как взглядывает на нее Тоббоган. Это был выразительный взгляд влюбленного на божество, из снисхождения научившееся приносить виски и делать вид, что болит глаз. Тоббоган был серьезный человек с правильным, мужественным лицом задумчивого склада. Его движения несколько противоречили его внешности, так, например, он делал жесты к себе, а не от себя, и когда сидел, то имел привычку охватывать колени руками. Вообще он производил впечатление замкнутого человека. Четыре матроса «Нырка» были пожилые люди, хозяйственного и тихого поведения; в свободное время один из них крошил листовой табак или пришивал к куртке отпоротый воротник; другой писал письмо, третий устраивал в широкой бутылке пейзаж из песку и стружек, действуя, как японец, тончайшими палочками. Пятый, моложе их и более

живой, чем остальные, часто играл в карты сам с собой, тщетно соблазняя других принять неразорительное участие. Его звали Больт. Я все это подметил, так как провел на шкуне три дня, и мой первый день окончился глубоким сном внезапно приступившей усталости. Мне отвели койку в кубрике. После виски я съел немного вареной солонины и уснул, открыв глаза, когда уже над столом раскачивалась зажженная лампа.

Пока я курил и думал, пришел Тоббоган. Он обратился ко мне, сказав, что Проктор просит меня зайти к нему в каюту, если я сносно себя чувствую. Я вышел. Волнение стало заметно сильнее к ночи. Шкуна, прилегая с размаха, поскрипывала на перевалах. Спустясь через тесный люк по крутой лестнице, я прошел за Тоббоганом в каюту Проктора. Это было чистое помещение сурового типа и так невелико, что между столом и койкой мог поместиться только мат для вытирания ног. Кюта была основательно прокурена.

Тоббоган вошел со мной, затем он открыл дверь и исчез, надо быть, по своим делам, так как послышался где-то вблизи его разговор с Дэзи. Едва войдя, я понял, что Проктор нуждается в собеседнике: на столе был нарезанный, на опрятной тарелке, копченый язык, и стояла бутылка. Шкипер не обманул меня тем, что начал с торговли, сказав: «Не слышали ли вы что-нибудь относительно хлопковых семян?» Но скоро выяснилась вся моя невинность, а затем Проктор перешел к самому интересному: разговору снова о моей истории. Теперь он выражался тщательнее, чем утром, метя, очевидно, на должную оценку с моей стороны.

— Нам надо сговориться, — сказал Проктор, — как действовать против капитана Геза. Я — свидетель, я подобрал вас, и хотя это случилось единственный раз в моей жизни, один такой раз стоит многих других. Мои люди тоже будут свидетелями. Как вы говорили, что «Бегущая по волнам» идет в Гель-Гью, вы должны будете встретиться с негодяем очень скоро. Не думаю, чтобы он изменил курс, если даже, протрезвась, струсит. У него нет оснований думать, что вы попадете на мою шкуну. В таком случае надо условиться, что вы дадите мне знать, если разбирательство дела произойдет, когда «Нырок» уже покинет Гель-Гью. Это — уголовное дело.



Он стал соображать вслух, рассчитывая дни, и так как из этого ничего не вышло, потому что трудно предусмотреть случайности, я предложил ему говорить об этом в Гель-Гью.

— Ну вот, это еще лучше,— сказал Проктор.— Но вы должны знать, что я за вас, потому что это неслышанно. Бывало, что людей бросали за борт, но не саживали, по крайней мере — как на сушу — за сто миль от берега. Будьте уверены, что ваша история прогремит всюду, где ставят паруса и бросают якорь. Гез — конченный человек, я говорю правду. Он лишился рассудка, если смог поступить так. Однако нам следует теперь выпить, без чего спасение неполное. Теперь вы — как новорожденный и примете морское крещение. Удивляюсь вам,— заметил он, наливая в стаканы.— Я удивлен, что вы так спокойны. Клянусь, у меня было впечатление, что вы подымаетесь на «Нырок», как в собственную квартиру! Хорошо иметь крепкие нервы. А то...

Он поставил стакан и пристально посмотрел на меня.

— Слушаю вас,— сказал я.— Не бойтесь говорить, о чем вам будет угодно.

— Вы видели девушку,— сказал Проктор.— Конечно, нельзя подумать ничего, за что.. Одним словом, надо сказать, что женщина на парусном судне — исключительное явление. Я это знаю.

Он не смутился и, как я правильно понял, считал неприятной необходимостью затронуть этот вопрос после истории с компанией Геза. Поэтому я ответил медленно:

— Славная девушка; она, может быть, ваша дочь?

— Почти что дочь, если она не брыкается,— сказал Проктор.— Моя племянница. Сами понимаете, таскать девушку на шкуне,— это значит править двумя рулями, но тут она не одна. Кроме того, у нее очень хороший характер. Тоббоган за одну копейку получил капитал, так можно сказать про них; и меня, понимаете, бесит, что они, как ни верти, женятся рано или поздно; с этим ничего не поделаешь.

Я спросил, почему ему не нравится Тоббоган.

— Я сам себя спрашивал,— отвечал Проктор,— и простите за откровенность в семейных делах, для вас, конечно, скучных... Но иногда... гм... хочется погово-

рить. Да, я себя спрашивал и раздражался. Правильного ответа не получается. Откровенно говоря, мне отвратительно, что он ходит вокруг нее, как глухой и слепой, а если она скажет: «Тоббоган, влезь на мачту и спустишь головой вниз»,— то он это немедленно сделает в любую погоду. По-моему, нужен ей другой муж. Это между прочим, а все пусть идет, как идет.

К тому времени ром в бутылке стал на уровне ярлыка, и оттого казалось, что качка усилилась. Я двигался вместе со стулом и каютой, как на качелях, иногда расставляя ноги, чтобы не свернуться в пустоту. Вдруг дверь открылась, пропустив Дэзи, которая, казалось, упала к нам сквозь наклонившуюся на меня стену, но, поймав рукой стол, остановилась в позе канатоходца. Она была в башмаках, с брошкой на серой блузе и в черной юбке. Ее повязка лежала аккуратнее, ровно зачеркивая левую часть лица.

— Тоббоган просил вам передать,— сказала Дэзи, тотчас же вперяя в меня одинокий голубой глаз,— что он простоят на вахте сколько нужно, если вам некогда.— Затем она просияла и улыбнулась.

— Вот это хорошо,— ответил Проктор,— а я уж думал, что он ссадит меня, благо есть теперь запасная шляпка.

— Итак, вы очутились у нас,— молвила Дэзи, смотря на меня с стеснением.— Как подумаешь, чего только не случается в море!

— Случается также,— начал Проктор и, обождав, когда из бесконечного запаса улыбок на лице девушки распустилась новая, выжидательная, закончил: — случается, что она уходит, а они остаются.

Дэзи смутилась. Ее улыбка стала исчезать, и я, понимая, как должно быть ей любопытно остаться, сказал:

— Если вы имеете в виду только меня, то, кроме удовольствия, присутствие вашей племянницы ничего не даст.

Заметно довольный моим ответом, Проктор сказал:

— Присядь, если хочешь.

Она села у двери в ногах койки и прижала руку к повязке.

— Все еще болит,— сказала Дэзи.— Такая досада! Очень глупо чувствуешь себя с перекошенной физиономией.

Нельзя было не спросить, и я спросил, чем поврежден глаз.

— Ей надуло, — ответил за нее Проктор. — Но нет ничего такого вроде лекарства.

— Не верьте ему, — возразила Дэзи. — Дело было проще. Я подралась с Больтом, и он наставил мне фонарей...

Я недоверчиво улыбнулся.

— Нет, — сказала она, — никто не дрался. Просто от угля, я засорила глаз углем.

Я посоветовал примачивать крепким чаем.

Она подробно расспросила, как это делают.

— Хотя один глаз, но я первая вас увидела, — сказала Дэзи. — Я увидела лодку и вас. Это меня так поразило, что показалось, будто лодка висит в воздухе. Там есть холодный чай, — прибавила она, вставая. — Я пойду и сделаю, как вы научили. Дать вам еще бутылку?

— Н-нет, — сказал Проктор и посмотрел на меня сложно, как бы ожидая повода сказать «да». Я не хотел пить, поэтому промолчал.

— Да, не надо, — сказал Проктор уверенно. — И завтра такой же день, как сегодня, а этих бутылок всего три. Так вот, она первая увидела вас, и когда я принес трубу, мы рассмотрели, как вы стояли в лодке, опустив руки. Потом вы сели и стали быстро грести.

Разговор еще несколько раз возвращался к моей истории, затем Дэзи ушла, и минут через пять после того я встал. Проктор проводил меня в кубрик.

— Мы не можем предложить вам лучшего помещения, — сказал он. — У нас тесно. Потерпите как-нибудь, немного уже осталось плыть до Гель-Гью. Мы будем, думаю я, вечером послезавтра или же к вечеру.

В кубрике было двое матросов. Один спал, другой обматывал рукоятку ножа тонким, как шнурок, ремнем. На мое счастье, это был неразговорчивый человек. Засыпая, я слышал, как он напевает низким, густым голосом:

Волна бесконечна,  
Всю землю обходит она,  
Не зная беспечно  
Ни неба, ни дна!

## ГЛАВА XIX

Утром ветер утих, но оставался попутным, при ясном небе. «Нырок» делал одиннадцать узлов в час на ровной килевой качке. Я встал с тихой душой и, умываясь на палубе из ведра, чувствовал запах моря. Высунувшись из кормового люка, Тоббоган махнул рукой, крикнув:

— Идите сюда, ваш кофе готов!

Я оделся и, проходя мимо кухни, увидел Дэзи, которая, засучив рукава, жарила рыбу. Повязка отсутствовала, а от опухоли, как она сообщила, осталось легкое утолщение внутри нижнего века.

— Я вся отсырела,— сказала Дэзи,— так я усердно лечилась чаем!

Выразив удовольствие, что случайно дал полезный совет, я спустился в небольшую каюту с маленьким окном в стене кормы, служившую столовой, и сел на скамью к деревянному простому столу, где уже сидел Тоббоган. Он смотрел на меня с приятной и несколько раз откашлялся, но не находил слов или не считал нужным говорить, а потому молчал, изредка оглядываясь. По-видимому, он ждал рыбу или невесту, вернее то и другое. Я спросил, что делает Проктор. «Он спит»,— сказал Тоббоган; затем начал сгребать крошки со стола ребром ладони и оглянулся опять, так как послышалось шипение. Дэзи внесла шипящую сковородку с поджаренной рыбой. Неожиданно Тоббоган обрел дар слова. Он стал хвалить рыбу и спросил, почему девушка — босиком.

— В прошлый раз она наступила на гвоздь,— сказал Тоббоган, подвигая мне сковородку и начиная есть сам.— Она, знаете, неосторожна; как-то чуть не упала за борт.

— Мне нравится ходить босиком,— отвечала Дэзи, наливая нам кофе в толстые стеклянные стаканы; потом села и продолжала: — Мы плыли по месту, где пять миль глубины. Я перегнулась и смотрела в воду: может быть, ничего не увижу, а может, увижу, как это грубоко...

— К северу от Покета,— сказал Тоббоган.

— Вот именно, там. Вдруг закружилась голова, и я повисла; меня тянет упасть. Тоббоган зверски схватил

меня и поволокло, как канат. Ты был очень бледен, Тоббоган, в эту минуту!

Он посмотрел на нее; голод здоровяка и нежность влюбленного образовали на его лице нервную тень.

— Упасть недолго,—сказал он.

— Вам было страшно на лодке? — спросила меня девушка, постукивая ножом.

— Положи нож,—сказал с беспокойством Тоббоган.— Если упадет на ногу, будешь опять скакать на одной ноге.

— Ты несносен сегодня,—заметила Дэзи, улыбаясь и демонстративно втыкая нож возле его локтя. Воткнувшись, нож задрожал, как бы стремясь вырваться.—Вот так ты трепещешь! У вас, верно, есть книги? Мне иногда скучно без книг.

Я пообещал, думая, что разыщу подходящее для нее чтение. «Кроме того,—сказал я, желая сделать приятное человеку, заметившему меня среди моря одним взглядом,—я ожидаю в Гель-Гью присылки книг, и вы сможете взять несколько новых романов». На самом деле я солгал, рассчитывая купить ей несколько томов по своему выбору.

Дэзи застеснялась и немного скокетничала, медленно подняв опущенные глаза. Это у нее вышло удачно: в каюте разлился голубой свет. Тоббоган стал смущенно благодарить, и я видел, что он искренно рад невинному удовольствию девушки.

## ГЛАВА XX

День проходит быстро на корабле. Он кажется долгим вначале: при восходе солнца над океаном смешиваешь пространство с временем. Когда-то еще наступит вечер! Однако, забывая о часах, видишь, что подан обед, а там набегают ночь. После обеда, то есть картофеля с солониной, компота и кофе, я увидел карты и предложил Тоббогану сыграть в покер. У меня была цель: отдать десять — двадцать фунтов, но так, чтобы это считалось выигрышем. Эти люди, конечно, отказались бы взять деньги, я же не хотел уйти, не оставив им некоторую сумму из чувства благодарности. По случайным, отдельным словам можно было догадаться, что дела Проктора не блестящи.

Когда я сделал такое предложение, Дэзи превратилась в вопросительный знак, а Проктор, взяв карты, отбросил их со вздохом и заявил:

— Эта проклятая картонная шайка дорого стоила мне в свое время, а потому дал я клятву и сдержу ее — не играть даже впустую.

Меж тем Тоббоган согласился сыграть — из вежливости, как я думал, — но когда оба мы выложили на стол по несколько золотых, его глаза выдали игрока.

— Играйте, — сказала Дэзи, упирая в стол белые локти с ямочками и положив меж ладоней лицо, — а я буду смотреть. — Так просидела она, затаив дыхание или раздражаясь смехом при проигрыше одного из нас, все время. Как прикованный, сидел Проктор, забывая о своей трубке; лишь по его нервному дыханию можно было судить, что старая игрецкая жила ходит в нем подобно тугой леске. Наконец он ушел, так как били его вахтенные часы.

Таким образом, я погрузился в бой, обнажив грудь и сломав конец своей шпаги. Я мог безнаказанно мошенничать против себя потому, что идея нарочитого проигрыша меньше всего могла прийти в голову Тоббогану. Когда играют двое, покер весьма часто дает крупные комбинации. Мне ничего не стоило бросать свои карты, заявляя, что проиграл, если Тоббоган объявлял значительную для него сумму. Иногда, если мои карты действительно оказывались слабее, я открывал их, чтобы не возникло подозрений. Мы начали играть с мелочи. Тут Тоббоган оказался словоохотлив. Он смеялся, разговаривал сам с собой, выигрывая, критиковал мою тактику. По моей милости ему везло, отчего он приходил во все большее возбуждение. Уже восемнадцать фунтов лежало перед ним, и я соразмерял обстоятельства, чтобы устроить ровно двадцать. Как вдруг, при новой моей сдаче, он сбросил все карты, прикупил новых пять и объявил двадцать фунтов.

Как ни была крупна его карта или просто решимость пугнуть, случилось, что моя сдача себе составила пять червей необыкновенной красоты: десятка, валет, дама, король и туз. С этойкой-то картой я должен был платить ему свой собственный, по существу, выигрыш!

— Идет, — сказал я. — Открывайте карты.

Трясущейся рукой Тоббоган выложил каре и посмотрел на меня, ослепленный удачей. Каково было бы ему видеть монх червей! Я бросил карты вверх крапом и подвинул ему горсть золотых монет.

— Здорово я вас обчистил! — вскричал Тоббоган, сжимая деньги.

Случайно взглянув на Дэзи, я увидел, что она смешивает брошенные мной карты с остальной колодой. С ее красного от смущения лица медленно схлынула кровь, исчезая вместе с улыбкой, которая не вернулась.

— Что у него было? — спросил Тоббоган.

— Три дамы, две девятки, — сказала девушка. — Сколько ты выиграл, Тоббоган?

— Тридцать восемь фунтов, — сказал Тоббоган, хоча. — А ведь я думал, что у вас тоже каре!

— Верни деньги.

— Не понимаю, что ты хочешь сказать, — ответил Тоббоган. — Но, если вы желаете...

— Мое желание совершенно обратное, — сказал я. — Дэзи не должна говорить так, потому что это обидно всякому игроку, а значит, и мне.

— Вот видишь, — заметил Тоббоган с облегчением, — и потому удержи язык.

Дэзи загадочно рассмеялась.

— Вы плохо играете, — с сердцем объявила она, смотря на меня трогательно гневным взглядом, на что я мог только сказать:

— Простите, в следующий раз сыграю лучше.

Должно быть, мой ответ был для нее очень забавен, так как теперь она уже искренно и звонко расхохоталась. Шутливо, но так, что можно было понять, о чем прошу, я сказал:

— Не говорите никому, Дэзи, как я плохо играю, потому что, говорят, если сказать, — всю жизнь игрок будет только платить.

Ничего не понимая, Тоббоган, все еще в огне выигрыша, сказал:

— Уж на меня положитесь. Всем буду говорить, что вы играли великолепно!

— Так и быть, — ответила девушка, — скажу всем то же и я.

Я был чрезвычайно смущен, хотя скрывал это, и ушел под предлогом выбрать для Дэзи книги. Разыскав два

романа, я передал их матросу с просьбой отнести девушке.

Остаток дня я провел наверху, сидя среди канатов.

Около кухни появлялась и исчезала Дэзи; она стирала.

«Нырок» шел теперь при среднем ветре и умеренной качке. Я сидел и смотрел на море.

Кто сказал, что море без берегов — скучное, однообразное зрелище? Это сказал многой, лишенный имени. Нет берегов, — правда, но такая правда прекрасна. Горизонт чист, правилен и глубок. Строгая чистота круга, полного одних волн, подробно ясных вблизи; на отдалении они скрываются одна за другой; на горизонте же лишь едва трогают отчетливую линию неба, как если смотреть туда в неправильное стекло. Огромной мерой отпущены пространство и глубина, которую, постепенно начав чувствовать, видишь под собой без помощи глаз. В этой безответственности морских сил, недоступных ни учету, ни ясному сознанию их действительного могущества, явленного вечной картиной, есть заразительная тревога. Она подобна творческому инстинкту при его пробуждении.

Услышав шаги, я обернулся и увидел Дэзи, подкравшуюся ко мне с стесненным лицом, но она тотчас же улыбнулась и, пристально всмотревшись в меня, села на канат.

— Нам надо поговорить, — сказала Дэзи, опустив руку в карман передника.

Хотя я догадывался, в чем дело, однако притворился, что не понимаю. Я спросил:

— Что-нибудь серьезное?

Она взяла мою руку, вспыхнула и сунула в нее — так быстро, что я не успел сообразить ее намерение, — тяжелый сверток. Я развернул его. Это были деньги — те тридцать восемь фунтов, которые я проиграл Тоббогану. Дэзи вскочила и хотела убежать, но я ее удержал. Я чувствовал себя весьма глупо и хотел, чтобы она успокоилась.

— Вот это весь разговор, — сказала она, покорно возвращаясь на свой канат. В ее глазах блестели слезы смущения, на которые она досадовала сама. — Спрячьте деньги, чтобы я их больше не видела. Ну зачем это было подстроено? Вы мне испортили весь день. Прежде всего,



как я могла объяснить Тоббогану? Он даже не поверил бы. Я побилась с ним и доказала, что деньги следует возвратить.

— Милая Дэзи,— сказал я, тронутый ее гордостью,— если я виноват, то, конечно, только в том, что не смешал карты. А если бы этого не случилось, то есть не было бы доказательства,— как бы вы тогда отнеслись?

— Никак, разумеется; проигрыш есть проигрыш. Но я все равно была бы очень огорчена. Вы думаете — я не понимаю, что вы хотели? Оттого, что нам нельзя предложить деньги, вы вознамерились их проиграть, в виде, так сказать, благодарности, а этого ничего не нужно. И я не принуждена была бы делать вам выговор. Теперь поняли?

— Отлично понял. Как вам понравились книги?

Она помолчала, еще не в силах сразу перейти на мирные рельсы.

— Заглавия интересные. Я посмотрела только заглавия — все было некогда. Вечером сяду и читаю. Вы меня извините, что погорячилась. Мне теперь совестно самой, но что же делать? Теперь скажите, что вы не сердитесь и не обиделись на меня.

— Я не сержусь, не сердился и не буду сердиться.

— Тогда все хорошо, и я пойду. Но есть еще разговор...

— Говорите сейчас, иначе вы раздумаете.

— Нет, это я не могу раздумать, это очень важно. А почему важно? Не потому, что особенное что-нибудь, однако я хожу и думаю: угадала или не угадала? При случае поговорим. Надо вас покормить, а у меня еще не готово, приходите через полчаса.

Она поднялась, кивнула и поспешила к себе на кухню или еще в другое место, связанное с ее деловым днем.

Сцена эта заставила меня устыдиться: девушка показала себя настоящей хозяйкой, тогда как — надо признаться — я вознамерился сыграть роль хозяина. Но что она хотела еще подвергнуть обсуждению? Я мало думал и скоро забыл об этом; как стемнело, все сели ужинать, по случаю духоты, наверху, перед кухней. Тоббоган встретил меня немного сухо, но так как о происшествии с картами все молчаливо условились не поднимать разговора, то скоро отошел; лишь иногда взглядывал на меня задумчиво, как бы говоря: «Она права, но от де-

нег трудно отказаться, черт побери». Проктор, однако, обращался ко мне с усиленным радушием, и если он знал что-нибудь от Дэзи, то ему был, верно, приятен ее поступок; он на что-то хотел намекнуть, сказав: «Человек предполагает, а Дэзи располагает!» Так как в это время люди ели, а девушка убирала и подавала, то один матрос заметил:

— Я предполагал бы, понимаете, съесть индейку. А она расположила солонину.

— Молчи,— ответил другой,— завтра я поведу тебя в ресторан.

На «Нырке» питались однообразно, как питаются вообще на небольших парусниках, которым за десять — двадцать дней плавания негде достать свежей провизии и негде хранить ее. Консервы, солонина, макароны, компот и кофе — больше есть было нечего, но все поглощалось огромными порциями. В знак душевного мира, а может быть, и различных надежд, какие чаще бывают мухами, чем пчелами, Проктор налил всем по стакану рома. Солище давно село. Нам светила керосиновая лампа, поставленная на крыше кухни.

Баковый матрос закричал:

— Слева огонь!

Проктор пошел к рулю. Я увидел впереди «Нырка» многочисленные огни огромного парохода. Он прошел так близко, что слышен был стук винтового вала. В пространных под палубами среди света сидели и расхаживали пассажиры. Эта трехтрубная высокая громада, когда мы разминулись с ней, отошла, поворотившись кормой, усеянной огненными отверстиями, и расстилая колеблющуюся, озаренную пелену пены.

«Нырок» сделал маневр, отчего при парусах заняты были все, а я и Дэзи стояли, наблюдая удаление парохода.

— Вам следовало бы попасть на такой пароход,— сказала девушка.— Там так отлично. Все удобно, все есть, как в большой гостинице. Там даже танцуют. Но я никогда не бывала на роскошных пароходах. Мне даже послышалось, что играет музыка.

— Вы любите танцы?

— Люблю конфеты и танцы.

В это время подошел Тоббоган и встал сзади, засунув руки в карманы.

— Лучше бы ты научила меня,— сказал он,— как танцевать.

— Это ты так теперь говоришь. Ты не можешь: уже я учила тебя.

— Не знаю отчего,— согласился Тоббоган,— но, когда держу девушку за талию, а музыка вдруг раздастся, ноги делаются, точно мешки. Стою: ни взад, ни вперед.

Постепенно собрались опять все, но ужин был кончен, и разговор начался о пароходе, в котором Проктор узнал «Лео».

— Он из Австралии; это рейсовый пароход Тихоокеанской компании. В нем двадцать тысяч тонн.

— Я говорю, что на «Лео» лучше, чем у нас,— сказала Дэзи.

— Я рад, что попал к вам,— возразил я,— хотя бы уж потому, что мне с тем пароходом не по пути.

Проктор рассказал случай, когда пароход не остановился принять с шлюпки потерпевших крушение. Отсюда пошли рассказы о разных происшествиях в океане. Создалось словоохотливое настроение, как бывает в теплые вечера, при хорошей погоде и при сознании, что близок конец пути.

Но как ни искушены были эти моряки в историях о плавающих бутылках, встречаемых ночью ледяных горах, бунтах экипажей и потрясающих шквалах, я увидел, что им неизвестна история «Марии Целесты», а также пятимесячное блуждание в шлюпке шести человек, о котором писал М. Твен, положив тем начало своей известности.

Как только я кончил говорить о «Целесте», богатое воображение Дэзи закружило меня и всех самыми неожиданными догадками. Она была чрезвычайно взволнована и обнаружила такую изобретательность сыска, что я не успевал придумать, что ей отвечать.

— Но может ли быть,— говорила она,— что это произошло так...

— Люди думали пятьдесят лет,— возражал Проктор, но, кто бы ни возражал, в ответ слышалось одно:

— Не перебивайте меня! Вы понимаете: обед стоял на столе, в кухне топилась плита! Я говорю, что на них напала болезнь! Или, может быть, не болезнь, а они уви-

дели мираж! Красивый берег, остров или снежные горы! Они поехали на него все.

— А дети? — сказал Проктор. — Разве не оставила бы ты детей, да при них, скажем, ну, хотя двух матросов?

— Ну что же! — Она не смущалась ничем. — Дети хотели больше всего. Пусть мне объяснят в таком случае!

Она сидела, подобрав ноги, и, упираясь руками в палубу, ползала от возбуждения взад-вперед.

— Раз ничего не известно, понимаешь? — ответил Тоббоган.

— Если не чума и мираж, — объявила Дэзи без малейшего смущения, — значит, в подводной части была дыра. Ну да, вы заткнули ее языком; хорошо. Представьте, что они хотели сделать загадку...

Среди ее бесчисленных версий, которыми она сыпала без конца, так что я многие позабыл, слова о «загадке» показались мне интересны; я попросил объяснить.

— Понимаете — они ушли, — сказала Дэзи, махнув рукой, чтобы показать, как ушли, — а зачем это было нужно, вы видите по себе. Как вы ни думайте, решить эту задачу бессильны и вы, и я, и он, и все на свете. Так вот, — они сделали это нарочно. Среди них, верно, был такой человек, который, может быть, любил придумывать штуки. Это — капитан. «Пусть о нас останется память, легенда, и никогда чтобы ее не объяснить никому!» Так он сказал. По пути попало им судно. Они сговорились с ним, чтобы пересечь на него, и пересели, а свое бросили.

— А дальше? — сказал я, после того как все устались на девушку, ничего не понимая.

— Дальше не знаю. — Она засмеялась с усталым видом, вдруг остыв, и слегка хлопнула себя по щекам, наивно раскрыв рот.

— Все знала, а теперь вдруг забыла, — сказал Проктор. — Никто тебя не понял, что ты хотела сказать.

— Мне все равно, — объявила Дэзи. — Но вы — поняли?

Я сказал «да» и прибавил:

— Случай этот так поразителен, что всякое объяснение, как бы оно ни было правдоподобно, остается бездоказательным.

— Темная история,— сказал Проктор.— Слышал я много басен, да и теперь еще люблю слушать. Однако над иными из них задумаешься. Слышали вы о Фрези Грант?

— Нет,— сказал я, вздрогнув от неожиданности.

— Нет?

— Нет? — подхватила Дэзи тоном выше.— Давайте расскажем Гарвею о Фрези Грант. Ну, Больт,— обратилась она к матросу, стоявшему у борта,— это по твоей специальности. Никто не умеет так рассказать, как ты, историю Фрези Грант. Сколько раз ты ее рассказывал?

— Тысячу пятьсот два,— сказал Больт, крепкий человек с черными глазами и ироническим ртом, спрятанным в курчавой бороде скифа.

— Уже врешь, но тем лучше. Ну, Больт, мы сидим в обществе, в гостиной, у нас гости. Смотри отличись.

Пока длилось это вступление, я заставил себя слушать, как посторонний, не знающий ничего.

Больт сел на складной стул. У него были приемы рассказчика, который ценит себя. Он прочесал бороду пальтерней вверх, открыл рот, слегка свесив язык, обвел всех отсутствующим взглядом, провел огромной ладонью по лицу вниз, крикнул и подсел ближе.

— Лет сто пятьдесят назад,— сказал Больт,— из Бостона в Индию шел фрегат «Адмирал Фосс». Среди других пассажиров был на этом корабле генерал Грант, и с ним ехала его дочь, замечательная красавица, которую звали Фрези. Надо вам сказать, что Фрези была обручена с одним джентльменом, который года два уже служил в Индии и занимал важную должность. Какая была должность,— стоит ли говорить? Если вы скажете — «стоит», вы проиграли, так как я этого не знаю. Надо вам сказать, что когда я раньше излагал эту занимательную историю, Дэзи всячески старалась узнать, в какой должности был жених-джентльмен, и если не спрашивает теперь...

— То тебе нет до того никакого дела,— перебила Дэзи.— Если забыл, что дальше,— спроси меня, я тебе расскажу.

— Хорошо,— сказал Больт.— Обращаю внимание на то, что она сердится. Как бы то ни было,

«Адмирал Фосс» был в пути полтора месяца, когда на рассвете вахта заметила огромную волну, шедшую при спокойном море и умеренном ветре с юго-востока. Шла она с быстротой бельевого катка. Конечно, все испугались, и были приняты меры, чтобы утонуть, так сказать, красиво, с видимостью, что погибают не бестолковые моряки, которые никогда не видали вала высотой метров в сто. Однако ничего не случилось. «Адмирал Фосс» пополз вверх, стал на высоте колокольни св. Петра и пошел вниз так, что, когда опустился, быстрота его хода была тридцать миль в час. Само собою, что паруса успели убрать, иначе встречный, от движения, ветер перевернул бы фрегат волчком.

Волна прошла, ушла и больше другой такой волны не было. Когда солнце стало садиться, увидели остров, который ни на каких картах не значился; по пути «Фосса» не мог быть на этой широте остров. Рассмотрев его в подзорные трубы, капитан увидел, что на нем не заметно ни одного дерева. Но был он прекрасен, как драгоценная вещь, если положить ее на синий бархат и смотреть снаружи, через окно: так и хочется взять. Он был из желтых скал и голубых гор, замечательной красоты.

Капитан тотчас записал в корабельный журнал, что произошло, но к острову не стал подходить, потому что увидел множество рифов, а по берегу отвес, без бухты и отмели. В то время как на мостике собралась толпа и толковала с офицерами о странном явлении, явилась Фрези Грант и стала просить капитана, чтобы он пристал к острову — посмотреть, какая это земля. «Мисс,— сказал капитан,— я могу открыть новую Америку и сделать вас королевой, но нет возможности подойти к острову при глубокой посадке фрегата, потому что мешают буруны и рифы. Если же снарядить шлюпку, это нас может задержать, а так как возникло опасение быть застигнутыми штилем, то надобно спешить нам к югу, где есть воздушное течение».

Фрези Грант, хотя была доброй девушкой,— вот, скажем, как наша Дэзи... Обратите внимание, джентльмены, на ее лицо при этих моих словах. Так я говорю о Фрези. Ее все любили на корабле. Однако в ней сидел женский черт, и если она что-нибудь задумывала, удерживать ее являлось задачей.

— Слушайте! Слушайте! — вскричала Дэзи, подпирая подбородок рукой и расширяя глаза. — Сейчас начинается!

— Совершенно верно, Дэзи, — сказал Больт, обкусывая свой грязный ноготь. — Вот оно и началось, как это бывает у барышень. Иначе говоря, Фрези стояла, закусив губу. В это время, как на грех, молодой лейтенант вздумал ей сказать комплимент. «Вы так легки, — сказал он, — что при желании могли бы пробежать к острову по воде и вернуться обратно, не замочив ног». Что же вы думаете? «Пусть будет по-вашему, сэр, — сказала она. — Я уже дала себе слово быть там, и я сдержу его или умру». И вот, прежде чем успели протянуть руку, вскочила она на поручни, задумалась, побледнела и всем махнула рукой. «Прощайте! — сказала Фрези. — Не знаю, что делается со мной, но отступить уже не могу». С этими словами она спрыгнула и, вскрикнув, остановилась на волне, как цветок. Никто, даже ее отец, не мог сказать слова, так все были поражены. Она обернулась и, улыбнувшись, сказала: «Это не так трудно, как я думала. Передайте моему жениху, что он меня более не увидит. Прощай и ты, милый отец! Прощай, моя родина!»

Пока это происходило, все стояли, как связанные. И вот, с волны на волну, прыгая и перескакивая, Фрези Грант побежала к тому острову. Тогда опустился туман, вода дрогнула, и, когда туман рассеялся, не видно было ни девушки, ни того острова: как он поднялся из моря, так и опустился снова на дно. Дэзи, возьми платок и вытри глаза.

— Всегда плачу, когда доходит до этого места, — сказала Дэзи, сердито сморкаясь в вытасченный ею из кармана Тоббогана платок.

— Вот и вся история, — закончил Больт. — Что было на корабле потом, конечно, не интересно, а с тех пор пошел слух, что Фрези Грант иногда видели то тут, то там, ночью или на рассвете. Ее считают заботящейся о потерпевших крушение, между прочим; и тот, кто ее увидит, говорят, будет думать о ней до конца жизни.

Больт не подозревал, что у него не было никогда такого внимательного слушателя, как я. Но это заметила Дэзи и сказала:

— Вы слушали, как кошка мышь. Не встретили ли вы ее, бедную Фрези Грант? Признайтесь!

Как ни был шутлив вопрос, все моряки немедленно повернули головы и стали смотреть мне в рот.

— Если это была та девушка,— сказал я, естественно, не рискуя ничем,— девушка в кружевном платье и золотых туфлях, с которой я говорил на рассвете,— то, значит, это она и была.

— Однако! — воскликнул Проктор.— Что, Дэзи, вот тебе задача.

— Именно так она и была одета,— сказал Болт.— Вы раньше слышали эту сказку?

— Нет, я не слышал ее,— сказал я, охваченный порывом встать и уйти.— Но мне почему-то казалось, что это так.

На этом разговор кончился, и все разошлись. Я долго не мог заснуть: лежа в кубрике, прислушиваясь к плеску воды и храпу матросов, я уснул около четырех, когда вахта сменилась. В это утро все проспало несколько дольше, чем всегда. День прошел без происшествий, которые стоило бы отметить в их полном развитии. Мы шли при отличном ветре, так что Болт сказал мне:

— Мы решили, что вы нам принесли счастье. Честное слово. Еще не было за весь год такого ровного рейса.

С утра уже овладело мной нетерпение быть на берегу. Я знал, что этот день — последний день плавания, и потому тянулся он дольше других дней, как всегда бывает в конце пути. Кому не знаком зуд в спине? Чувство быстроты в неподвижных ногах? Расстояние получает враждебный оттенок. Существо наше усиливается придать скорость кораблю; мысль, множество раз побывав на воображаемом берегу, должна неохотно возвращаться в медлительно ползущее тело. Солнце всячески уклоняется подняться к зениту, а достигнув его, начинает опускаться со скоростью человека, старательно метущего лестницу.

После обеда, то уходя на палубу, то в кубрик, я увидел Дэзи, вышедшую из кухни вылить ведро с водой за борт.

— Вот, вы мне нужны,— сказала она, застенчиво улыбаясь, а затем стала серьезной.— Зайдите в кухню,



как я вылью это ведро, у борта нам говорить неудобно, хотя, кроме глупостей, вы от меня ничего не услышите. Мы ведь не договорили вчера. Тоббоган не любит, когда я разговариваю с мужчинами, а он стоит у руля и делает вид, что закуривает.

Согласившись, я посидел на трюме, затем прошел в кухню за крылом паруса.

Дэзи сидела на табурете и сказала: «Сядьте», причем хлопнула по коленям руками. Я сел на бочонок и приготовился слушать.

— Хотя это невежливо, — сказала девушка, — но меня почему-то заботит, что я не все знаю. Не все вы рассказали нам о себе. Я вчера думала. Знаете, есть что-то загадочное. Вернее, вы сказали правду, но об одном умолчали. А что это такое — одно? С вами в море что-то случилось. Отчего-то мне вас жаль. Отчего это?

— О том, что вы не договорили вчера?

— Вот именно. Имею ли я право знать? Решительно — никакого. Так вы и не отвечайте тогда.

— Дэзи, — сказал я, доверяясь ее наивному любопытству, обнаружить которое она могла, конечно, только по невозможности его укротить, а также — ее пронизательности, — вы не ошиблись. Но я сейчас в особом состоянии, совершенно особом, таком, что не мог бы сказать так, сразу. Я только обещаю вам не скрыть ни чего, что было на море, и сделаю это в Гель-Гью.

— Вас испугало что-нибудь? — сказала Дэзи и, помолчав, прибавила: — Не сердитесь на меня. На меня иногда находят, так что все поражаются; я вот все время думаю о вашей истории, и я не хочу, чтобы у вас осталась обо мне память, как о любопытной девчонке.

Я был тронут. Она подала мне обе руки, встряхнула мои и сказала:

— Вот и все. Было ли вам хорошо здесь?

— А вы как думаете?

— Никак. Судно маленькое, довольно грязное, и никакого веселья. Кормеж тоже оставляет желать многого. А почему вы сказали вчера о кружевном платье и золотых туфлях?

— Чтобы у вас стали круглые глаза, — смеясь, ответил я ей. — Дэзи, есть у вас отец, мать?

— Были, конечно, как у всякого порядочного человека. Отца звали Ричард Бенсон. Он пропал без вести в Красном море. А моя мать простудилась насмерть лет пять назад. Зато у меня хороший дядя; кисловат, правда, но за меня пойдет в огонь и воду. У него нет больше племяншей. А вы верите, что была Фреззи Грант?

— А вы?

— Это мне нравится! Вы, вы, вы! — верите или нет?! Я безусловно верю и скажу — почему.

— Я думаю, что это могло быть, — сказал я.

— Нет, вы опять шутите. Я верю потому, что от этой истории хочется что-то сделать. Например, стукнуть кулаком и сказать: «Да, человека не понимают».

— Кто не понимает?

— Все. И он сам не понимает себя.

Разговор был прерван появлением матроса, пришедшего за огнем для трубки. «Скоро ваш отдых», — сказал он мне и стал копать в углях. Я вышел, заметив, как пристально смотрела на меня девушка, когда я уходил. Что это было? Отчего так занимала ее история, одна половина которой лежала в тени дня, а другая — в свете ночи?

Перед прибытием в Гель-Гью я сидел с матросами и узнал от них, что никто из моих спасителей ранее в этом городе не был. В судьбе малых судов типа «Нырка» случаются одиссеи в тысячу и даже в две и три тысячи миль — выход в большой свет. Прежний капитан «Нырка» был арестован за меткую стрельбу в казино «Фортуна». Проктор был владельцем «Нырка» и половины шкуны «Химена». После ареста капитана он сел править «Нырком» и взял фрахт в Гель-Гью, не смущаясь расстоянием, так как хотел поправить свои денежные обстоятельства.

## ГЛАВА ХХІ

В десять часов вечера показался маячный огонь; мы подходили к Гель-Гью.

Я стоял у штирборта с Проктором и Больтом, наблюдая странное явление. По мере того как усиливалась яркость огня маяка, верхняя черта длинного мыса, отделяющего гавань от океана, становилась явственно видной, так как за ней плавал золотистый туман — обшир-

ный световой слой. Явление это, свойственное лишь большим городам, показалось мне чрезмерным для сравнительно небольшого Гель-Гью, о котором я слышал, что в нем пятьдесят тысяч жителей. За мысом было нечто вроде желтой зари. Проктор принес трубу, но не рассмотрел ничего, кроме построек на мысе, и высказал предположение, не есть ли это отсвет большого пожара.

— Однако нет дыма,— сказала подошедшая Дэзи.— Вы видите, что свет чист; он почти прозрачен.

В тишине вечера я начал различать звук, неопределенный, как бормотание; звук с припевом, с гулом труб, и я вдруг понял, что это — музыка. Лишь я открыл рот сказать о догадке, как послышались далекие выстрелы, на что все тотчас обратили внимание.

— Стреляют и играют! — сказал Болт.— Стреляют довольно бойко.

В это время мы начали проходить маяк.

— Скоро узнаем, что оно значит,— сказал Проктор, отправляясь к рулю, чтобы ввести судно на рейд. Он сменил Тоббогана, который немедленно подошел к нам, тоже выражая удивление относительно яркого света и стрельбы.

Судно сделало поворот, причем паруса заслонили открывшуюся гавань. Все мы поспешили на бак, ничего не понимая, так были удивлены и восхищены развернувшимся зрелищем, острым и прекрасным во тьме, полной звезд.

Половина горизонта предстала нашим глазам в блеске иллюминации. В воздухе висела яркая золотая сеть; сверкающие гирлянды, созвездия, огненные розы и шары электрических фонарей были, как крупный жемчуг среди золотых украшений. Казалось, стеклись сюда огни всего мира. Корабли рейда сияли, осыпанные белыми лучистыми точками. На барке, черной внизу, с освещенной, как при пожаре, палубой вертелось, рассыпая искры, огненное алмазное колесо, и несколько ракет выбежали из-за крыш на черное небо, где, медленно завернув вниз, потухли, выронив зеленые и голубые падучие звезды. В то же время стала явственно слышна музыка; дневной гул толпы, доносившийся с набережной, иногда заглушал ее, оставляя один лишь стук барабана, а потом отпускал снова, и она отчетливо раздавалась по воде,— то, что называется: «играет в ушах». Играл не один

оркестр, а два, три... может быть, больше, так как иногда наступало толкущееся на месте смешение звуков, где только барабан знал, что ему делать. Рейд и гавань были усеяны шлюпками, полными пассажиров и фонарей. Снова началась яростная пальба. С шлюпок звенели гитары; были слышны смех и крики.

— Вот так Гель-Гью,— сказал Тоббоган.— Какая нам, можно сказать, встреча!

Береговой ответ был так силен, что я видел лицо Дэзи. Оно, сияющее и пораженное, слегка вздрагивало. Она старалась поспеть увидеть всюду; едва ли замечала, с кем говорит, была так возбуждена, что болтала не переставая.

— Я никогда не видала таких вещей,— говорила она.— Как бы это узнать? Впрочем... О! о! о! Смотрите, еще ракета! И там; а вот — сразу две. Три! Четвертая! Ура! — вдруг закричала она, засмеялась, утерла влажные глаза и села с окаменелым лицом.

Фок упал. Мы подошли с приспущенным гротом, и «Нырок» бросил якорь вблизи железного буя, в кольцо которого был поспешно продет кормовой канат. Я бродил среди суматохи, встречая иногда Дэзи, которая появлялась у всех бортов, жадно оглядывая сверкающий рейд.

Все мы были в несколько приподнятом, припадочном состоянии.

— Сейчас решили,— сказала Дэзи, сталкиваясь со мной.— Все едем; останется один матрос. Конечно, и вы стремитесь попасть скорее на берег?

— Само собой.

— Ничего другого не остается,— сказал Проктор.— Конечно, все поедем немедленно. Если приходишь на темный рейд и слышишь, что бьет три склянки, ясно — торопиться некуда, но в таком деле и я играю ногами.

— Я умираю от любопытства! Я иду одеваться! А! О! — Дэзи поспешила, споткнулась и бросилась к борту.— Кричите им! Давайте кричать! Эй! Эй! Эй!

Это относилось к большому катеру, на корме и носу которого развевались флаги, а борты и тент были увешаны цветными фонариками.

— Эй, на катере! — крикнул Болт так громко, что гребцы и дамы, сидевшие там веселой компанией, пере-

стали грести.— Приблизьтесь, если не трудно, и объясните, отчего вы не можете спать!

Катер подошел к «Нырку»; на нем кричали и хохотали.

Как он подошел, на палубе нашей стало совсем светло, мы ясно видели их, они — нас.

— Да это карнавал! — сказал я, отвечая возгласам Дэзи.— Они в масках; вы видите, что женщины в масках!

Действительно, часть мужчин представляла театральное сборище индейцев, маркизов, шутов; на женщинах были шелковые и атласные костюмы различных национальностей. Их полумаски, лукавые маленькие подбородки и обнаженные руки несли веселую маскарадную жуть.

На шлюпке встал человек, одетый в красный камзол с серебряными пуговицами и высокую шляпу, украшенную зеленым пером.

— Джентльмены! — сказал он, неистово скрежеща зубами, и, показав нож, потряс им.— Как смее вы явиться сюда, подобно грязным трубочистам к ослепительным булочникам? Скорее зажигайте все, что горит. Зажгите ваше судно! Что вы хотите от нас?

— Скажите, — крикнула, смеясь и смущаясь, Дэзи, — почему у вас так ярко и весело? Что такое произошло?

— Дети, откуда вы? — печально сказал пьяный толстяк в белом балахоне с голубыми помпонами.

— Мы из Риоля, — ответил Проктор.— Соболагово-лите сказать что-либо дельное.

— Они действительно ничего не знают! — закричала женщина в полумаске.— У нас карнавал, понимаете?! Настоящий карнавал и все удовольствия, какие хотите!

— Карнавал! — тихо и торжественно произнесла Дэзи.— Господи, прости и помилуй!

— Это карнавал, джентльмены, — повторил красный камзол. Он был в экстазе.— Нигде нет; только у нас по случаю столетия основания города. Поняли? Девушка недурна. Давайте ее сюда, она споет и станцует. Бедняжка, как пылают ее глазенки! А что, вы не украли ее? Я вижу, что она намерена прокатиться.

— Нет, нет! — закричала Дэзи.

— Жаль, что нас разъединяет вода,— сказал Тоббоган, я бы показал вам новую красивую маску.

— Вы, что же, не понимаете карнавалы шуток? — спросил пьяный толстяк. — Ведь это шутка!

— Я... я... понимаю карнавалы шутки,— ответил Тоббоган нетвердо, после некоторого молчания,— но понимаю еще, что слышал такие вещи без всякого карнавала, или как там оно называется.

— От души вас жалею! — закричали женщины. — Так вы присматривайте за своей душечкой!

— На память! — вскричал красный камзол. Он размахнулся, и серпантинная лента длинной спиралью спустилась на руку Дэзи, схватившей ее с восторгом. Она повернулась, сжав в кулаке ленту, и залилась смехом.

Меж тем компания на шлюпке удалилась, осыпая нас причудливыми шуточными проклятиями и советуя поспешить на берег.

— Вот какое дело! — сказал Проктор, скребя лоб.

Дэзи уже не было с нами.

— Конечно. Пошла одеваться,— заметил Болт. — А вы, Тоббоган?

— Я тоже поеду,— медленно сказал Тоббоган, размышляя о чем-то. — Надо ехать. Должно быть, весело; а уж ей будет совсем хорошо.

— Отправляйтесь,— решил Проктор,— а я с ребятами тоже посижу в баре. Надеюсь, вы с нами? Помните о ночлеге. Вы можете ночевать на «Нырке», если хотите.

— Если будет надобность,— ответил я, не зная еще, что может быть,— я воспользуюсь вашей добротой. Вещи я оставляю пока у вас.

— Располагайтесь, как дома,— сказал Проктор. — Места хватит.

После того все весело и с нетерпением разошлись одеваться. Я понимал, что неожиданно создавшееся, после многих дней затерянного пути в океане, торжественное настроение ночного праздника требовало выхода, а потому не удивился единогласию этой поездки. Я видел карнавал в Риме и Ницце, но карнавал поблизости тропиков, перед лицом океана, интересовал и меня. Главное же, я знал и был совершенно убежден в том, что встречу Биче Сениэль, девушку, память о которой лежа-

ла во мне все эти дни светлым и неясным движением мыслей.

Мне пришлось собираться среди матросов, а потому мы взаимно мешали друг другу. В тесном кубрике, среди раскрытых сундуков, едва было где повернуться. Болът взял взаймы у Перлина. Чеккер у Смита. Они считали деньги и брились наспех, пеня лицо куском мыла. Кто зашнуровывал ботинки, кто считал деньги. Болът поздравил меня с прибытием, и я, отозвав его, дал ему пять золотых на всех. Он сжал мою руку, подмигнул, обещал удивить товарищей громким заказом в гостинице и лишь после того открыть, в чем секрет.

Напутствуемый пожеланиями веселой ночи, я вышел на палубу, где застал Дэзи в новом кисейном платье и кружевном золотисто-сером платке, под руку с Тоббоганом, на котором мешковато сидел синий костюм с малиновым галстуком; между тем его правильному, загорелому лицу так шел раскрытый ворот просмоленной парусиновой блузы. Фуражка с ремнем и золотым якорем окончательно противоречила галстуку, но он так счастливо улыбался, что мне не следовало ничего замечать. Гремя каблуками, выполз из каюты и Проктор; старик остался верен своей поношенной чесучовой куртке и голубому платку вокруг шеи; только его белая фуражка с черным прямым козырьком дышала свежестью материнской заботы Дэзи.

Дэзи волновалась, что я заметил по ее стесненному вздоху, с каким оправила она рукав, и нетвердой улыбке. Глаза ее блестели. Она была не совсем уверена, что все хорошо на ней. Я сказал:

— Ваше платье очень красиво.

Она засмеялась и кокетливо перекинула платок ближе к тонким бровям.

— Действительно вы так думаете? — спросила она. — А знаете, я его шила сама.

— Она все шьет сама, — сказал Тоббоган.

— Если, как хвастается, будет ему женой, то... — Проктор договорил странно: — такую жену никто не выдумает, она родилась сама.

— Пошли, пошли! — закричала Дэзи, счастливо оглядываясь на подошедших матросов. — Вы зачем долго копались?

— Просим прощения, Дэзи,— сказал Болът.— Спрыскивались духами и запасались сувенирами для здешних барышень.

— Все врешь,— сказала она.— Я знаю, что ты женат. А вы, что вы будете делать в городе?

— Я буду ходить в толпе, смотреть; зайду поужинать и — или найду пристанище, или вернусь переночевать на «Нырок».

В то время матросы попрыгали в шлюпку, стоявшую на воде у кормы Шлюпка «Бегущей» была подвешена к таям, и Дэзи стукнула по ней рукой, сказав:

— Ваша берлога, в которой вы разъезжали. Как думаешь,— обратилась она к Проктору,— могло уже явиться сюда это судно: «Бегущая по волнам»?

— Уверен, что Гез здесь,— ответил Проктор на ее вопрос мне.— Завтра, я думаю, вы займетесь этим делом, и вы можете рассчитывать на меня.

Я сам ожидал встречи с Гезом и не раз думал, как это произойдет, но я знал также, что случай имеет теперь иное значение, чем простое уголовное преследование. Поэтому, благодаря Проктора за его сочувствие и за справедливый гнев, я не намеревался ни торопиться, ни заявлять о своем рвении

— Сегодня не день дел,— сказал я,— а завтра я все обдумаю.

Наконец мы уселись; толчки весел, понесших нас прочь от «Нырка» с его одиноким мачтовым фонарем, ввели наше внутреннее нетерпеливое движение в круг общего движения ночи. Среди теней волн плескался, рассыпаясь подводными искрами, блеск огней. Огненные извивы струились от набережной к тьме, и музыка стала слышна, как в зале. Мы встретили несколько богато разукрашенных шлюпок и паровых катеров, казавшихся веселыми призраками, так ярко были они озарены среди сумеречной волны. Иногда нас окликали хором, так что нельзя было разобрать слов, но я понимал, что катающиеся бранят нас за мрачность нашей поездки. Мы проехали мимо парохода, превращенного в люстру, и стали приближаться к набережной. Там шла, бежала и перебегала толпа. Среди яркого света увидел я восемь лошадей в султанах из перьев, кативших огромное сооружение из башенок и ковров, увитое апельсинным цветом. На платформе этого сооружения плясали люди



в зеленых цилиндрах и оранжевых сюртуках; вместо лиц были комические, толстошекие маски и чудовищные очки. Там же вертелись дамы в коротких голубых юбках и полумасках; они, махая длинными шарфами, отплясывали, подбоченья весьма лихо. Вокруг несли факелы.

— Что они делают? — вскричала Дэзи. — Это кто же такие?

Я объяснил ей, что такое маскарадные выезды и как их устраивают на юге Европы. Тоббоган задумчиво произнес:

— Подумать только, какие деньги брошены на пустяки!

— Это не пустяки, Тоббоган, — живо отозвалась девушка. — Это праздник. Людям нужен праздник хоть изредка. Это ведь хорошо — праздник! Да еще какой!

Тоббоган, помолчав, ответил:

— Так или не так, а я думаю, что если бы мне дать одну тысячную часть этих загубленных денег, — я построил бы дом и основал бы неплохое хозяйство.

— Может быть, — рассеянно сказала Дэзи. — Я не буду спорить, только мы тогда, после двадцати шести дней пустынного океана, не увидели бы всей этой красоты. А сколько еще впереди!

— Держи к лестнице! — закричал Проктор матросу. — Убирай весла!

Шлюпка подошла к намеченному месту — каменной лестнице, спускающейся к квадратной площадке, и была привязана к кольцу, ввинченному в плиту. Все повысыпали наверх. Проктор запер вокруг весел цепь, повесил замок, и мы разделились. Как раз неподалеку была гостиница.

— Вот мы пока и пришли, — сказал Проктор, отходя с матросами, — а вы решайте, как быть с дамой, нам с вами не по пути.

— До свидания, Дэзи, — сказал я танцующей от нетерпения девушке.

— А... — начала она и посмотрела мельком на Тоббогана.

— Желаю вам веселиться, — сказал моряк. — Ну, Дэзи, идем.

Она оглянулась на меня, помахала поднятой вверх рукой, и я почти сразу потерял их из вида в проноса-

щейся ураганом толпе, затем осмотрелся, с волнением ожидания и с именем, впервые, после трех дней, снова зазвучавшим как отчетливо сказанное вблизи: «Биче Сениэль». И я увидел ее незабываемое лицо.

С этой минуты мысль о ней не покидала уже меня, и я пошел в направлении главного движения, которое заворачивало от набережной через открытую с одной стороны площадь. Я был в неизвестном городе,— чувство, которое я особенно люблю. Но, кроме того, он предстал мне в свете неизвестного торжества, и, погружаясь в заразительно яркую суету, я стал рассматривать, что происходит вокруг; шел я не торопясь и никого не расспрашивал, так же, как никогда не хотел знать названия поразивших меня своей прелестью и оригинальностью цветов. Впоследствии я узнавал эти названия. Но разве они прибавляли красок и лепестков? Нет, лишь на цветок как бы садился жук, которого уже не стряхнешь.

## ГЛАВА XXII

Я знал, что утром увижу другой город — город, как он есть, отличный от того, какой вижу сейчас,— выложенный, под мраком, листовым золотом света, озаряющего фасады. Это были по большей части двухэтажные каменные постройки, обнесенные навесами веранд и балконов. Они стояли тесно, сияя распахнутыми окнами и дверями. Иногда за углом крыши чернели веера пальм; в другом месте их ярко-зеленый блеск, более сильный внизу, указывал невидимую за стенами иллюминацию. Изобилие бумажных фонарей всех цветов, форм и рисунков мешало различить подлинные черты города. Фонари свешивались поперек улиц, пылали на перилах балконов, среди ковров; фестонами тянулись вдаль. Иногда перспектива улицы напоминала балет, где огни, цветы, лошади и живописная теснота людей, вышедших из тысячи сказок, в масках и без масок, смешивали шум карнавала с играющей по всему городу музыкой.

Чем более я наблюдал окружающее, два раза переходя прибрежную площадь, прежде чем окончательно избрал направление, тем яснее видел, что карнавал не был искусственным весельем, ни весельем по обязанности или приказу,— горожане были действительно одержимы

размахом, какой получила затея, и теперь размах этот бесконечно увлекал их, утоляя, может быть, давно нараставшую жажду всеобщего пестрого огулу.

Я двинулся, наконец, по длинной улице в правом углу площади и попал так удачно, что иногда должен был останавливаться, чтобы пропустить процессию всадников — каких-нибудь средневековых бандитов в латах или чертей в красных трико, восседающих на мулах, украшенных бубенчиками и лентами. Я выбрал эту улицу из-за выгоды ее восхождения в глубь и в верх города, расположенного рядом террас, так как здесь, в конце каждого квартала, находилось несколько ступеней из плитняка, отчего автомобили и громоздкие карнавальные экипажи не могли двигаться; но не один я искал такого преимущества. Толпа была так густа, что народ шел прямо по мостовой. Это было бесцельное движение ради движения и зрелища. Меня обгоняли домино, шуты, черты, индейцы, негры, «такие» и настоящие, которых с трудом можно было отличить от «таких»; женщины, окутанные газом, в лентах и перьях; развевались короткие и длинные цветные юбки, усеянные блестками или обшитые белым мехом. Блеск глаз, лукавая таинственность полумасок, отряды матросов, прокладывающих дорогу взмахами бутылок, ловя кого-то в толпе с хохотом и визгом; пьяные ораторы на тумбах, которых никто не слушал или сталкивал невзначай локтем; звон колокольчиков, кавалькады принцесс и гризеток, восседающих на атласных попонах породистых скакунов; скопления у дверей, где в тумане мелькали бешеные лица и сжатые кулаки; пьяные врасстяжку на мостовой; трусливо пробирающиеся домой кошки; нежные голоса и хриплые возгласы, песни и струны; звук поцелуя и хоры криков вдали, — таково было настроение Гель-Гью этого вечера. Под фантастическим флагом тянулось грязное полотно навесов торговых ларей, где продавали лимонад, фисташковую воду, воду со льдом содовую и виски, пальмовое вино и орехи, конфеты и конфетти, серпантин и хлопушки, петарды и маски, шарики из липкого теста и колющие сухие орехи, вроде репья, выдрать шипы которых из волос или ткани являлось делом замысловатым. Время от времени среди толпы появлялся велосипедист, одетый медведем, монахом, обезьяной или Пьерро, на жабо которого тотчас прикле-

ивались эти метко бросаемые цепкие колючие шарики. Появлялись великаны, пища резиновой куклой или гремя в огромные барабаны. На верандах танцевали; я наткнулся на бал среди мостовой и не без труда обошел его. Серпантин был так густо напущен по балконам и под ногами, что воздух шуршал. За время, что я шел, я получил несколько предложений самого разнообразного свойства: выпить, поцеловаться, играть в карты, проводить танцевать, купить, — и женские руки непрерывно сновали передо мной, маня округленным взмахом податься общему увлечению. Видя, что чем дальше, тем идти труднее, я поспешил свернуть в переулок, где было меньше движения. Повернув еще раз, я очутился на улице, почти пустой. Справа от меня, загибая влево и восходя вверх, тянулась, сдерживая обрыв, наклонная стена из глыб дикого камня. Над ней, по невидимым снизу дорогам, непрерывно стучали колеса, мелькали фонари, огни сигар. Я не знал, какое я занимаю положение в отношении центра города; постояв, подумав и выбрав из своего фланелевого костюма все колючие шарики и обобрав шлепки липкого теста, которое следовало бы запретить, я пошел вверх, среди относительной темноты. Я прошел мимо веранды, где, подбежав к ее краю, полуосвещенная женщина перегнулась ко мне, тихо позвав: «Это вы, Суль?» — с любовью и опасением в вздрогнувшем голосе. Я вышел на свет, и она, сконфуженно засмеясь, исчезла.

Поднявшись к пересекающей эту улицу мостовой, я снова попал в дневной гул и ночной свет и пошел влево, как бы сознавая, что должен прийти к вершине угла тех двух направлений, по которым шел вначале и после. Я был на широкой, залитой асфальтом улице. В ее конце, бывшем неподалеку, виднелась площадь. Туда стремилась толпа со всего переулка. Через головы, перемещавшиеся впереди меня с быстротой схватки, я увидел статую, возвышающуюся над движением. Это была мраморная фигура женщины с приподнятым лицом и протянутыми руками. Пока я проталкивался к ней среди толпы, ее поза и весь вид были мне не вполне ясны. Наконец, я подошел близко, так, что увидел высеченную ниже ее ног надпись и прочитал ее. Она состояла из трех слов:

«БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ»

Когда я прочел эти слова, мир стал темнеть, и слово, одно слово могло бы объяснить все. Но его не было. Ничто не смогло бы отвлечь меня теперь от этой надписи. Она была во мне, и вместе с тем должно было пройти таинственное действие времени, чтобы внезапное стало доступно работе мысли. Я поднял голову и рассмотрел статую. Скульптор делал ее с любовью. Я видел это по безошибочному чувству художественной удачи. Все линии тела девушки, приподнявшей ногу, в то время как другая отталкивалась, были отчетливы и убедительны. Я видел, что ее дыхание участилось. Ее лицо было не тем, какое я знал,— не вполне тем, но уже то, что я сразу узнал его, показывало, как приблизил тему художник и как, среди множества представлявшихся ему лиц, сказал: «Вот это должно быть тем лицом, какое единственно может быть высечено». Он дал ей одежду незамечаемой формы, подобной возникающей в воображении,— без ощущения ткани; сделал ее складки прозрачными и пошевелил их. Они прильнули спереди, на ветру. Не было невозможных мраморных волн, но выражение стройной отталкивающей ноги передавалось ощущением, чуждым тяжести. Ее мраморные глаза,— эти условно видящие, но слепые при неумении изобразить их глаза статуи, казалось, смотрят сквозь мраморную тень. Ее лицо улыбалось. Тонкие руки, вытянутые с силой внутреннего порыва, которым хотят опередить самый бег, были прекрасны. Одна рука слегка пригибала пальцы ладонью вверх, другая складывала их нетерпеливым, восхитительным жестом душевной игры.

Действительно, это было так: она явилась, как рука, греющая и веселящая сердце. И как ни отделенно от всего, на высоком пьедестале из мраморных морских див, стояла «Бегущая по волнам» — была она не одна. За ней грезился высоко поднятый волной бугшприт огромного корабля, несущего над водой эту фигуру,— прямо, вперед, рассекая город и ночь.

Настолько я владел чувствами, чтобы отличить независимое впечатление от впечатления, возникшего с большей силой лишь потому, что оно поднято обстоятельствами. Эта статуя была центр — главное слово всех других впечатлений. Теперь мне кажется, что я слышал тогда, как стоял шум толпы, но точно не могу

утверждать. Я очнулся потому, что на мое плечо твердо и выразительно легла мужская рука. Я отступил, увидев внимательно смотрящего на меня человека в треугольной шляпе, с серебряным поясом вокруг талии, затянутой в старинный сюртук. Красное седое лицо с трепетавшей от удивления бровью тотчас изменило выражение, когда я спросил, чего он хочет.

— А! — сказал человек и, так как нас толкали герои и героини всех пьес всех времен, отошел ближе к памятнику, сделав мне знак приблизиться. С ним было еще несколько человек в разных костюмах и трое в масках, которые стояли, как бы тоже требуя или ожидая объяснений.

Человек, сказавший «А», продолжал:

— Кажется, ничего не случилось. Я тронул вас потому, что вы стоите уже около часа, не сходя с места и не шевелясь, и это показалось нам подозрительным. Я вижу, что ошибся, поэтому прошу извинения.

— Я охотно прощаю вас, — сказал я, — если вы так подозрительны, что внимание приезжего к этому замечательному памятнику внушает вам опасение, как бы я его не украл.

— Я говорил вам, что вы ошибаетесь, — вмешался молодой человек с ленивым лицом. — Но, — прибавил он, обращаясь ко мне, — действительно, мы стали ломать голову, как может кто-нибудь оставаться так погруженно-неподвижен среди трескучей карусели толпы.

Все эти люди хотя и не были пьяны, но видно было, что они провели день в разнообразном веселье.

— Это приезжий. — сказал третий из группы, драпирясь в огненно-желтый плащ, причем рыжее перо на его шляпе сделало хмельной жест. У него и лицо было рыжим: веснушчатое, белое, рыхлое лицо с полупечальным выражением рыжих бровей, хотя бесцветные блестящие глаза посмеивались. — Только у нас в Гель-Гью есть такой памятник.

Не желая упускать случая понять происходящее, я поклонился им и назвал себя. Тотчас протянулось ко мне несколько рук с именами и просьбами не вменить недоразумение ни в обиду, ни в нехороший умысел. Я начал с вопроса: подозрение чего могли возыметь они все?

— Вот что,— сказал Бавс, человек в треугольной шляпе,— может быть, вы не прочь посидеть с нами? Наш табор неподалеку: вот он.

Я оглянулся и увидел большой стол, вытасенный, должно быть, из ресторана, бывшего прямо против нас, через мостовую. На скатерти, сползшей до камней мостовой, были цветы, тарелки, бутылки и бокалы, а также женские полумаски,— надо полагать — трофеи некоторых бесед. Гитары, банты, серпантин и маскарадные шпаги сталкивались на этом столе с локтями восседающих вокруг него десяти — двенадцати человек. Я подошел к столу с новыми своими знакомыми, но так как не хватало стульев, Бавс поймал пробегающего мимо мальчишку, дал ему пинка, серебряную монету, и награжденный притащил из ресторана три стула, после чего, вздохнув, шмыгнул носом и исчез.

— Мы привели новообращенного,— сказал Трайт, владелец огненного плаща.— Вот он Его имя Гарвей, он стоял у памятника, как на свидании, не отрываясь и созерцая.

— Я только что приехал,— сказал я, усаживаясь,— и действительно в восхищении от того, что вижу, чего не понимаю и что действует на меня самым необыкновенным образом. Кроме того, возбудил неясные подозрения.

Раздались восклицания, смысл которых был и дружелюбен и бестолков. Но выделился человек в маске: из тех словоохотливых, настойчиво расталкивающих своим ровным голосом все остальные, более горячие голоса людей, лицо которых благодаря этой черте разговорной настойчивости есть тип, видимый даже под маской.

Я слушал его более чем внимательно.

— Знаете ли вы,— сказал он,— о Вильямсе Гобсе и его странной судьбе? Сто лет назад был здесь пустой, как луна берег, и Вильямс Гобс, в силу предания, которому верит, кто хочет верить, плыл на корабле «Бегущая по волнам» из Европы в Бомбей. Какие у него были дела с Бомбеем — есть указания в городском архиве...

— Начнем с подозрений,— перебил Бавс.— Есть партия, или, если хотите, просто решительная компания, поставившая себе вопросом чести...

— У них нет чести,— сказал совершенно пьяный человек в зеленом домино,— я знаю эту змею, Парана; дух из него вон и дело с концом!

— Вот мы и думали,— ухватился Бавс за ничтожную паузу в разговоре,— что вы их сторонник, так как прошел час...

— ...есть указания в городском архиве,— поспешно вставил свое слово рассказчик.— Итак, я рассказываю легенду об основании города. Первый дом построил Вильямс Гобс, когда был выброшен на отмели среди скал. Корабль бился в шторме, опасаясь неизвестного берега и не имея возможности пересечь круговращение ветра. Тогда капитан увидел прекрасную молодую девушку, взбежавшую на палубу вместе с гребнем волны. «Зюйд-зюйд-ост и три четверти румба!» — сказала она можно понять как чувствовавшему себя капитану...

— Совсем не то,— перебил Бавс,— вернее, разговор был такой: «С вами говорит Фрези Грант; не пугайтесь и делайте, что скажу...»

— «Зюйд-зюйд-ост и три четверти румба»,— быстро договорил человек в маске.— Но я уже сказал это. Так вот, все спаслись по ее указанию — выброситься на мель, и она, конечно, исчезла, едва капитан поверил, что надо слушаться. С Гобсом была жена, так напуганная происшествием, что наотрез отказалась плавать по морю. Через месяц сигналом с берега был остановлен бриг «Полина», и спасшиеся уехали с ним, но Гобс не захотел ехать, потому что не мог справиться с женой,— так она напугалась во время шторма. Им оставили припасов и одного человека, не пожелавшего покинуть Гобса, так как он был ему чем-то крупно обязан. Имя этого человека Нэд Хорт; и так началась жизнь первых колонистов, которые нашли здесь плодородную землю и прекрасный климат. Они умерли лет восемьдесят назад. Медленно идет время.

— Нет, очень быстро,— возразил Бавс.

— Конечно, я рассказал вам самую суть,— продолжал мой собеседник,— и только провел прямую линию, а обстоятельства и подробности этой легенды вы найдете в нашем архиве. Но — слушайте дальше.

— Известно ли вам,— сказал я,— что существует корабль с названием: «Бегущая по волнам»?



— О, как же! — ответил Бавс. — Это была прихоть старика Сениэля. Я его знал. Он из Гель-Гью, но лет десять назад разорился и уехал в Сан-Риоль. Его родственники и посейчас живут здесь.

— Я видел это судно в лисском порту, отчего и спросил вас.

— С ним была странная история, — сказал Бавс. — С судном, не с Сениэлем. Впрочем, может быть, он его продал.

— Да, но произошла следующая история, — нетерпеливо перебил человек в маске. — Однажды...

Вдруг один человек, сидевший за столом, вскочил и протянул сжатый кулак по направлению автомобиля, объехавшего памятник Бегущей и остановившегося в нескольких шагах от нас. Тотчас вскочили все.

Нарядный черный автомобиль среди того пестрого и оглушительного движения, какое происходило на площади, был резок, как неразгоревшийся, охваченный огнем уголь. В нем сидело пять мужчин, все некостюмированные, в вечерней черной одежде и цилиндрах, и две дамы — одна некрасивая, с поблекшим жестким лицом, другая молодая, бледная и высокомерная. Среди мужчин было два старика. Первый, напоминающий разжиревшего, оскаленного бульдога, широко расставив локти, курил, ворочая ртом огромную сигару; другой смеялся, и этот второй произвел на меня особенно неприятное впечатление. Он был широкоплеч, худ, с угрюмо запавшими щеками, высоким лбом и собранными под ним в едкую улыбку чертами маленького, мускулистого лица, сжатого напряжением и сарказмом.

— Вот они! — закричал Бавс. — Вот червонные валеты карнавала! Добс, Коутс, бегите к памятнику! Эти люди способны укусить камень!

Вокруг автомобиля и стола столпился народ. Все встали. Стулья поопрокидывались; с автомобиля отвечали криками угроз и насмешек.

— Что?! Караулите? — сказал толстый старик. — Смотрите, не прозевайте!

— С э т и м не прозеваешь! — вскричало зеленое домино, взмахивая револьвером. — Можете кататься, уезжать, приезжать или разбить себе голову — как хотите!

Второй старик закричал, высунувшись из автомобиля:

— Мы отобьем вашей кукле руки и ноги! Это произойдет скоро! Вспомните мои слова, когда будете подбирать осколки для брелоков!

Вне себя, Бавс начал рыться в кармане и побежал к автомобилю. Машина затряслась, сделала поворот, отъехала и скрылась, сопровождаемая свистками и аплодисментами. Тотчас явились два полисмена в обрывках серпантиновых лент, с нетвердыми жестами; они стали уговаривать Бавса, который, дав в воздух несколько выстрелов, остановил велосипедиста, желая отобрать у него велосипед для погони за неприятелем. Остолбеневший хозяин велосипеда уже начал оглядываться, куда прислонить машину, чтобы, освободясь, дать выход своему гневу, но полисмен не допустил драки. Я слышал сквозь шум, как он кричал:

— Я все понимаю, но выберите другое место сводить счеты!

Во время этого столкновения, которое было улажено неизвестно как, я продолжал сидеть у покинутого стола. Ушли — вмешаться в происшествие или развлечься им — почти все; остались — я, хмельное зеленое домино, локоть которого неизменно срывался, как только он пытался его поставить на край стола, да словоохотливый и методический собеседник. Происшествие с автомобилем изменило направление его мыслей.

— Акулы, которых вы видели на автомобиле, — говорил он, следя, слушаю ли я его внимательно, — затеяли всю историю. Из-за них мы здесь и сидим. Один, худощавый, это Кабон, у него восемь паровых мельниц; с ним толстый — Тукар, фабрикант искусственного льда. Они хотели сорвать карнавал, но это не удалось. Таким образом...

Его перебило возвращение всей застольной группы, занявшей свои места с гневом и смехом. Дальнейший разговор был так нервен и непоследователен, — причем часть обращалась ко мне, поясняя происходящее, другая вставляла различные замечания, спорила и перебивала, — что я бессилиен восстановить ход беседы. Я пил с ними, слушая то одного, то другого, пока мне не стало ясным положение дела.

Разумеется, под открытым небом, среди толпы, занятой увеселительными делами, сидение за этим столом разнообразилось всякими инцидентами. Знакомые моих

хозяев появлялись с приветствиями, шептали им на ухо или, таинственно отведя их для секретной беседы, составляли беспокойный фон, на котором мелькал дождь конфетти, сыпавшийся из хорошеньких ручек. Покушение неизвестных масок взбесить нас танцами за нашей спиной, причем не прекращались разные веселые бедствия, вроде закрывания сзади рукой глаз или изымания стула из-под привставшего человека вместе с писком, треском, пальбой, топотом и чепуховыми выкриками, среди мелодий оркестров и яркого света, над которым, улыбаясь, неслась мраморная «Бегущая по волнам»,— все это входило в наш разговор и определяло его.

Как ни прекрасен был вещественный повод вражды и ненависти, явленный одинокой статуей,— вульгарной оказалась сущность ее между людьми. Основой ее были старые счеты и материальные интересы. Еще пять лет назад часть городских дельцов требовала заменить изваяние какой-нибудь другой статуей или совсем очистить площадь от памятника, так как с ним связывался вопрос о расширении портовых складов. Большая часть намеченного под склады участка принадлежала Грасу Парану. Фамилия Парана была одной из самых старых фамилий города. Параны занимались торговлей и административной деятельностью. Это были удачливые и сильные люди, с тем выгодным для них знанием жизни, которое одно само по себе, употребленное для обогащения, верно приводит к цели. Богатство их увеличивалось по законам роста дерева; оно не особенно выделялось среди других состояний, пока в 1863 году Элевзий Паран, дед нынешнего Граса Парана, не увидел среди глыб обвала на своем участке, замкнутом с одной стороны горами, ртутной лужи и не зачерпнул в горсть этого тяжелого вещества.

— Стоит вам взглянуть на термометр,— сказал Бавс,— или на пятно зеркального стекла, чтобы вспомнили это имя: Грас Паран. Ему принадлежит треть портовых участков и сорок домов. Кроме капитала, заложенного по железным дорогам, шести фабрик, земель и плантаций, свободный оборотный капитал Парана составляет около ста двадцати миллионов!

Грас Паран развелся с женой, от которой у него не было детей, и усыновил племянника, сына младшей сестры, Георга Герда. Через несколько лет Паран снова

женился на молодой девушке. Расстояние возрастов было таково: Парану — пятьдесят лет, его жене — восемнадцать и Герду — двадцать четыре. Против воли Парана Герд стал скульптором. Он провел в Италии пять лет, учился по мастерским Фарнези, Ависа, Гардуччи и, возвратясь, увидел хорошенькую молодую мачеху, с которой завязалась у него дружба, а дружба перешла в любовь. Оба были решительными людьми. Сначала уехала в Европу она, затем — он, и более не вернулись.

Когда в Гель-Гью был поднят вопрос о памятнике основанию города, Герд принял участие в конкурсе, и его модель, которую он прислал, необыкновенно понравилась. Она была хороша и привлекала надписью «Бегущая по волнам», напоминающей легенду, море, корабли; и в самой этой странной надписи было движение. Модель Герда (еще не знали, что это Герд) воскресила пустынные берега и мужественные фигуры первых поселенцев. Заказ был послан, имя Герда открыто, статуя перевезена из Флоренции в Гель-Гью при отчаянном противодействии Парана, который, узнав, что память его позора увековечена его же приемным сыном, пустил в ход деньги, печать и шантаж, но ему не удалось добиться замены этого памятника другим. У Парана нашлись могущественные враги, поддержавшие решение города. В дело вмешались страсти и самолюбие. Памятник был поставлен. Лицо Бегущей ничем не напоминало жену Парана, но своеобразное искажение чувств, связанных неотступной мыслью об ее измене, привело к маниакальному внушению: Паран остался при убеждении, что Герд в этой статуе изобразил Химену Паран.

Одно время казалось — история остановилась у точки. Однако Грас Паран, выждав время, начал жестокую борьбу, поставив задачей жизни убрать памятник; и достиг того, что среди огромного числа родственников, зависящих от него людей и людей подкупленных был поднят вопрос о безнравственности памятника, чем привлек на свою сторону людей, бессознательность которых ноет от старых уколов, от мелких и больших обид, от злобы, ищущей лишь повода, — людей с темными, сырыми ходами души, чья внутренняя жизнь скрыта и обнаруживается иногда непонятным поступком, в основе которого, однако, лежит мировоззрение, мстящее другому мировоззрению — без ясной мысли о том, что оно

делает. Приемы и обстоятельства этой борьбы привели к попыткам разбить ночью статую, но подкупленные для этой цели люди были схвачены группой случайных прохожих, заподозривших неладное в их поведении. Наконец, постановление города праздновать свое столетие карнавалом, которому также противодействовали Паран и его партия, довело этого человека до открытого бешенства. Были угрозы; их слышали и передавали по городу. Накануне карнавала, то есть третьего дня, в статую произвели выстрел разрывной пулей, но она отбила только верхний угол подножия памятника. Стрелявший скрылся; и с этого часа несколько решительных людей установили охрану, сев за тот самый стол, где я сидел с ними. Тем временем нападающая сторона, не скрывая уже своих намерений, открыто поклялась разбить статую и обратить общее веселье в торжество мрачного замысла.

Таков был наш разговор, внимать которому приходилось с тем большим напряжением, что его течение часто нарушалось указанными выше вещественными и невещественными порывами.

Карнавалы, как я узнал тогда же, происходили в Гель-Гью и раньше благодаря французам и итальянцам, представленным значительным числом всего круга колонии. Но этот карнавал превзошел все прочие. Он был популярен. Его причина была красива. Взаимный яд двух газет и развитие борьбы за памятник, ставшей как бы нравственной борьбой, придали ему оттенок спортивный; неожиданно все приняло широкий размах. Город истратил на украшения и на торжество часть хозяйственных сумм,— что еще подлило масла в огонь, так как единоплеменники Парана мгновенно оклеветали врагов; те же при взаимном наступательном громе вытащили из-под сукна старые, неправильно решенные в пользу Парана дела. Грузоотправители, нуждающиеся в портовой земле под склады, возненавидели защитников памятника, так как Паран объявил свое решение: не давать участка, пока на площади стоит, протянув руки, «Бегущая по волнам».

Как я видел по стычке с автомобилем, эта статуя, имеющая для меня теперь совершенно особое значение, действительно подвергалась опасности. Отвечая на вопрос Бавса, согласен ли я держать сторону его друзей,

то есть присоединиться к охране, я, не задумываясь, сказал: «Да». Меня заинтересовало также отношение к своей роли Бавса и всех других. Как выяснилось, это были домовладельцы, таможенные чины, торговцы, один офицер; я не ожидал ни гимнов искусству, ни сладких или восторженных замечаний о глубине тщательно охраняемых впечатлений. Но меня удивили слова Бавса, сказавшего по этому поводу: «Нам всем пришлось так много думать о мраморной Фрезе Грант, что она стала как бы наша знакомая. Но и то сказать, это — совершенство скульптуры. Городу не хватало точки, а теперь точка поставлена. Так многие думают, уверяю вас».

Так как подтвердилось, что гостиницы переполнены, я охотно принял приглашение одного крайне шумного человека без маски, одетого жокеем, полного, нервного, с надутым красным лицом. Его глаза катались в орбитах с удивительной быстротой, видя и подмечая все. Он напевал, бурчал, барабанил пальцами, возился шумно на стуле, иногда врвался в разговор, не давая никому говорить, но так же внезапно умолкал, начиная, раскрыв рот, рассматривать лбы и брови говорунов. Сказав свое имя — «Ариогел Кук» — и сообщив, что живет за городом, а теперь заблаговременно получил номер в гостинице, Кук пригласил меня разделить его помещение.

— От всей души, — сказал он. — Я вижу джентльмена и рад помочь. Вы меня не стесните. Я вас стесню. Предупреждаю заранее. Бесстыдно сообщаю вам, что я — сплетник; сплетня — моя болезнь, я люблю сплетничать и, говорят, достиг в этом деле известного совершенства. Как видите, кругом — богатейший материал. Я любопытен и могу вас замучить вопросами. Особенно я нападаю на молчаливых людей вроде вас. Но я не обижусь, если вы припомните мне это признание с некоторым намеком, когда я вам надоем.

Я записал адрес гостиницы и едва отделался от Кука, желавшего немедленно показать мне, как я буду с ним жить. Еще некоторое время я не мог встать из-за стола, выслушивая кое-кого по этому же поводу, но, наконец, встал и обошел памятник. Я хотел взглянуть на то место, куда ударила разрывная пуля.

## ГЛАВА XXIII

С правой стороны от стола и памятника движение развивалось меньше, так как по этой стороне две улицы были преграждены рогатками ради единства направления экипажей, отчего езда могла происходить через одну сторону площади, сламываясь на ней прямым углом, но не скрещиваясь, во избежание столкновений. С этой стороны я и обошел статую. Один угол мраморного подножия был действительно сбит, но, к счастью, эта порча являлась мало заметной для того, кто не знал о выстреле. С этой же стороны, внизу памятника, была вторая надпись: «Георг Герд, 5 декабря 1909 г.». Среди ночи за следом маленьких ног вырезали по волне мрачный зигзаг острые плавники. «Не скучно ли на темной дороге?» — вспомнил я приветливые слова. Две дамы в черных кружевах, с закрытыми лицами, под руку, пробежали мимо меня и, заметив, что я рассматриваю последствия выстрела, воскликнули:

— Стрелять в женщину! — Это сказала одна из них; другая ответила:

— Должно быть, человек был сумасшедший!

— Просто дурак, — возразила первая. — Однако идем.

Она начала шептать, но я слышал:

— Вы знаете, есть примета. Надо ее попросить... — остальное прозвучало, как «...а?! о?! Неужели!»

Маски рассмеялись коротким, грудным смешком секретера и любви, затем тронулись по своим делам.

Я хотел вернуться к столу, как, оглядываясь на кого-то в толпе, ко мне быстро подошла женщина в пестром платье, отделанном позументами, и в полумаске.

— Вы тут были один? — торопливо проговорила она, взяв одной рукой возле уха, чтобы укрепить свою полумаску, а другую протянув мне, чтобы я не ушел. — Пойдите, я передаю поручение. Вам через меня одна особа желает сообщить... (Иду! — крикнула она на зов из толпы.) Сообщить, что она направилась в театр. Там вы ее и найдете по желтому платью с коричневой бахромой. Это ее подлинные слова. Надеюсь, — не перепутаете? — и женщина двинулась отбежать, но я ее задержал. Карнавал полон мистификаций. Я сам когда-то посылал многих простачков искать несуществующее лицо, но

этот случай мне показался серьезным. Я ухватился за конец кисейного шарфа, держа натянутую его всем телом женщину, как пойманную лесой рыбу.

— Кто вас послал?

— Не разорвите! — сказала женщина, оборачиваясь так, что шарф спал и остался в моей руке, а она подбежала за ним. — Отдайте шарф! Эта самая женщина и послала: сказала и ушла; ах, я потеряю своих! Иду! — закричала она на отдалившийся женский крик, звавший ее. — Я вас не обманываю. Всегда задержат вместо благодарности! Ну?! — она выхватила шарф, кивнула и убежала.

Может ли быть, что тайно от меня думал обо мне некто? О человеке, затерянном ночью среди толпы охваченного дурачествами и танцами чужого города? В моем волнении был смутный рисунок действия, совершающегося за моей спиной. Кто перешептывался, кто указывал на меня? Подготавливал встречу? Улыбался в тени? Неузнаваемый, замкнуто проходил при свете? «Да, это Биче Сениэль, — сказал я, — и больше никто». В эту ночь я думал о ней, я ее искал, всматриваясь в прохожих. «Есть связь, о которой мне неизвестно, но я здесь, я слышал, и я должен идти!» Я был в том безрассудном, схватившем среди непонятного первый навернувшийся смысл, состоянии, когда человек думает о себе как бы вне себя, с чувством душевной ошупи. Все становится закрыто и недоступно; указано одно действие. Осмотрясь и спросив прохожих, где театр, я увидел его вблизи, на углу площади и тесного переулка. В здании стоял шум. Все окна были распахнуты и освещены. Там бушевал оркестр, притягивая нервное напряжение разлетающимся, как шлейф, мотивом. В вестибюле стоял ад; я пробивался среди плеч, спин и локтей, в духоте, запахе пудры и табаку, к лестнице, по которой сбежали и взбегали разряженные маски. Мелькали веера, цветы, туфли и шелк. Я поднимался, стиснутый в плечах, и получил некоторую свободу движений лишь наверху, где влево увидел завитую цветами арку большого фойе. Там танцевали. Я оглянулся и заметил желтое шелковое платье с коричневой бахромой.

Эта фигура безотчетно нравящегося сложения поднялась при моем появлении с дивана, стоявшего в левом от входа углу зала; минуя овальный стол, она задела



его, отчего оглянулась на помеху и, скоро подбежав ко мне, остановилась, нежно покачивая головкой. Черная полумаска с остро прорезанными глазами, блестящими немо и выразительно, и стесненная улыбка полуоткрытого рта имели лукавый вид затаенного секрета. Ее костюм был что-то среднее между матинэ и маскарадной фантазией. Его контуры, широкие рукава и низ короткой юбки были отделаны длинной коричневой бахромой. Маска приложила палец к губам; другой рукой, растопырив ее пальцы, повертела в воздухе так и этак, сделала вид, что закручивает усы, коснулась моего рукава, затем объяснила, что знает меня, нарисовав в воздухе слово «Гарвей». Пока это происходило, я старался понять, каким образом она знает вообще, что я, Томас Гарвей,— есть я сам, пришедший по ее указанию. Уже я готов был признать ее действия требующими немедленного и серьезного объяснения. Между тем маска вновь покачала головой, на этот раз укоризненно, и, указав на себя в грудь, стала бить по губам пальцем, желая вразумить меня этим, что хочет услышать от меня, кто она.

— Я вас знаю, но я не слышал вашего голоса,— сказал я.— Я видел вас, но никогда не говорил с вами.

Она стала на момент неподвижной, лишь ее взгляд в черных прорезах маски выразил глубокое, горькое удивление. Вдруг она произнесла чрезвычайно смешным, тоненьким, искаженным голосом:

— Скажите, как мое имя?

— Вы послали за мной?

Множество усердных кивков было ответом.

Я более не спрашивал, но медлил. Мне казалось, что, произнеся ее имя, я как бы коснусь зеркально-гладкой воды, замутив отражение и спугнув образ. Мне было хорошо знать и не называть. Но уже маленькая рука схватила меня за рукав, тряся и требуя, чтобы я назвал имя.

— Биче Сениэль! — тихо сказал я, первый раз произнеся вслух эти слова.— Лисс, гостиница «Дувр». Там останавливались вы дней восемь тому назад. Я в странном положении относительно вас, но верю, что вы примете мои объяснения просто, как все просто во мне. Не знаю,— прибавил я, видя, что она отступила, уронила

руки и молчит, молчит всем существом своим,— следовало ли мне узнавать ваше имя в гостинице.

Ее рот дрогнул, полуоткрылся с намерением что-то сказать. Некоторое время она смотрела на меня прямо и тихо, закусив губу, потом быстрым движением откинула полумаску, и я увидел Дэзи. Сквозь ее заметное огорчение скользнула улыбка удовольствия явиться вместо другой.

— Не хочу больше прятаться,— сказала она, протягивая мне руку.— Вы не сердитесь на меня? Однако прощайте, я тороплюсь.

Она стала тянуть руку, которую я бессознательно задержал, и отвернула лицо. Когда ее рука освободилась, она отошла, и, стоя вполупоборот, стала надевать полумаску.

Не понимая ее появления, я видел все же, что девушка намеревалась поразить меня костюмом и неожиданностью. Я испытал мерзкое угнетение.

— Я был уверен,— сказал я, следуя за ней,— что вы уже спите на «Нырке». Отчего вы не подошли, когда я стоял у памятника?

Дэзи повернулась. Ее лицо снова было скрыто. Платье это очень шло к ней: на нее оглядывались, проходя, мужчины, взглядывая затем на меня,— но я чувствовал ее горькую растерянность. Дэзи проговорила, останавливаясь среди слов:

— Это верно, но я так задумала. Ну, что же вы смущались? Я не хочу и не буду вам мешать. Я пришла просто потому, что подвернулся недорого этот наряд, и хотела вас развеселить. Так вышло, что Тоббоган задержался в одном месте, и я немного помешалась среди всякого изобилия. Вас увидела случайно. Вы стояли у памятника, один. Неужели это действительно сделана Фрези Грант? Как странно! Меня всю исщипали, пока дошла. Ох, будет мне от Тоббогана! Побегу успокаивать его. Идите, идите, раз вам нужно,— прибавила она, направляясь к лестнице и видя, что я пошел за ней.— Я теперь знаю дорогу и сама разыщу своих. Всего хорошего!

Мне незачем и не надо было идти вместе, но, сам растерявшись, я остановился у лестницы, смотря, как она медленно спускается, слегка наклонив голову и перебирая бахромю на груди. В ее вдруг потерявших гиб-

кость спине и плечах чувствовалось трогательное стеснение. Она не обернулась. Я стоял, пока Дэзи не затерялась среди толпы; потом вернулся в фойе, вздохнув и бесконечно жалея, что ответил на приветливую шалость девушки невольной обидой. Это произошло так скоро, что я не успел как следует ни пошутить, ни выразить удовольствие. Я выругал себя грубым животным, и хотя это было несправедливо, пробирался среди толпы с бесполезным раскаянием, тягостно упрекая себя.

В эту минуту танцы прекратились, смолкла и музыка. Из противоположных дверей навстречу мне шли двое: высокий морской офицер с любезным крупным лицом, которого держала под руку только что ушедшая Дэзи. По крайней мере это была ее фигура, ее желтое с бахромой платье. Меня как бы охватило ветром, и перевернутые вдруг чувства остановились. Вздвогнув, я пошел им навстречу. Сомнения не было: маскарадный двойник Дэзи была Биче Сениэль, и я это знал теперь так же верно, как если бы прямо видел ее лицо. Еще приближаясь, я уже отличил все ее внутреннее скрытое от внутреннего скрытого Дэзи, по впечатлению основной черты этой новой и уже знакомой фигуры. Но я отметил все же изумительное сходство роста, цвета волос, сложенны, телодвижений и, пока это пробегало в уме, сказал, кланяясь:

— Биче Сениэль, это вы. Я вас узнал.

Она вздрогнула.

Офицер взглянул на меня с улыбкой удивления. Я уже твердо владел собой и ждал ответа с совершенной уверенностью. Лицо девушки слегка покраснело, и она двинула вверх нижней губой, как будто полумаска мешала ей видеть, и рассмеялась, но неохотно.

— Биче Сениэль? — сказала она искусственно равнодушным голосом, чистым и протяжным. — Ах, извините, я не знаю ее. Я — не она.

Желая выйти из тона карнавальной забавы, я продолжал:

— Прошу меня извинить. Я не только вас знаю, но мы имеем общих знакомых. Капитан Гез, с которым я плыл сюда, вероятно прибыл на днях; может быть, даже вчера.

— О! А! — воскликнула она с серьезным недоумением. — Я не так самонадеянна, чтобы отрицать дальше. Увы, маска не защита. Я поражена, потому что вижу вас первый раз в жизни. И я должна увенчать ваш триумф.

Прикрыв этими словами тревогу, она сняла полумаску, и я увидел Биче Сениэль. Мгновение она рассматривала меня. Я поклонился и назвал себя.

— Мне кажется, что и вы поражены результатами вашей проницательности, — заметила она. — Сознаюсь, что я ничего не понимаю.

Я стоял, показывая молчанием и взглядом, что объяснение предпочтительно без третьего лица. Она тотчас поняла это и, взглянув на офицера, сказала:

— Мой племянник, Ботвель. Да, так: я вижу, что надо поговорить.

Ботвель, стоявший сложив руки, переводя взгляд от Биче ко мне, заметил:

— Дорогая тетя, вы наказаны непостижимо уму. Вы утверждали, что даже я не узнал бы вас. Я схожу к Нувелю уговориться относительно поездки в Латорн.

Условившись, где разыщет нас, он кивнул и, круто повернувшись, осмотрел зал; потом щелкнул пальцами, направляясь к группе стоявших под руку женщин тяжелой, эластичной походкой. Подходя, он поднял руку, махая ею, и исчез среди пестрой толпы.

Биче смотрела на меня с усилием встревоженной мысли. Я сознавал всю трудность предстоящего разговора, почему медлил, но она первая спросила, когда мы сели в глубине цветочной беседки:

— Выплыли на «Бегущей»? — Сказав это, она всунула мизинец в прорез полумаски и стала ее раскачивать. Каждое ее движение мешало мне соображать, отчего я начал говорить сбивчиво. Я сбивался потому, что не хотел вначале говорить о ней, но когда понял, что иначе невозможно, порядок и простота выражений вернулись.

Я был очень благодарен Биче за внимание и спокойствие, с каким слушала она рассказ о сцене на набережной, то есть о себе самой. Она улыбнулась лишь, когда я прибавил, что, звоня в «Дувр», вызвал А и н у М а к ф е р с о н.

— Я слушаю, слушаю,— сказала она; затем — очень серьезно: — Я поняла, что передали вы обо мне, я представляю это.

Вскоре после того Биче снова надела полумаску, отчего я почувствовал себя спокойнее и увереннее. Теперь лишь по движению губ Биче мог судить я о ее отношении к моему рассказу.

Как только я рассказал о набережной, стало возможным говорить о сегодняшнем вечере.

— Теперь вам придется мне верить, потому что я сам не понимаю многого; считаю многое незаслуженной удачей.

Мне не хотелось упоминать о Дэзи, но выхода не было. Я рассказал о ее шутке и о второй встрече с совершенно таким же, желтым, отделанным коричневой бахромой платьем, то есть с самой Биче. Я сказал еще, что лишь благодаря такому настойчивому повторению одного и того же костюма я подошел к ней с полной уверенностью.

— Следовательно, вы рассчитывали встретить меня? — спросила она. — О, действительно это сложно! Да, но еще — Гез. Конечно, он вам говорил обо мне?!

— Нет.

— Платье, этот костюм,— мы еще, пожалуй, пойдем. Было два таких платья. Я купила его сегодня в одной мастерской. — Она тронула бахрому на груди и продолжала: — Войдя туда, я увидела свой костюм среди нескольких других; в общем оставалось уже не много. Я указала этот. Хозяйка объяснила мне, что ей сделала заказ на два таких костюма неизвестная дама, но что можно продать их, так как заказчица не явилась. Тогда я взяла один. Второй, следовательно, попал к вашей знакомой совершенно случайно. Что же еще могло быть?

— Должно быть, так,— ответил я, стараясь не усложнять объяснения, которое, предполагая тройную разительную случайность, все же умещалось в уме. — Я хочу сказать теперь о Гезе и корабле.

— Здесь нет секрета,— ответила Биче, подумав. — Мы путаемся, но договоримся. Этот корабль наш, он принадлежал моему отцу. Гез присвоил его мошеннической проделкой. Да, что-то есть в нашей встрече, как

во сне, хотя я не могу понять! Дело в том, что я в Гель-Гью только затем, чтобы заставить Геза вернуть нам «Бегущую». Вот почему я сразу назвала себя, когда вы упомянули о Гезе. Я его жду и думала получить сведения.

Снова начались музыка, танцы; пол содрогался. Слова Биче о «мошеннической проделке» Геза показали ее отношение к этому человеку настолько ясно, что присутствие в каюте капитана портрета девушки потеряло для меня свою темную сторону. В ее манере говорить и смотреть была мудрая простота и тонкая внимательность, сделавшие мой рассказ неполным; я чувствовал невозможность не только сказать, но даже намекнуть о связи особых причин с моими поступками. Я умолчал поэтому о происшествии в доме Стерса.

— За крупную сумму, — сказал я, — Гез согласился предоставить мне каюту на «Бегущей по волнам», и мы поплыли, но после скандала, разыгравшегося при недостойной обстановке с пьяными женщинами, когда я вынужден был попытаться прекратить безобразие, Гез выбросил меня на ходу в открытое море. Он был так разозлен, что пожертвовал шлюпкой, лишь бы избавиться от меня. На мое счастье утром я был взят небольшой шкуной, шедшей в Гель-Гью. Я прибыл сюда сегодня вечером.

Действие этого рассказа было таково, что Биче немедленно сняла полумаску и больше уже не надевала ее, как будто ей довольно было разделять нас. Но она не вскрикнула и не негодовала шумно, как это сделали бы на ее месте другие; лишь, сведя брови, стесненно вздохнула.

— Недурно! — сказала она с выражением, которое стоило многих восклицательных знаков. — Следовательно, Гез... Я знала, что он негодяй. Но я не знала, что он может быть страшен.

В увлечении я хотел было заговорить о Фрези Грант, и мне показалось, что в нервном блеске устремленных на меня глаз и бессознательном движении руки, легшей на край стола концами пальцев, есть внутреннее благоприятное указание, что рассказ о ночи на лодке теперь будет уместен. Я вспомнил, что нельзя говорить, с болью подумав: «Почему?» В то же время я

понимал — почему, но отгонял понимание. Оно еще было, пока, лишено слов.

Не упоминая, разумеется, о портрете, прибавив, сколько мог, прямо идущих к рассказу деталей, я развил подробнее свою историю с Гезом, после чего Биче, видимо, доверяя мне, посвятила меня в историю корабля и своего приезда.

«Бегущая по волнам» была выстроена ее отцом для матери Биче, впечатлительной, прихотливой женщины, умершей лет восемь назад. Капитаном поступил Гез; Бутлер и Синкрайт не были известны Биче; они начали служить, когда судно уже отошло к Гезу. После того как Сениэль разорился и остался только один платеж, по которому заплатить было нечем, Гез предложил Сениэлю спасти тщательно хранимое, как память о жене, судно, которое она очень любила и не раз путешествовала на нем, — фиктивной передачей его в собственность капитану. Гез выполнил все формальности; кроме того, он уплатил половину остатка долга Сениэля.

Затем, хотя ему было запрещено пользоваться судном для своих целей, Гез открыто заявил право собственности и ответил «Бегущую» в другой порт. Обстоятельства дела не позволяли обратиться к суду. В то время Сениэль надеялся, что получит значительную сумму по ликвидации одного чужого предприятия, бывшего с ним в деловых отношениях, но получение денег задержалось, и он не мог купить у Геза свой собственный корабль, как хотел. Он думал, что Гез желает денег.

— Но он не денег хотел, — сказала Биче, задумчиво рассматривая меня. — Здесь замешана я. Это тянулось долго и до крайности надоело. — Она снисходительно улыбнулась, давая понять мыслью, передавшей мне, что произошло. — Ну, так вот. Он не преследовал меня в том смысле, что я должна была бы прибегнуть к защите; лишь писал длинные письма, и в последних письмах его (я все читала) прямо было сказано, что он удерживает корабль по навязчивой мысли и предчувствию. Предчувствие в том, что если он не отдаст обратно «Бегущую» — моя судьба будет... сделаться, — да, да! — его, видите ли, женой. Да, он такой. Это странный человек, и то, что мы говорили о разных о нем мнениях, вполне возможно. Его может изменить на два-три дня какая-нибудь книга. Он поддается внушению и

сам же вызывает его, прельстившись добродетельным, например, героем или мелодраматическим негодяем с «искрой в душе». А? — Она рассмеялась. — Ну, вот видите теперь сами. Но его основа, — сказала она с убеждением, — это черт знает что! Вначале он, — по крайней мере, у нас, — был другим. Лишь изредка слышали о разных его подвигах, на что не обращали внимания.

Я молчал, она улыбнулась своему размышлению.

— «Бегущая по волнам»! — сказала Биче, откидываясь и трогая полумаску, лежащую у нее на коленях. — Отец очень стар. Не знаю, кто старше — он или его трость; он уже не ходит без трости. Но деньги мы получили. Теперь, на расстоянии всей огромной, долго, бурно, счастливо и содержательно прожитой им своей жизни, — образ моей матери все яснее, отчетливее ему, и память о том, что связано с ней, — остра. Я вижу, как он мучается, что «Бегущая по волнам» ходит туда-сюда с мешками, затасканная воровской рукой. Я взяла чек на семь тысяч... Вот-вот. читаю в ваших глазах: «Отважная, смелая»... Дело в том, что в Гезе есть, — так мне кажется, конечно, — известное уважение ко мне. Это не помешает ему взять деньги. Такое соединение чувств называется «психологией». Я навела справки и решила сделать моему старику сюрприз. В Лиссе, куда указывали мои справки, я разминувшись с Гезом всего на один день; не зная, зайдет он в Лисс или отправится прямо в Гель-Гью, — я приехала сюда в поезде, так как все равно он здесь должен быть, это мне верно передали. Писать ему бессмысленно и рискованно, мое письмо не должно быть в этих руках. Теперь я готова удивляться еще и еще, сначала, решительно всему, что столкнуло нас с вами. Я удивляюсь также своей откровенности — не потому, чтобы я не видела, что говорю с джентльменом, но... это не в моем характере. Я, кажется, взволновалась. Вы знаете легенду о Фрези Грант?

— Знаю.

— Ведь это — «Бегущая». Оригинальный город Гель-Гью. Я очень его люблю. Строго говоря, мы, Сениэли, — герои праздника: у нас есть корабль с этим названием «Бегущая по волнам»; кроме того, моя мать родом из Гель-Гью; она — прямой потомок Вильямса Гобса, одного из основателей города.



— Известно ли вам,— сказал я,— что корабль переступлен Брауну так же мнимо, как ваш отец продал его Гезу?

— О да! Но Браун ни при чем в этом деле. Обязан сделать все Гез. Вот и Ботвель.

Приближаясь, Ботвель смотрел на нас между фигур толпы и, видя, что мы, смолкнув, выжидательно на него смотрим, поторопился дойти.

— Представьте, что случилось,— сказала ему Биче.— Наш новый знакомый, Томас Гарвей, плывал на «Бегущей» с Гезом. Гез здесь или скоро будет здесь.

Она не прибавила ничего больше об этой истории, предоставляя мне, если я хочу сам, сообщить о ссоре и преступлении Геза. Меня тронул ее такт; коротко подтвердив слова Биче, я умолчал Ботвелю о подробностях своего путешествия.

Биче сказала:

— Меня узнали случайно, но очень, очень сложным путем. Я вам расскажу. Тут мы пооткровенничали слегка.

Она объяснила, что я знаю ее задачу в подлинных обстоятельствах.

— Да,— сказал Ботвель,— мрачный пират преследует нашу Биче с кинжалом в зубах. Это уже все знают; настолько, что иногда даже говорят, если нет другой темы.

— Смейтесь! — воскликнула Биче.— А мне, без смеха, предстоит мучительный разговор!

— Мы вместе с Гарвеем войдем к Гезу,— сказал Ботвель,— и будем при разговоре.

— Тогда ничего не выйдет.— Биче вздохнула.— Гез отомстит нам всем ледяной вежливостью, и я останусь ни с чем.

— Вас не тревожит...— Я не сумел кончить вопроса, но девушка отлично поняла, что я хочу сказать.

— О-о! — заметила она, смерив меня ясным толчком взгляда.— Однако ночь чудес затянулась. Нам идти, Ботвель.— Вдруг оживясь, засмеявшись так, что стала совсем другой, она написала в маленькой записной книжке несколько слов и подала мне.

— Вы будете у нас? — сказала Биче.— Я даю вам свой адрес. Старая красивая улица, старый дом, два

старых человека и я. Как нам поступить? Я вас приглашаю к обеду завтра.

Я поблагодарил, после чего Бише и Ботвель встали. Я прошел с ними до выходных дверей зала, теснясь среди маскарадной толпы. Бише подала руку.

— Итак, вы все помните? — сказала она, нежно приоткрыв рот и смотря с лукавством. — Даже то, что происходит на набережной? (Ботвель улыбался, не понимая.) Правда, память — ужасная вещь! Согласны?

— Но не в данном случае.

— А в каком? Ну, Ботвель, это все стоит рассказать Герде Торнстон. Ее надолго займет. Не гневайтесь, — обратилась ко мне девушка, — я должна шутить, чтобы не загрустить. Все сложно! Так все сложно. Вся жизнь! Я сильно задета в том, чего не понимаю, но очень хочу понять. Вы мне поможете завтра? Например, — эти два платья. Тут есть вопрос! До свиданья.

Когда она отвернулась, уходя с Ботвелем, ее лицо, — как я видел его профиль, — стало озабоченным и недоумевающим. Они прошли, тихо говоря между собой, в дверь, где оба одновременно обернулись взглянуть на меня; угадав это движение, я сам повернулся уйти. Я понял, как дорога мне эта, лишь теперь знакомая девушка. Она ушла, но все еще как бы была здесь.

Получив град толчков, так как шел всецело погруженный в свои мысли, я, наконец, опаматовался и вышел из зала по лестнице, к боковому выходу на улицу. Спускаясь по ней, я вспомнил, как всего час назад спускалась по этой лестнице Дэзи, задумчиво теребя бахромку платья, и смиренно, от всей души пожелал ей спокойной ночи.

## ГЛАВА XXIV

Захотев есть, я усмотрел поблизости небольшой ресторан, и хотя трудно было пробиться в хмельной тесноте входа, я кое-как протиснулся внутрь. Все столы, проходы, места у буфета были заняты; яркий свет, табачный дым, песни среди шума и криков совершенно закружили мое внимание. Найти место присесть было так же легко, как продеть канат в игольное отверстие. Вскоре я отчаялся сесть, но была надежда, что освободится фут пространства возле буфета, куда я тотчас и устре-

мился, когда это случилось, и начал есть стоя, сам наливая себе из наспех откупоренной бутылки. Обстановка не располагала задерживаться. В это время за спиной раздался шум спора. Незнакомый человек расталкивал толпу, протискиваясь к буфету и отвечая наглым смехом на возмущение посетителей. Едва я всмотрелся в него, как, бросив есть, выбрался из толпы, охваченный внезапным гневом: этот человек был Синкрайт.

Пытаясь оттолкнуть и меня, Синкрайт бегло оглянулся; тогда, задержав его взгляд своим, я сказал:

— Добрый вечер! Мы еще раз встретились с вами!

Увидев меня, Синкрайт был так испуган, что попятился на толпу. Одно мгновение весь его вид выражал страстную, мучительную тоску, желание бежать, скрыться, — хотя в этой тесноте бежать смогла бы разве лишь кошка.

— Фу, фу! — сказал он наконец, отирая под козырьком лоб тылом руки. — Я весь дрожу! Как я рад, как счастлив, что вы живы! Я не виноват, клянусь! Это — Гез. Ради бога, выслушайте, и вы все узнаете! Какая это была безумная ночь! Будь проклят Гез; я первый буду вашим свидетелем, потому что я решительно ни при чем!

Я не сказал ему еще ничего. Я только смотрел, но Синкрайт, схватив меня за руку, говорил все испуганнее, все громче. Я отнял руку и сказал:

— Выйдем отсюда.

— Конечно... Я всегда...

Он ринулся за мной, как собака. Его потрясению можно было верить тем более, что на «Бегущей», как я узнал от него, ожидали и боялись моего возвращения в Дагон. Тогда мы были от Дагона на расстоянии всего пятидесяти с небольшим миль. Один Бутлер думал, что может случиться худшее.

Я повел его за поворот угла в переулок, где, сев на ступенях запертого подъезда, выбил из Синкрайта всю умственную и словесную пыль — относительно моего дела. Как я правильно ожидал, Синкрайт, видя, что его не ударили, скоро оправился, но говорил так почтительно, так подобострастно и внимательно выслушивал малейшее мое замечание, что эта пламенная бодрость дорожного обошла его.

Произошло следующее.

С самого начала, когда я сел на корабль, Гез стал соображать, каким образом ему от меня отделаться, удержав деньги. Он строил разные планы. Так, например, план — объявить, что «Бегущая по волнам» отправится из Дагона в Сумат. Гез думал, что я не захочу далекого путешествия и высажусь в первом порту. Однако такой план мог сделать его смешным. Его настроение, после отплытия из Лисса, стало очень скверным, раздражительным. Он постоянно твердил: «Будет неудача с этим проклятым Гарвеем».

— Я чувствовал его нежную любовь, — сказал я, — но не можете ли вы объяснить, отчего он так меня ненавидит?

— Клянусь вам, не знаю! — вскричал Синкрайт. — Может быть... трудно сказать. Он, видите ли, суеверен.

Хотя мне ничего не удалось выяснить, но я почувствовал умолчание. Затем Синкрайт перешел к скандалу. Гез поклялся женщинам, что я приду за стол, так как дамы во что бы то ни стало хотели видеть «таинственного», по их словам, пассажира и дразнили Геза моим презрением к его обществу. Та женщина, которую ударил Гез, держала пари, что я приду на вызов Синкрайта. Когда этого не случилось, Гез пришел в ярость на всех и на все. Женщины плыли в Гель-Гью; теперь они покинули судно. «Бегущая» пришла вчера вечером. По словам Синкрайта, он видел их первый раз и не знает, кто они. После сражения Гез вначале хотел бросить меня за борт, и стоило больших трудов его удержать. Но в вопросе о шлюпке капитан рвал и метал. Он помешался от злости. Для успеха этой затеи он готов был убить сам себя.

— Здесь, — говорил Синкрайт, — то есть когда вы уже сели в лодку, Бутлер схватил Геза за плечи и стал трясти, говоря: «Опомнитесь! Еще не поздно. Верните его!» Гез стал как бы отходить. Он еще ничего не говорил, но уже стал слушать. Может быть, он это и сделал бы, если бы его крепче прижать. Но тут явилась дама, — вы знаете...

Синкрайт остановился, не зная, разрешено ли ему тронуть этот вопрос. Я кивнул. У меня был выбор спросить: «Откуда появилась она?» — и тем, конечно, дать повод счесть себя лжецом — или поддержать удобную

простоту догадок Синкрайта. Чтобы покончить на втором, я заявил:

— Да. И вы не могли понять?!

— Ясно,— сказал Синкрайт,— она была с вами, но как? Этим мы все были поражены. Всего минуту она и была на палубе. Когда стало нам дурно от испуга,— что было думать обо всем этом? Гез снова сошел с ума. Он хотел ее задержать, но как-то произошло так, что она миновала его и стала у трапа. Мы окаменели. Гез велел спустить трап. Вы отъехали с ней. Тогда мы кинулись в вашу каюту, и Гез клялся, что она пришла к вам ночью в Лиссе. Иначе не было объяснения. Но после всего случившегося он стал так пить, как я еще не видал, и твердил, что вы все подстроили с умыслом, который он узнает когда-нибудь. На другой день не было более жалкого труса под мачтами сего света, чем Гез. Он только и твердил что о тюрьме, каторжных работах и двадцать раз за сутки учил всех, что и как говорить, когда вы заявите на него. Матросам он раздавал деньги, поил их, обещал двойное жалованье, лишь бы они показали, что вы сами купили у него шлюпку.

— Синкрайт,— сказал я после молчания, в котором у меня наметился недурной план, полезный Биче,— вы крепко ухватились за дверь, когда я ее открыл...

— Клянусь!..— начал Синкрайт и умолк на первом моем движении.

Я продолжал:

— Это было, а потому бесполезно извиваться. Последствия не требуют комментариев. Я не упомяну о вас на суде при одном условии.

— Говорите, ради бога; я сделаю все!

— Условие совсем не трудное. Вы ни слова не скажете Гезу о том, что видели меня здесь.

— Готов промолчать сто лет: простите меня!

— Так. Где Гез — на судне или на берегу?

— Он съехал в небольшую гостиницу на набережной. Она называется «Парус и Пар». Если вам угодно, я провожу вас к нему.

— Думаю, что разыщу сам. Ну, Синкрайт, пока что наш разговор кончен.

— Может быть, вам нужно еще что-нибудь от меня?

— Поменьше пейте,— сказал я, немного смягченный его испугом и рабством.— А также оставьте Геза.

— Клянусь...— начал он, но я уже встал. Не знаю, продолжал он сидеть на ступенях подъезда или ушел в кабак. Я оставил его в переулке и вышел на площадь, где у стола около памятника не застал никого из прежней компании. Я спросил Кука, на что получил указание, что Кук просил меня идти к нему в гостиницу.

Движение уменьшалось. Толпа расходилась; двери запирались. Из сумерек высоты смотрела на засыпающий город «Бегущая по волнам», и я простился с ней, как с живой.

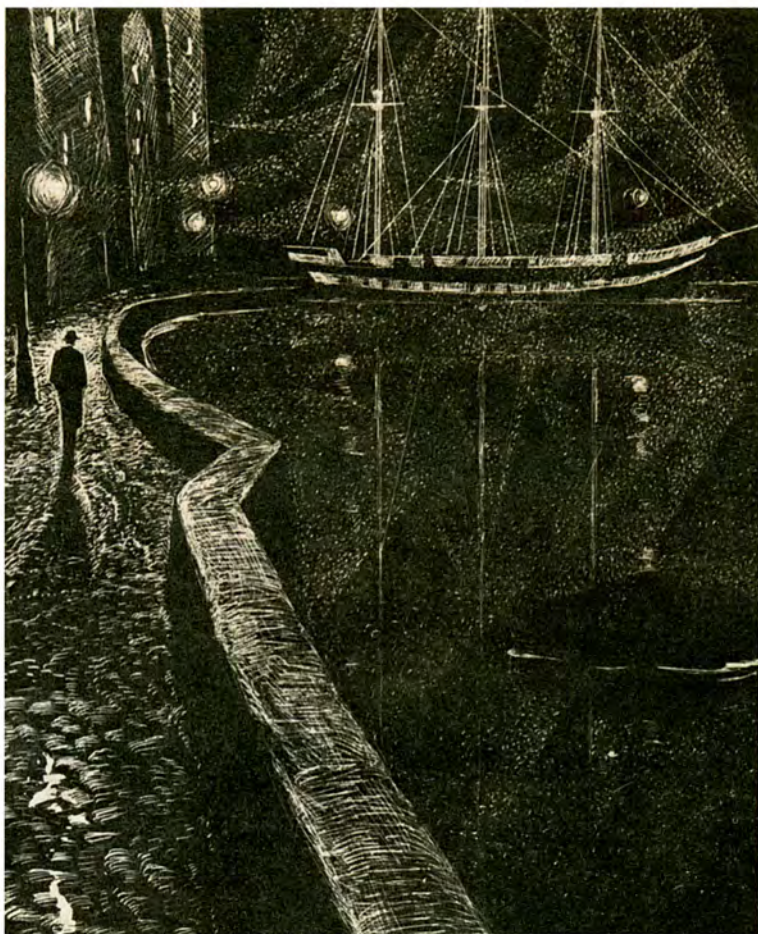
Разыскав гостиницу, куда меня пригласил Кук, я был проведен к нему, застав его в постели. При шуме Кук открыл глаза, но они снова закрылись. Он опять открыл их. Но все равно он спал. По крайнему усилию этих спящих, тупо открытых глаз я видел, что он силится сказать нечто любезное. Усталость, надо быть, была велика. Обессилев, Кук вздохнул, пролепетал, узнав меня: «Устраивайтесь»,— и с треском завалился на другой бок.

Я лег на поставленную вторую кровать и тотчас закрыл глаза. Тьма стала валиться вниз, комната перевернулась, и я почти тотчас заснул.

## ГЛАВА XXV

Ложась, я знал, что усну крепко, но встать хотел рано, и это желание — рано встать — бессознательно разбудило меня. Когда я открыл глаза, память была пуста, как после обморока. Я не мог поймать ни одной мысли до тех пор, пока не увидел выпяченную нижнюю губу спящего Кука. Тогда смутное прояснилось, и, мгновенно восстановив события, я взял со стула часы. На мое счастье, было всего половина десятого утра.

Я тихо оделся и, стараясь не разбудить своего хозяина, спустился в общий зал, где потребовал крепкого чаю и письменные принадлежности. Здесь я написал две записки: одну — Биче Сениэль, уведомляя ее, что Гез находится в Гель-Гью, с указанием его адреса; вторую — Проктору с просьбой вручить мои вещи посыльному. Не зная, будет ли удобно напоминать Дэзи о ее встрече со мной, я ограничился для нее в этом письме простым приветом. Отправив записки через двух комис-



«БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ»





«БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ»



сионеров, я вышел из гостиницы в парикмахерскую, где пробыл около полчаса.

Время шло чрезвычайно быстро. Когда я направился искать Геза, было уже четверть одиннадцатого. Стоял знойный день. Не зная улиц, я потерял еще около двадцати минут, так как по ошибке вышел на набережную в ее дальнем конце и повернул обратно. Опасаясь, что Гез уйдет по своим делам или спрячется, если Спикрайт не сдержал клятвы, а более всего этого желая опередить Биче, ради придуманного мной плана ущемления Геза, сделав его уступчивым в деле корабля Сениэлей, — я нанял извозчика. Вскоре я был у гостиницы «Парус и Пар», белого грязного дома, с стеклянной галереей второго этажа, лавками и трактиром внизу. Вход вел через ворота, налево, по темной и крутой лестнице. Я остановился на минуту собрать мысли и услышал торопливые, догоняющие меня шаги «Остановитесь!» — сказал запыхавшийся человек. Я обернулся.

Это был Бутлер с его тяжелой улыбкой.

— Войдемте на лестницу, — сказал он. — Я тоже иду к Гезу. Я видел, как вы ехали, и облегченно вздохнул. Можете мне не верить, если хотите. Побежал догонять вас. Страшное, гнусное дело, что говорить! Но нельзя было помешать ему. Если я в чем виноват, то в том, почему ему нельзя было помешать. Вы понимаете? Ну, все равно. Но я был на вашей стороне; это так. Впрочем, от вас зависит — знаться со мной или смотреть как на врага.

Не знаю, был я рад встретить его или нет. Гневное сомнение боролось во мне с бессознательным доверием к его словам. Я сказал: «Его рано судить». Слова Бутлера звучали правильно, в них были и горький упрек себе и искренняя радость видеть меня живым. Кроме того, Бутлер был совершенно трезв. Пока я молчал, за фасадом, в глубине огромного двора, слышались шум, крики, настойчивые приказания. Там что-то происходило. Не обратив на это особого внимания, я стал подыматься по лестнице, сказав Бутлеру:

— Я склонен вам верить; но не будем теперь говорить об этом. Мне нужен Гез. Будьте добры указать, где его комната, и уйдите, потому что мне предстоит очень серьезный разговор.

— Хорошо,— сказал он.— Вот идет женщина. Узнаем, проснулся ли капитан. Мне надо ему сказать всего два слова; потом я уйду.

В это время мы поднялись на второй этаж и шли по тесному коридору с выходом на стеклянную галерею слева. Направо я увидел ряд дверей,—четыре или пять,—разделенные неправильными промежутками. Я остановил женщину. Толстая крикливая особа лет сорока с повязанной платком головой и щеткой в руках, узнав, что мы справляемся, дома ли Гез, бешено показала на противоположную дверь в дальнем конце.

— Дома ли он — не хочу и не хочу знать! — объявила она, быстро затапкая пальцами под платок выбившиеся грязные волосы и приходя в возбуждение.— Ступайте сами и узнавайте, но я к этому подлецу больше ни шагу. Как он на меня гаркнул вчера! Свинья и подлец ваш Гез! Я думала, он меня стукнет. «Ступай вон!» Это — мне! Дома,— закончила она, свирепо вздохнув,— уже стрелял. Я на звонки не иду; черт с ним; так он теперь стреляет в потолок. Это он требует, чтобы пришли. Недавно опять пальнул. Идите, и если спросят, не видели ли меня, можете сказать, что я ему не слуга. Там женщина,— прибавила толстуха.— Развратник!

Она скрылась, махая щеткой. Я посмотрел на Бутлера. Он стоял, задумчиво разглядывая дверь. За ней было тихо.

Я начал стучать, вначале постучав негромко, потом с силой. Дверь шевельнулась, следовательно, была не на ключе, но нам никто не ответил.

— Стучите громче,— сказал Бутлер,— он, верно, снова заснул.

Вспомнив слова прислуги о женщине, я пожал плечами и постучал опять. Дверь открылась шире; теперь между ней и притолокой можно было просунуть руку. Я вдруг почувствовал, что там никого нет, и сообщил это Бутлеру.

— Там никого нет,— подтвердил он.— Странно, но правда. Ну что же, давайте откроем.

Тогда я, решившись, толкнул дверь, которая, отойдя, ударилась в большой шкаф, и вошел, крайне пораженный тем, что Гез лежит на полу.

## ГЛАВА XXVI

— Да,— сказал Бутлер после молчания, установившего смерть,— можно было стучать громко или тихо — все равно. Пуля в лоб, точно так, как вы хотели.

Я подошел к труп, обойдя его издали, чтобы не ступить в кровь, подтекавшую к порогу из простреленной головы Геза.

Он лежал на спине, у стола, посредине комнаты, наискось к входу. На нем был белый костюм. Согнутая правая нога отвалилась коленом к двери; расставленные и тоже согнутые руки имели вид усилия приподняться. Один глаз был наполовину открыт, другой, казалось, высматривает из-под неподвижных ресниц. Растекшаяся по лицу и полу кровь не двигалась, отражая, как лужа, соседний стул; рана над переносицей слегка припухла. Гез умер не позже получаса, может быть — часа назад. Большая комната имела неубранный вид. На полу блестели револьверные гильзы. Диван с валяющимися на нем газетами, пустые бутылки по углам, стаканы и недопитая бутылка на столе, среди сигар, галстуков и перчаток; у двери — темный старинный шкаф, в бок которому упиралась железная койка с наспех наброшенным одеялом, — вот все, что я успел рассмотреть, оглянувшись несколько раз. За головой Геза лежал револьвер. В задней стене, за столом, было раскрытое окно.

Дверь, стукнувшись о шкаф, отскочила, начав медленно закрываться сама. Бутлер, заметив это, распахнул ее настежь и укрепил.

— Мы не должны закрываться,— резонно заметил он.— Ну что же, следует идти звать, объявить, что капитан Гез убит,— убит или застрелился. Он мертв.

Ни он, ни я не успели выйти. С двух сторон коридора раздался шум; справа кто-то бежал, слева торопливо шли несколько человек. Бежавший справа, дородный мужчина с двойным подбородком и угрюмым лицом, заглянул в дверь; его лицо дико скакнуло, и он пробежал мимо, махая рукой к себе; почти тотчас он вернулся и вошел первым. Благоразумие требовало не проявлять суетливости, поэтому я остался, как стоял, у стола. Бутлер, походив, сел; он был сурово бледен и нервно потирал руки. Потом он встал снова.

Первым, как я упомянул, вбежал дородный человек. Он растерялся. Затем, среди разом нахлынувшей тол-

пы,— человек пятнадцати,— появилась молодая женщина или девушка в светлом полосатом костюме и шляпе с цветами. Она тесно была окружена и внимательно, осторожно спокойна. Я заставил себя узнать ее. Это была Биче Сениэль, сказавшая, едва вошла и заметила, что я тут: «Эти люди мне неизвестны».

Я понял. Должно быть, это понял и Бутлер, видевший у Геза ее совершенно схожий портрет, так как испуганно взглянул на меня. Итак, поразившись, мы продолжали ее не знать. Она этого хотела, стало быть, имела к тому причины. Пока, среди шума и восклицаний, которыми еще более ужасали себя все эти ворвавшиеся и содрогнувшиеся люди, я спросил Биче взглядом. «Нет»,— сказали ее ясные, строго покойные глаза, и я понял, что мой вопрос просто нелеп.

В то время как набившаяся толпа женщин и мужчин, часть которых стояла у двери, хором восклицала вокруг трупа,— Биче, отбросив с дивана газеты, села и слегка, стесненно вздохнула. Она держалась прямо и замкнуто. Она постукивала пальцами о ручку дивана, потом, с выражением осторожно переходящей грязную улицу, взглянула на Геза и, поморщась, отвела взгляд.

— Мы задержали ее, когда она сходила по лестнице,— объявил высокий человек в жилете, без шляпы, с худым, жадным лицом. Он толкнул красную от страха жену.— Вот то же скажет жена. Эй, хозяин! Гарден! Мы оба задержали ее на лестнице!

— А вы кто такой? — осведомился Гарден, оглядывая меня. Это был дородный человек, вбежавший первым.

Женщина, встретившая нас в коридоре, все еще была со щеткой. Она выступила и показала на Бутлера, потом на меня.

— Бутлер и тот джентльмен пришли только что, они еще спрашивали — дома ли Гез. Ну, вот — только зайти сюда.

— Я помощник убитого,— сказал Бутлер.— Мы пришли вместе; постучали, вошли и увидели.

Теперь внимание всех было сосредоточено на Биче. Вошедшие объявили Гардену, что пробежавший по двору мальчик заметил соскочившую из окна на лестницу нарядную молодую даму. Эта лестница, которую я увидел, выглянув в окно, вела под крышу дома, проходя

наискось вверх стены, и на небольшом расстоянии под окном имела площадку. Биче сделала движение сойти вниз, затем поднялась наверх и остановилась за выступом фасада. Мальчик сказал об этом вышедшей во двор женщине, та позвала мужа, работавшего в сарае, и когда они оба направились к лестнице, послышался выстрел. Он раздался в доме, но где, — свидетели не могли знать. Биче уже шла вниз, мимо стены, направляясь к воротам. Ее остановили. Еще несколько людей выбежали на шум. Биче пыталась уйти. Задержанная, она не хотела ничего говорить. Когда какой-то мужчина вознамерился схватить ее за руку, она перестала сопротивляться и объявила, что вышла от капитана Геза потому, что она была заперта в комнате. Затем все поднялись в коридор и теперь не сомневались, что поймали убийцу.

Пока происходили эти объяснения, я был так оглушен, сбит и противоречив в мыслях, что, хотя избегал подолгу смотреть на Биче, все же еще раз спросил ее взглядом, незаметно для других, и тотчас ее взгляд мне точно сказал: «нет». Впрочем, довольно было видеть ее безыскусственную чуждость происходящему. Я подивился этому возвышенному самообладанию в таком месте и при подавляющих обстоятельствах. Все, что говорилось вокруг, она выслушивала со вниманием, видимо, больше всего стараясь понять, как произошла неожиданная трагедия. Я подметил некоторые взгляды, которые как бы совестились останавливаться на ее лице, так было оно не похоже на то, чтобы ей быть здесь.

Среди общего волнения за стеной раздались шаги; люди, стоявшие в дверях, отступили, пропустив представителей власти. Вошел комиссар, высокий человек в очках, с длинным деловым лицом; за ним врач и два полисмена.

— Кем был обнаружен труп? — спросил комиссар, оглядывая толпу.

Я, а затем Бутлер сообщили ему о своем мрачном визите.

— Вы останетесь. Кто хозяин?

— Я. — Гарден пришел к столу стул, и комиссар сел; расставив колена и опустив меж них сжатые руки, он некоторое время смотрел на Геза, в то время как врач, подняв тяжелую руку и помяв пальцами кожу

лба убитого, констатировал смерть, последовавшую, по его мнению, не позднее получаса назад.

Худой человек в жилете снова выступил вперед и, указывая на Биче Сениэль, объяснил, как и почему она была задержана во дворе.

При появлении полиции Биче не изменила положения, лишь взглядом напомнила мне, что я не знаю ее. Теперь она встала, ожидая вопросов; комиссар тоже встал, причем по выражению его лица было видно, что он признает редкость такого случая в своей практике.

— Прошу вас сесть, — сказал комиссар. — Я обязан составить предварительный протокол. Объявите ваше имя.

— Оно останется неизвестным, — ответила Биче, садясь на прежнее место. Она подняла голову и, начав было краснеть, прикусила губу.

Комиссар сказал:

— Хозяин, удалите всех, останутся — вы, дама и вот эти два джентльмена. Неизвестная, объясните ваше поведение и присутствие в этом доме.

— Я ничего не объясню вам, — сказала Биче так решительно, хотя мягким тоном, что комиссар с особым вниманием посмотрел на нее.

В это время все, кроме Биче, Гардена, меня и Бутлера, покинули комнату. Дверь закрылась. За ней слышны были шепот и осторожные шаги любопытных.

— Вы отказываетесь отвечать на вопрос? — спросил комиссар с той дозой официального сожаления к молодости и красоте главного лица сцены, какая была отпущена ему характером его службы.

— Да. — Биче кивнула. — Я отказываюсь отвечать. Но я желаю сделать заявление. Я считаю это необходимым. После того вы или прекратите допрос, или он будет продолжен у следователя.

— Я слушаю вас.

— Конечно, я непричастна к этому несчастью или преступлению. Ни здесь, ни в городе нет ни одного человека, кто знал бы меня.

— Это — все? — сказал комиссар, записывая ее слова. — Или, может быть, подумав, вы пожелаете что-нибудь прибавить? Как вы видите, произошло убийство или самоубийство; мы, пока что, не знаем. Вас видели прыгнувшей из окна комнаты на площадку наружной

лестницы. Поставьте себя на мое место в смысле отношения к вашим действиям.

— Они подозрительны,— сказала девушка с видом человека, тщательно обдумывающего каждое слово.— С этим ничего не поделаешь. Но у меня есть свои соображения, есть причины, достаточные для того, чтобы скрыть имя и промолчать о происшедшем со мной. Если не будет открыт убийца, я, конечно, буду вынуждена дать свое — о! — очень несложное показание, но объявить — кто я, теперь, со всем тем, что вынудило меня явиться сюда,— мне нельзя. У меня есть отец, восьмидесятилетний старик. У него уже был удар. Если он прочтет в газетах мою фамилию, это может его убить.

— Вы боитесь огласки?

— Единственно. Кроме того, показание по существу связано с моим именем, и, объявив, в чем было дело, я, таким образом, все равно что назову себя.

— Так,— сказал комиссар, поддаваясь ее рассудительному, ставшему центром настроения всей сцены тону.— Но не кажется ли вам, что, отказываясь дать объяснение, вы уничтожаете существенную часть дознания, которая, конечно, отвечает вашему интересу?

— Не знаю. Может быть, даже — нет. В этом-то и горе. Я должна ждать. С меня довольно сознания непричастности, если уж я не могу иначе помочь себе.

— Однако,— возразил комиссар,— не ждете же вы, что виновный явится и сам назовет себя?

— Это как раз единственное, на что я надеюсь пока. Откроет себя, или откроют его.

— У вас нет оружия?

— Я не ношу оружия.

— Начнем по порядку,— сказал комиссар, записывая, что услышал.

## ГЛАВА XXVII

Пока происходил разговор, я, слушая его, обдумывал, как отвести это,— несмотря на отрицающие преступление внешность и манеру Биче,— яркое и сильное подозрение, полное противоречий. Я сидел между окном и столом, задумчиво вертя в руках нарезной болт с глухой гайкой. Я механически взял его с маленького стола у стены и, нажимая гайку, заметил, что она свинчива-

ется. Бутлер сидел рядом. Рассеянный интерес к такому странному устройству глухого конца на болте заставил меня снять гайку. Тогда я увидел, что болт этот высверлен и набит до краев плотной темной массой, напоминающей засохшую краску. Я не успел ковырнуть странную начинку, как, быстро подвинувшись ко мне, Бутлер провел левую руку за моей спиной к этой вещи, которую я продолжал осматривать, и, дав мне понять взглядом, что болт следует скрыть, взял его у меня, проворно сунув в карман. При этом он кивнул. Никто не заметил его движений. Но я успел почувствовать легкий запах опиума, который тотчас рассеялся. Этого было довольно, чтобы я испытал обманный толчок мыслей, как бы брошенных вдруг свет на события утра, и второй, вслед за этим, более вразумительный, то есть сознание, что желание Бутлера скрыть тайный провоз яда ничего не объясняет в смысле убийства и ничем не спасает Биче. Мало того, по молчанию Бутлера относительно ее имени, — а как я уже говорил, портрет в каюте Геза не оставлял ему сомнений, — я думал, что хотя и не понимаю ничего, но будет лучше, если болт исчезнет.

Оставив Биче в покое, комиссар занялся револьвером, который лежал на полу, когда мы вошли. В нем было семь гнезд, их пули оказались на месте.

— Можете вы сказать, чей это револьвер? — спросил Бутлера комиссар.

— Это его револьвер, капитана, — ответил моряк. — Гез никогда не расставался с револьвером.

— Точно ли это его револьвер?

— Это его револьвер, — сказал Бутлер. — Он мне знаком, как кофейник — повару.

Доктор осматривал рану. Пуля прошла сквозь голову и застряла в стене. Не было труда вытащить ее из штукатурки, что комиссар сделал гвоздем. Она была помята, меньшего калибра и большей длины, чем пуля в револьвере Геза, кроме того — никелирована.

— Риверс-бульдог, — сказал комиссар, подбрасывая ее на ладони. Он опустил пулю в карман портфеля — Убитый не воспользовался своим кольцом.

Обыск в вещах не дал никаких указаний. Из карманов Геза полицейские вытащили платок, портсигар, часы, несколько писем и толстую пачку ассигнаций, завер-



нутых в газету. Пересчитав деньги, комиссар объявил значительную сумму: пять тысяч фунтов.

— Он не был ограблен,— сказал я, взволнованный этим обстоятельством, так как разрастающаяся сложность события оборачивалась все более в худшую сторону для Биче.

Комиссар посмотрел на меня, как в окно. Он ничего не сказал, но был крепко озадачен. После этого начался допрос хозяина, Гардена.

Рассказав, что Гез останавливается у него четвертый раз, платил хорошо, щедро давал прислуге, иногда не ночевал дома и был, в общем, беспокойным гостем, Гарден получил предложение перейти к делу по существу.

— В девять часов моя служанка Пегги пришла в буфет и сказала, что не пойдет на звонки Геза, так как он вчера обошелся с ней грубо. Вскоре спустился капитан; изругал меня, Пегги и выпил виски. Не желая с ним связываться, я обещал, что Пегги будет ему служить. Он успокоился и пошел наверх. Я был занят расчетом с поставщиком и, часов около десяти, услышал выстрелы, не помню — сколько. Гез угрожал, уходя, что звонить больше он не намерен, — будет стрелять. Не знаю, что было у него с Пегги, — пошла она к нему или нет. Вскоре снова пришла Пегги и стала рыдать. Я спросил, что случилось. Оказалось, что к Гезу явилась дама, что ей страшно не идти и страшно идти, если Гез позвонит. Я выпытал все же у нее, что она идти не намерена, и, сами знаете, пригрозил. Тут меня еще рассердили механики со «Спринга». они стали спрашивать, сколько трупов набирается к вечеру в моей гостинице. Я пошел сам и увидел капитана Геза стоящим на галерее с этой барышней. Я ожидал криков, но он повернулся и долго смотрел на меня с улыбкой. Я понял, что он меня просто не видит. Я стал говорить о стрельбе и пенять ему. Он сказал: «Какого черта вы здесь?» Я спросил, что он хочет. Гез сказал: «Пока ничего». И они оба прошли сюда. Поставщик ждал; я вернулся к нему. Затем произошло, должно быть, около получаса, как снова раздался выстрел. Меня это начало беспокоить, потому что Гез был теперь не один. Я побежал наверх и, представьте, увидел, что жильцы соседнего дома (у нас общий двор) спешат мне навстречу, а среди них эта неизвестная ба-

рышня. Дверь Геза была раскрыта настежь. Там стояли двое: Бутлер,— я знаю Бутлера,— и с ним вот они. Я заглянул, увидел, что Гез лежит на полу, потом вошел вместе с другими.

— Позовите женщину, Пегги,— сказал комиссар.

Не надо было далеко ходить за ней, так как она вертелась у комнаты; когда Гарден открыл дверь, Пегги поспешила вытереть передником нос и решительно подошла к столу.

— Расскажите, что вам известно,— предложил комиссар после обыкновенных вопросов: как зовут и сколько лет.

— Он умер, я не хочу говорить худого,— торжественно произнесла Пегги, кладя руку под грудь.— Но только вчера я была так обижена, как никогда. С этого все началось.

— Что началось?

— Я не то говорю. Он пришел вчера поздно; да,— Гез. Комнату он, уходя, запер, а ключ взял с собой, почему я не могла прибрать. Я еще не спала, я слышала, как он стучит наверху: идет, значит, домой. Я поднялась приготовить ему постель и стала делать тут, там — ну, что требуется. Он стоял все время спиной ко мне, пьяный, а руку держал в кармане, за пазухой. Он все поглядывал, когда я уйду, и вдруг закричал: «Ступай прочь отсюда!» Я возразила, конечно (Пегги с достоинством поджала губы, так что я представил ее лицо в момент окрика), я возразила насчет моих обязанностей. «А это ты видела?» — закричал он. То есть видела ли я стул. Потому что он стал махать стулом над моей головой. Что мне было делать? Он мужчина и, конечно, сильнее меня. Я плюнула и ушла. Вот он утром звонит...

— Когда это было?

— Часов в восемь. Я бы и минуты заметила, знай кто-нибудь, что так будет. Я уже решила, что не пойду. Пусть лучше меня прогонят. Я свое дело знаю. Меня обвинять нечего и нечего.

— Вы невинны, Пегги,— сказал комиссар.— Что же было после звонка?

— Еще звонок. Но как все верхние ушли рано, то я знала, кто такой меня требует.

Биче, внимательно слушавшая рассказ горячего пятипудового женского сердца, улыбнулась. Я был рад видеть это доказательство ее нервной силы.

Пегги продолжала:

— ...стал звонить на разные манеры и все под чужой звонок; сам же он звонит коротко: раз, два. Пустил трель, потом начал позвякивать добродушно и — снова своим, коротким. Я ушла в буфет, куда он вскоре пришел и выпил, но меня не заметил. Крепко выругался. Как его тут не стало, хозяин начал выговаривать мне: «Ступайте к нему, Пегги; он грозит изрешетить потолок», — палить то есть начнет. Меня, знаете, этим не испугаешь. У нас и не то бывает. Господин комиссар помнит, как в прошлом году мексиканцы заложили дверь баррикадой и бились: на шестерых — три...

— Вы храбрая женщина, Пегги, — перебил комиссар, — но то дело прошедшее. Говорите об этом.

— Да, я не трус, это все скажут. Если мою жизнь рассказать, — будет роман. Так вот, начало стучать там, у Геза. Значит, всаживает в потолок пули. И вот, взгляните...

Действительно, поперечная толстая балка потолка имела такой вид, как если бы в нее дали залп. Комиссар сосчитал дырки и сверил с числом найденных на полу патронов; эти числа сошлись. Пегги продолжала:

— Я пошла к нему; пошла не от страха, пошла я единственно от жалости. Человек, так сказать, не помнит себя. В то время я была на дворе, а потому поднялась с лестницы от ворот. Как я поднялась, слышу — меня окликнули. Вот эта барышня; извините, не знаю, как вас зовут. И сразу она мне понравилась. После всех неприятностей вижу человеческое лицо. «У вас остановился капитан Вильям Гез? — так она меня спросила. — В каком номере он живет?» Значит, опять он, не выйти ему у меня из головы и, тем более, от такого лица. Даже странно было мне слушать. Что ж! Каждый ходит, куда хочет. На одной веревке висит разное белье. Я ее провела, стукнула в дверь и отошла. Гез вышел. Вдруг стал он бледен, даже задрожал весь; потом покраснел и сказал: «Это вы! Это вы! Здесь!» Я стояла. Он повернулся ко мне, и я пошла прочь. Ноги тронулись сами, и все быстрее. Я думала: только бы не услышать при посторонних, как он заорет свои проклятия! Одна-

ко на лестнице я остановилась,— может быть, позовет подать или принести что-нибудь, но этого не случилось. Я услышала, что они, Гез и барышня, пошли в галерею где начали говорить, но что — не знаю. Только слышно: «Гу-гу, гу-гу, гу-гу». Ну-с, утром без дела не сидишь. Каждый ходит, куда хочет. Я побывала внизу, а этак через полчаса принесли письма маклеру из первого номера, и я пошла снова наверх кинуть их ему под дверь; постояла, послушала: все тихо. Гез не звонит. Вдруг — бац! Это у него выстрел. Вот он какой был выстрел! Но мне тогда стало только смешно. Надо звонить по-человечески. Ведь видел, что я постучала; значит приду и так. Тем более, это при посторонних. Пришла нижняя и сказала, что надо подмести буфет: ей некогда. Ну-с, так сказать, Лиззи всегда внизу, около хозяина; она — туда, она — сюда, и, значит, мне надо идти. Вот тут, как я поднялась за щеткой, вошли наверх Бутлер с джентльменом и опять насчет Геза: «Дома ли он?» В сердцах я наговорила лишнее и прошу меня извинить, если не так сказала, только показала на дверь, а сама скорее ушла, потому что, думаю, если ты меня позволишь, так знай же, что я не вертелась у двери, как собака, а была по своим делам. Только уж работать в буфете не пришлось, потому что навстречу бежала толпа. Вели эту барышню. Вначале думала я, что она сама всех их ведет. Гарден тоже прибежал сам не свой. Вот когда вошли,— я и увидела... Гез готов.

Записав ее остальные, ничего не прибавившие к уже сказанному, различные мелкие показания, комиссар отпустил Пегги, которая вышла, пятась и кланяясь. Наступила моя очередь, и я твердо решил, сколько будет возможно, отвлечь подозрение на себя, как это ни было трудно при обстоятельствах, сопровождавших задержание Биче Сениэль. Сознаюсь,— я ничем, конечно, не рисковал, так как пришел с Бутлером, на глазах прислуги, когда Гез уже был в поверженном состоянии. Но я надеялся обратить подозрение комиссара в новую сторону, по кругу пережитого мною приключения, и рассказал откровенно, как поступил со мной Гез в море. О моем скрытом, о том, что имело значение лишь для меня, комиссар узнал столько же, сколько Браун и Гез, то есть ничего. Связанный теперь обещанием, которое дал Синкрайту, я умолчал об его активном участии. Бут-

лер подтвердил мое показание. Я умолчал также о некоторых вещах, например, о фотографии Биче в каюте Геза и запутанном положении корабля в руках капитана, с целью сосредоточить все происшествя на себе. Я говорил, тщательно обдумывая слова, так что заметное напряжение Биче при моем рассказе, вызванное вполне понятными опасениями, осталось напрасным. Когда я кончил, прямо заявив, что шел к Гезу с целью требовать удовлетворения, она, видимо, поняла, как я боюсь за нее, и в тени ее ресниц блеснуло выражение признательности.

Хотя флегматичен был комиссар, давно привыкший к допросам и трупам, мое сообщение о себе, в связи с Гезом, сильно поразило его. Он не однажды переспросил меня о существенных обстоятельствах, проверяя то, другое сопутствующими показаниями Бутлера. Бутлер, слыша, что я рассказываю, умалчивая о появлении неизвестной женщины, сам обошел этот вопрос, очевидно понимая, что у меня есть основательные причины молчать. Он стал очень нервен, и комиссару иногда приходилось направлять его ответы или вытаскивать их клещами дважды повторенных вопросов. Хотя и я не понимал его тревоги, так как оговорил роль Бутлера благоприятным для него упоминанием о, в сущности, пассивной, даже отчасти сдерживающей роли старшего помощника,— он, быть может, встревожился как виновный в недонесении. Так или иначе, Бутлер стал говорить мало и неохотно. Он потускнел, съезжился. Лишь один раз в его лице появилось неведомое живое усилие,— какое бывает при внезапном воспоминании. Но оно исчезло, ничем не выразив себя.

По ставшему чрезвычайно серьезным лицу комиссара и по количеству исписанных им страниц я начал понимать, что мы все трое не минуем ареста. Я сам поступил бы так же на месте полиции. Опасение это немедленно подтвердилось.

— Объявляю,— сказал комиссар, встав,— впредь до выяснения дела арестованными: неизвестную молодую женщину, отказавшуюся назвать себя, Томаса Гарвея и Элиаса Бутлера.

В этот момент раздался странный голос. Я не сразу его узнал: таким чужим, изменившимся голосом заго-

ворил Бутлер. Он встал, тяжело, шумно вздохнул и с неловкой улыбкой, сразу побледнев, произнес:

— Одного Бутлера. Элиаса Бутлера.

— Что это значит? — спросил комиссар.

— Я убил Геза.

## ГЛАВА XXVIII

К тому времени чувства мои были уже оглушены и захвачены так сильно, что даже объявление ареста явилось развитием одной и той же неприятности; но неожиданное признание Бутлера хватило по оцепеневшим нервам, как новое преступление, совершенное на глазах всех. Биче Сениэль рассматривала убийцу расширенными глазами и, взведя брови, следила с пристальностью глубокого облегчения за каждым его движением. Комиссар перешел из одного состояния в другое, — из состояния запутанности к состоянию иметь здесь, против себя, подлинного преступника, которого считал туповатым свидетелем, — с апломбом чиновника, приписывающего каждый, даже невольный успех влиянию своих личных качеств.

— Этого надо было ожидать, — сказал он так значительно, что, должно быть, сам поверил своим словам. — Элиас Бутлер, сознавшийся при свидетелях, — садитесь и изложите, как было совершено преступление.

— Я решил, — начал Бутлер, когда сам несколько освоился с перенесением тяжести сцены, целиком обрушенной на него и бесповоротно очертившей тюрьму, — я решил рассказать все, так как иначе не будет понятен случай с убийством Геза. Это — случай; я не хотел его убивать. Я молчал потому, что надеялся для барышни на благополучный исход ее задержания. Оказалось иначе. Я увидел, как сплелось подозрение вокруг невинного человека. Объяснения она не дала, следовательно, ее надо арестовать. Так, это правильно. Но я не мог остаться подлецом. Надо было сказать. Я слышал, что она выразила надежду на совесть самого преступника. Эти слова я обдумывал, пока вы допрашивали других, и не нашел никакого другого выхода, чем этот, — встать и сказать: Геза застрелил я.

— Благодарю вас, — сказала Биче с участием, — вы честный человек, и я, если понадобится, помогу вам.

— Должно быть, понадобится,— ответил Бутлер, подавленно улыбаясь.— Ну-с, надо говорить все. Итак, мы прибыли в Гель-Гью с контрабандой из Дагона. Четыреста ящиков нарезных железных болтов. Желаете посмотреть?

Он вытащил предмет, который тайно отобрал от меня, и передал его комиссару, отвинтив гайку.

— Заказные формы,— сказал комиссар, осмотрев начинку болта.— Кто же изобрел такую уловку?

— Должен заявить,— пояснил Бутлер,— что все дело вел Гез. Это его связи, и я участвовал в операции лишь деньгами. Мои отложенные за десять лет триста пятьдесят фунтов пошли как пай. Я должен был верить Гезу на слово. Гез обещал купить дешево, продать дорого. Мне приходилось, по нашим расчетам, приблизительно тысяча двести фунтов. Стоило рискнуть. Знали обо всем лишь я, Гез и Синкрайт. Женщины, которые плыли с нами сюда, не имели отношения к этой погрузке и ничего не подозревали. Гез был против Гарвея, так как по крайней мнительности опасался всего. Не очень был доволен, откровенно сказать, и я, потому что, как-никак, чувствуешь себя спокойнее, если нет посторонних. После того как произошел скандал, о котором вы уже знаете, и несмотря на мои уговоры человека бросили в шлюпку миль за пятьдесят от Дагона, а вмешаться как следует—значило потерять все потому, что Гез, взбесившись, способен на открытый грабеж,— я за остальные дни плавания начал подозревать капитана в намерении увильнуть от честной расплаты. Он жаловался, что опиум обошелся вдвое дороже, чем он рассчитывал, что он узнал в Дагоне о понижении цен, так что прибыль может оказаться значительно меньше. Таким образом капитан подготовил почву и очень этим меня тревожил. Синкрайту было просто обещано пятьдесят фунтов, и он был спокоен, зная, должно быть, что все пронюхает и добьется своего в большем размере, чем надеется Гез. Я ничего не говорил, ожидая, что будет в Гель-Гью. Еще висела эта история с Гарвеем, которую мы думали миновать, пробыв здесь не более двух дней, а потом уйти в Сан-Губерт или еще дальше, где и отстояться, пока не замрет дело. Впрочем, важно было прежде всего продать опий.

Гез утверждал, что переговоры с агентом по продаже

ему партии железных болтов будут происходить в моем присутствии, но когда мы прибыли, он устроил, конечно, все самостоятельно. Он исчез вскоре после того, как мы ошвартовались, и явился веселый, только стараясь казаться озабоченным. Он показал деньги. «Вот все, что удалось получить,— так он заявил мне.— Всего три тысячи пятьсот. Цена товара упала, наши приказчики предложили ждать улучшения условий сбыта или согласиться на три тысячи пятьсот фунтов за тысячу сто килограммов».

Мне приходилось, по расчету моих и его денег,— причем он уверял, что болты стоили ему по три гиней за сотню,— несправедные остатки. Я выделился, таким образом, из расчета пятьсот за триста пятьдесят, и между нами произошла сценка. Однако доказать ничего было нельзя, поэтому я вчера же направился к одному сведущему по этим делам человеку, имя которого называть не буду, и я узнал от него, что наша партия меньше, как за пять тысяч, не может быть продана, что цена держится крепко.

Обдумав, как уличить Геза, мы отправились в один склад, где мой знакомый усадил меня за перегородку, сзади конторы, чтобы я слышал разговор. Человек, которого я не видел, так как он был отделен от меня перегородкой, в ответ на мнимое предложение моего знакомого сразу же предложил ему четыре с половиной фунта за килограмм, а когда тот начал торговаться,— накинул пять и даже пять с четвертью. С меня было довольно. Угостив человека за услугу, я отправился на корабль и, как Гез уже переселился сюда, в гостиницу, намереваясь широко пожить,— пошел к нему, но его не застал. Был я еще вечером,— раз, два, три раза — и безуспешно. Наконец сегодня утром, около десяти часов, я поднялся по лестнице со двора и, никого не встретив, постучал к Гезу. Ответа я не получил, а тронув за ручку двери, увидел, что она не заперта, и вошел. Может быть, Гез в это время ходил вниз жаловаться на Пегги

Так или иначе, но я был здесь один в комнате, с неприятным стеснением, не зная, оставаться ждать или выйти разыскивать капитана. Вдруг я услышал шаги Геза, который сказал кому-то: «Она должна явиться немедленно».



Так как я напряженно думал несколько дней о продаже опия, то подумал, что слова Геза относятся к одной пожилой даме, с которой он имел эти дела. Не могло представиться лучшего случая узнать все. Сообразив свои выгоды, я быстро проник в шкаф, который стоит у двери, и прикрыл его изнутри, решаясь на все. Я исполнил свой план, уже стоя в шкапу. План был очень прост: услышать, что говорит Гез с дамой-агентом, и, разузнав точные цифры, если они будут произнесены, явиться в благоприятный момент. Ничего другого не оставалось. Гез вошел, хлопнув дверью. Он метался по комнате, бормоча: «Я вам покажу! Вы меня мало знаете, подлецы».

Некоторое время было тихо. Гез, как я видел его в щель, стоял задумчиво, напевая, потом вздохнул и сказал: «Проклятая жизнь!»

Тогда кто-то постучал в дверь, и, быстро кинувшись ее открыть, он закричал: «Как?! Может ли быть?! Входите же скорее и докажите мне, что я не сплю!»

Я говорю о барышне, которая сидит здесь. Она отказалась войти и сообщила, что приехала уговориться о месте для переговоров; каких, — не имею права сказать.

Бутлер замолчал, предоставляя комиссару обойти это положение вопросом о том, что произошло дальше, или обратиться за разъяснением к Биче которая заявила:

— Мне нет больше причины скрывать свое имя. Меня зовут Биче Сениэль. Я пришла к Гезу условиться, где встретиться с ним относительно выкупа корабля «Бегущая по волнам». Это судно принадлежит моему отцу. Подробности я расскажу после.

— Я вижу уже, — ответил комиссар с некоторой поспешностью, позволяющей сделать благоприятное для девушки заключение, — что вы будете допрошены как свидетельница.

Бутлер продолжал:

— Она отказалась войти, и я слышал, как Гез говорил в коридоре, получая такие же тихие ответы. Не знаю, сколько прошло времени. Я был разозлен тем, что напрасно засел в шкаф, но выйти не мог, пока не будет никого в коридоре и комнате. Даже если бы Гез запер помещение на ключ, наружная лестница, которая

находится под самым окном, оставалась в моем распоряжении. Это меня несколько успокоило.

Пока я соображал так, Гез возвратился с дамой, и разговор возобновился. Барышня сама расскажет, что произошло между ними. Я чувствовал себя так гнусно, что забыл о деньгах. Два раза я хотел ринуться из шкапа, чтобы прекратить безобразие. Гез бросился к двери и запер ее на ключ. Когда барышня вскочила на окно и спрыгнула вниз, на ту лестницу, что я видел в свою щель, Гез сказал: «О мука! Лучше умереть!» Подлая мысль двинула меня открыто выйти из шкапа. Я рассчитывал на его смущение и расстройство. Я решился на шантаж и не боялся нападения, так как со мной был мой револьвер.

Гез был убит быстрее, чем я вышел из шкапа. Увидев меня, должно быть, взволнованного и бледного, он сначала отбежал в угол, потом кинулся на меня, как отраженный от стены мяч. Никаких объяснений он не спрашивал. Слезы текли по его лицу; он крикнул: «Убью, как собаку!» — и схватил со стола револьвер. Тут бы мне и конец. Вся его дикая радость немедленной расправы передалась мне. Я закричал, как он, и увидел его лоб. Не знаю, кажется мне это или я где-то слышал действительно, — я вспомнил странные слова: «Он получает пулю в лоб...» — и мою руку, без прицела, вместе с движением и выстрелом, повело куда надо, как магнитом. Выстрела я не слышал. Гез уронил револьвер, согнулся и стал качать головой. Потом он ухватился за стол, пополз вниз и растянулся. Некоторое время я не мог двинуться с места; но надо было уйти. Я открыл дверь и на носках побежал к лестнице, все время ожидая, что буду схвачен за руку или окликнут. Но я опять, как когда пришел, решительно никого не встретил и вскоре был на улице. С минуту я то уходил прочь, то поворачивал обратно, начав сомневаться, было ли то, что было. В душе и голове гул был такой, как если бы я лежал среди рельс под мчавшимся поездом. Все звуки кричали, все было страшно и ослепительно. Тут я увидел Гарвея и очень обрадовался, но не мог радоваться по-настоящему. Мысли появлялись очень быстро и с силой. Так я, например, узнав, что Гарвей идет к Гезу — немедленно, с совершенным убеждением порешил, что если есть на меня какие-нибудь неведомые

мне подозрения, лучше всего будет войти теперь же с Гарвеем. Я думал, что барышня уже далеко. Ничего подобного, такого, чем обернулось все это несчастье, мне не пришло даже в голову. Одно стояло в уме: «Я вошел и увидел, и я так же поражен, как и все». Пока я здесь сидел, я внутренне отошел, а потому не мог больше молчать.

На этих словах показание Бутлера отзвучало и смолкло. Он то вставал, то садился.

— Дайте вашу руку, Бутлер,— сказала Биче. Она взяла его руку, протянутую медленно и тяжело, и крепко встряхнула ее.— Вы тоже не виноваты, а если и были виноваты, не виновны теперь.— Она обратилась к комиссару: — Должна говорить я.

— Желаете дать показания наедине?

— Только так.

— Элиас Бутлер, вы арестованы. Томас Гарвей — вы свободны и обязаны явиться свидетелем по вызову суда.

Полисмены, присутствие которых только теперь стало заметно, увели Бутлера. Я вышел, оставив Биче и условившись с ней, что буду ожидать ее в экипаже. Пройдя сквозь коридор, такой пустой утром и так полный теперь набившейся изо всех щелей квартала толпой, разогнать которую не могли никакие усилия, я вышел через буфет на улицу. Неподалеку стоял кэб; я нанял его и стал ожидать Биче, дополняя воображением немногие слова Бутлера,— те, что разворачивались теперь в показание, тяжелое для женщины и в особенности для девушки. Но уже зная ее немного, я не мог представить, чтобы это показание было дано иначе, чем те движения женских рук, которые мы видим с улицы, когда они раскрывают окно в утренний сад.

## ГЛАВА XXIX

Мне пришлось ждать почти час. Непрестанно оглядываясь или выходя из экипажа на тротуар, я был занят лишь одной навязчивой мыслью: «Ее еще нет». Ожидание утомило меня более, чем что-либо другое в этой мрачной истории. Наконец я увидел Биче. Она поспешно шла и, заметив меня, обрадованно кивнула.

Я помог ей усесться и спросил, желает ли Биче ехать домой одна.

— Да и нет; хотя я утомлена, но по дороге мы поговорим. Я вас не приглашаю теперь, так как очень устала.

Она была бледна и досадовала. Прошло несколько минут молчаливой езды, пока Биче заговорила о Гезе.

— Он запер дверь. Пронзошла сцена, которую я постараюсь забыть. Я не испугалась, но была так зла, что сама могла бы убить его, если бы у меня было оружие. Он обхватил меня и, кажется, пытался поцеловать. Когда я вырвалась и подбежала к окну, я увидела, как могу избавиться от него. Под окном проходила лестница, и я спрыгнула на площадку. Как хорошо, что вы тоже пришли туда!

— Увы, я не мог ничем вам помочь!

— Достаточно, что вы там были. К тому же вы старались если не обвинить себя, то внушить подозрение. Я вам очень благодарна, Гарвей. Вечером вы придете к нам? Я назначу теперь же, когда встретиться. Я предлагаю в семь. Я хочу вас видеть и говорить с вами. Что вы скажете о корабле?

— «Бегущая по волнам»,— ответил я,— едва ли может быть передана вам в ближайшее время, так как, вероятно, произойдет допрос остальной команды, Синкрайта, и судно не будет выпущено из порта, пока права Сенизлей не установит портовый суд, а для этого необходимо снести с Брауном.

— Я не понимаю,— сказала Биче, задумавшись,— каким образом получилось такое грозное и грязное противоречие. С любовью был построен этот корабль. Он возник из внимания и заботы. Он был чист. Едва ли можно будет забыть о его падении, о тех историях, какие произошли на нем, закончившись гибелью троих людей: Геза, Бутлера и Синкрайта, которого, конечно, арестуют.

— Вы были очень испуганы?

— Нет. Но тяжело видеть мертвого человека, который лишь несколько минут назад говорил как в бреду и, вероятно, искренне. Мы почти приехали, так как за этим поворотом, налево, тот дом, где я живу.

Я остановил экипаж у старых каменных ворот с фасадом внутри двора и простился. Девушка быстро по-

шла внутрь; я смотрел ей вслед. Она обернулась и, оставаясь, пристально посмотрела на меня издали, но без улыбки. Потом, сделав неопределенное усталое движение, исчезла среди деревьев, и я поехал в гостиницу.

Было уже два часа. Меня встретил Кук, который при дневном свете выглядел теперь вялым. Цвет его лица далеко уступал розовому сиянию прошедшей ночи. Он был или озабочен, или в неудовольствии, по неизвестной причине. Кук сообщил, что привезли мои вещи. Действительно, они лежали здесь, в полном порядке, с письмом, засунутым в щель чемодана. Я распечатал конверт, оказавшийся запиской от Дэзи. Девушка извещала, что «Нырок» уходит в обратный путь послезавтра, что она надеется попрощаться со мной, благодарит за книги и просит еще раз извинить за вчерашнюю выходку. «Но это было смешно,— стояло в конце.— Вы, значит, видели еще одно такое же платье, как у меня. Я хотела быть скромной, но не могу. Я очень любопытна. Мне нужно вам очень много сказать».

Как я ни был полон Биче, мое отношение к ней погрузилось в дым тревоги и нравственного бедствия, испытанного сегодня, разогнать которое могло только дальнейшее нормальное течение жизни, а поэтому эта милая и прострая записка Дэзи была как ее улыбка. Я словно услышал еще раз звучный, горячий голос, меняющийся в выражении при каждом колебании настроения. Я решил отправиться на «Нырок» завтра утром. Тем временем состояние Кука начало меня беспокоить, так как он мрачно молчал и грыз ногти — привычка, которую ненавижу. Встретившись глазами, мы довольно долго осматривали друг друга, пока Кук, наконец, не вышел из тягостного момента глубоким вздохом и кратким упоминанием о черте. Соболезнуя, я получил ответ, что у него припадок неврастения.

— Как я вам себя рекомендовал, это все верно,— говорил Кук, бешено разламывая спичечную коробку,— то есть что я сплетник, сплетник по убеждению, по призванию, наконец — по эстетическому уклону. Но я также и неврастеник. За завтраком был разговор об орехах. У одного человека червь погубил урожай. Что, если бы это случилось со мной? Мои сады! Мои замечательные орехи! Не могу представить в белом сердце ореха — червя, несущего пыль, горечь, пустоту. Мне стало

грустно, и я должен отправиться домой, чтобы посмотреть, хороши ли мои орехи. Мне не дает покоя мысль, что их, может быть, грызут черви.

Я высказал надежду, что это пройдет у него к вечеру, когда среди толп, музыки, затей и цветов загремит карнавальное торжество, но Кук отнесся философически.

— Я смотрю мрачно,— сказал он, шагая по комнате, засунув руки за спину и смотря в пол.— Мне рисуется такая картина. В мраке расположены сильно озаренные круги, а между ними — черная тень. На свет из тени мчатся веселые простаки. Эти круги — ловушки. Там расставлены стулья, зажжены лампы, играет музыка и много хорошеньких женщин. Томный вальс вежливо просит вас обнять гибкую талию. Талия за талией, рука за рукой наполняют круг звучным и упительным вихрем. Огненные надписи вспыхивают под ногами танцующих; они гласят: «Любовь навсегда!» — «Ты муж, я жена!» — «Люблю и страдаю и верю в невозможное счастье!» — «Жизнь так хороша!» — «Отдадимся веселью, а завтра — рука об руку, до гроба, вместе с тобой!..». Пока это происходит, в тени едва можно различить силуэты тех же простаков, то есть их двойники. Прошло, скажем, десять лет. Я слышу там зовоту и брань, могильную плиту будней, попреки и свару, тайные низменные расчеты, хлопоты о детишках, бьющих, валяясь на полу, ногами в тщетном протесте против такой участи, которую предчувствуют они, наблюдая кислую мнительность когда-то обожавших друг друга родителей. Жена думает о другом,— он только что прошел мимо окна. «Когда-то я был свободен,— думает муж,— и я очень любил танцевать вальс...» — Кстати,— вернулся Кук, несколько отходя и втягивая воздух ноздрями, как прибежавшая на болото собака,— вы не слышали ничего о Флоре Салье? Маленькая актриса, приехавшая из Сан-Риоля? О, я вам расскажу! Ее содержит Чемпс, владелец бюро похоронных процессий. Оригинал Чемпс завоевал сердце Салье тем, что преподнес ей восхитительный бархатный гробик, наполненный ювелирными побрякушками. Его жена разузнала. И вот...

Видя, что Кук действительно сплетник, я уклонился от выслушивания подробностей этой истории просто тем, что взял шляпу и вышел, сославшись на неотложные

дела, но он, выйдя со мной в коридор, кричал вслед окрепшим голосом:

— Когда вернетесь, я расскажу! Тут есть еще одна история, которая... Желаю успеха!

Я ушел под впечатлением его громкого свиста, выражавшего окончательное исчезновение неврастения. Моей целью было увидеть Дэзи, не откладывая это на завтра, но, сознаюсь, я пошел теперь только потому, что не хотел и не мог после утренней картины в портовой гостинице внимать болтовне Кука.

### ГЛАВА XXX

Выйдя, я засел в ресторане, из окон которого видна была над крышами линия моря. Мне подали кушанье и вино. Я принадлежу к числу людей, обладающих хорошей памятью чувств, и, думая о Дэзи, я помнил раскаянное стеснение,— вчера, когда так растерянно отпустил ее, огорченную неудачей своей затеи. Не тронул ли я чем-нибудь эту ласковую, милую девушку? Мне было горько опасаться, что она, по-видимому, думала обо мне больше, чем следовало в ее и моем положении. Позавтракав, я разыскал «Нырок», стоявший, как указала Дэзи в записке, неподалеку от здания таможни, кормой к берегу, в длинном ряду таких же небольших шкун, выстроенных борт к борту.

Увидев Больта, который красил кухню, сидя на ее крыше, я спросил его, есть ли кто-нибудь дома.

— Одна Дэзи,— сказал матрос.— Проктор и Тоббоган отправились по вашему делу, их позвала полиция. Пошли и другие с ними. Я уже все знаю,— прибавил он.— Замечательное происшествие! По крайней мере, вы избавлены от хлопот. Она внизу.

Я сошел по трапу во внутренность судна. Здесь было четыре двери; не зная, в которую постучать, я остановился.

— Это вы, Больт? — послышался голос девушки.— Кто там, войдите! — сказала она, помолчав.

Я постучал на голос; каюта находилась против трапа, и я в ней не был ни разу.

— Не заперто! — воскликнула девушка.

Я вошел, очутившись в маленьком пространстве, где справа была занавешенная простыней койка. Дэзи сиде-

ла меж койкой и столиком. Она была одета и тщательно причесана, в том же кисейном платье, как вчера, и, взглянув на меня, сильно покраснела. Я увидел несколько иную Дэзи: она не смеялась, не вскочила порывисто, взгляд ее был приветлив и замкнут. На столике лежала раскрытая книга.

— Я знала, что вы придете,— сказала девушка.— Вот мы и уезжаем завтра. Сегодня утром разгрузились так рано, что я не выпалась, а вчера поздно заснула. Вы тоже утомлены, вид у вас не блестящий. Вы видели убитого капитана?

Усевшись, я рассказал ей, как я и убийца вошли вместе, но ничего не упомянул о Биче. Она слушала молча, подбрасывая пальцем страничку открытой книги.

— Вам было страшно? — сказала Дэзи, когда я кончил рассказывать.— Я представляю,— какой ужас!

— Это еще так свежо,— ответил я, невольно улыбнувшись, так как заметил висящее в углу желтое платье с коричневой бахромой,— что мне трудно сказать о своем чувстве. Но ужас... это был внешний ужас. Настоящего ужаса, я думаю, не было.

— Чему, чему вы улыбнулись?! — вскричала Дэзи, заметив, что я посмотрел на платье.— Вы вспомнили? О, как вы были поражены! Я дала слово никогда больше не шутить так. Я просто глупа. Надеюсь, вы простили меня?

— Разве можно на вас сердиться,— ответил я искренно.— Нет, я не сердился. Я сам чувствовал себя виноватым, хотя трудно сказать почему. Но вы понимаете.

— Я понимаю,— сказала девушка,— и я всегда знала, что вы добры. Но стоит рассказать. Вот, слушайте.

Она погрузила лицо в руки и сидела так, склонив голову, причем я заметил, что она, разведя пальцы, высматривает из-за них с задумчивым, невеселым вниманием. Отняв руки от лица, на котором заиграла ее неподражаемая улыбка, Дэзи поведала свои приключения. Оказалось, что Тоббоган пристал к толпе игроков, окружавших рулетку под навесом, у какой-то стены.

— Сначала,— говорила девушка, причем ее лицо очень выразительно жаловалось,— он пообещал мне, что сделает всего три ставки, и потом мы пойдем куда-нибудь, где танцуют; будем веселиться и есть, но, как



ему повезло,—ему здорово вчера повезло,—он уже не мог отстать. Кончилось тем, что я назначила ему полчаса, а он усадил меня за столик в соседнем кафе, и я за выпитый там стакан шоколада выслушала столько любезностей, что этот шоколад был мне одно мучение. Жестоко оставлять меня одну в такой вечер,—ведь и мне хотелось повеселиться, не так ли? Я отсидела полчаса, потом пришла снова и попыталась увести Тоббогана, но на него было жалко смотреть. Он продолжал выигрывать. Он говорил так, что следовало просто махнуть рукой. Я не могла ждать всю ночь. Наконец кругом стали смеяться, и у него покраснели виски. Это плохой знак. «Дэзи, ступай домой,—сказал он, взглядом умоляя меня.—Ты видишь, как мне везет. Это ведь для тебя!» В то время возникло у меня одно очень ясное представление. У меня бывают такие представления, столь живые, что я как будто действую и вижу, что представляется. Я представила, что иду одна по разным освещенным улицам и где-то встречаю вас. Я решила наказать Тоббогана и, скрепя сердце, стала отходить от того места все дальше, дальше, а когда подумала, что, в сущности, никакого преступления с моей стороны нет, вступило мне в голову только одно: «Скорее, скорее, скорее!» Редко у меня бывает такая храбрость... Я шла и присматривалась, какую бы мне купить маску. Увидев лавочку с вывеской и открытую дверь, я там кое-что примерила, но мне все было не по карману, наконец, хозяйка подала это платье и сказала, что уступит на нем. Таких было два. Первое уже продано,—как вы сами, вероятно, убедились на ком-нибудь другом,—вставила Дэзи.—Нет, я ничего не хочу знать! Мне просто не повезло. Надо же было так случиться! Ужас что такое, если порассудить! Тогда я ничего, конечно, не знала и была очень довольна Там же купила я полумаску, а это платье, которое сейчас на мне, оставила в лавке. Я говорю вам, что помешалась. Потом — туда-сюда... Надо было спастись, потому что ко мне начали приставать. О-го-го! Я бежала, как на коньках. Дойдя до той площади, я стала остывать и уставать, как вдруг увидела вас. Вы стояли и смотрели на статую. Зачем я солгала? Я уже побывала в театре и малость, грешным делом, оттанцевала разка три. Одним словом — наш пострел везде поспел! — Дэзи расхохоталась.—Одна, так одна!

Ну-с, сбежав от очень пылких кавалеров своих, я, как говорю, увидела вас, и тут мне одна женщина оказала услугу. Вы знаете какую. Я вернулась и стала представлять, что вы мне скажете. И-и-и... произошла неудача. Я так рассердилась на себя, что немедленно вернулась, разыскала гостиницу, где наши уже пели хором,— так они были хороши, и произвела фурор. Спасибо Проктору; он крепко рассердился на Тоббогана и тотчас послал матросов отвести меня на «Нырок». Представьте, Тоббоган явился под утро. Да, он выиграл. Было тут упреков и мне и ему. Но мы теперь помирились.

— Милая Дэзи,— сказал я, растроганный больше, чем ожидал, ее искусственно-шутливым рассказом,— я пришел с вами проститься. Когда мы встретимся,— а мы должны встретиться,— то будем друзьями. Вы не заставите меня забыть ваше участие.

— Никогда,— сказала она с важностью...— Вы тоже были ко мне очень, очень добры. Вы — такой...

— То есть — какой?

— Вы — добрый.

Вставая, я уронил шляпу, и Дэзи бросилась ее поднимать. Я опередил девушку; наши руки встретились на поднятой вместе шляпе.

— Зачем так? — сказал я мягко.— Я сам. Прощайте, Дэзи!

Я переложил ее руку с шляпы в свою правую и крепко пожал. Она, затуманясь, смотрела на меня прямо и строго; затем неожиданно бросилась мне на грудь и крепко охватила руками, вся прижавшись и трепеща.

Что не было мне понятно,— стало понятно теперь. Подняв за подбородок ее упрямо прячущееся лицо, сам тягостно и нежно взволнованный этим детским порывом, я посмотрел в ее влажные, отчаянные глаза, и у меня не хватило духа отделаться шуткой.

— Дэзи! — сказал я.— Дэзи!

— Ну да, Дэзи; что же еще? — шепнула она.

— Вы невеста.

— Боже мой, я знаю! Тогда уйдите скорей!

— Вы не должны,— продолжал я.— Не должны...

— Да. Что же теперь делать?

— Вы несчастны?

— О, я не знаю! Уходите!

Она, отталкивая меня одной рукой, крепко притягивала другой. Я усадил ее, ставшую покорной, с бледным и пристыженным лицом; последний взгляд свой она пыталась скрасить улыбкой. Не стерпев, в ужасе я поцеловал ее руку и поспешно вышел. Наверху я встретил поднимающихся по трапу Тоббогана и Проктора. Проктор посмотрел на меня внимательно и печально.

— Были у нас? — сказал он. — Мы от следователя. Вернитесь, я вам расскажу. Дело произвело шум. Третий ваш враг, Синкрайт, уже арестован; взяли и матросов; да, почти всех. Отчего вы уходите?

— Я занят, — ответил я, — занят так сильно, что у меня положительно нет свободной минуты. Надеюсь, вы зайдете ко мне. — Я дал адрес. — Я буду рад видеть вас.

— Этого я не могу обещать, — сказал Проктор, прищуриваясь на море и думая. — Но если вы будете свободны в... Впрочем, — прибавил он с неловким лицом, — подробностей особенных нет. Мы утром уходим.

Пока я разговаривал, Тоббоган стоял отвернувшись и смотрел в сторону; он хмурился. Рассерженный его очевидной враждой, выраженной к тому же так наивно и грубо, которой он как бы вперед осуждал меня, я сказал:

— Тоббоган, я хочу пожать вашу руку и поблагодарить вас.

— Не знаю, нужно ли это, — неохотно ответил он, пытаясь заставить себя смотреть мне в глаза. — У меня на этот счет свое мнение.

Наступило молчание, довольно красноречивое, чтобы нарушать его бесполезными объяснениями. Мне стало еще тяжелее.

— Прощайте, Проктор! — сказал я шкиперу, пожимаю обе его руки, ответившие с горячим облегчением конца неприятной сцены. Тоббоган двинулся и ушел, не обернувшись. — Прощайте! Я только что прощался с Дэзи. Уношу о вас обоих самое теплое воспоминание и крепко благодарю за спасение.

— Странно вы говорите, — отвечал Проктор. — Разве за такие вещи благодарят? Всегда рад помочь человеку. Плюньте на Тоббогана. Он сам не знает, что говорит.

— Да, он не знает, что говорит.

— Ну, вот видите! — Должно быть, у Проктора были сомнения, так как мой ответ ему заметно понравился. — Люди встречаются и расходятся. Не так ли?

— Совершенно так.

Я еще раз пожал его руку и ушел. Меня догнал Больт.

— Со мной-то и забыли попрощаться, — весело сказал он, вытирая запачканную краской руку о колено штанов. Совершая обряд рукопожатия, он прибавил: — Я, извините, понял, что вам не по себе. Еще бы, такие события! Прощайте, желаю удачи!

Он махнул кепкой и побежал обратно.

Я шел прочь бесцельно, как изгнанный, никуда не стремясь, расстроенный и удрученный. Дэзи была существо, которое меньше всего в мире я хотел бы обидеть. Я припоминал, не было ли мной сказано нечаянных слов, о которых так важно размышляют девушки. Она нравилась мне, как теплый ветер в лицо; и я думал, что она могла бы войти в совет министров, добродушно осведомляясь, не мешает ли она им писать? Но, кроме сознания, что мир время от времени пускает бродить детей, даже не позаботившись обдернуть им рубашку, подол которой они суют в рот, красуясь торжественно и пугливо, не было у меня к этой девушке ничего пристального или знойного, что могло бы быть выражено вопреки воле и памяти. Я надеялся, что ее порыв случаен и что она сама улыбнется над ним, когда потекут привычные дни. Но я был благодарен ей за ее доверие, какое она вложила в смутившую меня отчаянную выходку, полную безмолвной просьбы о сердечном, о пылом, о настоящем.

Я был мрачен и утомлен; устав ходить по еще почти пустым улицам, я отправился переодеться в гостиницу. Кук ушел. На столе он оставил записку, в которой перечислял места, достойные посещения этим вечером, указав, что я смогу разыскать его за тем же столом у памятника. Мне оставался час, и я употребил время с пользой, написав коротко Филатру о происшествиях в Гель-Гью. Затем я вышел и, олушив письмо в ящик, был к семи, после заката солнца, у Биче Сениэль.

## ГЛАВА XXXI

Я застал в гостиной Биче и Ботвеля. Увидев ее, я стал спокоен. Мне было довольно ее видеть и говорить с ней. Она была сдержанно оживлена, Ботвель озабочен и напряжен.

— Много удалось сделать,— заявил он.— Я был у следователя, и он обещал, что Биче будет выделена из дела, как материал для газет, а также в смысле ее личного присутствия на суде. Она пришлет свое показание письменно. Но я был еще кое-где и всюду оставлял деньги. Можно было подумать, что у меня карманы прорезаны. Биче, вы будете хоть еще раз покупать корабли?

— Всегда, как только мое право нарушит кто-нибудь. Но я действительно получила урок. Мне было не так весело,— обратилась она ко мне,— чтобы я захотела тронуть еще раз что-нибудь сыплющееся на голову. Но нельзя было подумать.

— Негодяй умер,— сказал Ботвель.— Я пошлю Бутлеру в тюрьму сигар, вина и цветов. Но вы, Гарвей, вы — неповинный и не замешанный ни в чем человек,— каково было вам высидеть около трупа эти часы?

— Мне было тяжело по другой причине,— ответил я, обращаясь к девушке, смотревшей на меня с раздумьем и интересом.— Потому, что я ненавидел положение, бросившее на вас свою терпкую тень. Что касается обстоятельств дела, то они хотя и просты по существу, но странны, как встреча после ряда лет, хотя это всего лишь движение к одной точке.

После того были разобраны все моменты драмы в их отдельных, для каждого лица, условиях. Ботвель неясно представлял внутреннее расположение помещений гостиницы. Тогда Биче потребовала бумагу, которую Ботвель тотчас принес. Пока он ходил, Биче сказала:

— Как вы себя чувствуете теперь?

— Я думал, что приду к вам.

Она приподняла руку и хотела что-то быстро сказать, по-видимому, занимавшее ее мысли, но, изменив выражение лица, спокойно заметила:

— Это я знаю. Я стала размышлять обо всем старательнее, чем до приезда сюда. Вот что...

Я ждал, встревоженный ее спокойствием больше, чем то было бы вызвано холодностью или досадой. Она улыбнулась.

— Еще раз благодарю за участие,— сказала Биче.— Ботвель, вы принесли сломанный карандаш.

— Действительно,— ответил Ботвель.— Но эти дни повернулись такими чрезвычайными сторонами, что карандаш, я ожидаю,— вдруг очинится сам! Гарвей согласен со мной.

— В принципе — да!

— Однако возьмите ножик,— сказала Биче, смеясь и подавая мне ножик вместе с карандашом.— Это и есть нужный принцип.

Я очинил карандаш, довольный, что она не сердится. Биче недоверчиво пошатала его острый конец, затем стала чертить вход, выход, комнату, коридор и лестницу.

Я стоял, склонясь над ее плечом. В маленькой твердой руке карандаш двигался с такой правильностью и точностью, как в прорезах шаблона. Она словно лишь обводила видимые ей одной линии. Под этим чертежом Биче нарисовала контурные фигуры: мою, Бутлера, комиссара и Гардена. Все они были убедительны, как японский гротеск. Я выразил уверенность, что эти мастерство и легкость оставили более значительный след в ее жизни.

— Я не люблю рисовать,— сказала она и, забавляясь, провела быструю, ровную, как сделанную линейкой черту.— Нет. Это для меня очень легко. Если вы охотник, могли бы вы находить удовольствие в охоте на кур среди двора? Так же и я. Кроме того, я всегда предпочитаю оригинал рисунку. Однако хочу с вами посоветоваться относительно Брауна. Вы знаете его, вы с ним говорили. Следует ли предлагать ему деньги?

— По всей щекотливости положения Брауна, в каком он находится теперь, я думаю, что это дело надо вести так, как если бы он действительно купил судно у Геза и действительно заплатил ему. Но я уверен, что он не возьмет денег, то есть возьмет их лишь на бумаге. На вашем месте я поручил бы это дело юристу.

— Я говорил,— сказал Ботвель.

— Но дело простое,— настаивала Биче,— Браун даже сообщил вам, что владеет кораблем мнимо, не в действительности.

— Да, между нас это так бы было,— без бумаг и формальностей. Но у дельца есть культ формы, а так как мы предполагаем, что Брауну нет ни нужды, ни охоты мошенничать, получив деньги за чужое имущество,— незачем отказывать ему в формальной деловой опрятности, которая составляет часть его жизни.

— Я еще подумаю,— сказала Биче, задумчиво смотря на свой рисунок и обводя мою фигуру овальной двойной линией.— Может быть, вам кажется странным, но уладить дело с покойным Гезом мне представлялось естественнее, чем сплести теперь эту официальную безделушку. Да, я не знаю. Могу ли я смутить Брауна, явившись к нему?

— Почти наверное,— ответил я.— Но почти наверное он выкажет смущение тем, что отправит к вам своего поверенного, какую-нибудь лису, мечтавшую о взятке, а поэтому не лучше ли сделать первый такой шаг самой?

— Вы правы. Так будет приятнее и ему и мне. Хотя... Нет, вы действительно правы. У нас есть план,— продолжала Биче, устраняя озабоченную морщину, игравшую между ее тонких бровей, меняя позу и улыбаясь.— План вот в чем: оставить пока все дела и отправиться на «Бегущую». Я так давно не была на палубе, которую знаю с детства! Днем было жарко. Слышите, какой шум? Нам надо встряхнуться.

Действительно, в огромные окна гостиной проникали хоровые крики, музыка, весь праздничный гул собравшегося с новыми силами карнавала. Я немедленно согласился. Ботвель отправился распорядиться о выезде. Но я был лишь одну минуту с Биче, так как вошли ее родственники, хозяйева дома — старичок и старушка, круглые, как два старательно одетых мяча, и я был представлен им девушкой, с облегчением убедясь, что они ничего не знают о моей истории.

— Вы приехали повеселиться, посмотреть, как тут гуляют? — сказала хозяйка, причем ее сморщенное лицо извинялось за беспокойство и шум города.— Мы теперь не выходим, нет. Теперь все не так. И карнавал плох. В мое время один Бреденер запрягал двенадцать лошадей. Карльсон выпустил «Океанию» — замечательный павильон на колесах, и я была там главной Венерой. У Лажотта в саду фонтан бил вином... О, как мы танцевали!

— Все не то,— сказал старик, который, казалось, седел, пушился и уменьшался с каждой минутой, так он был дряхл.— Нет желания даже выехать посмотреть. В тысяча восемьсот... ну, все равно, я дрался на дуэли с Осборном. Он был в костюме «Кот в сапогах». Из меня вынули три пули. Из него — семь. Он помер.

Старички стояли рядом, парой, погруженные в невидимый древний мох; стояли с трудом, и я попрощался с ними.

— Благодарю вас,— сказала старушка неожиданно твердым голосом,— вы помогли Биче устроить все это дело. Да, я говорю о пиратах. Что же, повесили их? Раньше здесь было много пиратов.

— Очень, очень много пиратов! — сказал старик, печально качая головой.

Они все перепутали. Я заметил намекающий взгляд Биче и, поклонясь, вышел вместе с ней, догоняемый старческим шепотом:

— Все не то... не то... Очень много пиратов!

## ГЛАВА XXXII

Отъезжая с Биче и Ботвелем, я был стеснен, отлично понимая, что стесняет меня. Я был неясен Биче, ее отчетливому представлению о людях и положениях. Я вышел из карнавала в действие жизни, как бы просто открыв тайную дверь, сам храня в тени свою душевную линию, какая, переплетаясь с явной линией образовала узлы.

В экипаже я сидел рядом с Биче, имея перед собой Ботвеля, который, по многим приметам, был для Биче добрым приятелем, как это случается между молодыми людьми разного пола, связанными родством, обоюдной симпатией и похожими вкусами. Мы начали разговаривать, но скоро должны были оставить это, так как, едва выехав, уже оказались в действии законов игры, — того самого карнавального перевоплощения, в каком я кружился вчера. Экипаж двигался с великим трудом, осыпанный цветным бумажным снегом, который почти весь приходился на долю Биче, так же как и серпантин, медленно опускающийся с балконов шуршащими лентами. Публика дурачилась, приплясывая, хохоча и крича. Свет был резок и бесноват, как в кругу пожара. Импро-





«БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ»



«БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ»

визированные оркестры с кастрюлями, тазами и бумажными трубами, издававшими дикий рев, шатались по перекресткам. Еще не было процессий и кортежей; задавала тон самая ликующая часть населения — мальчишки и подростки всех цветов кожи и компании на балконах, откуда нас старательно удилл серпантином.

Выбравшись на набережную, Ботвель приказал вознице ехать к тому месту, где стояла «Бегущая по волнам», но, попав туда, мы узнали от вахтенного с баркаса, что судно уведено на рейд, почему наняли шлюпку. Нам пришлось обогнуть несколько пароходов, оглашаемых музыкой и освещенных иллюминацией. Мы стали уходить от полосы берегового света, погружаясь в сумерки и затем в тьму, где, заметив неподвижный мачтовый огонь, один из лодочников сказал:

— Это она.

— Рады ли вы? — спросил я, наклоняясь к Биче.

— Едва ли.— Биче всматривалась.— У меня нет чувства приближения к той самой «Бегущей по волнам», о которой мне рассказывал отец, что ее выстроили на дне моря, пользуясь рыбой-пилой и рыбой-молотком, два поплывавших на руки молодца-гиганта: «Замысел» и «Секрет».

— Это пройдет,— заметил Ботвель.— Надо только приехать и осмотреться. Ступить на палубу ногой, топнуть. Вот и все.

— Она как бы больна,— сказала Биче.— Недуг формальностей... и довольно жалкое прошлое.

— Сбилась с пути,— подтвердил Ботвель, вызвав смех.

— Говорят, нашли труп,— сказал лодочник, присматриваясь к нам. Он, видимо, слышал обо всем этом деле.— У нас разное говорили...

— Вы ошибаетесь,— возразила Биче,— этого не могло быть.

Шлюпка стукнулась о борт. На корабле было тихо.

— Эй, на «Бегущей»! — закричал, вставая, Ботвель.

Над водой склонилась неясная фигура. Это был агент, который, после недолгих переговоров, приправленных интересующими его намеками благодарности, позвал матроса и спустил трап.

Тотчас прибежал еще один человек; за ним третий. Это были Горацій и повар. Мулат шумно приветство-

вал меня. Повар принес фонарь. При слабом, неверном свете фонаря мы поднялись на палубу.

— Наконец-то! — сказала Биче тоном удовольствия, когда прошла от борта вперед и обернулась.— В каком же положении экипаж?

Гораций объяснил, но так бестолково и суетливо, что мы, не дослушав, все перешли в салон. Электричество, вспыхнув в лампах, осветило углы и предметы, на которые я смотрел несколько дней назад. Я заметил, что прибрано и подметено плохо; видимо, еще не улеглось потрясение, вызванное катастрофой.

На корабле остались Гораций, повар, агент, выжидающий случая проследить ходы контрабандной торговли, и один матрос; все остальные были арестованы или получили расчет из денег, найденных при Гезе. Я не особо вникал в это, так как смотрел на Биче, стараясь уловить ее чувства.

Она еще не садилась. Пока Ботвель разговаривал с поваром и агентом, Биче обошла салон, рассматривая обстановку с таким вниманием, как если бы первый раз была здесь. Однажды ее взгляд расширился и затих, и, проследив его направление, я увидел, что она смотрит на сломанную женскую гребенку, лежавшую на буфете.

— Ну, так расскажите еще,— сказала Биче, видя, как я внимателен к этому ее взгляду на предмет незначительный и красноречивый.— Где вы помещались? Где была ваша каюта? Не первая ли слева от трапа? Да? Тогда пройдемте в нее.

Открыв дверь в эту каюту, я объяснил Биче положение действовавших лиц и как я попался, обманутый мнимым раскаянием Геза.

— Начинаю представлять,— сказала Биче.— Очень все это печально. Очень грустно! Но я не намереваюсь долго быть здесь. Взойдемте наверх.

— То чувство не проходит?

— Нет. Я хожу, как по чужому дому, случайно оказавшемуся похожим. Разве не образовался привкус, невидимый след, с которым я так долго еще должна иметь дело внутри себя? О, я так хотела бы, чтобы этого ничего не было!

— Вы оскорблены?

— Да, это настоящее слово. Я оскорблена. Итак, взойдемте наверх.

Мы вышли. Я ждал, куда она поведет меня, с волнением — и не ошибся: Биче остановилась у трапа.

— Вот отсюда,— сказала она, показывая рукой вниз, за борт.— И — один! Я, кажется, никогда не почувствую, не представлю со всей силой переживания, как это могло быть. Один!

— Как — один?! — сказал я, забывшись. Вдруг вся кровь хлынула к сердцу. Я вспомнил, что сказала мне Фрези Грант. Но было уже поздно. Биче смотрела на меня с тягостным, суровым неудовольствием. Момент молчания предал меня. Я не сумел ни поправиться, ни твердостью взгляда отвести тайную мысль Биче, и это передалось ей.

— Гарвей,— сказала она с нежной и прямой силой, «первые зазвучавшей в ее веселом, беспечном голосе,— Гарвей, скажите мне правду!

### ГЛАВА XXXIII

— Я не лгал вам,— ответил я после нового молчания, во время которого чувствовал себя, как оступившийся во тьме и теряющий равновесие. Ничто нельзя было изменить в этом моменте. Биче дала тон. Я должен был ответить прямо или молчать. Она не заслуживала уверток. Не возмущение против запрета, но стремление к девушке, чувство обиды за нее и глубокая тоска вырвали у меня слова, взять обратно которые было уже нельзя.— Я не лгал, но я умолчал. Да, я не был один, Биче, я был свидетелем вещей, которые вас поразят. В лодку, неизвестно как появившись на палубе, вошла и села Фрези Грант, «Бегущая по волнам».

— Но, Гарвей! — сказала Биче. При слабом свете фонаря ее лицо выглядело бледно и смутно.— Говорите тише!.. Я слушаю.

Что-то в ее тоне напомнило мне случай детства, когда, сделав лук, я поддался увещаниям жестоких мальчишек — ударить выгибом дерева этого самодельного оружия по земле. Они не объяснили мне, зачем это нужно, только твердили: «Ты сам увидишь». Я смутно чувствовал, что дело неладно, но не мог удержаться от искушения и ударил. Тетива лопнула.

Это соскользнуло, как выпавшая на рукав искра. Замяв ее, я рассказал Биче о том, что сказала мне Фрез Грант; как она была и ушла... Я не умолчал также о запрещении говорить ей, Биче, причем мне не было дано объяснения. Девушка слушала, смотря в сторону, опустив локоть на борт, а подбородок в ладонь.

— Не говорить мне, — произнесла она задумчиво, улыбаясь голосом. — Это надо понять. Но отчего вы сказали?

— Вы должны знать отчего, Биче.

— С вами раньше никогда не случалось таких вещей?.. — спросила девушка, как бы не слыша моего ответа.

— Нет, никогда.

— А голос, голос, который вы слышали, играя в карты?

— Один-единственный раз.

— Слишком много для одного дня, — сказала Биче, вздохнув. Она взглянула на меня мельком, тепло, с легкой печалью; потом, застенчиво улыбнувшись, сказала: — Пройдемте вниз. Вызовем Ботвеля. Сегодня я должна раньше лечь, так как у меня болит голова. А та — другая девушка? Вы ее встретили?

— Не знаю, — сказал я совершенно искренне, так как такая мысль о Дэзи мне до того не приходила в голову, но теперь я подумал о ней с странным чувством нежной и тревожной помехи. — Биче, от вас зависит — я хочу думать так, — от вас зависит, чтобы нарушенное мною обещание не обратилось против меня!

— Я вас очень мало знаю, Гарвей, — ответила Биче серьезно и стесненно. — Я вижу даже, что я совсем вас не знаю. Но я хочу знать и буду говорить о том завтра. Пока что, я — Бичи Сениэль, и это мой вам ответ.

Не давая мне заговорить, она подошла к трапу и крикнула вниз:

— Ботвель! Мы едем!

Все вышли на палубу. Я попрощался с командой, отдельно поговорил с агентом, который сделал вид, что моя рука случайно очутилась в его быстро понимающих пальцах, и спустился к лодке, где Биче и Ботвель ждали меня. Мы направились в город. Ботвель рассказал, что, как он узнал сейчас, «Бегущую по волнам» предложено оставить в Гель-Гью до распоряжения Брауна,

которого известили по телеграфу обо всех происшествиях.

Биче всю дорогу сидела молча. Когда лодка вошла в свет бесчисленных огней набережной, девушка тихо и решительно произнесла:

— Ботвель, я навалю на вас множество неприятных забот. Вы без меня продадите этот корабль с аукциона или... как придется.

— Что?! — крикнул Ботвель тоном веселого ужаса.

— Разве вы не поняли?

— Потом поговорим, — сказал Ботвель и, так как лодка остановилась у ступеней каменного схода набережной, прибавил: — Чертовски неприятная история — все это, вместе взятое. Но Биче неумолима. Я вас хорошо знаю, Биче!

— А вы? — спросила девушка, когда прощалась со мной. — Вы одобряете мое решение?

— Вы только так и могли поступить, — сказал я, отлично понимая ее припадок брезгливости.

— Что же другое? — Она задумалась. — Да, это так. Как ни горько, но зато стало легко. Спокойной ночи, Гарвей! Я завтра извещу вас.

Она протянула руку, весело и резко пожав мою, причем в ее взгляде таилась эта смущающая меня забота с примесью явного недовольства, — мной или собой? — я не знал. На сердце у меня было круто и тяжело.

Тотчас они уехали. Я посмотрел вслед экипажу и пошел к площади, думая о разговоре с Биче. Мне был нужен шум толпы. Заметь свободный кеб, я взял его и скоро был у того места, с какого вчера увидел статую Фрези Грант. Теперь я вновь увидел ее, стараясь убедить себя, что не виноват. Подавленный, я вышел из кеба. Вначале я тупо и оглушенно стоял, — так было здесь тесно от движения и непрерывных, следующих один другому в тыл, замечательных по разнообразию, богатству и прихотливости маскарадных сооружений. Но первый мой взгляд, первая слетевшая через всю толпу мысль — была: Фрези Грант. Памятник возвышался в цветах; его пьедестал образовал конус цветов, небывалый ворох, сползающий осыпями жасмина, роз и магнолий. С трудом рассмотрел я вчерашний стол; он теперь был обнесен рогатками и стоял ближе к памят-



нику, чем вчера, укрывшись под его цветущей скалой. Там было тесно, как в яме. При моем настроении, полном не меньшего гула, чем какой был вокруг, я не мог сделаться участником застольной болтовни. Я не пошел к столу. Но у меня явилось намерение пробиться к толпе зрителей, окружавшей подножие памятника, чтобы смотреть изнутри круга. Едва я отделился от стены дома, где стоял, прижатый движением, как, поддаваясь непрерывному нажиму и толчкам, был отнесен далеко от первоначального направления и попал к памятнику со стороны, противоположной столу, за которым, наверное, так же, как вчера, сидели Бавс, Кук и другие, известные мне по вчерашней сцене.

Попав в центр, где движение, по точному физическому закону, совершается медленнее, я купил у продавца масок лиловую полумаску и, обезопасив себя таким простым способом от острых глаз Кука, стал на один из столбов, которые были соединены цепью вокруг «Бегущей». За это место, позволяющее избегать досадного перемещения, охраняющее от толчков и делающее человека выше толпы на две или на три головы, я заплатил его владельцу, который сообщил мне в порыве благодарности, что он занимает его с утра,— импровизированный промысел, наградивший пятнадцатилетнего сорванца золотой монетой.

Моя сосредоточенность была нарушена. Заразительная интимность происходящего — эта разгульная, легкомысленная и торжественная теснота, опахиваемая напевающим пристукиванием оркестров, размещенных в разных концах площади,— соскальзывала в самую печальную душу, как щекочущее перо. Оглядываясь, я видел подобие огромного здания, с которого снята крыша. На балконах, в окнах, на карнизах, на крышах, навесах подъездов, на стульях, поставленных в экипажах, было полно зрителей. Высоко над площадью вились сотни китайских фигурных змеев. Гуттаперчевые шары плавали над головами. По протянутым выше домов проволокам шумел длинный огонь ракет, скользящих горизонтально. Прямой угол двух свободных от экипажного движения сторон площади, вершина которого упиралась в центр, образовал цепь переезжающего сказочного населения; здесь было что посмотреть, и я отметил несколько выездов, достойных упоминания.



Медленно удаляясь, покачивалась старинная золотая карета, с ладьеобразным низом и высоким сиденьем для кучера,— но такая огромная, что сидящие в ней взрослые казались детьми. Они были в костюмах эпохи Ватто. Экипажем управлял Дон-Кихот, погоняя четверку богато украшенных золотой, спадающей до земли сеткой, лошадей огромным копьём. За каретой следовала длинная настоящая лодка, полная капитанов, матросов, юнг, пиратов и Робинзонов; они размахивали картонными топорами и стреляли из пистолетов, причем звук выстрела изображался голосом, а вместо пуль вылетали плоские суконные крысы. За лодкой, раскачивая хоботы, выступали слоны, на спинах которых сидели баядерки, гейши, распевая игривые шансонетки. Но более всех других затей привлекло мое внимание искусно сделанное двухсаженное сердце — из алого плюша. Оно было, как живое; вздрагивая, напрягаясь или падая, причем трепет проходил по его поверхности, оно медленно покачивалось среди обступившей его группы масок; роль амура исполнял человек с огромным пером, которым он ударял, как копьём, в ужасную плюшевую рану. Другой, с мордой летучей мыши, стирал губкой инициалы, которые писала на поверхности сердца девушка в белом хитоне и зеленом венке, но как ни быстро она писала и как ни быстро стирала их жадная рука, все же не удавалось стереть несколько букв. Из левой стороны сердца, прячась и кидаясь внезапно, извивалась отвратительная змея, жаля протянутые вверх руки, полные цветов; с правой стороны высовывалась прекрасная голая рука женщины, сыплющая золотые монеты в шляпу старика-нищего. Перед сердцем стоял человек ученого вида, рассматривая его в огромную лупу, и что-то говорил барышне, которая проворно стучала клавишами пишущей машины.

Несмотря на наивность аллегории, она производила сильное впечатление; и я, следя за ней, еще долго видел дымящуюся верхушку этого маскарадного сердца, пока не произошло замешательства, вызванного остановкой процессии. Не сразу можно было понять, что стряслось. Образовался прорыв, причем передние выезды отделились, продолжая свой путь, а задние, напирая под усиливающиеся крики нетерпения, замялись на месте, так как против памятника остановилось высокое,

странного вида сооружение. Нельзя было сказать, что оно изображает. Это был как бы высокий ящик, с длинным навесом спереди; его внутренность была задрапирована опускающимися до колес тканями. Оно двигалось без людей; лишь на высоком передке сидел возница с закрытым маской лицом. Наблюдая за ним, я увидел, что он повернул лошадей, как бы намереваясь выйти из цепи, причем тыл его таинственной громады, которую он катил, был теперь повернут к памятнику по прямой линии. Очень быстро образовалась толпа; часть людей, намереваясь помочь, кинулась к лошадям; другая, размахивая кулаками перед лицом возницы, требовала убраться прочь. Сбежав с своего столба, я кинулся к задней стороне сооружения, еще ничего не подзревая, но смутно обеспокоенный, так как возница, соскочив с козел, погрузился в толпу и исчез. Задняя стена сооружения вдруг взвилась вверх; там, прижавшись в углу, стоял человек. Он был в маске и что-то делал с веревкой, опускавшейся сверху. Он замешкался, потому что наступил на ее конец.

Мысль этого момента напоминала свистнувший мимо уха камень: так все стало мне ясно, без точек и запятых. Я успел кинуться к памятнику и, разбросав цветы, взобраться по выступам цоколя на высоту, где моя голова была выше колен «Бегущей». Внизу сбилась дико загремевшая толпа, я увидел направленные на меня револьверы и пустоту огромного ящика, верх которого приходился теперь на уровне моих глаз.

— Стегайте, бейте лошадей! — закричал я, ухватясь левой рукой за выступ подножия мраморной фигуры, а правую протянув вперед. Еще не зная, что произойдет, я чувствовал нависшую недалеко тяжесть угрозы и готов был принять ее на себя.

Всеобщее оцепенение едва не помогло ужасной затее. В дальнем конце просвета сооружения оторвалась черная тень, с шумом махнула вниз и, взвившись перед самым моим лицом, повернулась. Это была продолговатая чугунная штамба, весом пудов двадцать, пущенная, как маятник, на крепком канате. Она повернулась в тот момент, когда между ее слепой массой и моим лицом прошла тень женской руки, вытянутой жестом защиты. Удар плашмя уничтожил бы меня вместе со статуей, как топор — стеариновую свечу, но поворот штамбы су-

нул ее в воздухе концом мимо меня, на дюйм от плеча статуи. Она остановилась и, завертясь, умчалась назад. Этот обратный удар был ужасен. Он снес боковой фасад ящика, раздробив его с громом, бросившим лошадей прочь. Сооружение качнулось и рухнуло. Две лошади упали, путаясь ногами в постромах; другие вставали на дыбы и рвались, волоча развалины среди разбегающейся толпы. Весь дрожа от нервного потрясения, я сбежал вниз и прежде всего взглянул на статую Фрези Грант. Она была прекрасна и невредима.

Между тем толпа хлынула со всех концов площади так густо, что, потеряв шляпу и оттесненный публикой от центра сцены, где разъяренное скопище уничтожало опрокинутую дьявольскую машину, я был затерян, как камень, упавший в воду. Некоторое время два-три человека вертелись вокруг меня, ощупывая и предлагая услуги свои, но, так как нас ежеминутно грозило сбить с ног стремительное возбуждение, я был естественно и очень скоро отделен от всяких доброхотов и мог бы, если бы хотел, присутствовать далее зрителем; но я поспешил выбраться. Повсюду раздавались крики, что нападение — дело Граса Парана и его сторонников. Таким образом карнавал был смят, превращен в чрезвычайное, центральное событие этого вечера; по всем улицам спешили на площадь группы, а некоторые мчались бегом. Устав от шума, я завернул в переулок и вскоре был дома.

Я пережил настроение, которое улеглось не сразу. Я садился, но не мог сидеть и начинал ходить, все еще полный впечатлением мигнувшей мимо виска внезапной смерти, которую отвела маленькая таинственная рука. Я слышал треск опрокинутого обратным ударом сооружения. Вся тяжесть сцен прошедшего дня соединилась с этим последним воспоминанием. Чувствуя, что не засну, я оглушил себя такой порцией виски, какую сам считал бы в иное время чудовищной, и зарылся в постель, не имея более сил ни слышать, ни смотреть, как бьется огромное плюшевое сердце, исходя ядом и золотом, болью и смехом, желанием и проклятием.

## ГЛАВА XXXIV

Я проснулся один, в десять часов утра. Кука не было. Его постель стояла нетронутой. Следовательно, он не ночевал, и, так как был только рад случайному оди-

ночеству. я более не тревожил себя мыслями о его судьбе.

Когда я оделся и освежил голову потоками ледяной воды, слуга доложил, что меня внизу ожидает дама. Он также передал карточку, на которой я прочел: «Густав Бреннер, корреспондент «Рифа». Догадываясь, что могу увидеть Биче Сениэль, я поспешно сошел вниз. Довольно мне было увидеть вуаль, чтобы нравственная и нервная ломота, благодаря которой я проснулся с неопределенной тревогой, исчезла, сменясь мгновенно чувством такой сильной радости, что я подошел к Биче с искренним, невольным возгласом:

— Слава богу, что это вы, Биче, а не другой кто-нибудь, кого я не знаю.

Она, внимательно всматриваясь, улыбнулась и подняла вуаль.

— Как вы бледны! — сказала, помолчав, девушка. — Да, я уезжаю; сегодня или завтра, еще неизвестно. Я пришла так рано потому, что... это необходимо.

Мы разговаривали, стоя в небольшой гостиной, где была дверь в сад, обнесенный глухой стеной. Кроме Биче, с кресла поднялся, едва я вошел, длинный молодой человек с красным тощим лицом, в пенсне и с портфелем. Мне было тяжело говорить с ним, так как, не глядя на Биче, я видел лишь ее одну, и даже одна потерянная минута была страданием; но Густав Бреннер имел право надоесть, раскланяться и уйти. Извиняясь перед девушкой, которая отошла к двери и стала смотреть в сад, я спросил Бреннера, чем могу быть ему полезен.

Он посвятил меня в столь мне хорошо известное дело смерти капитана Геза и выразил желание получить для газеты интересующие его сведения о моем сложном участии.

Не было другого выхода отделаться от него. Я сказал:

— К сожалению, я не тот, которого вы ищете. Вы — жертва случайного совпадения имен: тот Томас Гарвей, который вам нужен, сегодня не ночевал. Он записан здесь под фамилией Ариногел Кук, и, так как он мне сам в том признался, я не вижу надобности скрывать это.

Благодаря тяжести, лежавшей у меня на сердце, потому что слова Биче об ее отъезде были только что произнесены, я сохранил совершенное спокойствие. Бреннер насторожился; даже его уши шевельнулись от неожиданности.

— Одно слово... прошу вас... очень вас прошу,— поспешно проговорил он, видя, что я намереваюсь уйти.— Ариногел Кук?.. Томас Гарвей... его рассказ... может быть, вам известно...

— Вы должны меня извинить,— сказал я твердо,— но я очень занят. Единственное, что я могу указать,— это место, где вы должны найти мнимого Кука. Он — у стола, который занимает добровольная стража «Бегающей». На нем розовая маска и желтое домино.

Биче слушала разговор. Она, повернув голову, смотрела на меня с изумлением и одобрением. Бреннер схватил мою руку, отвесил глубокий, сломавший его длинное тело поклон и, поворотясь, кинулся аршинными шагами уловлять Кука.

Я подошел к Биче.

— Не будет ли вам лучше в саду? — сказал я.— Я вижу в том углу тень.

Мы прошли и сели; от входа нас заслоняли розовые кусты.

— Биче,— сказал я,— вы очень, очень серьезны. Что произошло? Что мучает вас?

Она взглянула застенчиво, как бы издалека, закусив губу, и тотчас же перевела застенчивость в так хорошо знакомое мне, открытое упорное выражение.

— Простите мое неумение дипломатически окружать вопрос,— произнесла девушка.— Вчера... Гарвей! Скажите мне, что вы пошутили!

— Как бы я мог? И как бы я смел?

— Не оскорбляйтесь. Я буду откровенна, Гарвей, так же, как были откровенны вы в театре. Вы сказали тогда не много и — много. Я — женщина, и я вас очень хорошо понимаю. Но оставим это пока. Вы мне рассказали о Фрези Грант, и я вам поверила, но не так, как, может быть, хотели бы вы. Я поверила в это, как в недействительность, выраженную вашей душой, как верят в рисунок Калло, Фрагонара, Бердслэя; я не была с вами тогда. Клянусь, никогда так много не говорила я о себе и с таким чувством странной до-

сады! Но если бы я поверила, я была бы, вероятно, очень несчастна.

— Биче, вы не правы.

— Непоправимо права. Гарвей, мне девятнадцать лет. Вся жизнь для меня чудесна. Я даже еще не знаю ее как следует. Уже начал двоиться мир, благодаря вам: два желтых платья, две «Бегущие по волнам» и — два человека в одном! — Она рассмеялась, но беспокоен был ее смех. — Да, я очень рассудительна, — прибавила Биче задумавшись, — а это, должно быть, нехорошо. Я в отчаянии от этого!

— Биче, — сказал я, ничуть не обманываясь блеском ее глаз, но говоря только слова, так как ничем не мог передать ей самого себя, — Биче, все открыто для всех.

— Для меня — закрыто. Я слепа. Я вижу тень на песке, розы и вас, но я слепа в том смысле, какой вас делает для меня почти неживым. Но я шутила. У каждого человека свой мир. Гарвей, этого не было?!

— Биче, это было, — сказал я. — Простите меня.

Она взглянула с легким, задумчивым утомлением, затем, вздохнув, встала.

— Когда-нибудь мы встретимся, быть может, и поговорим еще раз. Не так это просто. Вы слышали, что произошло ночью?

Я не сразу понял, о чем спрашивает она. Встав сам, я знал без дальнейших объяснений, что вижу Биче последний раз; последний раз говорю с ней; моя тревога вчера и сегодня была верным предчувствием. Я вспомнил, что надо ответить.

— Да, я был там, — сказал я, уже готовясь рассказать ей о своем поступке, но испытал такое же мозговое отвращение к бесцельным словам, какое было в Лиссе, при разговоре со служащим гостиницы «Дувр», тем более, что я поставил бы и Биче в необходимость затянуть конченный разговор. Следовало сохранить внешность недоразумения, зашедшего дальше, чем полагали.

— Итак, вы едете?

— Я еду сегодня. — Она протянула руку. — Прощайте, Гарвей, — сказала Биче, пристально смотря мне в глаза. — Благодарю вас от всей души. Не надо; я выйду одна.

— Как все распалось, — сказал я. — Вы напрасно провели столько дней в пути. Достигнуть цели и отка-

заться от нее,— не всякая женщина могла бы поступить так. Прощайте, Биче! Я буду говорить с вами еще долго после того, как вы уйдете.

В ее лице тронулись какие-то, оставшиеся непронесенными, слова, и она вышла. Некоторое время я стоял, бесчувственный к окружающему, затем увидел, что стою так же неподвижно,— не имея сил, ни желания снова начать жить,— у себя в номере. Я не помнил, как поднялся сюда. Постояв, я лег, стараясь победить страдание какой-нибудь отвлекающей мыслью, но мог только до бесконечности представлять исчезнувшее лицо Биче.

— Если так,— сказал я в отчаянии,— если, сам не зная того, я стремился к одному горю,— о Фрези Грант, нет человеческих сил терпеть! Избавь меня от страдания!

Надеясь, что мне будет легче, если я уеду из Гельгю, я сел вечером в шестичасовой поезд, так и не увидев более Кука, который, как стало известно впоследствии из газет, был застрелен при нападении на дом Граса Парана. Его двойственность, его мрачный сарказм и смерть за статую Фрези Грант, за некий свой, тщательно охраняемый угол души,— долго волновали меня, как пример малого знания нашего о людях.

Я приехал в Лисс в десять часов вечера, тотчас направляясь к Филатру. Но мне не удалось поговорить с ним. Хотя все окна его дома были ярко освещены, а дверь открыта, как будто здесь что-то произошло,— меня никто не встретил при входе. Изумленный, я дошел до приемной, наткнувшись на слугу, имевшего растерянный и праздничный вид.

— Ах,— шепотом сказал он,— едва ли доктор может... Я даже не знаю, где он. Они бродят по всему дому — он и его жена. Тут у нас такое произошло! Только что, перед вашим приходом...

Поняв, что произошло, я запретил докладывать о себе и, повернув обратно, увидел через раскрытую дверь молодую женщину, сидевшую довольно далеко от меня на низеньком кресле. Доктор стоял, держа ее руки в своих, спиной ко мне. Виноватая и простивший были совершенно поглощены друг другом. Я и слуга тихо, как воры, прошли один за другим на носках к выходу, который теперь был тщательно заперт. Едва ступив на

тротуар, я с стеснением подумал, что Филатру все эти дни будет не до друзей. К тому же его положение требовало, чтобы он первый захотел теперь видеть меня у себя.

Я удалился с особым настроением, вызванным случайно замеченной сценой, которая, среди вечерней тишины, напоминала мне внезапный порыв Дзэи: единственное, чем я был равен в эту ночь Филатру, нашедшему свое несбывшееся. Я услышал, как она говорит, шепча: «Да,— что же мне теперь делать?»

Другой голос, звонкий и ясный, сказал мягко, подсказывая ответ: «Гарвей,— этого не было?»

— Было,— ответил я опять, как тогда.— Это было, Биче, простите меня.

## ГЛАВА XXXV

Известив доктора письмом о своем возвращении, я, не дожидаясь ответа, уехал в Сан-Риоль, где месяца три был занят с Лерхом делами продажи недвижимого имущества, оставшегося после отца. Не так много очистилось мне за всеми вычетами по закладным и векселям, чтобы я, как раньше, мог только телеграфировать Лерху. Но было одно дело, тянувшееся уже пять лет, в отношении которого следовало ожидать благоприятного для меня решения.

Мой характер отлично мирится как с недостатком средств, так и с избытком их. Подумав, я согласился принять заведывание иностранной корреспонденцией в чайной фирме Альберта Витмер и повел странную двойную жизнь, одна часть которой представляла деловой день, другая — отдельный от всего вечер, где сталкивались и развивались воспоминания. С болью я вспомнил о Биче, пока воспоминание о ней не остановилось, приняв характер печальной и справедливой неизбежности... Несмотря на все, я был счастлив, что не солгал в ту решительную минуту, когда на карту было поставлено мое достоинство — мое право иметь собственную судьбу, что бы ни думали о том другие. И я был рад также, что Биче не поступилась ничем в ясном саду своего душевного мира, дав моему воспоминанию искреннее восхищение, какое можно сравнить с восхищением мужеством врага, сказавшего опасную правду перед лицом



смерти. Она принадлежала к числу немногих людей, общество которых приподнимает. Так размышляя, я признавал внутреннее расстояние между мной и ею взаимно законным и мог бы жалеть лишь о том, что я иной, чем она. Едва ли кто-нибудь когда-нибудь серьезно жалел о таких вещах.

Мои письменные показания, посланные в суд, происходивший в Гель-Гью, совершенно выделили Бутлера по делу о высадке меня Гезом среди моря, но оставили открытым вопрос о появлении неизвестной женщины, которая сошла в лодку. О ней не было упомянуто ни на суде, ни на следствии, вероятно по взаимному уговору подсудимых между собой, отлично понимающих, как тяжело отразилось бы это обстоятельство на их судьбе. Они воспользовались моим молчанием на сей счет и могли объяснять его, как хотели. Матросы понесли легкую кару за участие в контрабандном промысле; Синкрайт отделался годом тюрьмы. Ввиду хлопот Ботвеля и некоторых затрат со стороны Биче Бутлер был осужден всего на пять лет каторжных работ. По окончании их он уехал в Дагон, где поступил на угольный пароход, и на том его след затерялся.

Когда мне хотелось отдохнуть, остановить внимание на чем-нибудь отрадном и легком, я вспоминал Дэзи, ворочая гремящее, не покидающее раскаяние безвинной вины. Эта девушка много раз расстраивала и веселила меня, когда, припоминая ее мелкие, характерные движения или же сцены, какие прошли при ее участии, я невольно смеялся и отдыхал, видя вновь, как она возвращается мне проигранные деньги или, поднявшись на цыпочки, бьет пальцами по губам, стараясь заставить понять, чего хочет. В противоположность Биче, образ которой постепенно становился прозрачен, начиная утрачивать ту власть, какая могла удержаться лишь прямым поворотом чувства,—неизвестно где находящаяся Дэзи была реальна, как рукопожатие, сопровождаемое улыбкой и приветом. Я ощущал ее личность так живо, что мог говорить с ней, находясь один, без чувства странности или нелепости, но когда воспоминание повторяло ее нежный и горячий порыв, причем я не мог прогнать ощущение прильнувшего ко мне тела этого полуребенка, которого надо было, строго говоря, гладить по голове,—я спрашивал себя:

— Отчего я не был с ней добрее и не поговорил так, как она хотела, ждала, надеялась? Отчего не попытался хоть чем-нибудь ее рассмешить?

В один из своих приездов в Леге я остановился перед лавкой, на окне которой была выставлена модель парусного судна,— большое, правильно оснащенное изделие, изображавшее каравеллу времен Васко да-Гама. Это была одна из тех вещей, интересных и практически ненужных, которые годами ожидают покупателя, пока не превратятся в неотъемлемый инвентарь самого помещения, где вначале их задумано было продать. Я рассмотрел ее подробно, как рассматриваю все, затронувшее самые корни моих симпатий. Мы редко можем сказать в таких случаях, что собственно привлекло нас, почему такое рассматривание подобно разговору,— настоящему, увлекательному общению. Я не торопился заходить в лавку. Осмотрев маленькие паруса, важную безжизненность палубы, люков, впитав всю обреченность этого карлика-корабля, который, при полной соразмерности частей, способности принять фунтов пять груза и даже держаться на воде и плыть, все-таки не мог ничем ответить прямому своему назначению, кроме как в воображении человеческом,— я решил, что каравелла будет моя.

Вдруг она исчезла. Исчезло все: улица и окно. Чьи-то теплые руки, охватив голову, закрыли мне глаза. Испуг,— но не настоящий, а испуг радости, смешанный с нежеланием освободиться и, должно быть, с глупой улыбкой, помешал мне воскликнуть. Я стоял, затеплев внутри, уже догадываясь, что сейчас будет, и мигая под шевелящимися на моих веках пальцами, негромко спросил:

— Кто это такой?

— «Бегущая по волнам»,— ответил голос, который старался быть очень таинственным.— Может быть, теперь угадаете?

— Дэзи?! — сказал я, снимая ее руки с лица, и она отняла их, став между мной и окном.

— Простите мою дерзость,— сказала девушка, краснея и нервно смеясь. Она смотрела на меня своим прямым, веселым взглядом и говорила глазами обо всем, чего не могла скрыть.— Ну, мне, однако, везет! Ведь

это второй раз, что вы стоите задумавшись, а я прохожу сзади! Вы испугались?

Она была в синем платье и шелковой коричневой шляпе с голубой лентой. На мостовой лежала пустая корзинка, которую она бросила, чтобы приветствовать меня таким замечательным способом. С ней шла огромная собака, вид которой, должно быть, потрясал мосек; теперь эта собака смотрела на меня, как на вещь, которую, вероятно, прикажут нести.

— Дэзи, милая Дэзи,— сказал я,— я счастлив вас видеть! Я очень виноват перед вами! Вы здесь одна? Ну, здравствуйте!

Я пожал ее вырывавшуюся, но не резко, руку. Она привстала на цыпочки и, ухватясь за мои плечи, поцеловала меня в щеку.

— Я вас люблю, Гарвей,— сказала она серьезно и кротко.— Вы будете мне как брат, а я — ваша сестра. О, как я вас хотела видеть! Я многого не договорила. Вы видели Фрези Грант? Вы боялись мне сказать это? С вами это случилось? Представьте, как я была поражена и восхищена! Дух мой захватывало при мысли, что моя догадка верна. Теперь признайтесь, что — так!

— Это — так,— ответил я с той же простотой и свободой, потому что мы говорили на одном языке. Но не это хотелось мне ввести в разговор.

— Вы одна в Леге?

Зная, что я хочу знать, она ответила, медленно покачав головой:

— Я одна, и я не знаю, где теперь Тоббоган. Он очень меня обидел тогда; может быть — и я обидела его, но это дело уже прошлое. Я ничего не говорила ему, пока мы не вернулись в Риоль, и там сказала, и сказала также, как отнеслись вы. Мы оба плакали с ним, плакали долго, пока не устали. Еще он настаивал; еще и еще. Но Проктор, великое ему спасибо, вмешался. Он поговорил с ним. Тогда Тоббоган уехал в Кассет. Я здесь у жены Проктора; она содержит газетный киоск. Старуха относится хорошо, но много курит дома, — а у нас всего три тесные комнаты, так что можно задохнуться. Она курит трубку! Представьте себе! Теперь — вы. Что вы здесь делаете, и сделалась ли у вас — жена, которую вы искали?

Она побледнела, и глаза ее наполнились слезами.  
— О, простите меня! Язык мой — враг мой! Ваша сестра очень глупа! Но вы меня вспоминали немного?

— Разве вас можно забыть? — ответил я, ужасаясь при мысли, что мог не встретить никогда Дэзи. — Да, у меня сделалась жена вот... теперь. Дэзи, я любил вас, сам не зная того, и любовь к вам шла вслед другой любви, которая пережилась и окончилась.

Немногие прохожие переулка оглядывались на нас, зажигая в глазах потайные свечки нескромного любопытства.

— Уйдем отсюда, — сказала Дэзи, когда я взял ее руку и, не выпуская, повел на пересекающий переулок бульвар. — Гарвей, милый мой, сердце мое, я исправлюсь, я буду сдержанной, но только теперь надо четыре стены. Я не могу ни поцеловать вас, ни пройти колесом. Собака... ты тут. Ее зовут «Хлопс». А надо бы назвать «Гавс». Гарвей!

— Дэзи?!

— Ничего. Пусть будет нам хорошо!

## ЭПИЛОГ

### I

Среди разговоров, которые происходили тогда между Дэзи и мной и которые часто кончались под утро, потому что относительно одних и тех же вещей открывали мы как новые их стороны, так и новые точки зрения, — особенной любовью пользовалась у нас тема о путешествии вдвоем по всем тем местам, какие я посещал раньше. Но это был слишком обширный план, почему его пришлось сократить. К тому времени я выиграл спорное дело, что дало несколько тысяч, весьма помогших осуществить наше желание. Зная, что все истрачу, я купил в Леге, неподалеку от Сан-Риоля, одноэтажный каменный дом с садом и свободным земельным участком, впоследствии засаженным фруктовыми деревьями. Я составил точный план внутреннего устройства дома, приняв в расчет все мелочи уюта и первого впечатления, какое должны произвести комнаты на входящего в них человека, и поручил устроить это моему

приятелю Товалю, вкус которого, его умение заставить вещи говорить знал еще с того времени, когда Товаль имел собственный дом. Он скоро понял меня,— тотчас, как увидел мою Дэзи. От нее была скрыта эта затея, и вот мы отправились в путешествие, продолжавшееся два года.

Для Дэзи, всегда полной своим внутренним миром и очень застенчивой, несмотря на ее внешнюю смелость, было мучением высиживать в обществе целые часы или принимать, поэтому она скоро устала от таких центров кипучей общественности, как Париж, Лондон, Милан, Рим, и часто жаловалась на потерянное, по ее выражению, время. Иногда, сказав что-нибудь, она вдруг сконфуженно умолкала, единственно потому, что обращала на себя внимание. Скоро подметив это, я ограничил наше общество — хотя оно и менялось — такими людьми, при которых можно было говорить или не говорить, как этого хочется. Но и тогда способность Дэзи переноситься в чужие ощущения все же вызывала у нее стесненный вздох. Она любила приходить сама и только тогда, когда ей хотелось самой.

Но лучшим ее развлечением было ходить со мной по улицам, рассматривая дома. Она любила архитектуру и понимала в ней толк. Ее трогали старинные стены, с рвами и деревьями вокруг них; какие-нибудь цветущие уголки среди запустения умершей эпохи, или чистенькие, новенькие домики, с бессознательной грацией соразмерности всех частей, что встречается крайне редко. Она могла залюбоваться фронтоном; запертой глухой дверью среди жасминной заросли; мостом, где башни и арки отмечены над быстрой водой глухими углами теней; могла она тщательно оценить дворец и подметить стиль в хижине. По всему этому я вспомнил о доме в Леге с затаенным коварством.

Когда мы вернулись в Сан-Риоль, то остановились в гостинице, а на третий день я предложил Дэзи съездить в Леге посмотреть водопады. Всегда согласная, что бы ей я ни предложил, она немедленно согласилась и по своему обыкновению не спала до двух часов, все размышляя о поездке. Решив что-нибудь, она загоралась и уже не могла успокоиться, пока не приведет задуманное в исполнение. Утром мы были в Леге и от станции проехали на лошадях к нашему дому, о кото-

ром я сказал ей, что здесь мы остановимся на два дня, так как этот дом принадлежит местному судье, моему знакомому.

На ее лице появилось так хорошо мне известное стесненное и любопытное выражение, какое бывало всегда при посещении неизвестных людей. Я сделал вид, что рассеян и немного устал.

— Какой славный дом! — сказала Дэзи. — И он стоит совсем отдельно; сад, честное слово, заслуживает внимания! Хороший человек этот судья. — Таковы были ее заключения от предметов к людям.

— Судья как судья, — ответил я. — Может быть, он и великолепен, но что ты нашла хорошего, милая Дэзи, в этом квадрате с двумя верандами?

Она не всегда умела выразить, что хотела, поэтому лишь соединила свои впечатления с моим вопросом одной из улыбок, которая отчетливо говорила: «Притворство — грех. Ведь ты видишь простую чистоту линий, лишающую строение тяжести, и зеленую черепицу, и белые стены с прозрачными, как синяя вода, стеклами; эти широкие ступени, по которым можно сходить медленно, задумавшись, к огромным стволам, под тень высокой листвы, где в просветах солнцем и тенью нанесены вверх яркие и пыльные цветы удачно расположенных клумб. Здесь чувствуешь себя погруженным в столпизшуюся у дома природу, которая, разумно и спокойно теснясь, образует одно целое с передним и боковым фасадами. Зачем же, милый мой, эти лишние слова, каким ты не веришь сам?»

Вслух Дэзи сказала:

— Очень здесь хорошо — так, что наступает на сердце.

Нас встретил Товаль, вышедший из глубины дома.

— Здорово, друг Товаль. Не ожидала вас встретить! — сказала Дэзи. — Вы что же здесь делаете?

— Я ожидаю хозяев, — ответил Товаль очень удачно, в то время как Дэзи, поправляя под подбородком ленту дорожной шляпы, осматривалась, стоя в небольшой гостиной. Ее быстрые глаза подметили все: ковер, лакированный резной дуб, камин и тщательно подобранные картины в ореховых и малахитовых рамах. Среди них была картина Гуэро, изображающая двух собак: одна лежит спокойно, уткнув морду в лапы, смотря че-

ловеческими глазами; другая, встав, вся устремлена на невидимое явление.

— Хозяев нет,— произнесла Дэзи, подойдя и рассматривая картину,— хозяев нет. Эта собака сейчас лайнет. Она пустит лай. Хорошая картина, друг Товаль! Может быть, собака видит врага?

— Или хозяина,— сказал я.

— Пожалуй, что она залает приветливо. Что же нам делать?

— Для вас приготовлены комнаты,— ответил Товаль, худое, острое лицо которого, с большими снисходительными глазами, рассеклось загадочной улыбкой.— Что касается судьи, то он, кажется, здесь.

— То есть Адам Корнер? Ты говорил, что так зовут этого человека.— Дэзи посмотрела на меня, чтобы я объяснил, как это судья здесь, в то время как его нет.

— Товаль хочет, вероятно, сказать, что Корнер скоро придет.

Мне при этом ответе пришлось сильно закусить губу, отчего вышло вроде: «ычет, ыроятно, ызать, чьо, ырнер оро ыредет».

— Ты что-то ешь? — сказала моя жена, заглядывая мне в лицо.— Нет, я ничего не понимаю. Вы мне не ответили, Товаль, зачем вы здесь оказались, а вас очень приятно встретить. Зачем вы хотите меня в чем-то запутать?

— Но, Дэзи,— умоляюще вздохнул Товаль,— чем же я виноват, что судья — здесь?

Она живо повернулась к нему гневным движением, еще не успевшим передаться взгляду, но тотчас рассмеялась.

— Вы думаете, что я дурочка? — поставила она вопрос прямо.— Если судья здесь и так вежлив, что послал вас рассказывать о себе таинственные истории, то будьте добры ему передать, что мы — тоже, может быть,— здесь!

Как ни хороша была эта игра, наступил момент объяснить дело.

— Дэзи,— сказал я, взяв ее за руку,— оглянись и знай, что ты у себя. Я хотел тебя еще немного помучить, но ты уже волнуешься, а потому благодари Товаль за его заботы. Я только купил; Товаль потратил множество своего занятого времени на все внутреннее

устройство. Судья действительно здесь, и этот судья — ты. Тебе судить, хорошо ли вышло.

Пока я объяснял, Дэзи смотрела на меня, на Товалья, на Товалья и на меня.

— Покаянись, — сказала она, побледнев от радости, — покаянись страшной морской клятвой, что это... Ах, как глупо! Конечно же, в глазах у каждого из вас сразу по одному дому! И я-то и есть судья?! Да будь он грязным сараем...

Она бросилась ко мне и вымазала меня слезами восторга. Тому же подвергся Товаль, старавшийся не потерять своего снисходительного, саркастического, потустороннего экспансии вида. Потом начался осмотр, и когда он, наконец, кончился, в глазах Дэзи переливались все вещи, перспективы, цветы, окна и занавеси, как это бывает на влажной поверхности мыльного пузыря. Она сказала:

— Не кажется ли тебе, что все вдруг может исчезнуть?

— Никогда!

— Ну, а у меня жалкий характер; как что-нибудь очень хорошо, так немедленно начинаю бояться, что у меня отнимут, испортят, что мне не будет уже хорошо...

## II

У каждого человека — не часто, не искусственно, но само собой, и только в день очень хороший, среди других, просто хороших дней наступает потребность оглянуться, даже побыть тем, каким был когда-то. Она сродни перебиранию старых писем. Такое состояние возникло однажды у Дэзи и у меня по поводу ее желтого платья с коричневой бахромой, которое она хранила как память о карнавале в честь Фрези Грант, «Бегущей по волнам», и о той встрече в театре, когда я невольно обидел своего друга. Однажды начались воспоминания и продолжались, с перерывами, целый день, за завтраком, обедом, прогулкой, между завтраком и обедом и между работой и прогулкой. Говоря о насущном, каждый продолжал думать о сценах в Гель-Гью и на «Нырке», который, кстати сказать, разбился год назад в рифах, причем спаслись все. Как только отчетливо набегало прошлое, оно ясно вставало и требовало обсуждения, и мы



немедленно принимались переживать тот или другой случай, с жалостью, что он не может снова повториться — теперь — без неясного своего будущего. Было ли это предчувствием, что вечером воспоминания оживут, или тем спокойным прибоем, который напоминает человеку, достигшему берега, о бездонных пространствах, когда он еще не знал, какой берег скрыт за молчанием горизонта, — сказать может лишь нелюбовь к своей жизни, равнодушное психическое исследование. И вот мы заговорили о Биче Сениэль, которую я любил.

— Вот эти глаза видели Фрези Грант, — сказала Дэзи, прикладывая пальцы к моим векам. — Вот эта рука пожимала ее руку. — Она прикоснулась к моей руке. — Там, во рту, есть язык, который с ней говорил. Да, я знаю, это кружит голову, если вдуматься туда, — но потом делается серьезно, важно, и хочется ходить так, чтобы не просыпаться. И это не перейдет ни в кого: оно только в тебе!

Стемнело; сад скрылся и стоял там, в темном одиночестве, так близко от нас. Мы сидели перед домом, когда свет окна озарил Дика, нашего мажордома, человека на все руки. За ним шел, всматриваясь и улыбаясь, высокий человек в дорожном костюме. Его загоревшее, неясно знакомое лицо попало в свет, и он сказал:

— «Бегущая по волнам»!

— Филатр! — вскричал я, подскакивая и вставая. — Я знал, что встреча должна быть! Я вас потерял из вида после тех трех месяцев переписки, когда вы уехали, как мне говорили, — не то в Салер, не то в Дибль. Я сам провел два года в разъездах. Как вы нас разыскали?

Мы вошли в дом, и Филатр рассказал нам свою историю. Дэзи сначала была молчалива и вопросительна, но, начав улыбаться, быстро отошла, принявшись, по своему обыкновению, досказывать за Филатра, если он останавливался. При этом она обращалась ко мне, поясняя очень рассудительно и почти всегда не попадая, как то или это происходило, — верный признак, что она слушает очень внимательно.

Оказалось, что Филатр был назначен в колонию прокаженных, миль двести от Леге, вверх по течению Тавассы, куда и отправился с женой вскоре после моего отъезда в Европу. Мы разминулись на несколько дней всего.

— След найден,— сказал Филатр,— я говорю о том, что должно вас заинтересовать больше, чем «Мария Целеста», о которой рассказывали вы на «Нырке». Это...

— «Бегущая по волнам»! — быстро подстегнула его плавную речь Дэзи и, вспыхнув от верности своей догадки, уселась в спокойной позе, имеющей внушить всем: «Мне только это и было нужно сказать, а затем я молчу».

— Вы правы. Я упомянул «Марию Целесту». Дорогой Гарвей, мы плыли на паровом катере в залив; я и два служащих биологической станции из Оро, с целью охоты. Ночь застала нас в скалистом рукаве, по правую сторону острова Капароль, и мы быстро прошли это место, чтобы остановиться у леса, где утром матросы должны были запасти дрова. При повороте катер стал пробиваться среди слоя плавучего древесного хлама. В том месте сотни небольших островков, и маневры катера по извивам свободной воды привели нас к спокойному круглому заливу, стесненному высоко раскинувшимся листовым навесом. Опасаясь сбиться с пути, то есть, вернее, удлинить его неведомым блужданием по этому лабиринту, шкипер ввел катер в стрелу воды между огромных камней, где мы и провели ночь. Я спал не в каюте, а на палубе и проснулся рано, хотя уже рассвело.

Не сон увидел я, осмотрев замкнутый круг залива, а действительное парусное судно, стоявшее в двух кабельтовых от меня, почти у самых деревьев, бывших выше его мачт. Второй корабль, опрокинутый, отражался на глубине. Встряхнутый так, как если бы меня, сонного, швырнули с постели в воду, я взобрался на камень и, соскочив, зашел берегом к кораблю с кормы, раздрав в клочья куртку: так было густо заплетено вокруг, среди лиан и стволов. Я не ошибся. Это была «Бегущая по волнам», судно, покинутое экипажем, оставленное воде, ветру и одиночеству. На реях не было парусов. На мой крик никто не явился. Шлюпка, полная до половины водой, лежала на боку, на краю обрыва. Я поднял заржавевшую пустую жестянку, вычерпал воду и, как весла лежали рядом, достиг судна, взобравшись на палубу по якорному тросу, с кормы.

По всему можно было судить, что корабль оставлен здесь больше года назад. Палуба проросла травой; у

бортов намело листьев и сучьев. По реям, обвив их, спускались лианы, стебли которых, усеянные цветами, раскачивались, как обрывки снастей. Я сошел внутрь и вздрогнул, потому что маленькая змея, единственно оживляя салон, явила мне свою причудливую и красиво-зловещую жизнь, скользнув по ковру за угол коридора. Потом пробежала мышь. Я зашел в вашу каюту, где среди беспорядка, разбитой посуды и валяющихся на полу тряпок, открыл кучу огромных карабкающихся жуков грязного зеленого цвета. Внутри было душно — нравственно душно, как если бы меня похоронили здесь, причислив к жукам. Я опять вышел на палубу, затем в кухню, кубрик; везде был голый беспорядок, полный мусора и moskitov. Неприятная оторопь, стеснение и тоска напали на меня. Я предоставил розыски шкиперу, который подвел в это время катер к «Бегущей», и его матросам, огласившим залив возгласами здорового изумления и ретиво принявшим забирать все, что годилось для употребления. Мои знакомые, служащие биологической станции, тоже поддались азарту находок и провели полдня, убивая палками змей, а также обшаривая все углы, в надежде открыть следы людей. Но журнала и никаких бумаг не было; лишь в столе капитанской каюты, в щели дальнего угла ящика застрял обрывок письма; он хранится у меня, и я покажу вам его как-нибудь.

— Могу ли надеяться, что вы прочтете это письмо, которого я не хотел... Должно быть, писавший разорвал письмо сам. Но догадка есть также и вопрос, который решать не мне.

Я стоял на палубе, смотря на верхушки мачт и вершины лесных великанов-деревьев, бывших выше мачт, над которыми еще выше шли безучастные, красивые облака. Оттуда свешивалась, как застывший дождь, сеть лиан, простирая во все стороны щупальца, надеющихся, замерших завитков на конце висящих стеблей. Легкий набег ветра привел в движение эту перепутанную по всему устойчивому на их пути армию озаренных солнцем спиралей и листьев. Один завиток, раскачиваясь взад-вперед очень близко от клотика грот-мачты, не повис вертикально, когда ветер спал, а остался под небольшим углом, как придерванный на подъеме маятник. Он делал усилие. Слегка поддал ветер, и, едва коснув-

шись дерева, завиток мгновенно обвился вокруг мачты, дрожа, как струна.

Дэзи, став тихой, неподвижно смотрела на Филатра сквозь пелену слез, застилавших ее глаза.

— Что с тобой? — сказал я, сам взволнованный, так как ясно представил все, что видел Филатр.

— О,— прошептала она, боясь говорить громко, чтобы не расплакаться.— Это так прекрасно! И так грустно и так хорошо, что это все — так!

Я имел глупость спросить, чем она так поражена.

— Не знаю,— ответила Дэзи, вытирая глаза.— Потом я узнаю. Рассказывайте, дорогой доктор.

Заметив ее нервность, Филатр сократил рассказ свой.

Они выбрались из лабиринта островов с изрядным трудом. Надеясь когда-нибудь встретить меня, Филатр постарался разузнать через Брауна о судьбе «Бегущей». Лишь спустя два месяца он получил сведения. «Бегущая по волнам» была продана Эку Летри за полцены и ушла в Аквитэн тотчас после продажи под командой капитана Геруда. С тех пор о ней никто ничего не слышал. Стала ли она жертвой темного замысла, неизвестного никому плана, или спаслась в дебрях реки от преследований врага; вымер ли ее экипаж от эпидемии, или, бросив судно, погиб в чаще от голода и зверей? — узнать было нельзя. Лишь много лет спустя, когда по Тавассе стали находить золото, возникло предположение авантюры, золотой мечты, способной обращать взрослых в детей, но и с этим, кому была охота, мирился только тот, кто не мог успокоиться на неизвестности. «Бегущая» была оставлена там, где на нее случайно наткнулся катер, так как не нашлось охотников снова разыскивать ограбленное дотла судно, с репутацией, питающей суеверия.

— Но этого не довольно для меня и вас,— сказал Филатр, когда переговорили и передумали обо всем, связанном с кораблем Сениэлей.— Не дальше как вчера я встретил молодую даму — Биче Сениэль.

Глаза Дэзи высохли, и она задержала улыбку.

— Биче Сениэль? — сказал я, понимая лишь теперь, как было мне важно знать о ее судьбе.

— Биче Каваз.

Филатр задержал паузу и прибавил:

— Да. На пароходе в Риоль. Ее муж, Гектор Каваз, был с ней. Его жене нездоровилось, и он пригласил меня, узнав, что я врач. Я не знал, кто она, но начал догадываться, когда, услышав мою фамилию, она спросила, знаю ли я Томаса Гарвея, жившего в Лиссе. Я ответил утвердительно и много рассказал о вас. Осторожность удерживала меня передать лишь нам с вами известные факты того вечера, когда была игра в карты у Стерса, и некоторые другие обстоятельства, и н о г о п о р я д к а, чем те, о каких принято говорить в случайных знакомствах. Но, так как разговор коснулся истории корабля «Бегущая по волнам», я счел нужным рассказать, что видел в лесном заливе. Она говорила сдержанно, и даже это мое открытие корабля вывело ее из спокойного состояния только на один момент, когда она сказала, что об этом следовало бы непременно узнать вам. Ее муж, замечательно живой, остроумный и приятный человек, рассказал мне, в свою очередь, о том, что часто видел первое время после свадьбы во сне, — вас, на шлюпке вдвоем с молодой женщиной, лицо которой было закрыто. Тогда обнаружилось, что ему известна ваша история, и разговор, став откровеннее, вернулся к событиям в Гель-Гью. Теперь он велся непринужденно. Ни одного слова не было сказано Биче Каваз об ее отношении к вам, но я видел, что она полна уверенной задумчивости — издали, как берег смотрит на другой берег через синюю равнину воды.

— «Он мог бы быть более близок вам, дорогая Биче, — сказал Гектор Каваз, — если бы не трагедия с Гезом. Обстоятельства должны были сомкнуться. Их разорвала эта смута, эта внезапная смерть».

— «Нет, жизнь, — ответила молодая женщина, взглядывая на Кавазу с доверием и улыбкой. — В те дни жизнь поставила меня перед запертой дверью, от которой я не имела ключа, чтобы с его помощью убедиться, не есть ли это имитация двери. Я не стучусь в наглухо закрытую дверь. Тотчас же обнаружилась невозможность поддерживать отношения. Не понимаю — значит, не существует!»

— «Это сказано запальчиво!» — заметил Каваз.

— «Почему? — она искренне удивилась. — Мне хочется всегда быть только собой. Что может быть скромнее, дорогой доктор?»

— «Или грандиознее», — ответил я, соглашаясь с ней.

У нее был небольшой жар — незначительная простуда. Я расстался под живым впечатлением ее личности — впечатлением неприкосновенности и приветливости. В Сан-Риоле я встретил ТОВАЛЯ, зашедшего ко мне; увидев мое имя в книге гостиницы, он, узнав, что я тот самый доктор ФИЛАТР, немедленно сообщил все о вас. Нужно ли говорить, что я тотчас собрался и поехал, бросив все дела колонии? Совершенно верно. Я стал забывать. Биче КАВАЗ просила меня, если я вас встречу, передать вам ее письмо.

Он порылся в портфеле и извлек небольшой конверт, на котором стояло мое имя. Посмотрев на ДЭЗИ, которая застенчиво и поспешно кивнула, я прочел письмо. Оно было в пять строчек: «Будьте счастливы. Я вспоминаю вас с признательностью и уважением. Биче КАВАЗ».

— Только-то... — сказала разочарованная ДЭЗИ. — Я ожидала большего. — Она встала, ее лицо загорелось. — Я ожидала, что в письме будет признано право и счастье моего мужа видеть все, что он хочет и видит, — там, где хочет. И должно еще было быть: «Вы правы, потому что это сказали вы, ТОМАС ГАРВЕЙ, который не лжет». — И вот это скажу я за всех: ТОМАС ГАРВЕЙ, вы правы. Я сама была с вами в лодке и видела ФРЕЗИ ГРАНТ, девушку в кружевном платье, не боящуюся ступить ногами на бездну, так как и она видит то, чего не видят другие. И то, что она видит, — дано всем; возьмите его! Я, ДЭЗИ ГАРВЕЙ, еще молода, чтобы судить об этих сложных вещах, но я опять скажу: «Человека не понимают». Надо его понять, чтобы увидеть, как много невидимого. ФРЕЗИ ГРАНТ, ты есть, ты бежишь, ты здесь! Скажи нам: «Добрый вечер, ДЭЗИ! Добрый вечер, ФИЛАТР! Добрый вечер, ГАРВЕЙ!»

Ее лицо сияло, гневало и смеялось. Невольно я встал с холодом в спине, что сделал тотчас же и ФИЛАТР, — так изумительно зазвенел голос моей жены. И я услышал слова, сказанные без внешнего звука, но так отчетливо, что ФИЛАТР оглянулся.

— Ну вот, — сказала ДЭЗИ, усаживаясь и облегченно вздыхая, — добрый вечер и тебе, ФРЕЗИ!

— Добрый вечер! — услышали мы с моря. — Добрый вечер, друзья! Не скучно ли на темной дороге? Я тороплюсь, я бегу...

# ДЖЕССИ И МОРГИАНА

## Роман

*Автор посвящает эту книгу  
Нине Николаевне Грин*

Рассудок тут бессилён, а потому  
не тратьте ваших доводов. Довольно  
будет сказать вам, что вопрос  
касается сердечных дел.

*Р. Стивенсон. «Сент-Ив».*

## ГЛАВА I

Существует старинное гаданье на зеркалах: смотреть через зеркало в другое зеркало, поставленное напротив первого так, что они дают взаимное отражение — сияющий бесконечный коридор, уставленный параллельными рядами свечей. Гадающая девушка (так гадают только одни девушки) смотрит в тот коридор; что она там увидит — то, значит, с ней и случится.

Однажды, — было это весной, в половине двенадцатого часа вечера, — девушка Джесси Тренган забавлялась вышеописанным способом, сидя одна у себя в спальне. Она поставила против туалетного зеркала второе, зажгла две свечи и воззиралась в сверкающий туннель отражения.

Джесси Тренган через месяц должен был исполниться двадцать один год. Это была своенравная, веселая и добрая девушка. Описать ее наружность — дело нелегкое. Бесчисленные литературные попытки такого рода — лучшее тому доказательство. Еще никто не дал увидеть женщину с помощью чернил или типографской краски. Случается изредка различить явственно лоб, губы, глаза или догадаться, как выглядят за ухом волосы, но более того — никогда. Самые удачные иллюстрации только смущают; говоришь: «Да, она могла быть и та-

кой», — но ваше скрученное или разбросанное впечатление всегда иное, хотя бы оно было бессильно дать точный образ. Переход к дальнейшему непоследователен, но необходим: у Джесси были темные волосы, красивое и открытое лицо, стройное и привлекательное телосложение. Ее профиль вызывал в душе образ втянутого дыханием к нижней губке лепестка, а фас был подобен звонкому и веселому «здравствуйте». В понятие красоты, по отношению к Джесси, природа вложила свет и тепло, давая простор лучшим чувствам всякого смотрящего на нее человека, за исключением одного: это была ее родная сестра, Моргиана Тренган, опекунша Джесси.

Сидя перед зеркалом с насмешливой, но довольной улыбкой, Джесси вдруг почувствовала стеснение; затем — раздражение и досаду. Так всегда действовала на нее всякая неожиданная помеха со стороны Моргианы.

Появись в комнате, Моргиана сказала:

— О, Джесси! Как тебе не стыдно? Разве ты не изучила еще свое лицо?!

Джесси оторвалась от забавы, но не ответила по причине, которую мы тотчас поймем. Насколько хороша была младшая сестра, настолько же безобразна и неприятна была старшая. Но ее безобразие не возбуждало сострадания, так как холодная, терпкая острота светилась в ее узких, темно высматривающих глазах.

Среди некрасивых женских лиц огромное большинство их смягчено — подчас даже трогает — достоинством, покорностью, благородством или весельем. Ничего такого нельзя было сказать о Моргиане Тренган, с ее лицом врага; то было безобразие воинственное, знающее, изучившее себя так же тщательно, как изучает свои черты знаменитая актриса или кокотка. Моргиана была коротко острижена, ее большая голова казалась покрытой темной шерстью. Лишь среди преступников встречаются лица, подобные ее плоскому, скуластому лицу с тонкими губами и больным выражением рта; ее жалкие брови придавали тяжелому взгляду оттенок злого и беспомощного усилия. С тоской ожидал зритель улыбки на этом неприятном лице, и точно, — улыбка изменяла его: оно делалось ленивым и хитрым. Моргиана была угловата, широкоплеча, высока; все остальное — крупный шаг, большие, усеянные веснушками руки и торчащие уши — делало рассмотрение этой фигуры занятием неловким



и терпким. Она носила платья особо придуманного покроя: глухие и черствые, темного цвета, окончательно зачеркивающие ее пол и, в общем, напоминающие дурной сон.

Отец сестер умер четыре года тому назад; за год раньше умерла мать.

Джон Тренган был адвокатом, жил широко и не оставил наследства; Джесси получила большое наследство от дяди, брата отца, а Морггиана, — назначенная опекуницей сестры до ее совершеннолетия, — имела, по завещанию этому, небольшое поместье с каменным домом, названное «Зеленой флейтой»; весь остальной капитал — сорок пять тысяч фунтов и большой городской дом — принадлежал Джесси.

Против мрачной фигуры сестры шелковый японский халат Джесси был нестерпимым напоминанием о разнице между ними, а также — об их возрастах: тридцати пяти — Морггианы и двадцати — Джесси.

— Тебе нет нужды гадать о женихах, — продолжала Морггиана, наслаждаясь мрачностью девушки, — больше, чем надо, будет их у тебя.

Джесси вспыхнула и резко толкнула зеркало, которое чуть не упало.

— Зачем ты издеваешься надо мной, Мори? Мне рассказала горничная, что есть такое гаданье. Я забавляюсь. Почему это тебя так злит?

— Да, злит, и будет всегда злить, — ответила Морггиана с откровенностью постороннего человека в отношении себя самой. — Посмотри на меня, а затем обратись к своему любимому зеркалу. Такой урод, как я, обязан раздражаться, видя твое лицо.

— Разве я виновата, Мори? — с упреком произнесла девушка, и ей стало жалко сестру. — Представь, я так привыкла к тебе, что не знаю даже, хороша ты или дурна!

— Я дурна. Безжалостно, безобразно дурна.

— Зачем ты меня так ненавидишь? — вскричала Джесси, с отчаянием всматриваясь в пристальные глаза Морггианы. — Уже давно мучаешь ты меня такими сценами. Я не знаю, не знаю, почему мы с тобой родились такими разными! Поверь, я часто плачу, когда вспоминаю о тебе и твоих страданиях!

— Я не ненавижу тебя,— тихо ответила Моргiana, с ревностью изучая взволнованное лицо сестры, которому игра чувств придавала еще большую прелесть.— Я тебя очень люблю, Джесси. Люблю тебя внутреннюю. Но наряд твой, праздник твоего лица и красивого, стройного тела,— мне более чем ненавистен. Я хотела бы, чтобы от тебя остался один голос; тогда и мои слова были бы так же нежны, так же искренни и натуральны, как твоя детская речь.

— Я не виновата,— растерянно повторила Джесси. Бесстыдные душевные содрогания Моргiana внушали ей страх; хотя часто она наблюдала их, но жестокая откровенность сестры всегда угнетала ее.

— Все, что ты говоришь, понятно,— продолжала Джесси.— Я все понимаю. О, если бы ты смягчилась! Будь доброй, Мори! Стань выше себя; сделайся мужественной! Тогда изменится твое лицо. Ты будешь ясной, и лицо твое станет ясным... Пусть оно некрасиво, но оно будет милым. Знай, что изменится лицо твое! — повторила Джесси так горячо, что прослезилась и засмеялась.

— Девочка, что ты знаешь об этом? — пробормотала Моргiana.— Ты не знала никогда моих мук и никогда не узнаешь их. Они безобразны, как я.

— Я часто думала,— сказала Джесси,— о загадке рождения. Мы родились от одних и тех же людей: матери и отца наших, но почему ты вынуждена терзаться, а я — нет?

— Я тоже думала об этом,— ответила, помолчав, Моргiana,— и мне одно объяснение кажется правильным, как оно ни чудовищно по своему существу. Ты не ребенок, и тебе следует знать о рисунке, который висел в спальне нашей матери, когда она была беременна мной. Это был этюд Гарлиана к его картине «Пленники Карфагена», изображающей скованных гребцов галеры. Этюд представлял набросок мужской головы,— головы каторжника — испитого, порочного, со всеми мерзкими страстями его отвратительного существования: смесь шимпанзе с идиотом. У беременных женщин бывают необъяснимые прихоти. Наша мать приказала повесить этюд напротив изголовья своей кровати и подолгу смотрела на него, привлекаемая тайным чувством, какое вызвала в ее состоянии эта повесть ужаса и греха. Впо-

следствии она сама смеялась над своей причудой и ничем не могла ее объяснить. Мне было восемнадцать лет, когда мама рассказала мне об этом случае; при этом ее глаза наполнились слезами, и она гладила меня по щеке, склоняясь надо мной с тревогой и утешением. Впоследствии я нашла в сочинениях по патологии указания на восприимчивость беременных женщин к зрительным впечатлениям. Не ясно ли тебе, что мать нарисовала меня сама?

Стараясь не понимать, о чем говорит Моргiana, Джесси, беспомощно напряженная и порозовевшая, сидела, широко раскрыв глаза.

— Этого не могло быть, Мори; это лишь мнительность,— утешала она сестру.— Что-нибудь другое, чего мы не знаем. Будь добра, прекратим такой разговор, он очень тяжел.

— Ты права,— сказала Моргiana,— существо, подобное тебе, имеет право возмущаться страданиями и не подпускать их к своей особе. Я не могу вызывать любовь, и потому я не скоро еще научусь делать приятное.

Эти слова, сказанные равнодушно, без горечи и надежды, сильно потрясли Джесси.

— О, Мори! — воскликнула она, стараясь притянуть к себе каменную руку сестры.— Ты нуждаешься в любви? Люби меня, но просто, и я буду тебя любить всем сердцем. Ведь ты — сестра моя!

— Довольно,— сказала Моргiana, освобождая руку и хмурясь.— Сейчас я очень далека от тебя и не слышу твоих слов. Я пришла не для упражнений в чувствах. Не согласишься ли ты переехать в «Зеленую флейту» на то время, пока здесь будет происходить ремонт?

Джесси молчала, всматриваясь в сестру. Хотя была она взволнована и расстроена, нечто, подобное едва слышным шагам подкрадывающегося человека, внушило ей прямой и твердый ответ.

— Нет,— сказала она, и ее правдивое лицо повторило эти слова.

— Нет?

— Нет, Мори, нет,— повторила Джесси, стараясь быть шутливой.— «Зеленая флейта» действует мне на нервы. Там очень глухо. Мне жаль, конечно, но я предпочитаю остаться здесь.

— Ты не намерена, однако, просидеть в Лиссе все лето?

— Отнюдь. Я, может быть, поеду к Еве Страттон, в ее виллу «Цветущий горошек».

— Как хочешь,— проговорила Моргiana, не считая уместным настаивать и обдумывая свое.— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, Мори,— зевнула Джесси, потягиваясь.

Она встала. Моргiana напутственно улыбнулась ей и ушла.

## ГЛАВА II

Джесси, или Джермена Тренган, была девушкой, не представляющей ничего особенного на требовательный взгляд искателя даровитой оригинальности или грациозного тщеславия. Она была большей частью погружена в свои мысли, а впечатлению отдавалась полностью, если оно захватывало ее. Все мысли имели для нее интерес новизны,— безразлично, думал ли кто-нибудь одинаково с ней или нет о каком-либо обстоятельстве. Она не заботилась о впечатлении, какое производила на окружающих, и не подозревала, что ее естественность в речах и поступках заставляет ум работать сильнее, чем очарование девушки-вундеркинда, преследующей модные цели, предписанные последней книгой шестимесячного пророка. Иногда она подозревала, что ею любят, — по поводу, неясному для нее, — и, оставляя причину на совести заподозренного, улыбалась с совершенно сознательным кокетством. Она любила музыку, сама же играла плохо, но ничуть не терзалась этим. Ни попыток рисовать, ни тщеты настроичить стихи и никакого подобного тому любительского зуду не было у нее, как будто природа, утомясь творить сложные существа, не знающие, что делать с собой, захотела отдохнуть, сказав: «Пусть она будет просто девушка». Со всем тем была она далеко не глупа, и ее сердце так же возмущалось и страдало, если сталкивалось со злом, как сердце всякой представительницы женского пола, обратившей добрые чувства в свою монополию и употребляющей их согласно параграфам. Она была проста, но такой простотой, к которой других приво-

дит лишь трудный и болезненный опыт. Для сравнения, раз дело идет о женщине, мы приведем избитый пример: драгоценное платье, выглядевшее так, как будто за него заплачено по всем доступной цене.

Следующим утром Джесси встала не в духе, но, бросив взгляд на туалетное зеркало, не смогла удержаться от улыбки. Всегда ее удивляло разноречие отражения и внутренних ощущений при дурной минуте: молодая девушка в зеркале, с ее гладкими плечами и ясным взглядом, казалось, никогда не знает скверного настроения. В такие моменты Джесси чувствовала себя чуждой своему образу и сомневалась в его правдивости.

Взгляд на зеркало снял все же паутину с ее лица. Вчерашние мысли, возникшие после сцены с сестрой, досаждали ей, пока она причесывалась, но властвовать над ней не могли. По достижении совершеннолетия Джесси намеревалась отправиться в далекое путешествие с подружкой своей, Евой Страттон, а по возвращении поселиться в Унгане, чтобы не встречаться с сестрой. Пока она ничего не говорила ей об этом, но не могла, в глубине души, простить ей то страшное оружие, которым пользовалась Моргиана во время припадков душевного обнажения. Как ни жалела Джесси сестру, — разум ее отказывался исходить мукой по причинам непоправимым, как не могло бы зеленое дерево признать праведным гнет упавшего на него сухого ствола. Иное дело, если бы от нее зависело помочь Моргиане, — и она неоднократно размышляла об этом, — Джесси не задумалась бы отдать богатство и красоту.

Ненависть есть высшая степень бесчеловечности, превращенная в страсть; тот счастлив, кто не испытал ее внимательного соседства. Джесси рассмеялась бы, если бы ей сказали, что Моргиана действительно ее ненавидит, и в ненависти своей близка к тому, чтобы рыдать у ее ног, вымаливая прощение, как отдых от непосильной работы. Все другие женщины, красивые или хорошенькие, вызвали у Моргианы лишь горькое и злое волнение, готовое перейти в критику. Но Джесси стояла особо, как главное слово молодости и нежности. Для Моргианы была она — весь тот мир в едином лице, выросший рядом с ней.

Что касается Джесси, ею овладевала иногда легкая грусть, когда, под влиянием болезненного разговора с

сестрой, она, проходя или проезжая улицей, отыскивала в толпе лица, беспощадно отмеченные природой, с тем, чтобы в чем-то оправдать их своим ясным и точным зрением. Но очень редко Джесси размышляла об этих трудных, больных вещах с бесстрашием рыцаря, пускающегося в страну чудовищ. Ее мысли, само собой, поворачивались к иным предметам мышления. Неестественное усилие рассеивалось, беспомощная философия рушилась, и Джесси возвращалась в свой мир, радуясь, что живет.

К завтраку Моргана появилась степенной, со снисходительно насмешливым видом, как будто не она, а Джесси делала вчера вечером удушливые признания. Молчаливое, вопросительное настроение сестер от коротких замечаний перешло к разговору. Так как предстоял ремонт, Моргана заявила, что на днях переедет в «Зеленую флейту», а Джесси сообщила, что временно переберется в библиотеку. Из библиотеки был отдельный выход; та часть дома, где помещалась Джесси, не требовала ремонта; почти во всех остальных помещениях оказались изъяны. После землетрясения минувшей зимы осыпались лепные карнизы, расстроилась пригонка дверей; во многих местах отстала штукатурка, порвав обои.

— Я буду просыпаться, — сказала Джесси, придя в хорошее настроение, — в библиотеке, бросая невежественные взгляды на ученые заглавия. Однако вся научная эманация заберется в меня. Я уверена, что к осени, когда ты вернешься, — но ты будешь ведь приезжать? — я стану, без причины, профессором. Великое дело — латынь!

Говоря так, она разбила яйцо и погрузила в рот полную ложечку его содержимого. Она медленно вынимала ложечку из сомкнутых губ, как внезапная мысль — «цыпленок не осуществился, погиб...» — некстати расшеимила ее. В скаредно-жалостной мысли этой — вырази ее кто-нибудь серьезно — клокотала пышная глупость. По таинству ассоциации, Джесси мгновенно представила чопорного человека, явившегося в общество при всем параде, но забыв надеть штаны. «Цыпленок есть принцип», — сказал он, достойно подрагивая волосатым коленом... Пища, залегшая среди белых зубов Джесси, остановилась, от ног до головы ее потряс смех; ни про-

глотить, ни выплюнуть набранное в рот она не имела силы и, не совладав, вся красная от страха закашляться, Джесси прыснула смехом и яйцом прямо на стол.

— О, мне что-то весело! — через силу произнесла она, когда отдышалась и вытерла смешливые слезы. Взгляд Морггианы остановился на ней с замкнутым выражением. — Морггиана! Медведик ты плюшевый!

— Чем вызван твой припадок? — спросила ее сестра.

— Когда смешно, то все равно от чего смешно, — оправдывалась Джесси. — Теперь уже не смешно. А из яйца... — она одолела приступ веселья, иначе опять залилась бы хохотом, — мог выйти цыпленок. Это верно, Мори. Вот мне и стало смешно.

Если бы Морггиана не чувствовала так остро всю правду и невинную прелесть этой пустяшной выходки, ей было бы легче. Робко взглянув на сестру, Джесси выпрямилась, повела бровью и стала смотреть в тарелку. Тогда, из внезапной, фальшивой прихоти, которой устыдилась сама, Морггиана громко захохотала, и этот запоздалый смех по приказу сделал ее отвратительной.

После завтрака Морггиана поднялась первой, чтобы ехать — как она сказала Джесси — к нотариусу. Джесси не интересовалась деньгами; роль сестры в финансовых и нотариальных делах рассматривала она как подвиг. Они расстались миролюбиво. Затем Джесси вспомнила о билетах; она сказала: — «Ах, ах», — и попеняла себе.

### ГЛАВА III

Вчера Джесси твердо решила развезти утром своим знакомым порученные ей десять билетов на спектакль в пользу престарелых музыкантов оперы. Она откладывала это три дня. Вчера стояла пасмурная погода; рассчитывая, что сегодня польст дождь, Джесси охотно поставила употребить дурной день для посещения семейств Ватсонов, Апербаумов, Гардингов и других неприступных крепостей, где только она, с ее небрежной и беззаботной манерой, могла пограбить, не вызывая особого раздражения, свойственного самомнению, отлитому из золота. Как раз теперь дурная погода кончилась; небо и земля сияли, кричали. Уже с утра Джесси коснулась

стрела движения, звукнув<sup>1</sup> над ее ухом, как брошенное на бегу слово. Но по городу ей не хотелось ехать. «Завтра, завтра, не сегодня,— так ленивцы говорят»,— рассеянно твердила девушка, начиная рассказывать по дому без цели, но с удовольствием, переходя из помещения в помещение. «А сегодня отдохну, завтра свой урок начну!» Мебель имела выпавшийся, оживленный вид; на лаке блестело солнце; высокие окна соединяли голубизну неба с раздольем паркета или ковром — матовыми лучами, переходящими на полу в золотой блеск. Джесси обошла все нижние комнаты; зашла даже в кабинет Тренгана, стоявший после его смерти нетронутым, и обратила внимание на картину «Леди Годива».

По безлюдной улице ехала на коне, шагом, измученная, нагая женщина, — прекрасная, со слезами в глазах стараясь скрыть наготу плащом длинных волос. Слуга, который вел ее коня за узду, шел, опустив голову. Хотя наглухо были закрыты ставни окон, существовал один человек, видевший леди Годиву, — сам зритель картины; и это показалось Джесси обманом. «Как же так, — сказала она, — из сострадания и деликатности жители того города заперли ставни и не выходили на улицу, пока несчастная наказанная леди мучилась от холода и стыда; и жителей тех, верно, было не более двух или трех тысяч, — а сколько теперь зрителей видело Годиву на полотне?! И я в том числе. О, те жители были деликатнее нас! Если уж изображать случай с Годивой, то надо быть верным его духу: нарисуй внутренность дома закрытыми ставнями, где в трепете и негодовании — потому что слышат медленный стук копыт — столпились жильцы; они молчат, насупясь; один из них говорит рукой: «Ни слова об этом. Тс-с!» Но в щель ставни проник бледный луч света. Это и есть Годива».

Так рассуждая, Джесси вышла из кабинета и увидела служанок, которые скатывали ковер. «Уже выколачивали третьего дня, — сказала Джесси, — зачем теперь выносить?»

Джесси не вмешивалась в хозяйство, но если на что-нибудь случайно обращала внимание, ей повиновались беспрекословно, — вздумай она даже отменить приказание Моргианы. Для этого Джесси не делала никаких ус

---

<sup>1</sup> Звукиув — не ошибка.



лий. Служанки, две молодые женщины, поспешно объяснили, что ковры выносятся ввиду наступающего ремонта. При этом одна из служанок, Герда, машинально взглянула на трещину потолка. Джесси вспомнила землетрясение.

— Вы у нас уже служили тогда?

— Я служила,— ответила краснощекая, тугого сложения, Эрмина.— Герда поступила через неделю после того.

— Ну да, я припоминаю теперь,— сказала Джесси, рассматривая беловолосую Герду и улыбаясь.— Вы обе с севера? Не так ли? А что, у вас бывает землетрясение?

Служанки переглянулись и рассмеялись.

— Никогда,— сказала Эрмина.— У нас нет ничего такого: ни моря, ни гор. Зато у нас зима: семь месяцев, мороз здоровый, а снег выше головы — чистое серебро!

— Какая гадость! — возмутилась Джесси.

— О, нет, не говорите так, барышня,— сказала Герда,— зимой очень весело.

— Я никогда не видела снега,— объяснила Джесси,— но я читала о нем, и мне кажется, что семь месяцев ходить по колено в замерзшей воде — удовольствие сомнительное!

Перебивая одна другую, служанки, как умели, рассказали зимнюю жизнь: натопленный дом, езда в санях, мороз, скрипучий снег, коньки, лыжи и то, что называется: «щеки горят».

— Но ведь это только привычка,— возразила Джесси, немного сердясь,— поставим вопрос прямо: хочется вам, сию минуту, отправиться на свою родину? Как раз там теперь... что у нас? Апрель; там теперь сани, очаг и лыжи. Отбросьте патриотизм и взгляните на сад,— она кивнула в сторону окна,— тогда, если хватит духа солгать,— пожалуйста!

— Конечно, здесь о-очень красиво...— протянула Эрмина.

— Цветов такая масса! — сказала с жадностью Герда.

Джесси сдвинула брови.

— Да или нет? Под знамя юга или в замерзшие болота севера?

— Что ж,— просто сказала Герда, — мы еще молоды, поживем здесь.

— Ну, что вы за лукавое существо! — воскликнула Джесси.— Как можете вы, в таком случае, желать, чтобы ваше цветущее лицо было семь месяцев в году обращено к ледяным кучам? Что это? Что это за звуки?!

Женщины умолкли, прислушиваясь. Через раскрытые окна слышались гневные восклицания и тяжкие, глухие шлепки.

— Опять! — вырвалось у Эрмины.

Джесси внимательно всмотрелась в нее.

— Это еще что?! — спросила она.

— Садовник и конюх! — воскликнула Герда, порываясь бежать к окну.— Уж я унимала их вчера! Это из-за Мальвины. Или не знаю почему. Совершенное безобразие!

— Что? Драка? — немилостиво осведомилась Джесси.

— О, барышня, не говорите на нас!

Джесси успокоила их жестом и быстро направилась к выходу, представляя эффектный гром своего появления.

Когда, заложив руки за спину, она остановилась на границе закоулка, отделяющего сарай от конюшни, картина представилась ей такая: конюх Билль, без пиджака, засучив рукава рубашки, одолевал отступающего, но все еще стойкого Саватье. Садовник, бледный и окровавленный, смотрел на врага в упор, ловя момент удара правой рукой, а левой защищаясь от ударов, падавших быстро и тяжело. Что касается Билля, то его здоровенное лицо только покраснелось, если не считать ссадин на скуле. Оба напоминали собаку и кошку. Саватье, изнемогая, вкладывал в бой все опасные чувства разъяренного мужчины, в то время как Билль, развлекаясь, метко поражал врага. Под их ногами валялись их растоптанные шляпы. Однако Саватье ожидало крупное торжество: Билль открыл голову, и увесистая пощечина садовника смазала его по зазвеневшему уху. Удивленный Билль подступил ближе.

— Довольно,— сказала Джесси, входя между ними.— Как смеете вы безобразничать в моем доме?

Бойцы остолбенели и потупились. На них было жалко смотреть. Билль поднял шляпу и стоял, опустив го-

лову. Испуганный Саватье попытался застегнуть ворот рубашки дрожащей рукой; их хриплое, неистовое дыхание звучало гневом и стыдом.

— Мы...— сказал Билль,— я... он... Извините меня.

— Из-за чего произошла потасовка? — продолжала Джесси ледяным тоном, рассматривая багровые рубцы под глазами Саватье с гримасой отвращения, как если бы перед ней ели лимон.— Объясните причины. Ревность? Оскорбление? Карты? Стойте,— приказала она, видя, что противники, приложив кулаки к груди, намерены изойти объяснениями и клятвами,— мне, пожалуй, нет дела до этого. Пусть ваша совесть говорит с вами. Нехорошо, Билль! Скверно, Саватье! Кстати, вы, кажется, пострадали более, чем Билль. Не оттого ли, что Билль защищал правое дело? А? Ну, если языки целы, скажите теперь что-нибудь, только не горячитесь.

— Клянусь Бельгией! — сказал Саватье, сплевывая волос из своего уса,— это был чистый бокс, спорт. Но я, оказывается, не знал, с кем связался. Билль пользуется недозволенным приемом. Он...

Билль живо вытер руки о штаны и заслонил Саватье, ступив вперед.

— Достаточно, что Саватье ложно поклялся вам,— заговорил он с откровенностью, имеющей расчетом внушить, что искренность и нечестность — несовместимы.— Конечно, это ссора, и я снова прошу прощения. Ссор без причины не бывает... Но приемы были честные, в этом я могу поклясться Ирландией и Бельгией вместе. Разве только ему показалось, что у меня четыре руки.

— Хорошо,— сказала Джесси Саватье,— в чем можете вы упрекнуть Билля? Покажите.

Не осмеливаясь послушаться, Саватье подошел к Биллю и приставил ему под подбородок ребро ладони.

— Вот в этом я упрекаю тебя: свинство ударять по горлу.

Джесси немедленно раскаялась в своем любопытстве. В жесте, который сделал Саватье, мелькнула расчетливая бесчеловечность, и лицо девушки стало печальным.

— Все, я поняла,— сказала она тихо, но повелительно,— теперь помиритесь. Подайте друг другу руки.

Казалось, дыхание остановилось у Билля и Саватье, когда, изумясь и озяв, по лицу Джесси увиде-

ли они, что примирение неизбежно. Билль с презрением протянул руку садовнику, но тот, чтобы не видеть оскорбления собственной длани, отвернул голову и, не глядя, ответил на рукопожатие; две руки злобно трягнули одна другую и поспешно расстались.

Джесси смотрела, сдвинув брови и тревожно полу-раскрыв рот, но, увидев, как большой палец садовника ткнулся в ладонь конюха, расхохоталась и ушла. В то же время решение задачи с билетами осенило ее: она пришла к себе, сама себе заплатила за десять билетов тройную их стоимость и облегченно вздохнула.

#### ГЛАВА IV

Моргиана выехала на одном из двух автомобилей Джесси, которыми пользовалась почти безраздельно, так как ее сестра предпочитала лошадей. Взяв от нотариуса чек на три тысячи, Моргиана получила по нему деньги в банке и направилась в «Зеленую флейту».

«Зеленая флейта» — место, о котором еще будет время сказать подробнее, — был двухэтажный каменный дом с садом, купленный покойным Тренганом для романтической цели. Менее всего Тренган хотел обидеть Моргиану, завещая ей это владение, но она твердо помнила, что здесь пять лет назад жила белокурая танцовщица, нервная и капризная, с прихотями которой считались — до смехотворного почитательно. О ней иногда рассказывал своим приятелям Гобсон, — человек, бывший при доме сторожем, управляющим и посыльным. «Существует мнение, — говорил он, — что Тренган боялся ее любви к танцам, а потому, желая удержать ее при себе, подкупил врачей, и они уверили Хариту Мальком в опасной болезни, которая изуродует ее ноги, если она вернется на сцену. Она поверила и затосковала так, что осунулась. Целый месяц не выходила она из комнат и ела так мало, что на кушаньях оставались лишь царапины вилок. Так вот, я однажды проходил мимо окна поздно ночью: окно светилось, я заглянул и увидел Хариту Мальком в платье, за которое высек бы свою дочь. Все на ней блестело и разлеталось, — она танцевала сама с собой, и лицо у нее было такое счастливое, что я смотреть больше не стал, и мне сделалось что-то нехорошо».

Кроме Гобсона с семьей, садовника и рабочих, здесь жила женщина Нетти, на которой лежала обязанность заботиться о порядке и чистоте в доме. Как только Моргiana приехала и вошла в комнаты, Нетти сказала ей: «Вот посылка, получена на ваше имя вчера». Она подала небольшой пакет, зашитый в желтую кожу.

Без особого волнения взяла Моргiana этот пакет; лишь было у нее странное ощущение, что она держит холодеющую руку сестры.

Отослав Нетти, припомнила она развитие своего замысла и ничего похожего не нашла в себе по сравнению с чувствами, вызванными впервые ее мрачным решением. Первые эти чувства были — сомнение, отчаяние и страстное, тяжелое наслаждение; лишь постепенно перерабатывались они в привычку, ставшую законом и надеждой помраченной души. Это была давнишняя ненависть, обсуждаемая до мельчайших подробностей; такая отчетливая, что напоминала тщательно уложенные в чемодан — для дальней и трудной дороги — необходимые вещи. Лишь изредка обострялась она. Ни ужаснуться, ни отказаться Моргiana теперь уже не могла, потому что преступная мысль стала частью ее самой. Нет такой мысли, с какой рано или поздно не освоится человек, если она отвечает его природе.

«Вот и исполнение», — сказала Моргiana, задумчиво рассматривая пакет.

Взяв ножницы, она разрежала кожу; под ней оказался ящичек из тонкого дерева, сколоченного гвоздями. Введя ножницы в щель, Моргiana нажала ими дощечку, которая легко отошла, и достала завернутую в вату коричневую коробку. Там был флакон из толстого стекла, какие употребляются для духов, с плотно пригнанной пробкой. На дне флакона было немного бесцветной жидкости, ничем не отличавшейся по виду от обыкновенной воды и, несмотря на то, опасной, как гремучая змея, даже более, потому что этот яд, открытый еще лет двести назад, не убивал сразу; но тому, кто выпил его, оставалось жить не дольше месяца и умереть, не зная, от чего умирает. Лишенная вкуса и запаха, жидкость не оставляла пятен, от времени не теряла силы; верная себе, от начала до конца она оставалась бесцветной. Тщетно стали бы искать врачи причин заболевания у человека, не подозревающего, что он отравлен. Отрав-

ленный угасал; вялость и апатия сменялись изнуряющим оживлением; он ел все меньше, без всякой охоты, переставал нуждаться в движении; терял интерес ко всяким занятиям; тяжелый сон первых недель сменялся бессонницей, иногда — бредом или потерей рассудка. У действия этого яда не было цвета — только раз он появлялся на сцене, напоминая собой скорее внушение, чем отраву, — и исчезал. Более никто никогда не мог разыскать его, — даже при вскрытии и лабораторном анализе.

Таково было содержание флакона, который Моргiana держала перед собой в вытянутой руке. Ее дыхание было стеснено характером представлений, бродивших в ней, подобно едкому дыму, наполнившему комнату фантастическими линиями и удушьем. Большой простоты — при подавляющем ум сознании ее страшных качеств — никто еще не держал в руках. Моргiana чувствовала стекло флакона так остро, как если бы с ее пальцев была содрана кожа; само прикосновение к флакону казалось опасным, непостижимо действующим на сердце и мозг. Ее мысли текли с быстротой самостоятельно звучащего, чужого голоса, движимого возбуждением, и она только следила за ними. Моргiana подумала, что этот флакон, быть может, еще не так давно был полон духов. Его открывала, скрипя хрустальной затычкой, эластическая рука женщины, и из граненого плена с золотым ярлыком вылетал заманчивый аромат, внушающий нежность и удовольствие. Руки пахли духами. Теперь там была бесцветная смерть, готовая служить последнюю службу тому очарованию, какое ранее, зажмуриваясь, прибегало к флакону, повинувшись истине, общей для цветов и сердец.

— Ей все! Мне — ничего, — сказала Моргiana, наклоня флакон так, что яд перелился к пробке. — Для нее даже смерть явится в изысканно-тайном виде; такую смерть, по тем же причинам, какие есть у меня, не назначит мне никогда, никто, — даже в мыслях. Умирая, Джесси все еще будет красива, может быть, даже красивее, чем сейчас: сильнее пахнут срезанные цветы. Возможно, что в последние минуты ее сознание станет ясным; признав конец, она испытает чувства такие прелестные и тонкие, каких никогда не узнать мне, ее тайному палачу. Но ее смерть будет смертью и моей ненави-

сти. Я хочу тебя любить, Джесси. Когда ты исчезнешь, я буду тебя любить сильно и горячо; я буду благодарна тебе. Я отдохну. Быть может, я больна? Нет. Но я много думала — и привыкла; теперь, Джесси, я подкрадываюсь сзади к тебе. Лишь так могу я выразить мою — будущую — к тебе любовь.

Ее рука задрожала: флакон стукнул о стол и остался стоять, — безмолвный свидетель чувств, достойных милосердного эшафота. Моргiana продолжала говорить, отдаваясь неодолимой потребности в сообщнике, которого не было и не могло быть. Но лишь неясные шепчущие звуки выходили из ее губ, хотя ей казалось, что она говорит явственно. Подняв голову, она увидела в стенном зеркале женщину чужую и бледную. «Там я, — сказала Моргiana, — я вижу себя. Харита Мальком, этот дом — твой опустевший флакон; на месте благоухания твоей жизни — я поселилась здесь, бесцветная и угрюмая, как яд; такая же сильная, как он, потому что живу одной мыслью».

Она собрала вату, кожу, коробку, сожгла все в камине и начала успокаиваться. Это было дурное, болезненное спокойствие. Тесня ее дыхание, стоял перед ней образ Джесси. «Действительно ли красива она? — размышляла Моргiana, — ее тип довольно распространен. Его можно встретить даже на страницах модных журналов. Подобные лица бывают также у приказчиц и билетерш. Почти каждая девушка двигает плечами, как Джесси».

Встрепенувшись, со смутной и едкой надеждой, звала она образ сестры и принялась изучать его, отводя каждой черте высокомерное, банальное определение, — с тупым удовольствием слепца, который водит концами пальцев по лицу незнакомого человека, создавая линии осязания. Перед ней было как бы многозначное число, цифры которого называя вразброд, она никак не могла получить сумму, большую девяти. Джесси, раздетая и обезличенная, составила собрание отдельных частей, ничем особо не поразительных для Моргiana; но так продолжалось лишь пока не был исчерпан материал критики; едва увидела она опять ее всю, как из нежных ресниц Джесси блеснул стремительный, улыбающийся взгляд; зазвучал ее, полный удовольствия жить голос; припомнились все ее, ей лишь свойственные особенно-

сти движений, и Моргана увидела, что ее сестра хороша, как весна.

Спрятав флакон в сумку, Моргана вызвала Гобсона, приказала привести дом в порядок и сообщила, что приедет сюда жить до осени — не позже как через три дня. Она вернулась в город к шести часам, но обедать не вышла, сославшись на головную боль.

## ГЛАВА V

Скучая обедать одна, Джесси вызвала по телефону свою близкую приятельницу, Еву Страттон, и стала ее просить приехать. «Тем более,— прибавила Джесси,— что сегодня среда; ты знаешь, что у нас по средам гости. Наконец, ты мне просто необходима, так как я хочу говорить. О чем? О жизни и вообще. Моргана лечит больную голову, сидит у себя. Да, слушаю... нехорошо так говорить, Ева, с... Ну, и так далее, и я тебя жду».

Ева Страттон была второй дочерью Вальтера Готорна, владельца двух типографий. Старше Джесси лишь двумя годами, Ева уже была замужем. Ее муж занимал должность военного агента в Корее. Они разъехались по молчаливому, безгорестному согласию людей, открывших, что не нуждаются ни друг в друге, ни в брачной жизни. Поэтому их приятельское соломенное вдовство было легким.

Когда приехала нарядная Ева, не менее нарядная Джесси встретила ее дружеским поцелуем, и они сели за стол в буфетной.

Ева была высокая, тонкая фигурой, молодая женщина греческого типа, с пронизательным выражением рта и глаз. Ее жизненный опыт немногим превышал опыт Джесси, но она умела скрывать это, оставляя впечатление наблюдательности и ранней мудрости. Заметив третий прибор, Ева спросила, кого ждет Джесси.

— Никого, то есть, вероятно, никого. Это ее прибор, но Моргана, должно быть, уже пообедала у себя.

— Надеюсь,— сказала Ева.

Джесси обиделась но сдержалась.

— Ты постоянно забываешь, Ева,— заметила она спокойно и искренно,— что Мори — моя сестра и что мне могут быть неприятны такие твои слова.



— Она неприкосновенна?

— В том смысле — да, какой разумеешь ты. Да! К тому же, — прибавила Джесси, взглядывая на слуг у дверей, — мы не одни. Я знаю, ты ее не любишь, — что делать!

— Я прямолинейна, — возразила Ева, пробуя суп и нимало не тронутая выговором Джесси, — но когда я ехала к тебе, я решила быть прямолинейной до наглости. Твоя жизнь...

— Тогда поедим сначала, — сказала Джесси, — мне тоже хочется говорить, но я хочу также есть. А ты?

— Я ем. У тебя всегда очень вкусно. Выпей вина, Джесси. Это хорошее вино; я его знаю, потому что его подают у нас, и год тот же самый; будем, по вину, одинокими.

— И налижемся, как красноносые старушечки, — добавила Джесси, нюхая свой бокал.

Она выпила и стала слушать Еву, которая рассказывала городские новости тоном приятного осуждения. Уже коснулись нескольких чужих флиртов с точки зрения: «все это не то», а также расследовали, кто и что думает о себе; уже размовка Левастора с Бастером попала в пронзительный свет предположений об их прошлых встречах «с теми и теми», — как обед незаметно подошел к концу. Слуги принесли кофе, и, стремясь соединить приятное с полезным, потому что любила Джесси, Ева сказала: «Останемся одни, так как нам более ничего не нужно».

— Мы сами позаботимся о себе, — сказала Джесси прислуге, — Ева, я тебя слушаю.

— Ты все еще не куришь? — спросила Ева, извлекая длинную папиросу из платинового портсигара.

— Нет. Не это же ты готовила мне по секрету от слуг?

— Но у меня, право, нет ничего особенного для тебя. Я, как хочешь, не выношу посторонних, хотя бы и слуг. Ты много терпешь, отказываясь курить.

— Я люблю смотреть, как курят, — сказала Джесси, прикикая щекой к сложенным, локтями на стол, рукам. — Я заметила, что ты куришь с отчаянием, — расширив глаза и грудью вперед!

— Благодарю, я согнусь.

— Нет, не надо. Вильсон курит осторожно, кряхтя, почти потеет, и весь вид его такой, что это — тяжелая работа. Интересно курит Фицрой. Он положительно играет ртом: и так, и этак скривит его, а один глаз прищурит. По-моему, лучше всех других курит Гленар: у него очень мягкие манеры, они согласуются с его маленькими сигарами. Ему это идет.

— Тебе нравится Гленар?

— Он мне нравился. Теперь я нахожу, что он на вкус будет вроде лакрицы. Дай мне папиросу, я попробую.

Она крепко сжала мундштук губами и серьезно поднесла спичку, причем ее лицо выражало сомнение. Закурив, Джесси случайно выпустила дым через нос, закрыла глаза, чихнула и поспешно положила папиросу на пепельницу.

— Что-то не так, — сказала она. — Должно быть, это требует мужества.

Ева рассмеялась.

— Тебе надо выйти замуж, — вот что я хотела сказать. Нормально ли твое положение? Моргана значительно старше тебя; кроме того, она ис...

— ...терична, — мрачно закончила Джесси. — Дальше!

— Выходит, что нравственно и физически ты одинока, хотя обеспечена и живешь в своем доме.

— Я размышляла об этом, — сказала Джесси, — но как быть? Я никого не люблю. Любит ли кто меня?..

— Человек пять.

— Положим, всего четыре. Говорят — брак вещь суровая. Ты, например, замужем. Расскажи мне о браке.

— Но... я думаю, ты сама знаешь, — ответила Ева, понимавшая, что в таких вопросах слова обладают свойствами исказить существо явлений, будь то слова самые осторожные и искренние.

— Знаю и не знаю, — продолжала Джесси, задумчиво смотря на Еву, — но, слушай, я не боюсь слов. Например, — что такое «идеальный брак»?

— Идеальный брак, — сказала Ева, начиная внутренне ныть, — такой брак требует очень многого...

— Давай говорить подробно, — предложила Джесси.

Личный опыт Евы напоминал полудремоту. Слегка краснея, в то время как Джесси оставалась спокойной, Ева продолжала:

— Очень многого... Хотя мой собственный брак подлежит размышлению, и я, конечно, не могу ставить в пример... Очень, очень большая близость во всем, одинаковость вкусов и так далее.

— Но ведь должна быть также любовь?

— Любовь? Конечно.

— Так расскажи о любви, — о замужней любви.

— Едва ли это возможно рассказать, — объявила Ева, которой становилось все труднее идти в тон. — Ты... да... или нет... Например: знание географии и подлинное путешествие. Конечно, есть разница.

— Послушай, — сказала Джесси, — быть любовницей и быть женой — это ведь строго разделено? Или, например: «наложница» и «любовница». Есть ли здесь сходство? Как ты думаешь?

— Мы лучше это оставим, — осторожно предложила Ева, — так как я положительно не в ударе. Должно быть, обильный обед. Просто я не нахожу выражений.

Джесси умолкла только потому, что уважила подчеркнутую последнюю фразу и поняла замешательство Евы. Оно ей слегка передалось, в противном случае Джесси охотно продолжала бы рассуждать о таких звучных, красивых словах, как «наложница» или «страсть». Продолжая думать в связи со словом «наложница», она спросила:

— Не переменишь ли ты свою ложу на ту, что рядом с моей? Она освободилась теперь.

— Непременно переменю. Но все-таки, Джесси, мое искреннее желание — видеть тебя хорошо устроенной, замужем.

— Не с кем попало, надеюсь? — заметила Джесси. — Ты дай мне какого-нибудь погибшего человека. Я буду его восстанавливать в его собственных глазах. Вот о чем я мечтаю иногда. Но это глупо. Или хорошо? Отвести от края пропасти и — постепенно, неуклонно...

— Дурочка, где ты это читала? — рассмеялась Ева.

— А не помню где, — откровенно призналась, тоже смеясь, Джесси.

Вдруг она перестала смеяться, крикнув:

— Мори, ты опоздала. Обед мы уже скушали. Иди пить с нами кофе!

Моргиана стояла в дверях, весело рассматривая подруг. Снисходительно-добродушно взглянув на Джесси, она спокойно поздоровалась с Евой, села за стол, взяла салфетку, бесцельно посмотрела на нее и положила на место.

— Стало легче?

— Да, Джесси. Старая мигрень, Ева. От кофе пройдет. У меня масса хлопот по ремонту и моему переезду. Кроме того, в этом году рано наступил зной. Я спасаюсь в «Зеленую флейту», наверное — до осени.

— Джесси, — и ты?

— Я не поеду, Ева. Я остаюсь здесь.

— Вы знаете, как она упряма, — сказала Моргиана Еве после небольшого молчания.

Допив свой кофе, Моргиана возобновила примолкший разговор. Теперь она была спокойна. Притворство ее было легким, как нетрудное дело в руках опытного мастера. Она смеялась, шутила и рассказывала с нотой сочувствия о прекрасной танцовщице Мальком, которая плакала и танцевала одна.

## ГЛАВА VI

К девяти часам вечера гостей собралось пять человек. Это были: Гленар, тот самый, манера курить которого обсуждалась Евой и Джесси, — медлительный человек двадцати девяти лет, дилетант и блондин; Джиолати, итальянский изгнанник, замешанный в романтическую историю при дворе; сын судовладельца Регард и его жена, смуглая маленькая женщина с большими глазами, уроженка Антильских островов. Пятая была Ева Страттон.

По малочисленности общества, а также из-за духоты, центром служила квадратная угловая терраса. В этот вечер Джиолати, вспоминая родину, пел трогательные романсы, и детская обида светилась в его черных глазах. Джесси, внимая певцу, разогрелась, и от того с еще большей тоской Гленар прислушивался к ее словам, не в силах отвести взгляд от ее фигуры, — стряхнуть очарование, делавшее его смешным, что он знал и от чего сам же приходил в раздражение. Но Джесси

уже привыкла к его отчаянно-напряженному виду и, внутренне хмурясь, старалась внешне быть с ним как бы рассеянной. Она тихо беседовала с Аронтой, женой Регарда, а Регард рассказывал Еве о скачках. Морггиана, задумавшись, расположилась в качалке, садистически наблюдая Гленара, который или некстати вмешивался в разговор, продолжая неизменно смотреть на Джесси, или тоскливо курил, расхаживая по террасе; садился, вставал, снова садился, причем вид у него был такой, что он тут же опять встанет. Он был поглощен решением: томился, терзался и пребывал в страхе, что неудача вынудит его никогда больше не посещать Джесси.

— Не выйти ли походить по саду? — предложил Регард, и Джесси немедленно согласилась, потому что у нее стало ныть в спине от разлитой над террасой любви Гленара. За ней согласились все.

Так как вечер был совершенно черный, Морггиана распорядилась включить свет в электрические фонари, стоявшие на скрещениях аллей. Над деревьями возник полусвет; лучи озарили спящую, смешанную с черным и золотым, зелень. Тотчас, спасаясь от Гленара, Джесси захватила Регарда и Морггиану; Ева пошла с Джиолати, Гленар подошел к Ароите; все разошлись, условившись сойтись у пруда.

Пока гуляющие были еще неподалеку друг от друга, Гленар слышал голос Регарда, а Регард — откровенную зевоту Аронты и скучные слова подавленного Гленара. Но разошлись дальше, и голоса смолкли. Случилось так, что благодаря ускоренным шагам Морггианы, шедшей немного впереди и решительно молчавшей все время, хотя Регард не раз обращался к ней с той мягкой любезностью, какая бессознательно подчеркивает несчастье, — случилось, что они трое оказались у пруда ранее других. Тогда, увидев спящих лебедей, Джесси захотела разбудить черного австралийского лебедя. Он, рядом со своей белоснежной подругой, мирно отражался в озерной воде, спрятав голову под крыло.

Джесси ступила на покатый газон и, подобрав платье, протянула руку; стоя у самой воды, она стала звать лебедя: «Ноэль! Куси-муси, Ноэль, соня!» Но лебедь спал, и, подступив еще ближе, Джесси соскользнула ногой в воду. Ее туфля и чулок сразу промокли; Регард подхватил ее, вывел наверх, а лебеди проснулись и, вы-

тянув шеи, сонно повели крыльями, приподняв их, как бы разминаясь от сна.

Уныло поджав мокрую ногу, Джесси стояла на сухой ноге, держась за плечо Регарда и выслушивая соответствующее замечание Морганы; затем решительно направилась в дом, чтобы переменить обувь. Она шла быстро, прихрамывая, потому что было ей противно твердо ступать мокрой ногой. При повороте около темной, стоявшей в тени листвы тутовницы она вздрогнула и остановилась: из листвы прозвучал странный, мрачный голос, и, взглядевшись, Джесси различила человека, который ее смешил и раздражал. Гленар стоял за деревом, делая какие-то знаки. Он вздохнул и произнес ее имя.

— Это вы? — сказала Джесси с неудовольствием. — Зачем вы прчетесь? Что там такое?

— Подойдите ко мне, — умолял Гленар. — Прогугу вас, подойдите и выслушайте. Я должен сказать вам одну очень важную вещь.

Заинтересованная, Джесси пожала плечами.

— Ничего не понимаю, — ответила она, — но я к вам в кусты не пойду, потому что промочила ногу и то-роплюсь. Вы что-нибудь поймали? Тогда несите сюда.

Место, где стояла она, было слегка освещено, между тем Гленар притаился в тени и не выходил. Такое непонятное упрямство вызвало у нее жуткую мысль, что Гленар покушался на самоубийство. Сердце ее сжалось.

— Вы не ранены? — сурово спросила Джесси.

— Ранен? Да, в смысле особом, да, — ответил Гленар. — Я могу и хочу сказать все. Но я боюсь света. Простите мою внезапную ненормальность. Это так важно, что, лишь смутно различая ваше лицо, я решусь... О, лучше бы я написал вам! Я... Нет, я не могу.

Начиная сердиться, Джесси все же не могла не улыбнуться при догадке, вызывающей чувства виноватости и симпатии, но всегда лестной, — а именно, что Гленар спрятался в листву с целью сделать ей предложение. Пока она размышляла, морщась от сырости чулка, Гленар заявил:

— Я видел, как вы пошли от пруда назад. Первой мыслью моей было — встретить вас, но это не так легко. Я знал, что вы будете проходить здесь.

— А где Аронта?

— Должно быть, я помешался: я ушел от нее.

— Однако же вы чудак,— серьезно сказала Джесси, краснея и сердясь на саму себя. Внезапная мысль, что, может быть, этот самый Гленар знает слова, равные великой музыке, поманила ее узнать все.— Идите сюда,— сказала Джесси, стесненно вздыхая,— выложите ваши секреты. Бояться меня не надо. Я не кусаюсь. Вылезайте, Гленар; вот уж не думала, что вы такой трус.

Едва ли еще какое другое обращение могло бы так обескуражить, как эти естественные слова девушки, торопящейся обсушить ногу. Гленар стиснул зубы и вышел на свет. Он был расстроен и бледен. Пытаясь развить улыбкой, что улыбается по своему адресу, Гленар увидел темные, блестящие глаза, взглянувшие на него с сочувствием и досадой. Это был заслуженный, безмолвный упрек. Гленар так страдал, что в этот момент чувствовал не любовь, а желание покончить с объяснением, отступить от которого уже не мог.

— Я вас люблю,— сказал он таким тоном, как если бы прислушивался к своим словам, проверяя, то ли сказано, что надо сказать.

Наступило молчание. В переменившемся выражении лица Гленара Джесси уловила черту мести за перенесенную боль, и она снова почувствовала сырость чулка.

— Ну, вот,— сказала она, глядя Гленара по неопределенно протянутой руке,— вы высказались, и вам станет легче теперь. Ничего подобного быть не может. Но, если вы меня действительно любите, будьте добры сходить в дом к горничной и сказать, чтобы она мгновенно представила мне сюда зеленые чулки и серые туфли. А затем вернитесь к Аронте и придумайте благовидный предлог своему отсутствию.

Хотя Гленар попросился с Джесси трагически, но, как это ни странно, он отправился исполнить ее просьбу с облегчением и благодарностью. К Аронте он не пошел, а поехал в клуб и пил до утра. Еще страннее, что Джесси верно определила его: с этого вечера его любовь, пережив самый страдный момент, сникла и, понемногу, исчезла.

## ГЛАВА VII

К двенадцати часам гости разъехались, и сестры разошлись спать. Гленар не вывел Джесси из равновесия, она даже была рада, что больше не увидит его. Ей очень хотелось рассказать Моргиане о «предложении из кустов», но, представив, как рассказывает, представила и отношение Моргианы: «Ты была рада, надеюсь». Поэтому она ничего не сказала сестре. Хотя та подозревала, что между Джесси и Гленаром что-то произошло, однако не пыталась ни намекнуть, ни узнать.

Наутро Джесси проснулась, как всегда, в восемь часов и позвонила Герде, чтобы та несла воду и шоколад. Каждое утро ей подавались в постель чашечка шоколада и бокал холодной воды; если шоколад, случалось, оставался не тронутым, — воду Джесси выпивала охотно и с удовольствием. Вода Лисса, добываемая из подземных ключей, пенилась при сильной струе, до белизны молока; на ее поверхности, уже после того как она отстоялась в бокале, став прозрачной, долгое время скакали мельчайшие брызги, а у края стекла шипели и лопались пузырьки. Джесси проснулась с веселой душой. Как вошла Герда, девушка начала болтать с ней о том, какие видела сны. Говоря, она смотрела на дверь и увидела, что блеск дверной ручки померк; ручка слегка повернулась.

— Я слышала голос и поняла, что ты не спишь, — сказала Моргиана, останавливаясь в дверях. Она взглянула на поднос, затем подошла к изголовью сестры и села против нее, а горничная ушла.

— Кого я вижу!? Сто лет не видались! — воскликнула Джесси.

Моргиана никогда не приходила утром в ее спальню, поэтому Джесси добродушно выразила свое удивление и прибавила:

— Мори, выпей воды. Не бойся, нам дадут еще, если я хорошенько попрошу Герду. В ее подвалах лучшие марки этого божественного напитка. Моргиана, не всматривайся в меня так, черт ума нет в моем бесстыдном лице... впрочем, что с тобой?

— Вялость... Джесси, позвони Флетчеру, чтобы нам прислали образцы обойных материй.



— Сделай милость, обойди кровать твоей сестры и поговори сама.

— Да? Но у меня немного болит горло.

— Встало ли солнце для Флетчера? — неохотно потянулась Джесси, берясь за телефонную трубку.

Она повернулась спиной к сестре, так как телефон был у другой стороны изголовья, на особой подставке. Моргиана смотрела на сбившиеся тяжелые волосы Джесси, на ее статные плечи и чистоту тени под кружевным вырезом. Почти с сожалением рассматривала она сестру. Джесси отвела волосы с уха и приложила к щеке слуховую трубку. В бокале играла вода, едва приметными брызгами дымясь над стеклянным краем.

Момент возник; действительность стала точной, как путь на высоте по канату. Книги, ваза с цветами мешали Моргиане отравить воду, не вставая с низкого кресла; и она поднялась, держа руку в кармане вязаной кофты. Там был крошечный пузырек с заранее отмеренной дозой. В это время Джесси назвала номер и, слегка повернув голову к сестре, не видя ее, сказала: «Не позвонить ли мне немного попозже?»

У Моргианы не было сил ответить. Она уже хотела сесть, как Джесси наклонила голову и поправила трубку, чтобы лучше слышать. По-видимому, с ней начали говорить. «Поступай, как будто никого нет, но скоро войдут», — мелькнуло у Моргианы. Она взяла пузырек, вывернула пробку без скрипа и плавно повела руку с ядом к веселящейся пузырьками воде. Из склянки выпали капли, образовав в воде струи цвета стекла; затем все получило обычный вид, лишь над бокалом исчез влажный дымок.

— Обойная контора Флетчера? — сказала Джесси. — Какая досада!

— Мори, — сказала она, внезапно оборачиваясь и, видя, что Моргиана, не успев сесть, стоит со слабой улыбкой, умолкла. — Ты что-то хотела сказать? — снова заговорила Джесси. — Ты уходишь?

Правая рука Моргианы, только что обессиленная злодейством, опустилась в карман. Моргиана села.

— Что сказал Флетчер?

— А видишь ли, станция перепутала, — объяснила Джесси, придвигая воду к себе и держа ладонью над бо-

калом, чтобы ощутить холодок брызг.— Теперь попьем. Сестрица, отчего ты такая красная? Не досадуй, я позвоню, только попью. Но что с моей водицей?.. Смотри-ка!.. Она умерла!.. Была как шампанское, и вот — грустно молчит.

— Перестояла, Джесси. Хорошо ли пить газистую воду?

— Еще как. Ну, хлопнем. Нет, сперва шоколад. Нет, лучше вода.

Джесси подскочила в кровати и, взяв бокал, выпила почти все. Тогда Моргину охватило резкое оживление; встав, она прошла несколько раз по спальне, рассуждая о рисунке обоев, исследуя, нет ли трещин на потолке, а затем, остановясь вдали, возле окна, начала говорить о том, как будет хорош дом после ремонта, как будет Джесси весело осенью, когда начнутся танцы и вечера. Возбуждение заставляло ее говорить, слушая саму себя.

— Мы получим образцы, Джесси, и тщательно, любовно, вместе с тобой обдумаем цвет и рисунок для каждого помещения. Все они должны быть различны и выдержаны каждое в своем духе. Покойный дядя часто жалел, что ему некогда заняться домом; он, как ты знаешь, увлекался делами и женщинами. Весь прошлый год мы собирались с тобой и ничего не сделали. Теперь только благодаря землетрясению... Я живо помню это утро, а ты? Как ты вскочила на подоконник и закричала! Все долго смеялись потом. «В самом деле,— подумала я тогда,— природа так равнодушна; немного сильнее, и город потерпел бы большое бедствие». Но природе прощают. Ты видела Хариту Мальком?

— Видела,— ответила Джесси полным печенья ртом и допила шоколад.— В фойе «Калипсо». Мне показали. Прошла спесивая, жуя славу. Сакраменто! В котором ухе звенит?

— В правом. Ее история с Тренганом наделала шума. А между тем «Зеленая флейта» — прелестное убежище, не для тех, конечно, кто ищет бесчестия и мишуры.

Джесси уже несколько минут слушала ее нервную речь с серьезным лицом, начиная тревожиться,— не означает ли многословие сестры приступа к желчной выходке или — еще хуже — к истерической сцене.

— Так я позвоню опять,— сказала она, подтягивая одеяло и берясь за телефон.— Контора, контора Флетчера. По поручению Морггианы Треиган. Очень рада. Ей требуются образцы новых рисунков. Неужели только вчера получены? Какая трагедия. Сейчас... Морггиана, они предлагают своего мастера!

— Откажи.

— Образцы пришлите,— продолжала Джесси,— но мастер уже нанят. Да, вы угадали. А где вы меня видели? Хорошо,— со смехом прибавила она, отставляя трубку; с ней говорил Флетчер, рискнувший отпустить комплимент.— Следовательно, пришлют. Мори, я тебя прогоню, так как хочу одеться!

— Джесси, еще одно,— сказала Морггиана, подходя к ней,— наши отношения были тяжелы, я знаю. Виновата, конечно, я, мои нервы. Теперь будем с тобой жить легко. Я говорю искренно.

Стыд свел ее губы в подобие фальшивой улыбки, но, стыдясь и презирая себя за подлость в эту минуту, она повторила:

— Совершенно искренно; и хотя мне нелегко в этом признаться,— я изуродована, Джесси. Так на меня и смотри, так объясняй все.

— Ну, отлично. Какая ты смешная, Моргуся! — поспешно сказала Джесси, утомясь словами сестры. Ее лицо выразило потерянность и просьбу не тревожить больше признаниями.— Я вижу, как изуродовано твое лицо. Довольно об этом.

Морггиана стояла, опустив голову.

— Теперь все. Я ухожу,— сказала она.— Я, может быть, сегодня уеду. Ты будешь рада, надеюсь?

— Мори! — вскричала Джесси, вспыхнув, с внезапными слезами на глазах, полных упрека.

— Это я так... сорвалось. Прости! Следовательно, образцы мы получим.

Морггиана кивнула и вышла; закрыв дверь, она оставалась, прислушиваясь с больным наслаждением, как скрежещет в ней стыд бесцельной, истерической лжи; подло почувствовала она себя. «Вот, я сделала, я отравила ее. Этого не забыть, и я как будто оглушена. Джесси напилась навсегда. Яд выглянул, и вода умерла».

## ГЛАВА VIII

Выйдя от Джесси, Моргиана закрыла дверь и отошла, крадучись, шага на три, чтобы прислушаться, не раздадутся ли крики или падение тела, в том случае, если яд подействует быстро. По отношению к яду у нее не было никаких гарантий, кроме слепого доверия и бешеной цены, заплаченной за него. Могли ее обмануть в ту и другую сторону: прислать строфант или чистую воду. От таких мыслей сильнейшие сомнения поразили ее; но мысль о воде перенести ей было труднее, чем немедленную смерть сестры. Сильно волнуясь, она поднялась в спальню и бросилась к окну — рассматривать флакон на свет солнца, как будто зрением могла узнать истину. «Нет, это не вода, — сказала Моргиана, догадываясь о существе жидкости не по ее виду, а тем чувством, какое подчас толкает разрезать свежее с виду яблоко, чтобы затем бросить его. — Не вода, но то самое».

Спрятав флакон в баул, чтобы впоследствии уничтожить его, Моргиана припомнила сцену в спальне. Улики исчезли, но если бы возникло подозрение, что Джесси отравлена, этот визит, в связи с тем, что она же омрачила его, мог быть поставлен в улику. В ее пользу были — ее истерия и тяжелый характер, о чем она размышляла с облегчением, как о надежной защите.

Прошло так мало времени с момента, как она вышла от ничего не подозревавшей сестры, что Джесси — в рубашке, заспанная и теплая — назойливо представлялась ей. «Ты никогда не выйдешь замуж», — сказала Моргиана. Более на эту тему она рассуждать не смогла: беспокойство, что Джесси уже мертва, такое сильное, что равнялось отчаянию, заставило ее метнуться к звонку. Горничная явилась и ответила на ее вопрос о Джесси, что та отправилась принимать ванну. Тогда, сказав, чтобы ей принесли кофе наверх, Моргиана несколько успокоилась. Выпив три чашки кофе, она, по своему расшатанному состоянию, по внезапно набегающим злым слезам, увидела, что должна уехать сегодня, — быть вдали, как бы умыв руки значительным расстоянием. Немедленно принялась она собираться, вызвала прислугу, распорядилась готовить автомобиль и передать Джесси, что через час уезжает в «Зеленую флейту». «Постепен-

но первое, самое сильное впечатление отойдет,— рассуждала Моргиана.— Я — больная после кризиса, о котором знаю одна я».

Между тем, узнав, что сестра собралась ехать, Джесси захотела было пойти к ней, но раздумала; лишь велела сообщить себе, когда Моргиана выйдет садиться в автомобиль. «Бог с ней,— размышляла Джесси,— она правда несчастна до содрогания, потому что с такой страстью погрузилась в свое уродство, хотя я к ней привыкла и ничего особенного не нахожу. Особенное лишь то, что мы ни в чем не похожи. Пусть едет, так будет лучше для нее и меня».

Обычно автомобиль подавался к внутреннему подъезду, на аллею круглого цветника; так подан был и теперь. В это время Джесси получила от Моргианы записку с сообщением об отъезде и с приглашениями. «Она не хочет видеть меня»,— сказала Джесси и, рассердясь, решила не провожать Моргиану, но, как всегда, смиростивилась и пошла на подъезд. Стараясь быть веселой и приветливой, Джесси встретила выходящую, в сопровождении слуг с чемоданами, сестру, сказав: «Бежишь? В «Зеленую свою флейту»? Живи там спокойно и к нам заглядывай. Я приеду к тебе».

Она взяла Моргиану под руку и шла так, стараясь шагать нога в ногу.

Пристально взглянув на нее, Моргиана, удивясь сама себе, не смогла удержать улыбку. Хорошенькая, как цветок, девушка сияла ей глазами в глаза, надувая пузырем щеки и подмигивая. Улыбка утоленного зла сощурнула глаза Моргианы, как нож, пробивший протянутую шалить детскую руку; по всему ее телу прошла мутная дрожь, и она стала далекой, бесчувственной; даже смогла сказать снисходительным тоном старшей: «Сообщай о себе; не забудь предупредить, если вздумаешь приехать. Будь здорова; прощай!»

Джесси заметила ее усилие говорить естественно и отпустила руку сестры. Чтобы отвлечься, она затеяла постоянную свою игру с шофером Слэкером, предварительно поцеловав Моргиану, которая уже усаживалась:

- Слэкер!
- Есть!
- Мотор?
- Есть!

— Бензин?  
— Есть! — отвечал, уже помедлив, Слэкер; он был не совсем в духе, так как проигрался вчера.  
— Контакт?  
— Есть!  
— Контракт?  
— Есть!  
— Задок?  
— Есть и задок, есть и передок, — ответил сумрачно, всех рассмешив, Слэкер; однако на Джесси он сердиться не мог, почему прибавил: — О карбюраторе забыли спросить.  
— Верно, — сказала Джесси, — есть карбюратор?  
— Есть!  
— Ну вот, Мори, — объявила Джесси, смотря на сестру против солнца из-под руки, — у него все есть! Так что ты ни в чем не будешь нуждаться. Отправляйтесь!

Автомобиль обогнул цветник и выехал за ворота. Сквозь решетку сада Джесси увидела, как Моргiana взглянула на нее из-под шляпы, и взгляд этот не понравился ей. «Ну, как хочет, — подумала Джесси, побледнев от внезапного гнева. — Она знает, что я могла бы сильно любить ее. Я вообще любить могу и хочу. Боже, неужели я рада, что она уехала?»

Став пасмурной, Джесси с достоинством выпрямилась, повернулась и вошла в дом.

## ГЛАВА IX

Проводив сестру, Джесси не могла уже выйти из дурного настроения. «Нормальна ли Моргiana? Не следует ли им разъехаться навсегда?» С этой мыслью, никак не решая ее, она стала ходить по дому; хотя приготовления к ремонту ограничили ее прогулку, она вознаградила себя тем, что посмотрела, как ставят леса и примеривают деревянные шаблоны для лепки карнизов. Наконец, усевшись в библиотеке, Джесси утвердила локти между романом и коробкой шоколада, изучая душевные движения по начертаниям автора, тронутого плесенью демонизма. Половину перелистав, половину прочтя, сказала она, зевая: «Чепуха. Вот чепуха!» — и уселась в кресло, охватив колени руками.

«Так я устала от нее»,— сказала Джесси, подразумевая сестру. Скучно и тускло было у нее на сердце, и ничего не хотелось. Между тем прекрасный день звал из всех окон к движению. В ответ его шумному блеску Джесси сидела и молчала, как упавший смычок.

Не желая распускаться, она взглянула на часы и ушла завтракать, но ела мало, причем пища казалась ей не такой вкусной, как всегда. Думая разогнать душевную оскотину ездой, она приказала заложить экипаж и выехала купить кружев. В экипаже Джесси сидела нахохлясь, прикусив губу. Мрачно рассматривала она толпу, не находя в ней ни забавных, ни живописных черт, ни материала для размышления. Подъезжая к магазину, она нашла покупки ненужными; рассердилась и приказала кучеру повернуть назад, что тот и сделал, выразив спиной изумление. Вскоре она увидела Еву Страттон, вышедшую из книжной лавки, окликнула ее и позвала ехать, причем та вначале отказывалась с шутивым возмущением, но, внимательно посмотрев на девушку и став серьезной, взобралась на сиденье.

— Я должна быть на одном частном докладе,— сказала Ева,— но вид твой мне не нравится. Ты, Джесси, бледна.

— Я чувствую, что мне нехорошо,— отозвалась, жалуясь, Джесси,— но не пойму. Не простужена, выспалась, а, между тем, хочется раздражаться.

Ева взяла ее руку, прохладную и вялую.

— Может быть, болит голова?

— Голова не болит, но ее давит. Слабость... Какая? Ничто не трясет, ни руки, ни ноги. Это даже не слабость, а гадость. Ты поймешь, если вспомнишь чувство от фальшивой ноты. Катценяммер.

— Я провожу тебя,— сказала Ева, подумав,— и если опоздаю на доклад, то буду в глубине души рада, так как обещала быть без особого желания. Я посижу у тебя дома. Бывают эти штуки и со мной от неизвестной причины. Если твои нервы устоятся, поедem к Жемчужному водопаду? Вельгофт устраивает пикник.

Кивнув глазами в знак, что подумает, Джесси сказала:

— Хочу пить. Пить очень хочу. Вот и киоск. Остановитесь против этих бутылок! Мальчик, принеси мне апельсиновой воды!

Она с наслаждением осушила стакан и дала знак ехать.

— Когда уезжает твоя сестра?

— Сегодня уехала. Ева, я как-нибудь все расскажу тебе, но не сегодня. Так хорошо поплескивает внутри эта вода. Вот уж и лучше. Ясней видят глаза и спине легче. Ну-с, так что же у водопада?

Несколько оживясь, вступила она в обсуждение развлечений пикника, и, когда подъехали к дому, лицо ее стало опять полно света и свежести. Оставаясь задумчивой, она прилегла на диван, а Ева, наблюдая за ней, просматривала купленные сегодня книги и говорила о них.

— Намочи виски уксусом,— предложила она, заметив, что Джесси тычет пальцем в висок.

Девушка отрицательно качнула головой.

— Дай мне, пожалуйста, зеркало,— сказала она и, взяв от Евы ручное зеркало, внимательно рассмотрела себя. Бледность прошла, но зрачки расширились и запылись губы.

С досадой отложив зеркало, Джесси стала думать о пикнике. Хотя уже шатнуло ее ветром отравы, живость ее воображения не померкла. Возможно ли не танцевать при свете факелов, на фоне брызг звезд и теней? Все это поманило Джесси; стараясь победить недомогание, она позвонила, скомандовав Эрмине принести вина и лимон. Услышав ее окрепший голос, Ева спросила:

— Тебе лучше?

— Если я не дам себе распусться,— ответила Джесси,— к вечеру ничего не останется.

Опустив в вино ломтик лимона, она потолкла его ложечкой и, с вожделением посмотрев на стакан, стала пить маленькими глотками, приговаривая:

— Если хочешь быть счастливым, то питайся черносливом, и тогда в твоём желудке заведутся незабудки.

— Как? Как? — вскричала Ева, хохоча над рассудительным речитативом девушки.

— Заведутся незабудки,— повторила Джесси, утирая покрасневшие губы.

Самовнушение и вино поддержали ее. Через несколько времени Ева уехала, успокоенная относительно Джесси, так как та оживилась и выглядела теперь хорошо;



а Джесси отправилась в туалетную комнату придумать платье для пикника. Выбросив из шкафов их содержимое, она стала примерять платья и, в разгаре своих занятий, вдруг устала так, что у нее пропало желание бегать по траве. Вялость и печаль охватили ее. Не стерпев обиды, Джесси уронила голову на руки, расплакалась и, топая ногой, старалась усмирить негодование на несчастный день. Успокоясь, она сделалась опять тихой и безразличной ко всему, так же, как было утром.

За час до обеда к ней приехала Елизавета Вессон в сопровождении двух офицеров — Эльванса и Фергюсона. Елизавета Вессон, девушка двадцати шести лет, была неприятна Джесси за ее спокойное лицемерие и скучающий вид. Мало развеселили Джесси и спутники Вессон: самовлюбленный Эльванс и бессодержательный Фергюсон — словоохотливый человек, не владеющий искусством беседы. Елизавету подослала Ева, чтобы соблазнить Джесси ехать к Жемчужному водопаду.

Сославшись на нездоровье, Джесси решительно отказалась. Радуюсь отказу, Елизавета выразила глубокое сожаление; искренне пожалели о неудаче своего визита Фергюсон и Эльванс, но в присутствии богатой Вессон, поклонниками которой состояли ради ее богатства, высказали свое сожаление сдержанно. Произошел обмен фразами, которыми, как гвоздями, сколачивают искусственное оживление. Оно стало более естественным, когда начались колкости. Очень довольная, что Джесси не будет на пикнике, Елизавета ласково заметила:

— Я страшно жалею, дорогая; вы, правда, бледны, но среди трав и цветов выглядели бы гораздо лучше.

— Почему? — серьезно спросила Джесси.

Не отвечая, Елизавета стала кротко смеяться, взглядывая на мужчин, затем вздохнула и сказала, обращаясь к Эльвансу:

— Не правда ли, Джесси с ее милой безыскусственностью напоминает лесную фею?!

— Вот именно, — мрачно кивнула Джесси.

— Царицу лесных фей, — любезно согласился Эльванс, с намерением задеть Елизавету, выходка которой была ему неприятна.

— Мы в царстве фей,— заметил Фергюсон, не догадываясь, что этими словами, после сказанного Эльвансом, отводит Елизавете второстепенное место.

— Кажется, мы кончим экскурсией в мифологию,— вздохнула Елизавета,— для Джесси прямой выигрыш: там все дриады и нимфы.

«О, ты хитрый, белобрысый зигзаг!» — подумала Джесси, а вслух сказала:

— Жаль, Эльзи, что не могу сегодня составить вам выгодный контраст с моей «безыскусственностью».

Враг зашатался, но снова открыл огонь.

— О, Джесси, милая, я вам завидую! Вам посчастливилось найти какой-то средний путь между обществом и само... хотением. Будь у меня меньше знакомых, я тоже предпочла бы сидеть дома и читать что-нибудь... Например, «Одинокую красавицу» Аскорта или... Вообще, читать, мечтать...

Джесси подумала и небрежно сказала:

— Читать хорошо. Я купила интересную книгу «Роковой возраст». Не помню, кто автор.

Удар был нанесен крепко. Двадцатилетняя Елизавета Вессон умолкла и, нервно перебрав веер, предложила идти. Тут некстати Фергюсон начал запутанно описывать место, выбранное для пикника, всех утомил и был перебит Эльвансом, пожелавшим Джесси скорее поправиться. Прощаясь, девушки поцеловались и обменялись крепким рукопожатием. Наконец, все ушли.

«Правда ли, что я бледна? — подумала Джесси, подходя к зеркалу.— Да, бледна; странно. Вероятно, теперь бледна, после Елизаветы. Этакая змея! Поехать с ней — несчастье; она под видом излияний начнет говорить гадости обо всех».

Тут позвонил телефон. Ева вызвала Джесси.

— Ну, ты уговоришься с Эльзи? — спросила Ева.

— Елизавета была,— сказала Джесси,— стала меня дразнить, а я ее отчитала. Хитрая, дрянная зацепка. Я им всем сказала, что не поеду. Здоровье? Я здорова; я только расстроена. Да, хотела ехать, а теперь не хочу. Но ты поедешь?

— Я собиралась ради тебя,— ответила, помолчав, Ева.— Я откажусь.

— Что так?

— Должно быть, я домосед. Другое дело, если бы поехала ты.

— Сложно, но непонятно. Ты добряша. Прощай пока; завтра поговорим!

Аппетит Джесси стал капризен,— за обедом она выпила стакан молока и съела пять апельсинов. Весь день в доме звучало эхо ремонта: стучали молотки, падали доски, хлопали двери. Она должна была терпеть этот шум, так как еще не решила, куда ехать летом. Скучный выбор ее упирался в «Зеленую флейту», но там жить она не хотела; поселиться же у знакомых, хотя бы самых интересных и милых, было не в ее характере. Ее звали к себе Регарды; кроме того, звал Тордул, отставной адмирал, имевший пять дочерей, которые все нравились Джесси, но не настолько, чтобы жить с ними под одной крышей. Еще Джесси ожидала письма из Гельгю, от школьной приятельницы. Если к той не явятся ее родственники, ожидаемые с покорностью существа, обреченного уступать, Джесси могла поехать в Гельгю.

## ГЛАВА X

Когда жара спала, дышать стало легче. Почувствовав себя сносно, Джесси выехала за гавань, на морской берег, где лесная дорога, поднимаясь по скату, приводила к отвесной стене обрыва. Здесь, над развернувшимся морем, было ветрено и высоко; но еще выше шумели деревья; внизу шарил прибой; его белая полоса восходила и медленно соскальзывала с песка; там, под обрывом, пролегалла нижняя дорога. Экипаж остановился у ручья, где кучер стал поить лошадей.

Отойдя к обрыву, Джесси ступила на заросший травой край скалистой стены. Присев, она взяла камень и кинула его. Камень понесся вниз и исчез; вдруг обнаружил себя, стукнув по кучам гальки; можно было различить сверху, как запрыгала галька. Джесси захотелось еще бросать камни. Она оглянулась на кучера, который смотрел в ее сторону, ей стало неловко забавляться при нем, и она ушла за деревья. Здесь ей никто не мешал. Собрав много камней, Джесси стала брать по одному и, замахиваясь по-женски, прямой рукой, кида-

ла через голову в море. Камень шел вниз дугой, исчезал; видны были затем только его скачки по стукающим, как горох, кучам. Джесси кинула изо всей силы камень десять, от чего заныло ее плечо. Вспомнив, как бросают мужчины, она стала подражать их манере, — зацепляя камень меж указательным и большим пальцами, а руку при броске сгибая в локте; но, при ее неумении, локоть ударял в бок, а камень вылетал с меньшей силой. Тогда стала она бросать по-прежнему, вертя руку в плече. Ей нравилось, что камни делаются как бы частью ее самой, живой частью, достигающей головокружительного низа. Вдруг порыв ветра, поддав сзади в затылок, сбил ее белую шляпу с атласной лентой, полетевшую прямо перед глазами прочь, за обрыв. Инстинктивно хватив рукой воздух, Джесси одно мгновение была вне равновесия, так как потянулась вперед. Она откинулась всем телом назад и свалилась в траву, закрыв от страха глаза. Бездна заглянула в нее. Так она лежала, стиснув руки и зубы, пока не улеглось сердцебиение. Смерть пошутила.

Отдышавшись, Джесси сначала подобрала ноги, чтобы чувствовать их дальше от обрыва, отползла и лишь после того встала. Ветер растрепал волосы; они щекотали ее лицо. Укрепив прическу, Джесси явилась к экипажу без шляпы.

— Какой произошел случай, — сказала она кучеру, — большая птица, должно быть хищная, приняла ленту за чайку, стащила с меня шляпу и была такова!

Она знала, что тот немедленно вызвался бы искать пропажу, если бы узнал истину, но не хотела ни возни, ни препирательств. Кучер быстро осмотрел небо и рассказал случай с ребенком, которого потащил орел и бросил в квашню с тестом.

Джесси вернулась в город; она устала и ослабела. Мрачная, настроенная скептически, Джесси захотела увидеть Еву, дом которой был ей почти по пути. Джесси вошла в гостиную, где ее встретила Ева, сообщившая, что собралось несколько человек. Вечер вышел удачен; все оживлены, и, вообще, весело.

— Ты еще бледна, — сказала Ева.

— Опять я бледна?! — встревожилась Джесси. — Мне это уже сказали сегодня. Очень бледна?

— Не... очень. Что же с тобой? Покажи язык.

— Вот язык,— Джесси высунула чистый язык и увела его назад.— Прежде чем я войду, я сяду. Дай мне пить, пожалуйста.

— Сейчас. Но чего? Воды с лимоном? Есть лимонад.

— Дай много воды, немного с вином.

Ева вышла и принесла напиток сама. Утолив жажду, Джесси сказала:

— У меня ничего не болит, но я чувствую себя странно,— как будто подменили мое тело: оно не смеется. А внутри — преграда, доска.

— Теперь, когда Моргана уехала, ты отдохнешь,— прямо сказала Ева.— Она зла и хитра.

Джесси выслушала это молча, понурясь; затем подняла расстроенное лицо, по которому к слабо улыбающемуся рту скользнула слеза.

— Ева, я отдохнула.

— Ты отойдешь, ты снова станешь сама собой,— говорила Ева, идя с ней и глядя ее по спине.— Мне хочется, чтобы ты вошла в наш кружок. Надеюсь, это будет кружок.

— Я потеряла шляпу,— сообщила, оживляясь, Джесси,— разве я не сказала? Ветром — с обрыва в океан, и она плавает там.

— Ужасно!

— Да, вот уж так.

Они вошли в небольшой зал, где было пять человек; только что взглянувший на часы Регард; Фаринг, знакомый Евы по ботаническому музею, и Гаренн, автор философских этюдов. Кроме мужчин, Джесси увидела Мери Браун, служащую канцелярии музея, и Тизбу Кольбер, девушку с тяжелым лицом, полную и сосредоточенную; она была секретарем профессора Миллера.

Джесси вошла прищурясь, как это понравилось ей у одной дамы.

Ева познакомила ее со всеми, кроме Регарда, который сказал: «Очень жалею, что скоро должен уехать».

Как только Джесси вошла, она немедленно стала центром, что происходило всегда и к чему она не прилагала никаких усилий. Она сама чувствовала это по оттенку в улыбке мужчин, по тону краткого молчания,

наступившего как бы случайно. Джесси немного смешалась, затем ей стало весело. Она встретила взгляды женщин и поняла, что на нее приятно смотреть. Затем общее равновесие, нарушенное свежим впечатлением, незаметно восстановилось, но уже «под знаком Джесси». Ева, слегка ревнуя, что еще не раскрывшая рта девушка оказалась главным лицом, сочла нужным начать разговор шуткой:

— Бедная девочка приехала без шляпы. Как это произошло, Джесси?

— О, так, — ответила Джесси не без кокетства, — ветер дунул, и шляпа полетела в море! — Вспомнив испуг, она серьезно прибавила: — Был момент очень неприятный. Я захотела ее схватить и чуть не полетела сама с обрыва. Стала падать, но все-таки упала назад.

— Вы очень испугались? — спросила Мери Браун.

— Да, очень. Кровь ударила в голову.

— Интересно, — произнесла Тизба Кольбер безразличным тоном взрослой, рассеянно наблюдающей ребячьей глупости.

— Да ты, оказывается, спаслась от смерти! — воскликнула взволновавшись Ева и, пересев к Джесси, взяла ее руку. — А ты говоришь об этом так просто. Я сама однажды чуть не попала под паровоз. Как он проскочил мимо меня — не могу даже представить; может быть, я проскочила сквозь паровоз. Спас, конечно, инстинкт, но решительного движения, каким спасаешься, никогда не припомнишь впоследствии.

Разговор об инстинкте постепенно перешел на животных. Джесси понравилось полное юмора лицо Фаринга, который начал смешить собеседников рассказом о проделках своей собаки. Но она с нетерпением ждала, когда он кончит, так как ее опять стала мучить жажда. Наконец, Ева заметила, что Джесси водит языком по губам и, кивнув ей, увела в буфет, где присмотрела, чтобы Джесси напилась основательно. Она подозревала не больше как малярию. Выпив ледяной содовой, девушка успокоилась. Возвращаясь к обществу, Ева рассказала, что ждет недавно приехавшего по делам службы артиллерийского лейтенанта Финеаса Детрея, своего дальнего родственника по матери. Она отозвалась о нем как о недалеком и неинтересном человеке,

причем Джесси поняла, что Ева удержалась от некрасивого слова «глуп».

Вернувшись, они застали Регарда на выходе: он прощался. Одновременно уходила Тизба Кольбер, сразу невзлюбившая Джесси и потерявшая надежду на обращение разговора к опытам профессора Миллера, в которых принимала участие. Выходя, Регард встретился в дверях с неизвестным офицером; ограничась поклоном, он пошел к выходу, а офицер появился в кругу общего внимания.

Ева представила его, и он, медленно осматриваясь, сел. Джесси увидела человека лет двадцати восьми, среднего роста и правильного сложения. Темные волосы его были коротки и густы. Серые, свежие глаза вполне отвечали молчаливому выражению обыкновенного, здорового и простого лица, в котором не было, однако, ни самодовольства, ни грубости,—хорошее лицо честного человека. Кланяясь, он был несколько неуклюж, но улыбнулся, приподняв верхнюю губу, оттененную небольшими усами, так чисто и весело, как улыбается человек, совесть которого спокойна.

Сделав замечание о погоде, Детрей подумал, что перебил, может быть, интересный разговор, и приготовился слушать. В его беспритязательной готовности немедленно сойти на второй план было что-то не освобождающее внимания, а, напротив, усиливающее внимание к нему, отчего некоторое время все ждали, что заговорит он, но он молчал.

Присутствие офицера, хотя бы и родственника, казалось Еве деликатным убожеством. Так как Фаринг начал сообщать Гаренну политическую сплетню, Ева, в качестве противоядия незатейливому присутствию Детрея, вернулась к вопросу, обсуждение которого полагала недоступным для артиллерийского лейтенанта.

— Сегодня вы начали, но не договорили о дружбе,—сказала она Гаренну.—Тебя это интересовало, Джесси,—помнишь ваши беседы? Ну, Гаренн, конечно, ваша циническая теория должна быть расщипана. Мы с Джесси пойдем на вас в штyki.

— Я думал, что высказался вполне,—ответил Гаренн.—В настоящее время моменты дружбы существуют за трапезой, в крупных банкротствах да еще между панегиристом и юбиларом.

— Женщины легко делаются приятельницами,— сказала Мери Браун,— а у мужчин это связано, очевидно, с хорошим обедом.

— Приятели — особое дело,— заметил Фаринг.— Приятельство — простой промысел, иногда очень выгодный.

— Женщина и мужчина делаются друзьями в браке,— сообщила Ева,— если же этого не происходит, вина не на нашей стороне. Джесси хочет что-то сказать.

— Что же сказать,— ответила девушка.— Чего хочется, то должно быть. Раз ее хочется — такой горячей дружбы,— значит, она где-то есть. А так хочется иногда!

— Вы правы! — неожиданно ответил Детрей.

Все взглянули на него, ожидая развития этих слов, но он, считая свою роль оконченной, снова приготовился слушать. Молчание тянулось, пока Ева не сказала Детрею:

— Детрей, жестоко отделяться парой слов: мы ждем.

Он усмехнулся и слегка покраснел. Его мысль о любви-дружбе была совершенно ясна ему, но так сложна, что выразить ее он не мог.

— Я имею в виду женщину-подругу,— сказал он свою мысль словами, слабо напоминающими действительную его мысль о близости незаметной и неразрывной.— Для мужчины это совершенно необходимо.

Джесси с удивлением посмотрела на него.

— Вы ошиблись,— мягко сказала она,— я не о том... не то хотела сказать.

— В таком случае прошу меня извинить,— быстро ответил Детрей. Он смутился.

— Я хотела сказать,— продолжала Джесси,— что где-нибудь настоящая дружба существует и интересно бы на нее посмотреть.

— Конечно,— сказал Детрей, снова становясь в тень.

Джесси с досадой повернулась к Гаренну, который, помедлив, заговорил:

— Когда я думаю о женщине-друге, не о жене, не о возлюбленной, а о друге, в охлаждающем смысле этого слова, мне неизменно представляется лицо Джоконды. Довольно трудно говорить о ней, не имея перед глазами...



— Но она есть,— сказала Ева.— Я принесу миниатюру, копию, купленную Страттоном в Генуе. По общему мнению, сходство с оригиналом велико.

Довольная, что разговор поднялся на прежнюю высоту, тем отстраняя участие в нем Детрея, которого следовало наказать за его грубую, архаическую профессию, Ева ушла. а Гаренн сделал еще несколько замечаний о дружбе, доказывающих его мнение о ней как о красивой ненормальности. Ева принесла картинку в бархатной рамке, величиной с книгу. Все осмотрели знаменитые поджатые губы Джииоконды. Когда пришла очередь Детрея, он взглянул на изображение и сказал, передавая миниатюру Джесси:

— Да, очень похожа. Я видел портрет этой женщины на папиросных коробках.

Ева вздрогнула, а Джесси притворилась, что не слышит. Между тем, она была в восхищении.

Наступило сосредоточенное молчание.

— Портрет изумителен,— продолжал Гаренн — Существует мнение, что художник имел в виду некий синтез. Но, тем не менее, перед нами лицо с тонкой и сильной, почти мускульно выраженной духовностью, которая не может удовлетвориться дружбой женщины. В этих чертах я вижу знак равенства между нею и неизвестным, достойным. Совет, помощь, анализ и руководство, хладнокровие и мудрость — все дано в этом лице и позе, выражающих замкнутое совершенство.

Он продолжал в том же духе пристрастной импровизации, доказывая, что, желая женщину-друга, мужчина ищет качеств, мысль о которых возникает перед лицом Джииоконды.

Фаринг согласился с ним, так как не имел собственного суждения. Мери заметила, что Джииоконда не очень красива. Ева весело и возбужденно выжидала сказать, что «Джииоконда не портрет, а мировоззрение». Наконец, она сказала это.

— Вероятно, мы кажемся вам очень скучны, Детрей,— прибавила она,— со своими рассуждениями о давно умершей итальянке?

— Напротив,— Детрей взял снова картинку и внимательно ее рассмотрел.— Нет скуки в таком опасном лице. Женщина, изображенная здесь, опасна.

— Почему? — спросила Ева с удовольствием.

— Мне кажется, что она может предать и отравить. Гаренн тревожно вздохнул; Ева досадовала; Мери посмотрела на Еву и Гаренна; Фаринг, хотя был равнодушен к искусству, нашел мнение Детрея неприличным, а Джесси рассмеялась. Ответом Детрею было молчание; он правильно понял его, выбрал себя и, положив картинку, снова приготовился слушать.

Джесси стало его жаль, поэтому она сочла нужным вступить.

— Вы правы,— громко сказала она, всех удивив своими словами.— точно такое же впечатление у меня. Эта женщина напоминает дурную мысль, преступную, может быть, спрятанную, как анонимное письмо, в букет из мака и белены. Посмотрите на ее сладкий, кошачий рот!

— Джесси! Джесси! — воззвала Ева.

— Вы шутите! — сказал Гаренн.

— Как же я могу шутить? Я всегда говорю, что думаю, если спор.

— Джесси не лукавит,— вздохнула Ева, любящая ее порозовевшим лицом,— но как все мы различны!

— Я вам очень признателен,— сказал Детрей, отрывисто поклонившись девушке.— Теперь мой левый фланг имеет прикрытие.

— А правый? — возразил Гаренн, сидевший по правую сторону от Детрея.— Я выстрелю. Вы попросту клеветник, хотя, разумеется, честный, как и ваша пылкая соумышленница. Эпоха, когда жил да Винчи,— эпоха жестокости и интриг,— невольно соединяется вами с лицом портрета.

— Положим,— возразила Мери,— а «Беатриче» Гвидо Рени?

Джесси сказала:

— Приятную женщину не мог нарисовать человек, смотревший на казни ради изучения судорог; он же позолотил мальчика, и был он вял, как вареная рыба. Я не люблю этого хитрого умозрителя, вашего Винчи.

— Искусство выше личного поведения,— заметил Фаринг.

— Выше или ниже,— все равно,— объявила Джесси, успокаиваясь.— Мне нравится Венера. Та — женщина. Большая, отрадная, теплая. Если бы у нее были руки. она не была бы так интересна.

— Венера Милосская,— сказал Гаренн.— По преданию, царь Милоса велел отбить ей руки за то, что видел во сне, будто она душит его. Успокоительная женщина!

Джесси залилась смехом.

— Отбил, я думаю, сам скульптор,— сказала девушка сквозь кашель и смех.— Он думал сделать лучше, но не успел. Ева, у меня разболелась голова, и я поеду домой.— Она коснулась волос.— Смотри, я забыла, что шляпу мою сдунуло в море!

— Вот странная вещь,— воскликнул Детрей,— вы потеряли шляпу, а я нашел шляпу. Я ехал от Ламмерика нижней дорогой и увидел на щебне шляпу с белой лентой.

Вскочив от изумления, Джесси уставилась на Детрея огромными глазами.

— Так неужто моя?! — сказала она со стоном и смехом.

Не менее взволнованный, Детрей заявил:

— Сейчас вы ее увидите. Я хотел сказать, как пришел, но заговорился. Неужели я нашел вашу шляпу? Она в передней, завернута. Она цела.

Он быстро вышел.

— Если так,— сказала Ева,— то ты, Джесси, дочь Поликрата!

— Ах, я хочу, чтобы это была не моя! — сердито сказала Джесси, устав от неожиданности и, в то же время, нетерпеливо ожидая возвращения Детрея.

— Почему? — спросил Гаренн.

— Нипочему. Так.

В это время вошел Детрей; развернув газету, он показал, при общем веселом недоумении, подлинную шляпу Джесси. Она была цела, чуть лишь запылена.

Как ни усиливалась девушка быть иронически знательной, все же должна была рассказать Детрею историю со шляпой. Она сделала это, кусая губы, так как ей стало смешно. Найдя все происшедшее очень странным, Джесси под конец расхохоталась и, блестя глазами, надела неожиданную находку.

Торопливо простясь со всеми, Джесси вышла и приехала домой к одиннадцати часам. По приезде она немедленно потребовала воды; у нее была нехорошая, больная жажда. Немного отдохнув, но все еще слабая

и беспокойная, девушка разделась и, накинув пеньюар, села к зеркалу расчесать волосы.

«Какая скверная бледность»,— сказала Джесси, наклоняясь, чтобы лучше рассмотреть себя. До сих пор ее болезненные ощущения были смутны, но вид бледности заставил ее почувствовать их отчетливее. Тревога, подавленность, тяжесть в висках,— чего никогда не было с ней,— испугали Джесси мыслью о серьезном заболевании. Одновременно и тоскливо думала она о Детрее, шляпе и Джиоконде. Эти мысли бродили без участия воли; она лениво отмечала их, допуская, что могут явиться еще разные другие мысли, прогнать которые она бессильна. Джесси не знала, что ее организм погружен в единственно важное теперь для него дело — борьбу с ядом. Бессознательно участвуя в этой борьбе, она отсутствовала в мыслях своих и не могла управлять ими. Хотя были они нормальны, но проходили со странной торжественностью.

Надеясь, что все кончится сном, Джесси улеглась в постель; беспокойно ворочаясь, заснула она с трудом. Несколько раз она просыпалась в состоянии дремучей сонливости, жадно пила воду и, ослабев, укладывалась опять, то сбрасывая одеяло, то плотно закутываясь. Сны ее были ярки и тяжелы.

Проснувшись окончательно в шесть, Джесси поняла, что заболела, и приказала горничной вызвать к телефону Еву Страттон; взяв поданную ей в постель трубку, Джесси попросила прислугу Евы передать той, что просит ее приехать, как только встанет.

Ева приехала в семь часов. Они посоветовались и решили вызвать доктора Сурдрега, одного из лучших врачей Лисса.

## ГЛАВА XI

Происшествие со шляпой Джесси заняло гостей Евы, по крайней мере, на полчаса; всех удивляло редкое совпадение. Сам Детрей был приятно озадачен этим веселым случаем; затем ему показалось, что все подшучивают над ним. Его приподнятое настроение исчезло, тем более, что хозяйка улыбалась, но о находке не упоминала. Действительно, Ева Страттон, мечтающая о вечерах страстных, горячих споров, насыщенных слож-

ной работой мысли,— после которых все кажется значительным, как в судебном процессе,— получила вместо того офицера и шляпу. Она строптиво решила приглашать отиыне людей только «взыскующих града». При ее возрасте это был, конечно, особый вид ребячества, объясняемый неудачным браком, но Ева серьезно относилась к своим этим стремлениям и уважала себя за них, а Детрея не уважала, что он скоро если не почувствовал, то подумал.

Раздумывая над этим, Детрей приписал все шляпе Джесси, но не мог понять сложного хода женской мысли, а потому нашел, что, по-видимому, пора уходить. Он встал; желая смягчить самое себя, так как была виновата, Ева прошла с ним к выходу. Оба думали об одном и том же, а потому, желая выцарапать романтический штрих, Ева сказала:

— Вам понравилась моя Джесси?

— Да,— не сразу ответил Детрей, прямо смотря на Еву и неловко, но открыто смеясь,— да, очень понравилась. Удивительно милая и особенная.

— Вы красноречивы,— заметила Ева, качая головой.— Но не рассчитывайте, что я скажу ей об этом.

— Конечно! — воскликнул Детрей с испугом.— Я надеюсь. Тем более, что вы с ней очень подходите друг к другу.

— Тем более?..

— Право, Ева, я разучился, за три года в Покете, не только говорить, но и думать. Я могу спутать такие слова, как «бак, мак и табак».

— Да,— сказала Ева, серьезно, ничуть не упрекая себя за выдумку,— Джесси Тренган прекрасная девушка. Кое-кто медлит, но я уверена, что осенью она обвенчается.

Детрей со смехом поцеловал Еву руку.

— Всякая история имеет конец,— сказал он,— будем надеяться, что история Джесси окончится благополучно и скоро.

— Если захотите увидеть меня, пользуйтесь телефоном. Уговоримся. Вы не скучали?

— Нет. Я с большим интересом слушал. В Покете мы плохо себя ведем,— жизнь и служба однообразны.

— Но стройны, как ваш мундир? Мое представление о военной службе таково: прямая линия и «ура»!

— До известной степени,— ответил Детрей, морщась.— Прощайте!

Они расстались. Детрей жил в Ламмерике, в деревенской гостинице, заканчивая топографические поручения относительно окрестностей и реки. Солдаты, приехавшие с ним, квартировали в домиках местных жителей. Было поздно возвращаться домой, тем более, что поднялся ветер и звезды исчезли.

Выйдя на улицу, Детрей отвязал лошадь, привязанную возле подъезда, и, утвердись в седле, поехал шагом, размышляя о Джесси.

«Да, я не встречал таких девушек,— сказал Детрей сам себе.— А теперь я знаю, что они есть. Она может поманить — и пойдешь, пойдешь далеко,— за тысячи миль. Вот на редкость славная девушка!»

Он перебрал все женские знакомства, отпущенные ему судьбой, и только в трех случаях нашел отдаленные черты, чем-то напоминающие Джесси; причем один случай падал, странно сказать, на старушку, второй — на малолетнюю девочку и лишь третий соответствовал возрасту Джесси. Это была жена капитана Гойля, сердечная и нервная женщина, которая иногда бегала по столу. На вопрос, зачем ей это нужно, она отвечала: «Не знаю, но в домашней обстановке это действует освежительно. Вы попробуйте». Старушка, о которой мы упомянули, была некогда его квартирной хозяйкой; она сама приносила обед; ее когда-то красивая, а теперь сухая рука дрожала, ставя тарелку, и она произносила одни и те же неизменные, торжественные слова: «Кушай, голубчик». После такого обращения Детрей съедал все, как бы много она ни ставила. Что касается девочки, то ей едва ли было три года, и он ее никогда ранее не видал. Девочка, опередив няньку, решительно пошла навстречу Детрею и, охватив его ноги, сказала тоненьким, убедительным голосом: «Дядя, пойдем к нам».

Все остальные его встречи были развлечением или обязанностью.

Решив провести ночь в городе, Детрей, однако, спать еще не хотел. К его услугам всегда был диван одной из полковых канцелярий; он поехал туда, убедившись, что его место не занято никаким странником, и, потолковав с дежурным о новостях завтрашнего приказа, отправился в дивизионный клуб. Недавно все полу-

чили жалованье, а потому народу было много в баре и в карточной. Детрею было приятно ходить среди охмелевших групп со своим особенным настроением, о котором никто не знает. Он встретил знакомых, между ними — бывшего сослуживца Тирнаура, и сел с ним за отдельный стол.

— Итак, вы еще не женились,— сказал Тирнаур, плотный человек с веселыми, соглашающимися глазами, смотря на руки Детрея.

— Нет, как и вы...

— Я был близок,— ответил Тирнаур,— не знаю, жалею я или нет, что дело расстроилось.

— Самые эти слова ваши подозрительны,— сказал, подходя к нему, худой, белокурый офицер в пенсне.— Я вас встречал,— обратился он к Детрею,— в суде, вы были свидетелем.

— О, да,— сказал Детрей, вспомнив имя офицера.— Садитесь за наш стол, Безант.

— Вчера я дал слово больше никогда не играть,— сообщил Безант, усаживаясь,— но сегодня я как-то забыл об этом. А мои партнеры не знали, и, черт меня побери, если я еще когда-нибудь буду прикупать к пиковому тузу!

— Я слышал, что Джонни Рокерт прикупал не с бóльшим успехом,— сказал Тирнаур.

— Гораздо успешнее. Его выручила жена, сказав по телефону, что в доме пожар.

— Но в следующий раз она должна будет вызвать землетрясение?

— Она сделает больше, чего нельзя сказать об Анне Сульфид, которая проигрывает все жалованье своего мужа.

— Все в своем роде хороши. Но что же мы будем пить?

— Я приказал подать бутылку рома,— сообщил Детрей.

— Вы оптимист,— сказал Тирнаур,— я не так самонадеян и ограничусь шампанским.

— Дайте виски и соды,— обратился к слуге Безант, а затем окликнул молодого артиллериста, который, засунув руки в карманы, проходил мимо с сосредоточенным видом:

— Не хотите ли посидеть с нами, Леклей?

— Хочу,— сказал артиллерист и уселся.

Все эти люди были знакомы друг с другом; Леклей пожал руку Детрея и был откомендован ему Безантом как лучший стрелок по голубиным садкам. После того все принялись пить.

— Покончим с этим и составим партию в винт,— предложил Тирнаур.

— Я согласен,— сказал Детрей.

— Не лучше ли поставить в баккара? — спросил Безант.— Слышите, какой шум!

— Там мечет фон Вирт,— сообщил Леклей вскользь и со значением.

— А! — сказал Безант, и все умолкли.

— Детрей, расскажите о Медалуте,— обратился Тирнаур.— Ему предсказывали, по крайней мере, дивизию. О нем не слышно теперь.

— Медалут застрелился,— сказал Детрей.

— Не может быть! — вскричали слушатели.

Детрей продолжал:

— Медалут был послан в Гель-Гью ревизовать оружейные мастерские и среди хлама нашел старинный пистолет. Он обратил внимание, что не может разглядеть травку фамилии мастера. Через месяц он был вынужден обратиться к врачам, и ему предсказали, что он может ослепнуть. Некоторое время он курил опиум; потом зарядил пистолет пулей и покончил с собой.

— Однако! — сказал Безант.

Дым четырех сигар застлал лица беседующих.

— Я знал его,— проговорил Тирнаур.— Ему всегда что-то мешало жить, хотя он участвовал в шести экспедициях и не был ни разу ранен. Как твои малютки, Леклей?

— Как всегда; и, как всегда, ждут.

— Вот мысль,— сказал Безант,— дело идет, я вижу, о Розите и Мерседес. Я страшно давно не был в их доме.

— Что скажете вы, Детрей, так проницательно улыбнувшийся? — спросил Тирнаур.

— Лучше я буду с вами, чем мне вступать в тщетную борьбу с пружинами клеенчатого дивана,— сказал Детрей.— Я живу в Ламмерике и пристроился на эту ночь в канцелярии.



— В таком случае устроим сбор,— предложил, воодушевляясь, Безант.— Хотя я и прикупал к пиковому тузу, однако начну первым.

Он положил на тарелку золотую монету; все остальные сделали то же самое. Слуге было наказано уложить в корзину сыр, фрукты, консервы, конфеты и двенадцать бутылок; затем все это слуга снес в автомобиль Безанта, и компания отправилась на шоссе, среди садов которого находился дом с обещанными Леклеем Розитой и Мерседес. Когда Детрей усаживался, ему что-то мешало отдаться беспечной болтовне, как если бы он ехал прямо от Евы Страттон. Но автомобиль выругался, и ощущение помехи исчезло.

Проехав мимо кавалерийских казарм, автомобиль кинулся влево, на глухие огни окраины, и, резко вертя руль на поворотах, Безант доставил компанию к началу шоссе, где стоял скрытый деревьями одноэтажный кирпичный дом, погруженный во тьму.

Машина остановилась, и, как только ее шум затих, путешественники увидели, что по щелям веранды пересекались линии света.

— Они еще не спят,— сказал Безант, входя на веранду.

Окно открылось, и в нем показалась полуодетая женщина; прикрывшись веером, она крикнула:

— Уже неделя, как мы питаемся только одной яичницей!

— Неужели? — сказал Тирнаур.

— Ах, это вы, Тирнаур! Розита дома. Розита, неужели ты спишь?

— Пусть они подождут, пока я оденусь! — донесся из глубины женский голос.

Леклей с Детреем внесли корзину и поставили посредине веранды.

— Корзина! — вскричала невидимая Розита, которая сама отлично видела все.— Тут что-то есть!

— Да, это не яичница,— сказал Тирнаур.

— Тирнаур — хороший! Тирнаур — ангел! — закричали женщины, и окно опустело, а офицеры уселись на перилах и стульях, прислушиваясь к суете за окном, которая скоро кончилась; Розита открыла дверь и впустила гостей.

Розита и Мерседес были цирковые наездницы, которые отстали от труппы благодаря неверному покровительству одного местного богача, зажились и разленились. Мерседес, двадцати шести лет, выше среднего роста, была раздражительна, смугла и черноволоса; Розита, в противовес ей, сметливая и покладистая, имела рыжие волосы и скромное лицо с толстыми губами, выдающимися африканского предка. Они вышли к гостям в приличных муслиновых платьях; на Розите было розовое, на Мерседес — голубое.

— Что же, вы нас будете угощать яичницей? — спросил Леклей.

— Не хотите же вы, чтобы мы сами стряпали! — ответила Мерседес. — Наша прислуга Салли ушла на всю ночь, а другой прислуги мы не имеем. Съедем, что привезено.

Они расправили скатерть, на которой валялись карты, и погрузили руки в корзину, а Детрей сел в стороне, осматриваясь. Хотя его уже познакомили с хозяйками, они еще не признавали его заслуживающим внимания, так как не он был главным лицом. Тон давали Тирнаур и Леклей.

Поэтому Детрей сел, осматривая большое помещение, служившее одновременно гостиной и столовой; в углу шел проход ко второй комнате, где стояли кровати, а третья, справа от веранды, была пуста и лишена мебели. В углу помещалось пианино; два кресла у туалетного стола, заваленного банками и альбомами; по стенам были прибиты веера и куски тканей; несколько вешеров валялись на ковровом диване. За спиной Детрея белый с розовым какаду перевернулся в кольцо и, проскрипев клювом, сказал с заученным выражением: «Алло, старый дурак!»

Стараясь не обращать на себя внимания, Детрей воспользовался тем, что Мерседес отправилась с Безантом ставить автомобиль, для чего следовало открыть ворота, иначе мошенники могли увести машину, а Тирнаур и Леклей передавали Розите бутылки, и вышел через пустую комнату на двор к кухне. Она оказалась не запертой. Детрей усмехнулся, открыл дверь и разыскал свечу, которую тотчас зажег. В углу кухни стоял ящик, набитый соломой и яйцами, так что Мерседес была без-

условно права. Кучи яичной скорлупы валялись вдоль стен, привлекая рои мух.

Индивидуальная вылазка Детрея объяснялась тем, что он страшно проголодался, кроме того, он хотел сделать сюрприз компании, подав пламенную яичницу, кроме сыра и ветчины, по существу скучных. Разыскав связку лука, Детрей очистил две луковицы, искрошил, перемешал на большой сковороде с солью, полил мессиво сливочным маслом из плетеной бутылки, разбил десятка два яиц; после того он зажег патентованную спиртовку и поставил сковородку на венок синих огней. Вся процедура заняла не более десяти минут; уже яичница шипела и пузырилась, как за спиной Детрея раздались глубокомысленные слова: «Главное, чтобы не подгорела». Он обернулся, увидев Безанта, Тирнаура, Леклея, Розиту и Мерседес; все они почтительно выстроившись, наблюдали стряпню.

— Смотрите не передержите, — сказал Тирнаур. — По всем справочникам яичница не должна жариться более четырех минут.

— Да, без лука, — возразил Детрей.

— Ах, она с луком! — сказал Безант, — в таком случае можете мне не ставить прибор.

— Боже мой! Опять нас на ту же диету! — вскричала Розита, — но вы, в наказание, съедите ее сами всю!

— Ну, я ему помогу, — сказала Мерседес.

— И я! — воскликнул Леклей. — Я тоже хочу яичницы!

— Пустите, теперь мы достряпаем, — заявила Розита и оттеснила Детрея.

Наконец, сковорода была перенесена в комнату, и кушанье разошлось по тарелкам, причем женщины ежеминутно вскакивали, спохватываясь о вещах, которые, по безалаберности их жизни, находились в разных углах; с трудом разыскали ложки и ножи. Однако механический штопор лежал на видном месте, и Леклей открыл все бутылки; вино ударило в головы, и попойка, а с ней разноголосая болтовня прочно утвердились в тихом доме на безлюдном шоссе. Но Детрей, хотя он и делал усилия попасть в тон, не был ни пьян, ни свой здесь; никто не знал этого; он это чувствовал сам.

Сыграв на мандолине две арии, Детрей встал с дивана и перешел в кресло; на столике перед ним лежал

тяжелый альбом. Едва он раскрыл его, как Мерседес, внимание которой к этому человеку внезапно усилилось, подошла и, став у его плеча, сзади, добродушно сказала:

— Какой грустный! Устал от яичницы! Что же, вы не прочь поухаживать?

— Поухаживать... За кем? — рассеянно ответил Детрей.

Она стояла совсем близко, так что его плечу стало тепло. Однако ощущение таинственного подарка не покидало Детрея, и он был снова такой, каким вышел от Евы Страттон.

— Ну, разумеется, если я говорю с вами...

Мерседес не договорила и отодвинулась.

— Тирнаур весь вечер вспоминал вас, — сказал Детрей и перевернул страницу альбома.

— Вот это я, с обручем, — сообщила Мерседес, раздраженно дыша, от чего ее слова стали отрывисты. — Это же я, с лошадью. Там — Розита. Она же в пантомиме «Щуки и караси». Хотите вина? Нет?! Ну, вас не поймешь.

Мерседес ушла, размахивая веером, как мечом. Детрей оглянулся и увидел, что она, подбоченясь, наливает себе полный стакан; в это время Розита, сидя между Безантом и Леклеем, заставляла угадать, в какой руке у нее орех.

Детрей, несколько смущенный, присоединился к обществу. Взглянув на него пустыми глазами, Мерседес выпила еще один стакан и с силой выдернула бутылку из рук Тирнаура, который хотел помешать ей налить третий. Впрочем, бутылка была почти пуста, и она бросила ее через плечо. Попугай крикнул: «Выпьем, черт побори!» — и разразился хохотом.

— Теперь она будет скандалить, — шепнул Тирнаур Детрею, — увы, постоянная история.

Мерседес была бледна и молчала. Все посмотрели на нее. Вдруг она сорвала скатерть со стола так быстро и ловко, что гости едва успели вскочить, — и все бутылки, стаканы, сковорода, — весь ералаш пьяного угощения с грохотом слетел на пол.

— Напилась-таки? — злобно сказала Розита, стирая с платья брызги вина. — У! Я тебя ненавижу!

— Пусть он уйдет! Пусть уйдет! — взвизгивала Мерседес, вырываясь из сдерживающих объятий Тирнаура. — Как он смел распоряжаться на кухне?! Он подлец! Зачем его привели? Пусть убирается ко всем чертям или я сию минуту зарежусь!

— Да, надо уходить, — сказал Безанту Детрей. — Когда я уйду, она успокоится.

— Что-нибудь произошло между вами? — осведомился Леклей.

— Решительно ничего!

Между тем скандалистку уговорили выйти в соседнюю комнату. Уходя, Детрей, заглянул туда и увидел, что Мерседес, мрачно всхлипывая, курит, сидя на стуле рядом с Розитой, которая ее уговаривала и утешала. По-видимому, мир был уже недалек.

— Убрался этот? — сказала Мерседес подруге.

— Уже ушел, — сказала Розита. — Напудрись и иди туда. Ведь просто смешно!

— У-у, негодяй, — прошипела Мерседес, стуча кулаком по колену

Детрей поморщился и, распростившись с приятелями, вышел на шоссе. Немного светало; когда через полчаса он явился к канцелярии, где хотел ночевать, наступило утро. Сев на свою лошадь, Детрей поскакал в Ламмерик. Чувствуя, что сегодня работать не способен, он, приехав домой, опустил шторы, разделся и моментально уснул.

## ГЛАВА XII

Природа обычно ставит противовес безобразию человека в самих чувствах его; если хотя что-нибудь хорошо у обойденного привлекательностью, — глаза, ноги, волосы или голос, ему часто довольно и этого утешения. Иные награждены беспечностью или же доброй и умом. Наконец, самообольщение, внушение себе обладания качествами иного порядка: талантом, тонкостью, оригинальностью, способностью вызывать безотчетную симпатию. Безобразие уступает, сглаживается, если такие качества существуют действительно; если же их нет, не редкость встретить грустное снисхождение к слепоте и грубости окружающих.

Этот более чем сложный вопрос решается привычкой, самомнением и благородством, безотносительно к результатам решения. Исключения трагичны и редки; такое исключение составляла Моргиана Тренган, знавшая себя без иллюзий, с точным пониманием, чем стала бы ее жизнь, будь она нормальной молодой женщиной, и с сознанием телесной тюрьмы, которая так же изуродовала ее, как это бывает со страстным и злым узником, посаженным на всю жизнь.

Моргиана выехала в «Зеленую флейту» с решением не возвращаться до окончательного ухудшения здоровья Джесси. Неизбежность провести несколько последних дней возле постели отравленной сестры мало страшила ее в том смысле, что она могла бы выдать себя или навлечь подозрение. Никто не ожидал от нее ни рыданий, ни бурного горя, и, при странностях ее характера, такие естественные чувства могли бы вызвать недоумение. Сдержанность и печаль — вот была вся ее несложная роль, тем более, что отравление сделало для нее Джесси чужой. Давно уже Джесси была не сестра ей, а боль в образе молодой, красивой девушки. Она думала теперь о Джесси, как о прошедшей боли. Моргиана много раз убивала и хоронила ее. Действительность не была разительней ее страшных грез, — была она проста и черна, как проколовшая бумагу точка, поставленная в конце письма, полного ненависти. Что ненависть и любовь сродни, — неверное мнение; его единственная ценность в том, что оно заставляет думать. Любовь есть любовь.

Моргиана была оглушена и спокойна. Постепенно ее дыхание стало глубже, движения увереннее; у нее не было полного сознания происшедшего, и она не добивалась его. Устав от волнений, она начала думать о недалеком богатстве, так как после смерти сестры ей предстояло получить такую сумму, с которой легки всякие перемены. Уже обдумала она, как поступить, если ее замучит раскаяние; на этот случай она решила обратиться к гипнотизеру и, не жалея денег, заставить себя забыть. Перспектива денег оживила ее; хотя не это она имела в виду, подготавливая смерть Джесси, но богатство, естественно, вытекало из преступления. Она могла уехать в другую часть света, внимательно изучить общество мужчин и заставить одного из них сносить ее

безобразии. Остановясь на мелькании этого тайного острия души, она подумала, что есть смысл купить безвольного, красивого человека и, снисходительно разглаживая его усы, прислушиваться, как будет он лгать ей тоном, голосом, словами и всем своим существом, постепенно сам уродуясь внутри себя по ее образу. Моргиана повеселела немного, развивая подробности; потом сникла, настроение ее упало, и она занялась рассмотрением окрестностей.

Наступила реакция. С угрюмой и бесплодной иронией Моргиана наблюдала смену пейзажей. Упадок вызвал физически тревожное состояние, и, смешивая его с тревогой душевной, она стала искать поводов для нее. Отразив всю подозрительность, свойственную преступнику, она припомнила, как влила яд, сцену с Джесси, лицо прислуги, и как ни старалась заметить опасность, ее не было, — ни в ее словах, ни в движениях; единственно — переставший пениться стакан мог бы заставить Джесси впоследствии задуматься над странным утренним визитом сестры. Но разрешение этого обстоятельства имело характер психологический; по ее мнению, в худшем случае, Джесси могла лишь подозревать и молчать.

Дорога шла обширными поворотами, среди скал и лесистых обрывов по отлогому скату. На исходе часа пути открылась «Зеленая флейта» — ветреное, дикое место среди обступившего вокруг леса. Он простирался от обрыва до береговых скал. Наконец, автомобиль остановился перед старыми каменными воротами с железной решеткой. Оставив слуг убирать багаж, Моргиана прошла в дом, переделась и позвала Гобсона. В разговоре с ним она не выказала на этот раз ни подозрительности, ни придирок; молча просмотрела расходную ведомость, счета, выдала деньги и приказала каждую неделю докладывать об истраченном.

Уже было все переговорено, настало молчание, и управляющий собирал бумаги, чтобы уйти, но Моргиана мучительно, торопливо придумывала, о чем начать говорить снова, чтобы избежать пустоты. Эта пустота в ней, наступающая всегда внезапно, пугала и томила ее. Тогда она стала задавать вопросы. Гобсон, человек сорока лет с полным, печальным лицом и затрудненным выражением старых глаз, предложил снести каменный сарай, закрывающий от солнца часть сада со стороны

двора. Моргiana оживилась, но управляющий скоро стал не рад, что заговорил о сарае: Моргiana начала бесконечно вычислять расходы и утомила его ненужными рассуждениями.

Едва он ушел, как снова образовалась в ней пустота, подобная пустоте замочной скважины, в которую видно запертое, брошенное жилье. Отказавшись есть, она выпила чаю и стала ходить по комнатам, тщательно осматривая каждую комнату, чтобы найти повод к неудовольствию. Однако перед ее приездом прислуга употребила все меры, чтобы избежать замечаний. Тщательно выколоченные ковры, блестящая медь дверных ручек и каминных решеток, цветы в столовой и спальне,— все вещи начали жить, ожидая ее внимания. Моргiana никогда не могла забыть Хариту Мальком; память о ней терзала и стесняла ее. «То было,— сказала Моргiana,— Харита Мальком вернулась, но в другом образе. У каждой Хариты сто лиц, и я — только одно из них».

Это сравнение, мучительное как позор, так возбудило ее, что вся кровь хлынула в ее мозг. Моргiana прислонилась к роялю и закрыла глаза. Настала такая ясность, такая безупречная чистота и полнота мыслей о ненависти и нежности, что стало слышно, как стоят вокруг нее вещи. Маятник часов, отмечая тишину, толкал время точными и звонкими касаниями. Его речь напоминала ровное падение капель на тугую струну. Моргiana прислушалась и почувствовала, что в изнемогающей тишине ее мыслей подкрадывается воспоминание. Еще не зная, что это такое, она уяснила его природу и поспешила уйти, чтобы оно замялось движением. Но это сопротивление мгновенно и точно очертило просвет памяти. Вздохнув, она остановилась на нем с испугом и отвращением. Это было воспоминанием о падении капель яда в стакан с водой. Она снова почувствовала в правой руке напряжение страха, с каким, трепеща и торопясь, влила яд. Ей представилось, что прозрачная вода была живым существом и что яд ранил ее насмерть. Острая жалость охватила ее, но то была не жалость к сестре. С содроганием видела она свою руку, согнутую, как клюв, безмолвное мельканье капель,— побледнела и встrepенулась.



«Не отсюда ли явится опасность?» — подумала Моргана.

Ее мысли приняли странное направление, и прежде всего она решила, что никогда не будет пить из стакана. Затем она поспешно поднялась в спальню, вынула из баула флакон с ядом и стала придумывать, как уничтожить его бесследно. Нигде в доме она не могла спрятать флакон без болезненного опасения, что он обнаружится, как бы хорошо ни скрыла концы, и хотя могла бояться лишь собственного признания, воспаленное воображение ее изобретало такие случайности, которые существуют лишь как исключение поразительное.

Пока она размышляла, наступило время обеда; заперев флакон в ящик стола, Моргана перешла в столовую, где заставила себя несколько съесть и выпить кофе, продолжая видеть флакон. После обеда она вышла через террасу и садовую дверь в лес, к узкой скалистой трещине. Она побоялась бросить флакон в трещину, чтобы не думать потом неотвязно о его тайном существовании, но взяла камень и, вылив яд на траву, тщательно раздробила флакон, затем разбросала осколки как можно дальше, даже сбросила вниз камень, на котором дробила стекло, и, успокоенная, села отдохнуть под деревом. На нее напал сон; она склонилась к земле и проспала два часа, а проснувшись, некоторое время не могла понять — где она и что с ней произошло. Припомнив, она встала и поспешила домой.

Пока она шла, наступил вечер. Небо стояло в облаках, ветер затих; молчаливый лес таил уже очаги тьмы. Пройдя ворота, Моргана увидела на ступенях флигеля семейство Гобсона: его дородную, насупленную жену, двух мальчиков, игравших на нижней ступеньке, и самого Гобсона, поспешно вставшего, едва заметил хозяйку. Поднялась также его жена, шлепнув своих сыновей, чтобы перестали визжать; по неловким движениям этих людей Моргана догадалась об их досаде служить старой деве со злым ртом, после прекрасной, доброй и вспыльчивой танцовщицы. Гобсоны хором пожелали Моргане доброго вечера. Решив переменить всю прислугу, Моргана остановилась, пристально осмотрела всех этих, кивнула и прошла в подъезд. Позвав Нетти, горничную, Моргана поужинала, а к десяти часам велела подать чай.

С тех пор как из золотого гнезда выпорхнула Харита Мальком, ничто не было тронут в обстановке ее спальни и будуара, по приказанию Тренгана. Он сам не входил в эти комнаты, боясь мучений и апоплексии; Моргiana не входила из ненависти. Вещи Мальком — шесть сундуков — находились в бывшей ее спальне. Ключи от сундуков, как и все ключи дома, были у Моргiana. По завещанию дом и движимое имущество принадлежали ей, но замысел и решение вскрыть сундуки явились у нее только теперь, когда она совершила большее. Она хотела видеть красивые вещи красивой женщины, чтобы испытать боль, злобу и ненависть. Кроме того, она желала почувствовать себя хозяйкой вполне — над всем чужим, ставшим своим.

Открыв дверь верхней угловой комнаты, Моргiana зажгла свечи на туалетном столе и сумрачно осмотрелась.

Туалет был роскошным. Хрустальные, золотые, серебряные и фарфоровые вещи отражались в зеркалах. Моргiana стояла сбоку зеркала, чтобы не видеть себя. Видны были только линия согнутого плеча и тяжело висящая рука. У правой стены, на возвышении с двумя ступенями, по которым свешивались лапы и головы тигровых шкур, маленькая нога, сонно устремляющаяся с кровати, попадала в щекочущую теплоту меха. Белое атласное одеяло, драгоценные кружева, пух, серебряная кровать, газовый балдахин, затканый серебряными цветами, выражали обожание женщины и ее капризов. Огромные зеркала с золотыми рамами из фигур фавнов и вакханок были как золотые венки вокруг входов в блестящие отражения. Шелковая обивка стен изображала гирлянды роз, рассеянных в белом тумане затейливого узора.

В разных местах, не загромождая середину комнаты, стояли высокие дорожные сундуки.

Моргiana придвинула к одному из сундуков стул, уселась и подобрала ключ. От свечей было ярко у зеркала, но полутемно в углах, и Моргiana поставила их у сундука. Откинув крышку, она увидела, что сундук плотно набит; наверху лежал кусок светлого шелка, прикрывавший белье.

При виде этих вещей, накупленных с неистовой щедростью, покинутых с ненавистью, затем вновь собранных аккуратно чьей-то равнодушной рукой, Моргiana

затосковала и восхитилась; ее руки стали холодными; беспокойно и тяжело билось сердце. Нервно дыша, начала она вынимать и складывать на полу вещи, одержимая страстью узнать до конца запрещенный мир. Вещей было так много, что они, утолщенные, спрессованные в сундуке, сами поднимались снизу, по мере того, как исчезала тяжесть верхней кладки. Это были бесчисленные слои тончайших белых материй с лентами, с разлетающимися при движении кружевами, легкими, как дым. Роскошное, грациозно бесстыдное белье скользило в руках Моргинаны; в огромном сундуке, где рылась она, стоял снежно-белый хаос. Вокруг нее, на ее коленях, на откинутой крышке белели ворохи изысканных, ослепительных свидетелей сна и любви.

Взяв одну рубашку, Моргинана сжала ее в руке, почти не испытав сопротивления, и, еще крепче сжав, выронила на ковер, упал как бы смятый батистовый платок. С удивлением смотрела она на крошечный комочек. Сущность, практическое значение этого драгоценного белья стояли на втором плане в сравнении с его качеством и ценой; то были скорее драгоценные украшения, чем вещи первой — и хотя бы третьей — необходимости. Очарование действовало как напев. С пересохшим горлом, стоя уже на коленях перед сундуком, Моргинана не имела силы ни остановиться, ни перечислить себе. Наконец, сундук опустел. На его дне остались желтая лента и жемчужная пуговица.

Ноги Моргинаны онемели. Поднявшись, она некоторое время стояла, держась за край сундука. «Это мое», — сказала она, подбрасывая ногой белье Хариты Мальком и жадно присматриваясь к нему. Ей возразил внутренний голос, тяжелый, как удар кулаком в лицо, но она не возмутилась теперь. Песня красивого белья звучала в ее страшной душе; она улыбнулась и разрыдалась.

Как только припадок прошел, Моргинана вытерла глаза и подошла к следующему сундуку. Он был выше первого и длиннее, а внутри имел множество отделений. Разыскав ключ, она подняла тяжелую крышку, укрепила ее распоркой и сняла листы газетной бумаги, соединенной булавами. Более спокойно уже, чем было у первого сундука, она извлекла бальные платья, утренние и вечерние туалеты, балетные юбочки, сорти-де-баль, шел-

ковые трико, шарфы, боа и все разложила на стульях с аккуратностью горничной. Начав со злобы, она теперь прониклась уважением к миру, создавшему женщине существо с ее гардеробом. Голова ее была тупа, как после болезни; мысли поражены. Она никогда не держала в руках таких красивых, как бы влюбленных в себя вещей; их особый запах, в котором преобладал слабый запах духов, напоминал об огнях подъездов и балов. По размерам платьев она представила фигуру Мальком так точно, как будто видела сама ее небольшое тело, подвижное и гибкое. Она очнулась у третьего сундука, с раскрытым футляром в руках: из его атласного гнезда свешивался крупный жемчуг. На ее коленях лежали сверкающие браслеты.

«Итак, даже не пересмотреть всего,— сказала Моргиана, силой утомления возвращаясь к своему обычному состоянию.— Так любят женщину, если она красива и привлекательна. Зачем я мучаю себя, рассматривая все это? Кто скажет мне: Харита Мальком?»

Она резко подошла к зеркалу. В нарядном стекле мелькнули ее уродливые черты. Все впечатления, вынесенные из разгрома вещей Хариты Мальком, отравили ее больной мозг и поддерживали его в эту минуту странным явлением. Велик был отпор ее отчаяния своему образу... Она увидела, как переменялось все в зеркале; не отражение изменилось, мрачный образ пропал, и, закутанная в газ и цветы, с бриллиантовой диадемой в темных волосах, взглянула из зеркала на нее женщина с бледным и прелестным лицом. Ее глаза сияли, по-детски пренебрежительно улыбалась она...

Стук в дверь оборвал то, что хотела сказать сама себе Моргиана. Она подошла к двери и открыла ее. Нетти вошла, но отступила за дверь, растерянно смотря на свою госпожу. Голова Моргианы тряслась, на ее руке висела ненатянутая до конца лайковая перчатка.

— Чай подан,— сказала девушка.

— Чай? — спросила Моргиана, не понимая.

— Да, чай, как вы приказали. Теперь десять часов.

— Разве это так важно, чай?! — сказала Моргиана, улыбаясь и хмурясь.— Есть вещи важнее чая, Нетти. Но я иду. Я буду пить чай.

## ГЛАВА XIII

Не получив на второй день жизни в «Зеленой флейте» роковых известий о Джесси, Моргиана успокоилась и поверила в свое дело, а на третий день проснулась в мучительном настроении. Она видела зловещие сны. После завтрака Моргиана позвала Нетти и сказала ей:

— Я забыла некоторые вещи; они мне нужны, а потому передайте шоферу, чтобы он поехал с моей запиской в наш городской дом и привез все, что тут обозначено.

Ее истинной целью было разведать о положении Джесси: если она заболела, то шофер, наверное, узнал бы о том из разговоров с прислужгой. Между тем Нетти, сложив в карман записку, медлила уходить; на вопрос Моргианы — не нужно ли ей чего-нибудь — горничная сказала:

— Извините, барышня, я хочу все спросить: ваша сестра тоже придет сюда?

— Нет, она здесь жить не будет, — ответила Моргиана с раздражением, — но почему вы об этом беспокоитесь?

— Я ничего... Ваша сестрица такая приветливая, и мы думали... Однажды она была с вами, и все мы долго вспоминали после, как она сидела на крыше и нам приказала молчать; а вы ее искали в саду.

— Мне очень приятно, что вы так привязаны к Джесси; но мне также очень жаль, что она жить здесь не будет. Итак, пусть шофер выезжает немедленно.

Нетти поклонилась и ушла, а Моргиана начала приводить в исполнение план, который представился ей вчера, во время рассматривания вещей Хариты Мальком. В ее сундуках брошено было белья, платьев и драгоценностей на десятки тысяч; обратив это имущество в деньги, она могла в случае опасного поворота дела бежать немедленно, не завися от денег Джесси; их она тогда не смогла бы получить без риска очутиться в тюрьме. Моргиана поднялась в комнату с сундуками; там она выбрала из трех сундуков все наиболее ценное и, взяв лист бумаги, стала составлять опись. Вчера видела она только прихоть и блеск; сегодня каждая вещь с приблизительной точностью указывала ей свою цену.

Прежде всего она отложила четыре ожерелья: брил-

лиантовое, изумрудное, жемчужное и рубиновое. Затем следовали двадцать три кольца, более всего бриллиантовых, но были среди них также сапфиры, александриты, лунный камень, турмалины и гиацинты. Браслеты с крупными жемчугами, восемь брошей редкой и драгоценной работы, бриллиантовые эгреты, старинные веера кружев антикварной редкости, а также с рисунками Гамона и Куанье стояли не менее бриллиантов. Последним предметом этого роскошного инвентаря оказалась оторванная страница листа почтовой бумаги, на которой сверху сохранился перенос — одно слово: «устала».

Столбец цифр, составленный Моргьяной, не понимавшей, почему капризная женщина бросила так легко подарки Тренгана, указывал столь значительную сумму, что Моргьяна наполовину сократила ее, думая, что преувеличила стоимость драгоценных вещей. Однако даже в таком виде итог указывал восемь тысяч фунтов, и она была так приятно огушена своей сметой, что не могла больше быть в комнате. Между тем остальные вещи Мальком, даже проданные за треть стоимости, представляли тоже значительную сумму. Она решила не говорить никому о своих открытиях и, желая обдумать, как выгоднее скорее продать все, заперла драгоценности в один из сундуков, а затем отправилась на прогулку.

За домом простиралась густая трава, доходившая до рожи из старых деревьев, отделенных от остального леса извилистым склоном. Так как день был жаркий, Моргьяна спустилась в ложбину и направилась по тропе, к озеру, лежавшему ниже «Зеленой флейты». Там собиралась она выкупаться и посидеть в тени листвы; медленно шагая, Моргьяна пришла, наконец, к решению продать часть вещей в городе, а потом вызвать ювелиров в «Зеленую флейту», чтобы распродать все остальное без помехи и лишних толков. По обстоятельствам дела никак нельзя было судить, знал Тренган о выказанном Харитой презрении к его любящей расточительности или не знал. Было достоверно известно, что после ее ухода он не заглядывал ни в сундуки, ни в комнату; он сразу захворал и вскоре скончался. Может быть, Харита писала ему; у нее была своя прислуга, уехавшая вместе с ней; единственно она могла так деловито все упаковать в сундуки; потому что прислуга Моргьяны не знала ни что в сундуках, ни даже сколько сундуков;

Моргiana взяла ключи немедленно после оглашения завещания и не расставалась с ними. Так или иначе, продавать брошенное Харитой нельзя было совершенно открыто, чтобы путем сплетен и пересудов, после кончины Джесси, не создалось какое-нибудь особое мнение.

На этом Моргiana успокоилась и, чтобы сократить путь, повернула на тропу, пересекавшую часть леса. Вскоре она услышала женские голоса. Листья мешали видеть; слышались голоса, очень уверенные, с безмятежным и ленивым оттенком, — голоса девушек, спорящих, зовущих и восклицających более по потребности издавать звуки, чем в силу других причин. Моргiana оставилась с неприятным чувством: она не хотела возвращаться, но не была уверена, что, следуя этой тропой, минует веселую компанию; свернуть в сторону также не представлялось возможным, потому что она рисковала разорвать в чаще свой летний костюм. К женщинам, смеявшимся неподалеку от нее, она чувствовала презрение и гадливость, какую, может быть, испытывает кабан при виде козы. Рассеянно пройдя еще немного вперед, Моргiana вдруг заметила девушек. Поворачивать было поздно, так как они тоже ее увидели.

В нескольких шагах от Моргiany пролегла между двух огромных камней длинная щель, по которой шла тропа, и здесь, в тени камней, расположились отдохнуть девять девушек из поселка, лежавшего неподалеку от «Зеленой флейты». Они шли купаться и удить рыбу. Моргiana увидела коллекцию босых ног, которые мгновенно подобрались с тропы и упрятались в юбки, едва показалась она, мельком осмотревшая всех и мстительно занывшая при виде этих черноволосых и белокурых созданий с бессмысленными от жары, свежими, загоревшими лицами, сидящих и возлежащих с беспечным изяществом молодости. Между тем, видя, что она не решается проходить, девушки, вдруг умолкнув, вскочили и стали по сторонам щели; крепко сжав губы, чтобы не расхохотаться, исподтишка толкая друг друга, стояли они так, смотря прямо перед собой с неудержимой искрой в глазах.

Шалея от злобы, Моргiana прошла сквозь этот цветущий строй и ускорила шаг, чтобы скорее скрыться за поворотом. Едва она миновала камни, как сзади нее раздался взрыв хохота, разлетевшийся по лесу. Моргiana

остановилась; ее сердце стукнуло больно и тяжело; она медленно вздохнула и произнесла: «Хорошо».

«Хорошо,— повторила она, когда туман гнева рассеялся, но таким тоном, от которого задумался бы даже человек с крепкими нервами.— Во всяком случае одной из вас, стройных, веселых, уже нет. Она есть пока, но все равно что ее более нет. Посмотрим, не выйдет ли еще что-нибудь и где-нибудь с подобными вам. Не важно, что это будете не вы сами; будут такие же. Вам хорошо и весело, не веселее ли будет мне?»

Обезумев от жестокости, она стала придумывать пытки, засады, казни и издевательства и применила их к тысячам. Теперь она могла убить без содроганий — толпу, целые города девушек. Дьявольские мечты овладели ею, и видения, одно страшнее другого, сменялись в ее ужасных фантазиях. Однако этот взрыв ярости постепенно улегся; тогда Моргiana увидела, что мстительное беспамятство завело ее далеко в лес. Заметив извиляющуюся прогалину, которая была удобна для ходьбы, как тропа, Моргiana пошла по ней и скоро увидела воду. Это был небольшой залив, отделенный от главной озерной площади выступающими в воду скалами. На том берегу слышались плеск и смех, но из-за скал не было никого видно. Вдруг, подойдя ближе, Моргiana увидела тонкую, высокую девушку, стоявшую по колена в воде, в тени отвесной скалы. Девушка была нагая; она, стоя спиной к Моргиане, закручивала свои черные волосы, собираясь обвить их вокруг головы.

При виде этой беззащитной фигуры Моргiana отошла за скалу и осмотрелась. Ее тянуло ударить хорошенького врага. Став невменяемой, Моргiana взяла из камышей острый камень и вскарабкалась по отлогой стороне скалы, где, среди впадин и глыб, нельзя было заметить ее с другого берега; она подползла к краю, взглянув вниз. Девушка уже укрепила волосы, а теперь стягивала вокруг головы синий платок. Будь Моргiana пумой, она могла бы скакнуть на плечи купальщицы. Она отдышалась, потрясла камнем и метнула его в голову девушки, сама тотчас припав к скале. Раздался отчаянный крик, потом громкий плач испуга и боли. Камень попал не в голову, а по спине, едва ниже шеи. Девушка бросилась плыть, призывая на помощь, а Моргiana спустилась со скалы и, задыхаясь, побежала в



лес, стараясь уйти как можно дальше от озера. Ей казалось, что за ней гонятся. Звук собственных шагов она принимала за преследование. Однако никто не гнался, и, дико улыбаясь, она остановилась у большого дерева, выглядывая из-за ствола. Злоба ее прошла; она была довольна и рассмеялась. «Все-таки я попала лучше, чем ты», — сказала Моргiana; к ней вернулось спокойствие; она сделала крюк и пришла домой почти одновременно с автомобилем, который только что вкатил во двор. Шофер передал ей пакет; Моргiana отдала его Нетти, чтобы она снесла в комнату, и спросила:

— Моя сестра не поручила вам передать что-нибудь?

— Я не видел барышню, — сказал шофер, — там говорят, что ей нездоровится и что она распорядилась отложить работы в доме.

— Если она не пишет, то нет, по-видимому, ничего серьезного, — заметила Моргiana. — Однако надо будет заехать, если известие подтвердится ее запиской. Как раз третьего дня она промочила ноги.

Зная теперь наверно, что яд подействовал, как нужно, она испытала великое облегчение. Настроенная спокойно и деловито, Моргiana провела день в хлопотах; приказала переменить занавески в гостиной; кое-где переставить мебель; сама проверила столовое и постельное белье, серебро; заглянула в кладовую, где, без особой нужды, под личным наблюдением ее, все ящики, банки и мешки были вытащены, осмотрены пол и стены и забиты наглухо мышинные щели. Окончив одно, Моргiana придумывала новое дело; если же не могла придумать так скоро, чтобы от одного занятия немедленно перейти к другому, ей становилось беспокойно, как от потери. Не видя, наконец, более, над чем присмотреть самой, она нашла неисправности в плите и приказала ее чинить; велела выбелить сарай, протереть стекла балконной двери, перенести картины с одной стены на другую и повесить их выше. Не чувствуя утомления, она сновала по дому, говоря быстро и раздражительно, не слушая возражений, спрашивая о множестве вещей сразу, уличая прислугу в противоречии и ошибках.

Когда пришло время обеда, Моргiana села за стол и, не отпуская Нетти, расспрашивала ее о разных хозяйственных мелочах. После обеда она хотела пойти с садовником в сад, чтобы посоветоваться, какие цветы вы-

брать и перенести на балкон, но тут вдруг подгонявшее ее движение прекратилось в ней: все теперь показалось ей тяжелым и скучным. Уже смерклось; Моргiana ушла из освещенных комнат в полутемную спальню, усе-лась в кресло и отдалась мыслям о погибающей Джес-си. Как ни обманывала она себя весь день, она думала только об этом — сознательно или бессознательно. Ее расстройство усиливалось; чем безопаснее выставял ей ум ее преступление, тем сильнее мучила ее мнитель-ность; как она ни боролась с ней, доказывая себе от-сутствие улик, — ей представлялось, что город полон слухов и подозрений. Быть может, шофер слышал уже от прислуги такие вещи, которым не смеет верить. Если так, то в «Зеленую флейту» тоже потянуло ветром до-гадок; эти пересуды будут ползти из дома в дом, от намека к намеку, и чем фантастичнее будут они, тем ближе подойдут к истине. Сама медница — так ли уж она бессильна установить отравление, хотя бы даже и таким ядом, действие которого развивается постепенно? Кроме того, Джесси видела, как Моргiana стояла у подноса. На какие мысли может набрести девушка, за-хворав болезнью неясной и сложной?

На нее напал страх, и она не могла более овладеть собой. Случай на озере резко восстал в ее мрачной па-мяти, представившись теперь событием более опасным, чем донос. Если подруги пострадавшей заметили издали хотя бы край синего рукава, мелькнувший из-за скалы, они объяснили бы ранение девушки единственно припад-ком бешенства у Моргiany, которую проводили тогда взрывом беспечного хохота. Возможно, что кто-нибудь видел даже всю эту сцену со стороны; ни в лесу, ни в четырех стенах нельзя быть совершенно спокойным, что нет свидетелей. Довольно Моргiane быть уличенной по делу купальщицы, как размышление приведет к постели ее сестры. Зная о себе все, она боялась, что то же самое знают о ней другие, и, чтобы отогнать страшные мысли, позвонила, приказав Нетти принести лампу. Как только горничная внесла лампу, неуловимое движение в лице Нетти настроило ее подозрительно.

— Что значит, что вы так посмотрели на меня? — сказала она строго.

— О, господи! — ответила Нетти, — простите меня, барышня, но только как я внесла свет, я увидела, что

вы очень бледны, и подумала, что вы, может быть, нездоровы.

— Ну, нет, я здорова,— возразила Моргiana с досадой,— а моя бледность объясняется тем, что мне слышался стук под окном, и я испугалась. Бывают ли в этих местностях кражи и нападения?

— Случались раньше, но долго не было ничего слышно такого,— до сегодня.

— Вот это неприятно! Где же и кого ограбили?

— Ограбления не было, барышня, но вот что произошло с одной девушкой из Манкарна,— знаете, деревня, которая ближе туда, к мысу? В Манкарне мы закупаем яйца, овощи и молочное. Девушку зовут Тилли Бальмет. Ее подруга, Дженни Мотэй, приходила ко мне недавно вернуть платье, которое я ей одолжила для танцев. Ну, так вот, Тилли купалась и отошла от подруг, и неизвестно кто бросил в нее сзади камнем, да так удачно, что рассек кожу и повредил шейный позвонок; доктор говорил, что ей, возможно, теперь будет трудно поворачивать голову.

— Какой ужас! — воскликнула Моргiana.— Кто же этот изверг, изувечивший девушку?

— Ничего неизвестно, барышня. Девуцы никого не видели на берегу.

— Низкое злодеяние,— повторила Моргiana.— Злодеяние гнусное и бесцельное, не так ли? Мне страшно жаль Тилли Бальмет. Вероятно, ей тяжело, особенно, если она красива.

— Красива!? О, что вы! Конечно, она не урод, но Дженни гораздо красивее ее. Они говорят, что видели вас, когда вы проходили той же тропой; так вот, если вы заметили,— та, которая повыше других, черная, в голубом платье,— это она и была, Тилли.

— Ну, разумеется, я не обратила внимания. Подайте мне ридикюль. Он лежит на столе.

Когда Нетти принесла ридикюль, Моргiana раскрыла его и вынула десять золотых монет.

— Передайте эти деньги Тилли Бальмет,— сказала Моргiana оторопевшей Нетти,— пусть несчастная утешит себя какой-нибудь нехитрой покупкой. Надеюсь, она не захочет получить новый удар в спину ради вторых десяти гиней, но если бы это случилось, я, конечно, дам ей с радостью, что могу.

— Бог благословит вас за доброту! — ответила женщина, принимая деньги.— Вот уж будет она рада!

— Может быть, а потому идите и сделайте, как вам сказано.

Нетти ушла, а Моргана, довольная своей хитростью, подумала: «Если эти дуры начали фантазировать на мой счет, то десять гиней никак им не согласовать с камнем в спину. Наверное, теперь они будут сокрушаться, что обошлись дерзко с доброй старой девой, щедрой и жалостливой».

Между тем никто не подозревал ее. После чая Моргана пересчитала остальные вещи Хариты Мальком, переписала их и решила утром отправиться в город, чтобы переговорить с ювелирами.

Эту ночь она проспала спокойно, но встала разбитая и мрачная, как после тяжелого путешествия. В то время как она собиралась и одевалась, к ней по утренней веселой дороге двигалась опасная гостья.

#### ГЛАВА XIV

Доктор Сурдрег очень внимательно осмотрел Джесси, но, при всей добросовестности исследования, не мог определенно назвать какую-нибудь болезнь. Он не был обескуражен, так как немало тяжких страданий, вполне ясных впоследствии, начали свою разрушительную работу среди разноречивых симптомов; увереннее всего он думал о малярии, скрытые формы которой очень разнообразны. Сурдрег запретил шум, утомление, назначил диету и прописал хину. Джесси жаловалась на слабость и жажду; Сурдрег посоветовал пить холодный кофе маленькими глотками. Ремонт прекратился; в доме наступила необыкновенная тишина; явилась сиделка, и Ева Страттон почти безотлучно находилась в доме, следя, чтобы своенравная девушка не повредила себе чем-нибудь таким, что запретил Сурдрег.

Между тем Ева перерыла все медицинские книги, какие могла достать, но принуждена была оставить это занятие, так как по книгам выходило, что у Джесси одновременно — рак, туберкулез костей, гнилокровие и бледная немочь. Джесси навещали знакомые, и мгновенно ее болезнь стала предметом разговоров в гостиных. Девушка не подозревала, что причиной этой болезни

сплетники считают неудачный «роман». А у нее не было никаких романов.

Так прошло трое суток, в течение которых Джесси иногда была нормально оживлена, после чего слабость неизменно усиливалась; наконец, утром четвертого дня она посоветовалась с Евой — не пора ли известить Моргину?

— Как хочешь, — сказала Ева. — Разумеется извести, если находишь необходимым.

— Да, я напишу ей, — сказала Джесси, подумав. — Я нахожу это необходимым. До сих пор у меня была надежда, что я чего-то объелась и все кончится само собой, а вот — мне хуже, и доктор Сурдрег больше не улыбается, с сомнением выслушивая меня. Если я расхворалась серьезно, Моргина обидится, что ей не дали знать.

Джесси лежала в угловой нижней комнате с малиновыми обоями. Отсюда через очень большие окна она могла смотреть в сад. У ее кровати был стол, на котором, среди цветов, книг, лекарств и письменных принадлежностей, только она могла найти, что ей нужно.

Написав записку, Джесси отправила ее со своим шофером в «Зеленую флейту», извещая сестру, что захворала, но просит не беспокоиться.

После этого Джесси почувствовала усталость и откинулась на подушки, закрыв глаза. Когда она снова открыла их, ее лицо было так серьезно, так полно недоумения и досады, что Ева спросила, не чувствует ли она болей.

— Нет, Ева, болей у меня нет, — вздохнула Джесси, — но, откровенно сказать, мне, правда, нехорошо. Этого не расскажешь. Теперь легче. Во мне какое-то не называемое мучение и тревога.

— Скажи, хочешь ли ты чего-нибудь?

— Ничего я не хочу. Все — все равно. Жизнь пахнет резинной.

Она приняла хину и запила ее горький вкус глотком холодного кофе.

— Будь добра, — сказала Джесси, подбирая колени и устраиваясь на подушках выше, причем рукава ее капота опустились, выказывая уже заметную худобу рук, — будь добра, дай мне какие-нибудь журналы.

— Если хочешь, я буду тебе читать.

Ева взяла с канapé пачку номеров иллюстрированного «Дом и жизнь», переложив их на край стола около Джесси.

— Я хочу рассматривать картинки,— сказала Джесси,— это не обременительно голове.

— Неужели ты можешь?

— Да. Я могу. Я люблю перелистывать.

Она занялась рассмотрением иллюстраций, а Ева поднялась уходить, потому что условилась со своим отцом съездить на выставку новых изобретений. Когда она прощалась, вошла сиделка и сообщила, что по телефону спрашивает Детрей: может ли он заехать.

— Ах, Детрей,— сказала Ева,— я скажу ему сама, что ты велишь, Джесси?

— Тогда скажи, пожалуйста, что я его жду к вечеру, когда будет не так жарко; вечером мне немного легче.

— Отлично. Конечно, его визит будет не долг, так что ты не устанешь.

— Почему ты так жестока к этому человеку?

— Иностранное тело, Джесси. Всякий офицер напоминает мне точку, поставленную самодовольной рукой.

— А ты напоминаешь мне запятую, со своими...

— Мерси. Но шляпу может найти любой прохожий.

— ...со своими глупостями,— договорила Джесси.— А также помни, что доктор запретил меня волновать.

— С этого бы ты и начала.

Ева повернулась идти, но Джесси поманила ее к себе и, быстро обняв, поцеловала в нос.

— Не сердись, Ева. Я виновата.

— На тебя, конечно, трудно сердиться; однако он ждет. Прощай и лежи спокойно. Я приеду не раньше трех; между тремя и четырьмя.

Затем Ева прошла к телефону и сказала:

— Здравствуйте, Детрей. Что хорошего? У телефона Ева Страттон.

Детрей очнулся от размышлений и ответил, что ничего нет ни хорошего, ни плохого, а затем осведомился о состоянии здоровья Джермены Тренган.

— С Джесси странное, и ей довольно плохо. Вы можете заехать; ей передано, и она будет рада вас видеть. От четырех до пяти; но я предупреждаю, что ей нельзя утомляться и есть конфеты.

— Я буду послушен.— Детрей кратко объяснил, что узнал о болезни девушки от Готориа, отца Евы, и прибавил: — Я заходил к вам час назад. Что же с вашей подружкой?

— С Джесси? Я думаю, на днях выяснится. Пожалуйста, не заразительное.

Детрей попрощался и отошел. Весьма довольная сухим тоном разговора, которым наказала Детрея за вспышку Джесси, Ева села в трамвай и отправилась на выставку, где ее ожидал Готорн. По специальному предрассудку, Ева редко пользовалась своими лошадьми и автомобилем.

Между тем, узнав, что девушка, пленившая его, заболела, Детрей вышел из кафе с беспокойством, сразу усилившим его внимание к Джесси, о которой он думал все эти дни то с беззаботным удовольствием, то с рассеянностью, помогавшей воображению видеть ее везде, где она не могла быть. Теперь она не выходила из его мыслей, причиняя ему ту, всем знакомую боль, с которой никто не согласится расстаться и которая, иногда без всякого основания, обещает так много, что к ней прислушиваются, как к оракулу. Было еще только одиннадцать часов. Чтобы убить время, Детрей завел свою лошадь в манеж, а сам отправился играть на бильярде в одну бильiardную, где довольно часто бывал.

Эта игра, требующая исключительного внимания, изобретательности и точности удара, была его любимой игрой; ничто иное не могло так отвлечь его от болезненного ожидания четырех часов, как предстоящее упражнение. Итак, он нашел лекарство, но, по раннему времени, в обширной бильiardной не было еще никого, кроме служащих и одного человека, довольно невзрачного вида, который играл сам с собой и как будто тоже хотел найти партнера, так как взглянул на Детрея с надеждой. Не колеблясь, Детрей спросил:

— Хотите играть со мной?

Одинокый игрок мельком взглянул на слугу, тотчас опустившего ресницы. Детрей не заметил этой сигнализации, означавшей, что предложение исходит от игрока, не представляющего опасности. Он натер кий мелом и сильным ударом битка раскатил плотный треугольник шаров по темно-зеленому сукну. В это время он думал:

«Ева сказала, что Джесси осенью, может быть, выйдет замуж, так что я должен сделать усилие над собой».

Между тем, партнер Детрея, человек с глупым профилем, сжатыми губами и быстрыми глазами, предложил ставкой два фунта, на что Детрей согласился. Мысль о Джесси, среди других свойств, обладала свойством обесценивать деньги. Но он понял, что игрок силен, и это было ему решительно все равно.

Игра началась.

Партнер был вежлив даже в движениях; аккуратен, осмотрителен и нетороплив, в то время как Детрей, ставя себе сложные и трудные задачи, терпел неуспех. В первой и второй партии ему не везло: шары, которыми он хотел сыграть, останавливались у луз или, обжевав борты, становились под удар противника. За это время Детрей пришел к заключению, что тоска о Джесси неизбежна для всякого, кто встретит ее, и поэтому лучше не думать о ней, так как не он один видел ее, а ее выбор сделан.

Заплатив проигрыш, он приступил к третьей партии более разумно, чем прежде: старательно прицеливаясь и избегая рискованных ударов с карамболями. Таким образом ему удалось наиграть сорок очков, в то время как его противник имел лишь тридцать девять. Видя успех Детрея, он развернул свое искусство полностью, и лейтенант убедился, что играет с артистом. Не прошло десяти минут, как у невзрачного человека было уже шестьдесят один, и сорок девять — у Детрея. Осталось два шара: семь и одиннадцать, так что противник начал гнаться за одиннадцатью, сыграв который, окончил бы партию. Одиннадцатый шар стал под углом к левой угловой лузе, биток же — у правого борта, так далеко и неудобно, что положить одиннадцатый шар явилось трудной задачей, а удар принадлежал Детрею.

Детрей нацелился, взмахнул кием и с силой пустил биток. В то краткое мгновение, когда шар подлетал к шару, ему показалось, что он ударил не точно, но одиннадцатый шар метнулся влево и исчез в лузе: биток, стукнув два раза о борты, покатился к шару «семь», который стоял плотно у короткого борта, и, задев его, стал так, что седьмой шар был опять плотно к борту, но у самой лузы, а биток от него — фута на полтора. Никаким дуплетом, ни даже от трех бортов, нельзя было по-



ложить седьмой шар; единственно — при уменьи и счастье — мог он упасть в ту же лузу, у которой стоял, но с карамболом. Тут Детрею, ободренному судьбой одиннадцатого шара, пришла мысль обострить игру, и он сказал:

— Остается один этот шар; выиграет партию тот, кто сыграет семерку. Хотите устроить ставку?

Уверенный в превосходстве своей игры, партнер согласился.

При обозначенном положении шаров из десяти раз один раз удар бывает удачен. Детрей ударил так сильно, что шары, стукнувшись два раза, разошлись, крутясь, как волчки, биток пополз прочь, а семерка, вращаясь по направлению к лузе, остановилась на самом ее краю, и оттого, что шар, хотя слабее, но все еще крутился, он покачнулся и упал в сетку.

— Случайность! — сказал, улыбаясь. Детрей неприятно пораженному противнику.

Таким образом, Детрей отыграл почти все деньги и продолжал играть, придя в своеобразное вдохновение, партию за партией, большей частью выигрывая, к удивлению слуг, которые лишь одни знали, что он играет с лучшим игроком города, Самуэлем Конторго. Они играли одиннадцатую партию. После очередного удара Конторго три двузначных шара встали против луз, соблазняя сыграть их все один за другим и, таким образом, выиграть. Уже Детрей старательно натирал мелом свой кий, собираясь приступить к охоте на эти шары, как стенные часы отвесили четыре коротких звона. По внезапной тоске, вызванной этим вечным напоминанием, Детрей понял, что игры более быть не может. Изумив Конторго, он положил кий на бильярд, вынул три золотых и протянул противнику.

— Вы выиграли, — сказал он, — так как я должен спешить.

Конторго понял, что значит отказ игрока выиграть партию только потому, что пробили часы, и не взял денег.

— Я понимаю, — сказал он, с досадой вертя шары рукой, — что только чрезвычайно важные причины заставляют вас пренебречь выгодной партией. Я сочувствую вам и не могу воспользоваться вашим затруднительным положением.

Подумав, что Конторго вероятно умеет читать в мыслях, Детрей кинулся к умывальнику, быстро прополоскал руки и отправился в дом Тренган, где были уже Моргиана, Ева и ее отец, Вальтер Готорн.

## ГЛАВА XV

Итак, Моргиана собиралась ехать, не подозревая, что ее ожидает значительное событие. Когда хотела она отдать уже приказание готовить автомобиль, вошла к ней Нетти.

— Барышня, — сказала горничная, — к вам приехали. Там ждет одна женщина, которая сказала, что ее зовут Отилия Гервак.

Услышав имя Гервак, Моргиана отвернулась, чтобы Нетти не заметила, как ее испугало это посещение. Тяжелое предчувствие овладело ею, а вместе с тем — нетерпение узнать как можно скорее, что значит визит женщины, добывшей яд. Желая показать прислуге, что посещению Отилии Гервак она не придает особого значения, Моргиана велела ввести посетительницу, а шоферу — готовить автомобиль.

Из предосторожности она стала ждать Гервак в комнате, уединенной от остальных, раньше бывшей комнатой Тренгана: так как окна гостиной были открыты, она боялась, что их могут подслушать.

Скоро раздался голос Нетти, открывшей дверь, и перед Моргианой появилась высокая женщина лет тридцати, с недурным свежим лицом, хорошо сложенная и спокойная. В клетчатом костюме и коричневой шляпе с белыми бархатными цветами, Отилия Гервак ничем не выделялась бы из тысячи женщин своего типа, не будь ее холодные серые глаза под резко сдвинутыми бровями так отчетливо неподвижны в выражении застывшей пристальности. В ее руке был маленький саквояж.

Войдя, она деланно улыбнулась, причем ее неприятно резкие для молодой женщины глаза смотрели с глубоким холодным молчанием на смешавшуюся Моргиану.

— Здравствуйте, — сказала Гервак. — У меня есть к вам небольшое дело, не очень приятное, но совершенно неизбежное. Можно сесть?

Ее голос был вульгарен и громок.

— Разумеется, — ответила Моргиана.

Они сели. Отилия Гервак вынула платок, вытерла губы, окинула взглядом собеседницу и заметила ее бледность. Это было ей на руку, а потому, хорошо понимая, что Моргиана взволнованно ждет, Гервак решила не торопиться.

— Итак, это ваш дом? — сказала она, оглядываясь. — Вы живете очень уединенно. Я взяла извозчика и, доехав до какой-то мызы около моста, отпустила его, а сюда добралась пешком. Уж из одного этого вы можете видеть, с какой осторожной особой имеете дело. Не волнуйтесь, ничего страшного нет. Ах, вы!

Так воскликнув, как будто шутя журила хозяйку, она схватила Моргиану за руки, сжала их и оттолкнула развязным жестом бесцеремонной натуры.

— Ах вы, монахиня! — повторила Гервак, беззастенчиво изучая ее лицо, начавшее дрожать от злости. — Так слушайте, — продолжала она, переходя в сдержанный тон, — я здесь затем, чтобы *узнать*, — а что узнать, вы понимаете сами.

— Еще не было случая, — сказала Моргиана.

— Да?! Но вы *получили*?

— Конечно.

— Прекрасно. — Гервак посмотрела на нее с тонким соображением. — Следовательно, вы ждете подходящих обстоятельств или... как?

— Я жду... — начала Моргиана, но не кончила и решила прекратить выпытывание. — Надеюсь, вы не будете добровольно затягивать вашу роль в этом деле, о котором лучше молчать.

— Не увертывайтесь, — спокойно возразила Гервак. — Во всяком таком деле я довольно осведомлена. Я предупредила вас, что разговор будет не из приятных. У вас есть сестра, молодая девушка. Она нездорова третий день; ее лечит доктор Сурдрег, который вчера вечером признался одному человеку, что находит болезнь вашей сестры странной.

— Хорошо, — сказала Моргиана, начавшая по непреклонному тону посетительницы догадываться о цели ее приезда, — я вижу, у вас имеются способы узнавать судьбу жертв вашего искусства; хотя вы меня удивляете, так как болезнь Джесси — обыкновенное затянувшееся недомогание, но позвольте спросить вас: предположим, что ее болезнь — действие яда. Как тогда понять вашу

настойчивость? Как недовольство результатом или... раскаяние?

— Я вам объясню,— сказала Гервак тихо и вразумительно.— Мы нашли, что услуга, оказанная вам, стоит значительно дороже суммы, которую вы уплатили. Фабрикация яда, очень сложная, связанная с многочисленными опытами, требует значительных расходов; случился перерыв, чтобы наверстать время, нам пришлось купить вашу дозу от одного человека за очень большие деньги. Так как вы богаты,— во всяком случае, деньги сестры перейдут к вам,— мы уверены, что недоразумение будет улажено.

— Я вынуждена вам верить,— ответила Моргiana довольно спокойно,— все же я дам настоящее имя такому наглому требованию. Оно называется *шантаж*.

Гервак рассмеялась.

— О, нет! Всего лишь расчет на ваше благоразумие. Отбросьте сильные выражения и сообразите, с каким чувством ваша сестра может прочесть письмо, говорящее о роде ее болезни.

— Довод убедительный, но он имеет обратную сторону, так как и я не буду молчать о тех руках, которые продали мне флакон.

— Ну, вы еще совсем ребенок. У меня есть свидетели, что флакон был похищен вами из шкапа с токсинами, после того как мой муж показал вам этот яд и рассказал о его свойстве. Прислуга застала вас сходящей со стула у шкапа, а вы объяснили ей свою странную резвость желанием хорошенько рассмотреть живопись на стекле.

— Так,— сказала Моргiana в раздумьи,— и здесь я должна вам верить, потому что хорошо помню разрисованное стекло шкапа. На стекле изображена китайская цапля среди водяных листьев и камыша.

— Не ломайтесь,— презрительно сказала Гервак.— Вы не в таком положении, чтобы посмеиваться.

— Но я «совсем ребенок», как вы сказали. Что же мне делать, серьезно говоря? Я попытаюсь убедить вас, что вымогательство пока не имеет оружия, так как яд предназначен не для моей сестры; она ведь моя сестра. Но я дам деньги вам добровольно. Я дам вам их из чувства отвращения к вашим действиям. Сегодня я не могу этого сделать. Послезавтра я буду в банке и возьму

там крупную сумму для ремонта нашего городского дома. А затем отправлюсь к вашему мужу и передам деньги ему.

— Нет, не ему,— возразила Отилия Гервак,— мой муж не знает об этом деле и знать не должен. Деньги должна получить я.

— Вы грабите меня тайно от своего мужа, но как тогда понимать историю с разрисованным стеклом, если я не поддамся?

— Между собой мы уладим и не такие вопросы. Кроме того, я требую, чтобы Гервак не знал о моем посещении вашего дома. Вы имеете дело только со мной.

— Как хотите,— сказала Моргiana.— Для меня единственно важны ваши угрозы, хотя бы вы скрывали их от всех ваших родственников.

— Ну, хорошо, мы это выясним. Теперь скажите, о какой крупной сумме идет речь.

— Вы получите двадцать пять фунтов,— произнесла Моргiana с хорошо разыгранной наивностью,— чем, надеюсь, я предупредила ваши расчеты и ожидания.

Гервак внимательно посмотрела на нее, слегка улыбнулась и побледнела.

— Продолжайте,— сказала Гервак, смеясь,— двадцать пять фунтов мне, пожалуй, сразу не унести. Скажите-ка лучше так: «Ко мне пришла дура. На, дура, возьми десять фунтов и дай мне пять сдачи».

— Говорите тише,— холодно заметила Моргiana,— и выражайтесь понятнее. Что вас ужалило?

— Неужели же вы, пакостная, безумная пародия, не понимаете, что такое двадцать пять фунтов? — закричала Гервак, теряя самообладание.— Это цена вашего билета в тюрьму!

Моргiana встала и подала Гервак ее саквояж, лежавший на столе.

— Вон! — сказала она, указывая на дверь.

— Вы смеете! Вы смеете! — прошипела Гервак,ходя к двери.— Тогда ругай себя, сколько хочешь!

Дав ей переступить порог, Моргiana сказала:

— Ну, будет. Вернитесь. Разговор не из легких.

Думая, что она испугалась, Гервак снова вошла в комнату, говоря:

— Если такая вещь повторится, меня вам не удастся вернуть еще раз.

— Яд предназначался не для сестры,— сказала Моргиана, сумрачно подходя к стоявшей у двери Гервак.— Кроме того, я еще не применяла его. Поймите, что это так, действительно так, и тогда сами назовите сумму.

Ее слова прозвучали настолько естественно, что Гервак слегка усомнилась, точно ли Джесси Тренган отравлена; однако ничем не выдала своего сомнения.

— Ложь,— твердо сказала она.— Этим вы ничего не выторгуете. Вы можете отрицать, доказывать, но я оставляю это дело только при условии, что мне будет вручено наличными пять тысяч фунтов.

Сказав так, она села и стала стучать пальцами по столу. Растерянное лицо Моргианы было для нее доказательством, что размер суммы подтверждает угрозу.

— Да? Хорошо.— Моргиана поднялась, затем снова машинально уселась.— Извините, я плохо соображаю, что говорю. Очень дурно,— хотела я сказать. Я повторяю, что денег сегодня у меня нет; вряд ли они будут и завтра. Но они будут. Расходование мной денег связано с отчетностью. Это — одна из причин, почему я прошу вас значительно сократить цифру.

— Я ничего не могу сделать, так как сама в крупных долгах,— ответила ей Гервак, считая такой ответ естественной вежливостью при ссылке Моргианы на обстоятельства.— Пока что единственно вы можете выручить меня. Моя дочь учится в дорогом пансионе; мы сделали долги по заброшенному имению, которое теперь никто не хочет купить, и я еще должна высылать месячное содержание трем моим родственникам. Так что мне гораздо хуже, чем вам.

— Но я ничего не решила,— сказала Моргиана,— именно потому, что я не знаю... Хотите ли вы посмотреть несколько вещей? Я, к счастью, вспомнила об этих... об этом... Я принесу их.

— О чем вы говорите?

— Потерпите десять минут. Очень может быть, что мы немедленно сговоримся.

Она поднялась, и Гервак движением руки остановила ее.

— Хотите улизнуть? Или оттянуть?

— Нет, ускорить. Ждите меня здесь.

Оставив Гервак чувствовать себя рыбачкой, которая не торопится тащить лесу с утопленным поплавком.

Моргиана прошла в спальню и выбрала из вещей Хариты Мальком несколько драгоценностей; между ними алмазную диадему и бусы из брошантэта, стоимостью в две тысячи фунтов. Положив эти вещи в небольшой бронзовый ящик, Моргиана вернулась с довольным видом и поставила ящик перед Гервак, говоря:

— Откройте, посмотрите, не фальшивые ли камни в изделиях; если они настоящие, я охотно отдам их вам вместо денег, предварительно оценив.

Гервак, быстро взглянув на нее, подняла крышку шкатулки. Камни засветились. Там, среди темно-зеленых брошантэтов, сияли крупные бриллианты, рубины и жемчуг. Гервак опрокинула ящик и высыпала все вещи на стол. Слегка потрогав их, она тщательно осмотрела отдельно каждую вещь, покачала на растопыренных пальцах бусы, прищурилась на диадему и, сложив все обратно, закрыла крышку.

— Кажется, это настоящие камни, — сказала она, замкнуто смотря на терпеливо ожидавшую Моргиану, — некоторые из них дороги и очень хороши.

— Тогда я спокойна. Я принесла часть; значительно больше лежит у меня наверху. Все это носила одна актриса, на которую разорялся Тренган; наконец, он выгнал ее, и после его смерти, вместе с домом, мне достались драгоценности этой авантюристки. Разумеется, ни я, ни моя сестра не станем их носить. Я думаю, что здесь будет тысяч на десять, не так ли?

— Нет, не так. Почти все камни второго сорта; что касается черно-зеленых бус, то они — простое стекло. Все остальное так не модно, что считать его в триста фунтов соглашусь только я; ювелиры дадут двести или двести пятьдесят — самое большее. Вы говорите, что есть еще?

— Да, и так много, что мы наберем все же тысячи на четыре. Однако я дам вам только то, что здесь на столе. Флакон не тронут, яд цел, и вы можете убедиться в том, когда хотите.

— Что же, вы думаете отделаться тремястами фунтов?

— Хотите, я покажу флакон?

— Покажите, голубушка; я тогда покажу вам в этом флаконе чистую воду, которую вы туда налили.

— Для этого надо было бы распечатать посылку.

— Как — посылку? Что вы этим хотите сказать?

— Я не вскрывала ее, — сказала Моргиана, печально и насмешливо улыбаясь. — По-видимому, я — нервно-больна. Когда я получила этот пакет, мне стало казаться, что о нем известно везде. Когда я хотела разрезать упаковку, я едва не лишилась чувств от волнения, так как боялась, что, взяв в руки флакон, отравлюсь от одного прикосновения к стеклу. Я ничем не могла победить гнетущий страх и дошла до того, что вздрагивала при всяком неожиданном шуме; везде мне мерещилось преследование. Я прятала пакет из одного места в другое; вставала ночью, чтобы убедиться, — не выкраден ли он во время моего сна, и так устала от мнительности, развившейся в манию преследования, что закопала яд в лесу, недалеко от дома. Вы можете увидеть посылку и убедиться, что не тронуты даже печати.

Моргиана хорошо притворилась, и Отилия Гервак ей поверила. Она слышала слова растерянной, полубезумной женщины, у которой дрожали руки. Жестокая досада на неудачу охватила Гервак, и она готова была уже, переменяя тон, согласиться взять предложенные ей драгоценности, как Моргиана, ожидая, чем разрешится молчание, взяла ящичек и приоткрыла его, по-видимому, без всякой нужды, потом тихо опустила крышку. В этом ее движении было *нечуждое*, — то, что выдает следователю искуснейших симулянтов.

— Хорошо, — твердо сказала Гервак, решив узнать истину до конца, — дело не в ваших нервах. Принесите посылку, и я вскрою ее сама.

Моргиана как будто смутилась.

— Но я не могу, — уклончиво возразила Моргиана, — я напугана. Мне не отделаться от мысли, что за мной подсматривают.

— Хорошо, — объявила Гервак, сомнения которой стали сильнее. — В таком случае проведите меня к месту, где спрятана посылка, и я ее посмотрю.

— Ради чего? Довольно, что я вам сказала об этом.

— Ну, в таком случае, я верить вам не могу. Вы играете не плохо, но я тоже хитра. Значит... мы кончили?

Гервак встала, смотря на ящик с камнями, и хотела уже спросить, передает ли Моргиана ей эти драгоценности в счет уплаты, как та протянула руку к звонку. Холодно приподняв брови, Гервак уселась на прежнее ме-



сто и стала рассматривать ногти, следя уголком глаза за вошедшей Нетти.

— Передайте шоферу, чтобы он подождал,— сказала Моргиана прислуге,— мы отправимся на прогулку, и уже после того я поеду в город.

«Ну, доиграем,— подумала Гервак.— В лесу она будет уверять, что пакет кто-то украл. На этом я положу конец наглой торговле и отправлюсь домой».

Предложив Гервак выйти с нею вместе и объявив, что идти недалеко, Моргиана прошла через ворота, причем женщин видели: стоявший у машины шофер, Гобсон, и его восьмилетний сын. На узкой зеленой тропинке, ведущей к тому месту, где Моргиана раздробила флакон, Гервак, слегка обескураженная уверенностью, с какой ее вела Моргиана, спросила:

— Если вы едете в город, не могу ли я ехать с вами, а затем выйти у Песчаного Круга (так называлось предместье Лисса), чтобы там сесть в трамвай? В противном случае я должна идти полчаса пешком, чтобы разыскать лошадь где-нибудь в Брикете или Нантерре.

— Да, вы поедете со мной, если хотите,— ответила Моргиана.— Итак, вы уверены, что я лгу.

— Я уверена, что вы забыли то место, где спрятан наш спор.

— Ничего; идти осталось недалеко. Спустимся; внизу останется повернуть влево и пройти десять шагов.

Они шли теперь по границе леса, где среди высоких деревьев виден был отлогий склон, заросший кустарником; он далее переходил в чащу. Тропа вилась неожиданными поворотами, обходя упавший ствол или высокий камень; среди кустарника она стала едва заметной. Зайдя в чащу, где прохладная тень скрыла ее от жаркого утреннего солнца, Моргиана оглянулась на Гервак, которая, не сводя с нее серых, железных глаз, пробиралась среди ветвей, загораживающих путь, и указала на плоский треугольный камень, лежавший у старого дерева, на краю трещины, куда сбросила осколки флакона. Противоположный край трещины был ниже первого метра на четыре; за ним шли резкие скачки почвы вниз, до самых береговых скал, откуда при сильном ветре явно доносились залпы прибоя.

Не обращая теперь внимания на Гервак, Моргиана приставила зонтик к дереву и, зацепив пальцами под

низ камня, стала приподнимать его, задыхаясь от напряжения. Слегка тронувшись, камень вырвался из ее рук и лег опять плотно.

— Он лежал на боку,— говорила Моргиана, усиливаясь одолеть равнодушное сопротивление тяжести,— я смогла опрокинуть, но поднять... Тогда я подрyla его... Найдите сук. Что-нибудь, чтобы подсунуть.

Гервак пожала плечами; заметив толстый обломок корня, она подняла его и, по указанию Моргианы, стала просовывать под приподнятый край камня.

Моргиана выпрямилась и схватила ее за шею.

Задыхаясь от испуга и боли, Гервак рванулась с криком; но ее ноги поскользнулись, и она упала на камень.

— А, подлая! — закричала Гервак. — Стой, пусти! Пусти, тебе говорят.

— Я сов-сем ре-бе-нок,— бормотала Моргиана, стараясь ударить Гервак головой о камень.

Они свалились, хватая друг друга за шею и лицо. Наконец, Моргиана, силы которой возрастали с каждым движением, а левая рука не отпускала шею жертвы, ухитрилась вцепиться в горло Гервак правой рукой более основательно, чем первый раз. Она прижала ее и стала бить затылком о камень, пока судорожное напряжение опрокинутого лица не стало затуманенным, как во сне.

Гервак снова рванулась, вывернувшись и стала на четвереньки, рядом с Моргианой, которая, стоя на коленях, начала поспешно сталкивать ее в трещину. Ничего не видя, оглушенная, полузадушенная Гервак свалилась на краю, руки и голова ее свесились в пустоту. Моргиана опустила на локоть и столкнула Гервак бешеными ударами ног, тотчас вскочив, чтобы посмотреть, не уцепилась ли та за камни и корни.

— Совсем ребенок,— сказала Моргиана, держась за сердце, бывшее по ребрам с хрипом и болью. — Яд здесь, я не лгала тебе; я сама стала ядом. Теперь найди извозчика в Брижете или Нантерре.

Сбросив в трещину зонтик и саквояж Оттили Гервак, Моргиана пошла к озеру и посмотрела на себя в воду. Ее лицо было все в красных пятнах; волосы растрепались, платье измялось и выпачкалось о камни. С трудом она привела его в порядок, затем вымыла руки и освежила водой лицо. Она вытирала его платком, бес-

сознательно смотря в воду, и увидела там дикие глаза уродливой женщины. Но залив озера, в раме из дремучих кустов, унизанных алыми цветами, был прекрасен, и отражение в голубом зеркале той скалы, откуда Моргiana бросила вчера камень, было изысканно отчетливо озарено под водой утренним лесным светом.

— Это красиво,— сказала Моргiana,— я понимаю. Красивое — везде, его много. Но оно равнодушно. Красота, власть твоя велика! Так измени мне лицо! Сделай мои руки нежными и белыми!

Подул ветер, кусты зашумели; ответа и внимания не было. Едва Моргiana встала, как исчезло и ее отражение, и на его месте возникла в воде ничем не омраченная, опрокинутая листва старого клена.

Моргiana возвратилась домой, переоделась и сказала Нетти, что Гервак отправилась пешком к ближайшей деревне, откуда ей надо быть вечером на станции железной дороги. Рассчитывая, что, при всяком положении розысков пропавшей Гервак, ее муж не обратится в полицию ранее, как через два дня,— скорее же не обратится совсем,— Моргiana прилегла отдохнуть. Как ни странно, но расправа с торговкой ядом дала ей запас твердости и самоуверенности. Позавтракав и окончательно обдумав продажу вещей Мальком, Моргiana вышла садиться в автомобиль. Уже шофер открыл дверцу, как у ворот дома остановился автомобиль Джесси и Моргiana получила записку сестры.

Приехавший шофер задержался у гаража с Нетти, а Моргiana, взяв ценности, поехала к Обергейму, крупному ювелиру Лисса, рассчитывая по окончании дел посетить Джесси.

Преступление больше не мучило и не устрашало ее; после сцены с Гервак и камня, брошенного в нагую девушку, ей было безразлично смотреть на Джесси и говорить с ней; но чувствовала она себя так, словно видела сестру последний раз,— в ярком, щемящем сне.

## ГЛАВА XVI

Когда Ева ушла, Джесси подумала, что сможет пережить болезнь, если, пренебрегая слабостью, смело начнет двигаться. Она вздохнула и села; однако ей сразу стало труднее дышать, и чувство изнеможения усили-

лось. Опустив голову, девушка тихо пожаловалась себе: «Нехорошее происходит со мной. Я забыла, что значит быть здоровой. Как вспомнить здоровье?! О, здоровье, ты лучше всего! Вернись ко мне! Господи, выздорови меня!»

Джесси понурилась и заплакала. Ее моральное чувство болезненно обострилось; она видела себя виноватой во всем: в характере и несчастиях Моргинаны, в заносчивости и гордости. Она сидела и каялась; все случаи, когда она была недовольна собой,— обозначались и ныли, как синяки. Единственно женским путем Джесси достигла среди самобичевания — своей легкой, нарядной шляпы, найденной так неожиданно Детреем, и горько сетовала, что приняла находку сухо, даже не расспросив подробно, как он ее нашел. «Но сегодня я расспрошу. Вообще, я была жестока с людьми,— думала Джесси, вытирая глаза,— а это так некрасиво. Ева думает, что Детрей глуп. Но ведь я не должна ни воспитывать его, ни учить; мое дело быть только любезной. Когда я его встречу, я ему скажу одно хорошее, и он будет ко мне привязан. Но, кажется, я еще глупее его... о, Джесси, как можешь ты считать кого-нибудь глупым с чужих слов?!»

Ее взгляд остановился на графине с водой, почти бесполезном теперь, так как воду было ей разрешено пить только в исключительных случаях. От этого постепенно вспомнилось ей утреннее посещение Моргинаны в день отъезда сестры; подробности развивались одна за другой, и была она обеспокоена тем, что представилась ей Моргинана, стоявшая перед подносом как бы в замешательстве, когда Джесси повернулась от телефона. Девушка испугалась мысли, которая, как громом, поразила ее, хотя еще не стала словами. Всей силой ужаса и отвращения к невозможным, диким словам этой мысли, отталкивая их мрачный напор, подобно тому, как затаптывают вспыхнувшую ткань, Джесси закрыла глаза, заткнула уши и со стоном повалилась ничком на кровать, судорожно бормоча первое, что приходило на ум, лишь бы та мысль не повернулась словами. Но все ее усилия напоминали стремление избежать укола, прижимая ладонь к острию иглы. Вся сжавшись, она перевела дух, и в этот момент мысль, которую она пыталась расшеять, произнеслась ясно и точно:

«Я отравлена. Моргiana отравила меня».

Джесси охватила голову руками и вздохнула несколько раз, пытаясь глубоким дыханием ослабить сердцебиение. Стыд так угнетал ее, что некоторое время она могла только стонать.

«Боже мой! — сказала она, быстро садясь, — неужели это — я? И это в моей душе?! Пусть от такой подлости разорвется моя голова!»

Она шептала укоризну себе, убивалась и маялась, но черная мысль, пробившая ее отчаянное сопротивление, делала свое дело: в ней оживали подробности тяжелого утра и, становясь подозрительными, все больше пугали Джесси. Она говорила:

«Мне некому признаться в своей гнусности, как только ей; и она должна знать. Я знаю: это фантазия, от болезни и от книг; это не настоящая мысль. Но она показывает...»

Джесси неистово оправдывалась, а в ней, как рыба в воде, стояло загадочное поведение Моргiana, и она со страхом отказывалась его обсуждать.

«Я не подозревала, что я так извращена, — продолжала Джесси, — бедный мой урод, Мори, я рада, что послала тебе записку и скоро увижу твою истерическую, мятежную мордочку».

В этот момент штора, опущенная с солнечной стороны, шевельнулась; тень вскочившей на карниз кошки подняла хвост, и Джесси спугнула ее, хлопнув ладонями. «Вот так она пришла и ушла, та мысль», — подумала девушка, удивляясь странному припадку сознания, которое возвращалось теперь к обычному взгляду на вещи, в связи с характером Моргiana. Но возбуждение осталось, и, двигаясь медленно, внимательно к каждому движению, Джесси накапала в рюмку успокоительных капель. Выпив их, она воспользовалась отсутствием сиделки, которая доканчивала свой завтрак, надела шелковый зеленый халат, завязала ленты чепца, сунула ноги в туфли и отправилась походить по саду; столкнувшись с возвращающейся сиделкой, Джесси, сконфуженная, рассмеялась и остановилась.

Сиделка, женщина лет сорока, с пытливым, красным лицом, поспешила к Джесси, протянув руки, как будто та падала, и отчаянно загородила дорогу.

— Опять вы встали? — сокрушалась сиделка. — Разве вы не понимаете, как этим вы вредите себе? Я очень прошу вас лечь немедленно. К тому же вам сейчас принесут завтрак.

— Бульон и сухарики, — уныло произнесла Джесси.

— Да. Чудный бульон; чудный, горячий, я сама смотрела за ним. Вернитесь скорей, пока не приехал доктор Сурдрег. Уже двенадцать, и он с минуты на минуту может приехать.

— Что же, бульон? — вздохнула Джесси. — Я съела бы бифштекс и целую курицу. В бульоне нет спасения. Я умственно съела бы бифштекс. Пищеводом мне ничего не хочется, ничего!

— Так ложитесь тогда; вы окрепнете, и вам захочется кушать.

— Нет, не захочется.

— Кто же знает больше, вы или доктор? А он велел вам лежать.

— Надеюсь, он не узнает, что я была в саду пять минут? — вкрадчиво улыбаясь, сказала Джесси и шмыгнула в сторону, мимо осторожно ловящих ее рук сиделки. — Не волнуйте меня; вы знаете, что мне вредно волнение. Идите, я очень скоро вернусь.

— Зачем же было тогда меня приглашать? — жалобно воскликнула женщина. — Но я скажу доктору! Я не могу равнодушно видеть, как вы себя губите!

Внушительно посмотрев на нее, Джесси запахла халат и пошла к выходу. Ее сердце билось сильно и весело. Если бы не халат и чепец, она могла бы подумать, что выздоравливает. Но у нее был временный прилив сил — явление, оплачиваемое впоследствии новым упадком.

Влажная жара сада согревала ее лицо. Был полдень; стволы стояли на кругах теней; цвели тюльпановые деревья, померанцевые, каштаны и персики. Улыбаясь цветам и листьям, Джесси ступила в аллею, шедшую вдоль ограды из каменных столбов, перемежающихся узорной чугунной решеткой, и, пройдя к цветнику, присела на мраморную скамью. Над цветами, вызывающими жадность к их красоте, стояли осы. Птицы уже смолкли; лишь соловей, совсем близко от Джесси, но спрятавшись так, что ни глаз, ни слух не могли установить его

резиденцию, неторопливо и выразительно говорил приятными звуками, вызывающими внимательную улыбку. Иногда звуки его были подобны вопросу, раздающемуся безмятежно и деликатно; или напоминали увещевание, и, хотя никакая птица не отвечала ему, он с такой отчетливостью, мелодически чисто, неторопливо продолжал спрашивать, уговаривать и объяснять, что Джесси невольно начала подбирать к его упражнениям соответствующие их интонации слова. Она знала, какие это слова, но не могла их сказать так же, как, чувствуя сущность имени или названия, мы иногда не можем сразу навести память на их ускользающие буквы, которыми обозначается душа слова. Джесси не могла сказать слов; тогда она встала и пошла к розам, росшим вдоль всей ограды. За оградой шел ступенчатый переулочек. Его противоположная сторона была тоже стеной чужого сада, но не такой, как стена сада Джесси. Та стена была высока, глуха и ограждена наверху двумя линиями колючей проволоки.

Листва роз скрывала Джесси от переулочка. Собравшись отломить ветку с тремя цветками кремового оттенка, девушка услышала восклицание и всмотрелась между ветвей.

За решеткой стояла молодая женщина лет двадцати четырех. Тонкий загар ее нежного, покрасневшегося от зноя лица, сияющие голубые глаза и темные волосы,—влажные на влажном, открытом лбу, под широким полем желтой шляпы, отделанной синей лентой,—снискали в сердце Джесси естественное сочувствие. На неизвестной молодой женщине было белое полотняное платье в талию, с открытыми руками и шеей. Сгибом локтя она прижимала к груди бумажный мешочек с сухарями и держала руку в мешочке, забыв вынуть сухарь. Она смотрела на розы с восторгом; Джесси она не видела.

— На этот раз он купил каких-то особенно вкусных,—сказала женщина сама себе, вынув сухарик и осматривая его.—Приятно спечены.—Ее глаза снова обратились к розам.—Вот какие бывают цветы! Так охота таких цветов!

В этих ее словах было столько жалующегося желания, что Джесси поспешила к ограде и, выйдя на свет, сказала:

— Не откажитесь, пожалуйста, взять те цветы, которые вам нравятся,— как можно больше.

Неизвестная смутилась и рассмеялась, краснея от неожиданности.

— Я... я... я...— залепетала она, прерывая свои слова невольным смехом признательности,— я думала, что вас нет и что вы не подумаете... Признаюсь, вышло неловко... Я это себе сказала... А вас я не видела! Хороши ваши цветы, ах, как они хороши!.. Как на них смотришь, знаете, тут...— она обвела пальцем левую сторону груди,— тут делается так нежно... Разбегаются глаза.

— Тогда зайдите в сад, и мы вместе будем смотреть.

— Нет, благодарю: во-первых, мне надо уже домой, а затем... вы, кажется, нездоровы.

— Я, правда, нездорова! — вскричала Джесси, огорченная тем, что по ее лицу можно сразу заметить болезнь, хотя собеседница имела в виду халат и чепец.— Я действительно прихварываю, но походить с вами недолго могу. Я не знаю, как это так быстро случилось, но вы мне чрезвычайно нравитесь. Зайдите в сад.

— И со мной то же,— сказала женщина.— Отчего это?

— Вы правы; я, должно быть, похожа на облезшую кошку. То есть, что «то же»? Вы тоже больны?

— Вы предлагаете мне цветы,— объяснила женщина с приветливым напряжением лица, стараясь сказать сразу, кратко, все, что думала,— но я говорю так не из-за цветов... Я к вам чувствую то же и тоже сразу... как и вы. Значит, вы... Мне очень вас жаль! Какая у вас болезнь?

— Пока доктор не знает. Я слабею и худею, меня исследовали и ничего не нашли...— Она стала печально срывать лепесток, тронутый червем, и договорила, после небольшого молчания: — Интересная, загадочная больная. Знаете,— сказала Джесси, слабо улыбаясь и вводя выбившиеся волосы под чепчик,— может быть, я ошибаюсь, но, насколько знакома я с зеркалом, кажется мне, что мы с вами сильно похожи, только глаза разные. У вас голубые.

— Это же и так же подумала сейчас я. У вас темные, не черные.

— А как ваше имя?

— Джермена Кронвей. Неужели такое же у вас?



Джесси расхохоталась.

— Джермена Тренган,— сказала она, весело сконфузясь.

— Поразительно! — воскликнули обе в один голос.— Надо же, чтобы было именно так!

— Такой случай требует, чтобы вы навестили меня,— сказала Джесси,— и я теперь буду вас ждать.

— Я непременно буду у вас, непременно! — с жаром произнесла «здоровая Джесси»,— сегодня я и мой муж должны ехать на Пальмовый остров и там гулять.

— Счастливая! — заметила ей «больная Джесси»,— А я... мне велят только лежать

— Но и вы будете счастливы, когда выздоровеете.

— Да, когда-то еще это будет. Без разговоров забирайте цветы. Нет ли у вас ножика?

— Есть ножницы, маленькие, кривые,— Джесси Кронвей достала их из бисерного мешочка, прогнув в вырез решетки — А руки?! Вот моя и ваша рука... Фу! которая же моя?

— Вот это ваша, а это — моя; моя побледнела, а ваша загорела больше.

Передернув плечами, чтобы размять занывшую от ходьбы спину, Джесси отвернула рукава халата и начала срезать розы всех цветов, от бледно-желтого и розового до пурпурного и белого. Она нарезала дамасских, китайских, чайных, нуазет, мускусных, бурбонских, моховых, шотландских и еще разных других, войдя сама в азарт, желая набрать все больше и больше. Вторая Джесси, с покрасневшимся от удовольствия и алчности, блаженным лицом, следила, как морщит брови, тербя колючие стебли, больная бледная девушка, откручивая пальцами какой-нибудь непосильный для ножниц стебель, и как она, присоединяя к букету новую розу, оглядывается на нее, кивая с улыбкой, означающей, что намерена дать еще много роз. В разгаре занятия ее отыскала сиделка. Ее возглас: «К вам приехал доктор!» помешал второй Джесси получить целый сад роз. Джесси Тренган передала ей собранные цветы, ножницы и сказала:

— Я рада, что вы пришли. Приходите еще.

Прижимая к груди охапку, из которой уже свесились, а затем выпали несколько роз, вторая Джесси ответила:

— Я непременно приду, если не завтра, то скоро. Идите скорее в дом! — и она удалилась первая, а Джесси Тренган, став серьезной, пошла с сиделкой, взгляды-вавшей на нее крайне неодобрительно.

Сурдрег был согбенный, но бодрый старик, с посмеивающимися серыми глазами и седой бородой; он имел манеру говорить с больными как с детьми, в словах которых надо искать не совсем то, что они говорят. Непослушание Джесси вызвало у него особую докторскую злость, но, посмотрев на виноватое лицо девушки, Сурдрег лишь сказал сиделке:

— Если это повторится, я сообщу о вашей глупости в вашу общину.

— Она не виновата, я виновата, — сказала Джесси, садясь и вздыхая.

— Разрешите знать мне, кто виноват, — сухо ответил Сурдрег; затем, смягчась, он сказал: — Прилягте, — и взял поданный струсившей сиделкой листок, на котором та записывала температуру. Там стояло: 36,3 — вечером и 36,2 — утром. Задумавшись, Сурдрег положил бумажку на стол, вынул часы и начал считать пульс. Он был вял, ровен и нисколько не учащен. Доктор освободил руку Джесси и спрятал часы.

— Что со мной? — тревожно спросила девушка.

— А вы как думаете? — ответил Сурдрег с улыбкой.

— Я нездорова, но что же это... как назвать такую болезнь.

— Любопытство, — сказал Сурдрег, прикладывая ухо к ее груди со стороны сердца.

— Позволительно ли в таком случае думать, что наука... как бы это смягчить?.. ну, осеклась на вашей покорнейшей слуге.

— Помолчите, — сказал Сурдрег. Он стал мять и выстукивать Джесси: его сильные пальцы спрашивали все ее тело, но не получали ответа. Состояние некоторых органов, — почек и печени в том числе — внушало сомнение, но не настолько, чтобы утвердиться в чем-либо без риска сделать ошибку.

— Видите ли, милая девочка, — сказал Сурдрег, когда Джесси, охая от его твердых пальцев, запахла халатом, — наука еще не сказала последнего слова в отношении вас; она ничего еще не сказала. Решительно ничего серьезного у вас нет (про себя думал он другое),

но, чтобы окончательно решить, как вам снова начать прыгать, я должен буду послезавтра — если не произойдет каких-либо руководящих изменений — созвать консилиум. Трудно разъяснимые случаи встречаются чаще, чем думают. Но, чтобы там ни было, лежите, лежите и лежите. Завтра я снова навещу вас. Старайтесь меньше пить и принимайте в моменты расслабленности прописанные мной капли.

Он встал.

— Доктор, поклянитесь мне, что я не умираю! — взмолилась Джесси.

— Клянусь Гогом и Магогом! — сказал Сурдрег, гладя ее по голове.

— Кто такие? — осведомилась Джесси басом сквозь слезы и неудержимо расплакалась, сердитая на шутки Сурдреге. — Я пу... пу... пускай я умру, но вы не... не... должны так... Я ведь се... серьезно вас спрашиваю!..

— А я серьезно вам отвечаю: если вы будете меня слушаться, следовать диете и не вставать, то через неделю будете совершенно здоровы.

Джесси посмотрела на него с упреком, но скоро утешилась. Сурдрег уехал, а девушка, выпив свой бульон, задремала.

Ее разбудило появление Моргианы.

## ГЛАВА XVII

Моргиана посетила ювелира, показав ему часть драгоценностей и, осторожно ведя разговор, убедилась, что ее оценка вещей Хариты Мальком приблизительно верна, но, продавая торговцу, она должна была примириться с потерей третьей части общей нормальной суммы. Условясь получить завтра деньги за привезенное, а также доставить много других вещей, Моргиана получила задаток и поехала к Джесси.

Ее мрачная сосредоточенность и решимость смотреть до конца в глаза смертному делу своих рук за время езды от магазина к дому перешли в тяжелое удовольствие, подобное терпеливому ожесточению, с каким человек несет тяжелую кладь, утешенный тем, что задыхается под своей ношей. Мгновениями Моргиана была почти счастлива, что у нее нет никаких надежд, что ее привыч-

ное отчаяние озарено так ярко и безнадежно. Она подъехала к дому с чувством возвращения из долгого путешествия. Ее сердце начало теперь сильно биться, и она уговаривала себя быть естественной. На приветствия слуг Моргиана ответила несколькими холодными словами, тотчас спросив, как чувствует себя Джесси. Узнав от сиделки, что положение неопределенное, — девушка не выходит, а теперь спит, — Моргиана послала сиделку взглянуть, не проснулась ли Джесси, а сама села в гостиной, куда, почти немедленно вслед за ней, вошли Вальтер Готорн и Ева Страттон.

Вальтер Готорн был высокий, пожилой человек, сильного сложения, с длинной бородой и красивым тонким лицом. Между ним и дочерью было большое сходство. Ева вошла в оживлении, но, увидев Моргиану, притворилась утомленной.

— Я навещаю ее, — сказала Ева. — Вы ее видели?

— Нет, еще не видела. Я едва приехала и жду известий. Она, кажется, спит.

— Быть может... — начал Готорн.

В это время пришла сиделка и сказала, что Джесси проснулась. Все подошли к двери больной. Моргиана, сделав улыбку, стукнула и услышала слабый голос, звавший войти.

Тогда совершенная необходимость лгать и играть стала сразу естественным состоянием Моргианы, она glavно открыла дверь, улыбаясь с порога и юмористически тревожно всматриваясь в осунувшееся лицо девушки.

— Иди, иди, Мори, — сказала Джесси, — я рада, что ты приехала. А вас трудно залучить, только болезнью, — обратилась Джесси к Готорну, который жестом показал, как безумно занят всегда. — Ах, Ева, был доктор; он говорит, что я выздоровею; но он все еще не знает, чем я больна. Моргиана, хорошо у тебя там, в пустыне?

— Да, тихо. Ну, вот ты и допрыгалась. Ты должна была переменить чулок, когда промочила ногу.

— Ты думаешь, от этого?

— Существует тьма легких простуд, — сказал Готорн, — в которых врачи разбираются не так-то легко. Я читал о знаменитом математике, не помню, кто такой,

но, решая в уме сложнейшие задачи высшей математики, этот человек ошибался, делая простое сложение.

Моргiana подошла к столу и посмотрела сигнатуру лекарства, потом тронула лоб Джесси и села, сказав:

— У тебя жар?

— Нет ни жара, ни озноба. Неужели ты думаешь, что я мнительна?

— Я ничего не хотела сказать.

— Впрочем,— заявила Джесси,— на завтра Сурдрег обещал мне консилиум. Я не хочу больше говорить об этом. Расскажи, Ева, о выставке!

Моргiana в высшей степени точно наблюдала сама себя. Ей было странно и горько. Ее ненависть стояла между ней и Джесси, невидимая никому, кроме Моргiana,— ее двойник, с дикой и темной улыбкой. Гниение души образовало печальный, но руководящий отсвет, благодаря которому самообладание ей не изменяло и — она знала это — уже не могло изменить.

Ева начала рассказ:

— Много, много всего. Мы не могли всего осмотреть; однако любопытные вещи. Ну, само собой — перпетуум-мобиле, даже два. Это такие потрескивающие и постукивающие механизмы в стеклянных ящиках; впрочем, нам сказали, что один из них действует всего четыре дня, а второй — восемь. Потом модели аэропланов.

— Хочу летать! — вскричала Джесси.

— Обещаю вам устроить полет, когда вы поправитесь,— засмеялся Готорн. Он начал говорить о полетах; летал Готорн три раза, но относился насмешливо. Ему неожиданно возразила Моргiana.

— Но, время от времени, они падают,— сказала Моргiana, с искусственной горячностью,— возможность падения лишает аэроплан фривольности, которую вы подчеркиваете.

— Я не хочу, чтобы вы меня сочли жестоким,— ответил Готорн,— но, по-моему, смерть такого рода не трагична, а лишь травматична. Это не более, как поломка машины.

— Что с тобой, папа? — возмутилась Ева.

— Должно быть, я — изверг,— рассмеялся Готорн.

— Нет, вы не изверг! — вскричала Джесси.— Вы хотели сказать, что падение, ломание и пылание напоминает опрокинутый примус?

— Думаю, что не больше.

— Ты иногда делаешься невыносимо циничен,— заметила Ева.

— Они падают,— тихо заговорила Моргiana,— по большей части молодые, полные сил, почти мальчишки. Разве не прекрасна смерть в двадцать лет?

Никто ей не ответил, потому что это замечание и выражение, с каким она произнесла его, заставило подумать о Джесси; и Джесси это подумала.

— Если я умру, то смерть моя, значит, будет прекрасна.— сказала она, расстроясь от своих слов.— Нет, уж пусть лучше это будет не прекрасно... лет через пятьдесят... через сто!

Видя, какое направление принял разговор, Ева поспешила спросить Готорна:

— Ты купил машину?

— Да. Речь идет о новой скоропечатной машине,— обратился Готорн к Джесси,— которую демонстрировали на выставке.

Джесси кивнула, хмуро поглядывая на Моргiana Моргiana, с тусклой улыбкой в утомленных глазах и сжатых губах, случайно встретила ее взгляд, и ей показалось, что сестра глазами спрашивает о самом сокровенном, о грозном. Кровь отхлынула от ее сердца; невольно расширяя глаза, смотрела она на Джесси в упор, не имея силы отвести взгляд; в свою очередь, испугавшись, Джесси сжала плечи и увела в них голову, продолжая смотреть на сестру.

— Что с тобой, Мори? — вскричала она, вдруг задрожав.— Моргiana?

— Что со мной? — спросила та, как во сне.— Скорее, что с тобой?!

— Я сама не знаю,— рассмеялась Джесси.— Нервность. Такая нервность, что нет на свете более подлого существа, чем я. Когда выздоровею, я тебе расскажу.

Губы Моргiana прыгали, не слушаясь, так что она не смогла сразу сказать. Наконец, она перевела дыхание, с трудом выговорив: «Конечно, потом». И она подумала, что ее подавленность стала заметной. Чтобы замять странное положение, не выходя из его мрака, она сказала:

— Дикий случай произошел недалеко от «Зеленой флейты». В одну купающуюся девушку неизвестно кто

швырнул камень и рассек шею. Теперь она будет калеккой. Я послала ей немного денег.

Готорн уже несколько минут сидел молча, выжидая случая сказать какие-нибудь веселые пустяки и откланяться. Он посмотрел на дочь.

Решительная, внезапная бледность Евы очень удивила его. Ева что-то быстро писала в своей записной книжке; вырвав листок, она с веселым смехом передала его Моргиане.

— Ева, что там за секреты у вас? — стонала Джесси, мотая головой по подушке.

— Нам нужно поговорить, — беспечно, но твердо сказала Ева, — о самых пустых делах. — Она нервно вздохнула, наблюдая медленно, исподлобья, поднимающийся к ее лицу взгляд Моргианы, которая, прочитав листок, держала его в руке. — Папа, расскажи Джесси о непроницаемых панцирях!

Джесси, нахмурясь, рассматривала ногти. Ева и Моргиана вышли, и, когда дверь за ними закрылась, они разом повернулись одна к другой.

— Так что? — как бы не догадываясь, сказала Моргиана шепотом.

— Слушайте: я уже два года... — начала Ева, но, быстро взглянув на нее, Моргиана перебила, указывая отдаленную дверь:

— Там сядем и поговорим.

Это была одна из тех лишних комнат, какие иногда образуются в большом доме из-за ошибки в плане: маленькая, с окном на проход и не имеющая никакого назначения; там стояла лишь случайная мебель. Когда женщины зашли в эту комнату, Ева прикрыла дверь.

— Моргиана! Вы должны быть от нее эти дни вдаль. Я скажу, далее, еще более неприятные для вас вещи, и вы можете ненавидеть меня, сколько хотите, но во мне говорят сильные подозрения, что отношения ваши с сестрой мучительны, тяжелы. Она не будет прямо жаловаться никому, и мне в том числе, тоже не скажет ничего прямо, однако часто в ее словах и тоне слышится просьба понять без объяснений. Судите сами, как легко мне высказывать вам! Я не знаю, в чем дело, и не имею никакого права судить, — ни вас, ни Джесси. Я хочу только сказать, что Джесси нужно спокойствие.

Ева нервно вздохнула и вопросительно посмотрела на Моргину. С негодованием заметила она, что та, вначале изменившись в лице, теперь тихо смеется, сжав губы и сощутив глаза. Ева ожидала возмущения, гнева, может быть, оскорбления, но этот неожиданный смех вернул ей холодную вспыльчивость, с какой она высказала свое требование.

— Решительно ничего смешного нет, я думаю,— сказала она запальчиво.

Моргина кашлянула. Ее светящиеся смехом глаза были напряжены, как у человека, идущего со свечой во тьме.

— Я хочу знать,— сказала Моргина, медленно выговаривая слова,— что сказал вам дьявол, когда вы получили от него яблоко?

— Объясните,— сухо сказала Ева, всматриваясь в затаенное выражение лица Моргины.

— Совершенные пустяки, милочка. Вас зовут Ева, и это меня навело на глупую мысль, что вы угостили Адама яблоком.

Ева вспыхнула и смешалась. Она хотела, ничего не говоря, выйти, и уже повернулась, но внезапное тяжелое чувство вызвало у нее серьезный вопрос.

— Что с вами? — спросила она.— Я на вас не сержусь. Что с вами?

— Оставьте этот тон, Ева.

— Моргина, если я...

— А я говорю — оставьте меня. Вас тревожит Джесси. Я согласна поговорить о ней. Но вы ошиблись. Мы очень любим одна другую, и наши отношения хороши. Довольно с вас?

— Для хороших отношений едва ли уместно говорить о смерти в присутствии больной. Пощадите ее, Моргина! Она не сделала ничего худого.

— Подозревают, что я порчу ей жизнь,— говорила Моргина, как бы не слыша Еву.— А я часто заменяла ей мать. Но, хорошо, я прощаю вас; вы иногда очень наивны. Должно быть, вы ее действительно любите. Любовь пристрастна. Однако надо вернуться.

Моргина прошла мимо Евы, ничего более не говоря, и та, несколько задержавшись, чтобы улеглось раздражение, последовала за ней. По дороге она остановилась



возле трюмо, чтобы сделать веселое лицо, и заметила, что ее улыбка привлекательна. Это помогло ей сохранить улыбку при входе в комнату; весьма кстати здесь был Детрей, сидевший поодаль от кровати Джесси, которая держала принесенные им цветы.

— Мы советовались, не перевезти ли тебя, Джесси, в «Зеленую флейту», — сказала Ева, взглядывая на совершенно спокойную Моргину, — но я согласна, что там будет не так удобно.

— Ну, конечно, — сказала Моргина, — Ева придумывает опрометчиво.

— Фу, глупости! — заметила Джесси. — Для этого выходить?! Ева, Детрей очень мил! Он дал мне цветы!

— Но не конфеты?

— Конечно, нет, — сказал Детрей. — Мне это запрещено.

Любовь уже поразила его. Он чувствовал ее силу, еще когда поднимался в подъезд, по тяжести ног и тяжелому волнению, мешающему непринужденно дышать. Невменяемый, Детрей тем не менее довольно искусно притворился вменяемым и спокойным с момента, когда увидел похудевшую Джесси, что показало ему ее не в облаках, подобной заре, а земной, подверженной болям и все же единственной во всей истории человечества. Разговор едва начался, как пришли Ева и Моргина. Последняя никогда не слыхала о Детрее; Джесси, познакомив их, ничего не упомянула о шляпе.

— Ну, Джесси, я ухажу, — сказала Моргина, подходя к кровати сестры. — Ничего серьезного, конечно, нет; я вижу, все будет хорошо.

— Прощай, Мори! — сердечно ответила девушка, приподнявшись и охватив талию Моргины, причем протянула губы. — Ты когда приедешь? Не знаешь? Смотри приезжай и... вот, нагнись, я тебя поцелую.

Моргина сделала движение прочь, но, опомнясь, быстро поцеловала Джесси в угол рта. Все стало плыть, покачиваясь и удаляясь, в ее глазах; она присела на край кровати и закрыла рукой глаза. Джесси встревожилась, но ее сестра, сделав усилие, встала и сказала: «Ужасный зной, слабая голова!»

Затем она простилась со всеми, мягко улыбнувшись большим глазам Евы, и ушла, раскачивая шелковой

сумкой, твердая и тяжелая в сером, глухом платье, в синей шляпе, единственным украшением которой был плоский синий бант. Дверь закрылась. Еще Ева услышала, как она кашлянула за дверью, и ее сердце неприятно сжалось.

Но начался разговор; Детрей на вопрос Джесси сообщил, что через несколько дней работы его будут окончены, после чего предстоит возвратиться в Покет, откуда он приехал.

— Отлично,— сказала Джесси, шевеля концом пальца его цветы,— вы будете мне писать?

— Непременно! — сказал Детрей и подумал с огорчением, что она намерена предложить ему «дружбу», то есть то, о чем на другой день девушки забывают.

Джесси открыла рот, чтобы заговорить о шляпе, но нашла теперь это неделикатным. «Он подумает, что только такому случаю обязан продолжением знакомства». Затем разговор пошел неровно, о пустяках. Между прочим, Готорн спросил, не в одном ли полку служит с Детреем некто Стефенсон, сын его старого знакомого.

— Не знаю,— ответил Детрей,— вернее, у меня не было времени знать. Я перевелся туда всего два месяца из 5-го Таможенного батальона.

— Значит, вы имели стычки с контрабандистами? — воскликнула Джесси.

— Увы! Я получал только рапорты о стычках. Это дело солдат-пограничников.

— Я думаю, неприятно ловить бедных людей, виновных лишь в желании прокормить семью,— сказала Ева, инстинктом чувствуя, что все помыслы Детрея обращены к Джесси, и что Джесси решительно признала его право существовать.— Батальон против нищих! Борьба слишком неравная.

— Конечно,— согласился Детрей.— Нельзя позволить мошенникам перебить батальон.

— Нельзя; и, к тому же, вас могли бы убить,— сказала Джесси.— Вы знаете, у Евы страсть сожалеть на оборот.

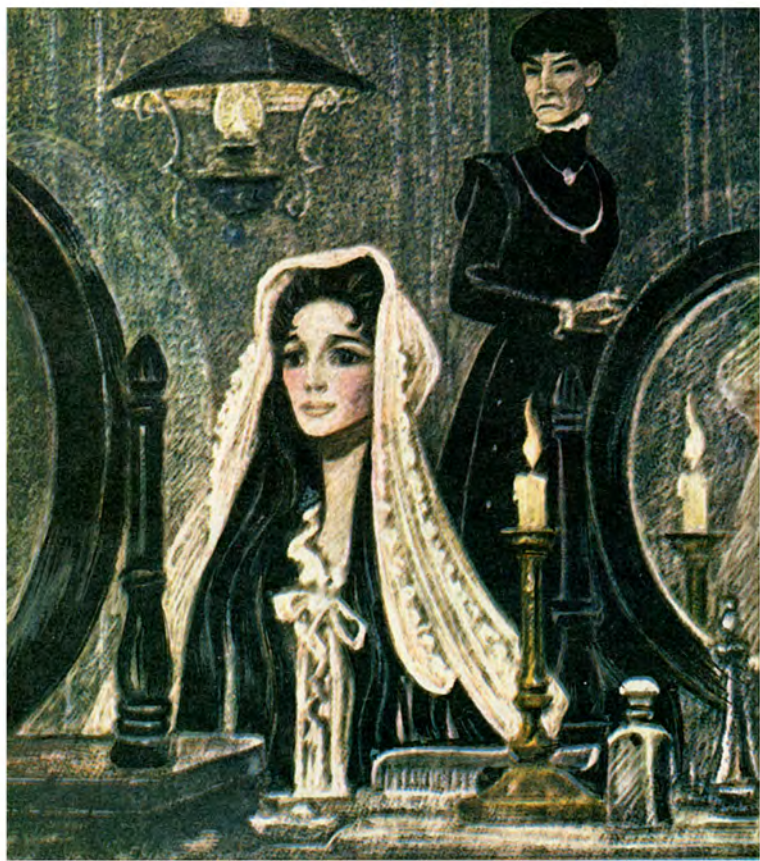
— Ты ничего не понимаешь,— возразила Ева.

— Я все понимаю. Вот скажите: разве контрабандисты — нищие?

— Нет,— сказал Детрей.— Они добывают много. Не редкость встретить контрабандиста, являющегося со-



«БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ»



«ДЖЕССИ И МОРГИАНА»

держателем целой банды. Кое-кто из них выстроил дома и накопил в банке, а остальные могли бы иметь то же, не будь слабы к вину и игре.

— Вот видишь, Ева, какие это нищне!

— Все равно, я становлюсь на их сторону.

— Стоит ли? — спросил Готорн. — В лучшем случае подешевеют чулки.

Ева расхохоталась.

— Серьезно, — сказала она, приходя в мирное настроение, — мне жаль этих людей, так устойчиво окруженных живописной поэзией красных платков, карабинов, гитар, опасных и резких женщин, одетых в яркое и высматривающих в темноте таинственные лодки своих возлюбленных.

— Издали это так, — согласился Детрей. — Некоторые вещи хороши издали. Но, смею вас уверить, что в большинстве — они самые обыкновенные жулики. Я хочу вас спросить, — обратился Детрей к Джесси, причем его лоб покраснел, — не внушает ли опасений состояние вашего здоровья?

Его церемонный, высказанный сдержанно и неожиданно вопрос вдруг так понравился Джесси, что она развеселилась и заблестела. Взглянув с признательностью, с теплым смехом в глазах, она сказала смеясь:

— Не внушает! Нет! Никаких опасений! Состояние моего здоровья недоброкачественно, но поправимо! Смею вас уверить!

Глядя на нее, все стали смеяться.

— Право, вы хорошо действуете на Джесси, — сказала Ева, взглядывая с улыбкой на отца, который улыбнулся ей сам и посмотрел на часы, двинув лежащей на коленях шляпой.

— Действует! — сказала Джесси, хохоча и уже стараясь удержать смех. — Отлично действует! О! Мне смешно! А вы не обижайтесь! — обратилась Джесси к Детрею, который с наслаждением прислушивался к ее смеху. — Мы будем с вами друзьями.

Детрей вздрогнул, и ему стало грустно.

«Вот оно, — подумал он со страхом. — Сказано слово «друзья», следовательно, надежда зачеркнута».

Джесси, перестав смеяться, откинулась на подушку и закрыла глаза.

— Устала? — спросила Ева.

— Устала, да.

Детрей встал одновременно с Готорном и тревожно взглянул на Еву.

«Она теперь уснет», — шепнула ему Ева и поправила шляпу.

— До свиданья, — негромко сказала Джесси, полуоткрыв глаза. — Я усну. Приходите все.

— Завтра я у тебя весь день, — решила Ева.

— Благодарю. Я уже сплю... сплю.

Вызвав сиделку и наказав ей тщательно смотреть за больной, Ева с отцом ушли: за ними шел Детрей, погруженный в раздумье.

— Мы едем домой, — сказала молодая женщина, когда они вышли на тротуар. — Как, на ваш взгляд, выглядит моя Джесси?

— Печальная перемена, — вздохнул Детрей. — Она была такой... Розовый, потрескивающий уголек, не обжигающий и горячий, светлый. И вот...

— Стихи без рифмы — все же стихи, — подозрительно заметила Ева.

— Да? — улыбнулся Детрей. — Дело в том, что такие девушки невольно вызывают слова. Воистину, осенью один человек будет адски счастлив.

— Это кто такой? — шуточно возмутилась Ева, забывшая о своей минутной интриге.

— Не так важно, кто, — усмехнулся Готорн, — гораздо важнее, что... один.

— Папа, ты разгулялся?

— И даже недурно.

— Так что же этот осенний?

Догадавшись, что Ева выдумывала, Детрей не захотел конфузить ее и ограничился замечанием о судьбе девушек вообще.

— Детрей, Джесси произвела на вас впечатление?

— Да, произвела. Почему я должен отрицать хорошее, если оно есть в душе?

Готорн с симпатией посмотрел на молодого человека, по всей видимости, сильно расстроенного.

— До свиданья, — сказал он, крепко пожимая его руку. — Мы ждем вас к себе...

Они расстались. Подсаживая дочь на сиденье автомобиля, Готорн спросил:

— Почему ты вообразила, что Детрей глуп?

— Я почувствовала, что глуп. Сегодня глупее, чем когда-либо,— сказала Ева с упрямством, вызвавшим у ее отца молчаливое удивление.

— Да... Иметь такую сестру! — сказал он после небольшого молчания.

Ева тоже помолчала, чтобы дать вполне развиться мыслям, обусловившим фразу Готорна, и подкрепить их.

— Ответа нет,— сказала она задумчиво.— Говорить можно много, а решения бесполезны. Что лучше в положении Моргинаны? Смерть или жизнь? Я уклоняюсь от ответственности сказать что-нибудь — в тоне закона.

— Мне кажется, что ты приписываешь Моргинане несуществующее. Женщины ее типа часто самодовольны.

— Нет. Она очень умна и беспощадно озлоблена.

— Низкая или высокая душа — вот в чем вопрос,— сказал Готорн.— Посмотри на некрасивую резеду.

## ГЛАВА XVIII

Оставшись один, Детрей прошел бесцельно по улице и повернул, тоже бесцельно, обратно. Стоял такой отвращающий и ослепляющий зной, что даже мысли изнемогали. Редко показывался прохожий, стараясь идти в полосе тени возле домов. С тяжелым от зноя и любви сердцем Детрей прошел к скверу Дурбана, где среди огромных агав фонтан гнал струи скачущих брызг. Безумно захотелось ему воды, льду, тени, пронизывающей сырости погребка. Между тем, оставалось не более часа до первого веяния прохлады, когда ветер с моря умеряет пламенение дня. Но этот остающийся час таил муки серьезные. Детрей разыскал винный погреб, куда набилось уже довольно народу, попивая красное вино со льдом, и уселся в самом конце длинного помещения, около бочек. Отсюда был виден ему солнечный блеск полукруглого входа.

Он потребовал вина, поданного в стеклянном кувшине, где плавал кусок льда, и начал остывать от жары. «Я буду называть ее «Джесси», что бы ни случилось со мной. Боже мой, как мне тяжело! Она поправится — я знаю, чувствую это. Однако ничего не выйдет и не может выйти. Бессмысленно развивать надежды. Ее

судьба должна быть как благоухание, таинственное и редкое. Так это и будет, но не со мной. Таким девушкам даже вообще как-то странно выходить замуж. Они должны были всегда оставаться девушками — не старше двадцати лет, чтобы о них болеть вот такой нестерпимой болью, какую переношу я».

Закончив свой гимн отчаяния и восторга, молодой человек сидел некоторое время, смотря в стакан взглядом суровым и безутешным. Наконец, страстно излившиеся мысли его, побыв где-то, вернулись и заговорили опять.

«Рассудок помрачается,— размышлял несчастный, пытаясь беспристрастно изучить опутавшую его зеленую лиану с пламенными цветами,— все самое худшее и лучшее заявляет о себе, и человек ничего не стыдится. Хочется, чтобы соперник, счастливый и достойный, висел на волоске от смерти, а я бы его спас, все-таки сожалея, что он не умер, и выслушал бы от нее слова благодарности, улыбаясь в мучениях. Ее неприятная сестра счастливее меня, потому что Джесси поцеловала ее. Хорошо, если Джесси упадет в нищету, бедствие, а я встречу ее на дороге, не знающую куда идти; мы женимся, и я буду за ней смотреть, буду ее беречь. Как я хотел бы спасти ее во время пожара или кораблекрушения!»

Заметив, что накликал изрядное число несчастий для ничего не подозревающей девушки, Детрей несколько остыл, добавив: «Да. В то же время я должен быть сдержан, покоен, весел; я должен сидеть на костре, обмахиваясь веером совершенно непринужденно; таков закон уважения к себе. Пока не поздно, я должен отсюда уехать. Иначе я погиб. Невозможно думать о том, что я думаю. Есть никогда не обманывающий голос души; я его слышу. Он говорит: «бессмысленно». Недавно, когда я взял в руки эту слетевшую с небес белую шляпу, у меня было смутное предчувствие, что неспроста находка моя; и я уже хотел ее положить на песок, чтобы кто-нибудь другой удивлялся, как вдруг ветром обвило ленту вокруг руки. Лента уговорила. Зачем я поддался ее движению?»

Чтобы затуманить неизбежно острую вначале боль недуга, вцепившегося в Детрея, он выпил залпом стакан холодного вина, и зубы его заныли. «Отрадно схватить



зубную боль,— подумал Детрей,— такую, чтобы рычать и бить кулаком в стену; тогда отлегло бы на душе».

«Однако,— продолжал он с легкомыслием, в равной мере законным для его помешательства, как и отчаяние,— однако, почему я так вдруг все решил очень уж в черном свете? Я читал где-то, что предложение «быть друзьями» в иных случаях чрезвычайно благоприятно. Относительно же того, что она девушка состоятельная, то тут больше эгоизма и тщеславия, чем разума, чем доброты. Разве это плохо, что она может дать сама себе больше, чем я могу дать ей, с своим жалованьем? Это хорошо, это гораздо лучше, чем если бы ей пришлось рассчитывать. Если любишь, это надо стерпеть, смириться; стерпеть ради нее. Если я откажусь жениться на ней, потому что она богата, она вправе заключить: «Он допустил мысль, что только ради денег можно на мне жениться. Сама я ничего не стою». Я ее люблю; доволен этого, чтобы быть правым и знать, что я прав».

Детрей рассуждал совершенно искренне, так как относился к деньгам равнодушно; только для Джесси он хотел бы их иметь немного побольше, чем у него было. Но он скоро заметил, что все эти скоропалительные мысли о браке с Джесси делают его смешным в собственном его мнении. «Джесси, вы обратили меня в кучу нервного хлама»,— сказал он, решительно вставая, чтобы изменить настроение, становившееся невыносимым.

Зной отошел; улицы лежали в тени. Бесчисленные сады Лисса благоухали цветами; дышать было свежо; а ясное небо, с высоко забравшимися в него ласточками, обещало на завтра такую же отраву зноя, как сегодняшней день. Детрей прочитал афишу и отправился в театр; пока на сцене какие-то немыслимые отцы упрекали своих детей в измене идеалам, а героиня старалась уверить публику, что искренне любит семидесятилетнего старика,— сложилось окончательно его решение: сегодня же сообщить Еве Страттон, что он с ночным поездом едет в Покет. На самом деле ему предстояло еще дня два работы и дня два сборов, но считая себя отсутствующим,— для Джесси и Евы,— Детрей таким поступком делал невозможным новый визит к больной, отрекался от телефона, от всякого сношения и растравления сердца, доставившего ему, в памятный этот день.

пылкую и мрачную безутешность. Совершенно забыв, что представляли на сцене, Детрей по окончании спектакля раньше всех выбежал из зрительной залы, сопровождаемый аплодисментами, и затворился в телефонной будке, вызывая Еву Страттон. Горе его было велико, отчаяние безмерно, отречение — полное и решительное. К его состоянию отлично подошли бы теперь: сделанное сожаление, сопровождаемое тайным зевком, равнодушное прощание, столкновение безотрадных вежливостей, но никак не просьба не уезжать. В таком случае Детрей мог наговорить противоречащие и странные вещи. Он не ждал ни искренних сожалений, ни особого интереса к себе, а потому сразу насторожился, когда Ева громко и поспешно сказала.

— О, наконец! И как кстати! Я прежде всего подумала о вас. Но ведь вы живете не в городе... Детрей, помогите нам: Джесси исчезла! Всего десять минут сюда звонила ее сиделка: Джесси разрыла гардеробную, все разбросала, во что-то оделась и ушла неизвестно куда. По-видимому, через окно на улицу, так как ворота уже заперты, а швейцар ничего не видел. Детрей, это бред; она, по-видимому, в горячке!

— Я слушаю, — сказал Детрей, крепко прижимая к уху приемник. Его самолюбивое волнение исчезло; сознание качнулось, но тотчас оправилось, и стал он спокоен — спокойствием резкого и неотложного действия. — Я слушаю очень внимательно; прошу вас, продолжайте.

— О, Детрей, не будьте так равнодушны! — воскликнула Ева. — Впрочем, я сама не знаю, что говорю. Но вы что хотели мне сказать?

— Я хотел сказать... но я, кажется, забыл. Дело в том, что ваше известие меня, естественно, поразило.

— Теперь слушайте: Джесси единственно могла поехать к сестре, в ее «Зеленую флейту»; двадцать семь миль от города. Автомобиль готов; я еду и прошу вас ехать со мной; если Джесси в беспамятстве, я не знаю, что может случиться.

— Вы правы. В таком случае прошу вас задержаться десять минут; я тотчас буду у вас.

— Какой вы ми...

Но Детрей уже положил приемник. Он быстро шел к выходу среди шумно и тесно покидающей театр толпы, опережая ее без остановок и толчков, инстинктивными

движениями, даже не замечаемыми рассудком, занятым совершенно другим. Момент действия сделал его снова самим собой; и он был уже не влюбленный, а любящий, согласный сто раз выслушать какой угодно отказ, лишь бы ничего не случилось худого с девушкой, которой надо помочь.

## ГЛАВА XIX

Трещина, куда Моргана толкнула полузадушенную Гервак, начиналась от озера и, снижаясь, шла к морю на высоте двухсот метров к его поверхности; затем, пересекая крутой склон, оканчивалась у береговых песков обыкновенным оврагом, засыпанным землей и камнями. В том месте, наверху берегового массива, где разыгралась сцена борьбы двух женщин, глубина трещины достигала ста двадцати метров, при ширине четырех. Глядя в нее с края обрыва, нельзя было ничего рассмотреть внизу; казалось, эта тесная пропасть навсегда обречена тьме, но смотревший изнутри вверх видел накрывшее ее узкой полосой небо. Свет проникал в недра провала подобием густых сумерек; подавленное зрение училось различать окружающее его двухстенное пространство,— как в погребѣ со светом сквозь щель. Эту трещину образовало землетрясение, потому внутренность ее напоминала то, что представил бы разорванный хлеб, если сложить его пополам, оставив между ними расстояние в дюйм. Ямы одной стороны соответствовали выпуклостям другой. Во многих местах висели застрявшие на весу куски скал, которым не давала упасть узость провала или навес над выступом. Дно трещины было непроходимо и залито водой. Спертый и сырой воздух, с сильным запахом гниющих стволов, время от времени падающих сюда после осенних бурь, раздражал дыхание. Совершенная и беспокоящая тишина стояла в громадном этом разрезе,— тишина бесповоротного равнодушия, мрачного, как рост подземного корня. Прислушиваясь к ней день, два, неделю, год, можно было с уверенностью ожидать, что ничего не услышишь, пока где-нибудь наверху такая же долгая работа времени сгноит дерево, и оно, уступив ветру, покатится в глубину расселины, где, родив шорох и стук, ляжет неподвижно на дне.

На глубине футов семидесяти в течение десятилетий образовалось одно из самых значительных засорений трещины. Основой ему послужил застрявший на узком месте камень, стиснутый стенами провала. Два ствола с длинными сучьями, ставшими от сырости и известковых паров крепкими, как железо, некогда обрушились сюда и легли по сторонам камня, увеличив помост. Листья, хворост, земля скапливались на этой преграде в течение многих лет, образовав зыблящуюся, пронизанную остриями обломанных сучьев площадку длиной метров десять, по которой ходить было так же удобно, как по сему, перемешанному с дровами. Тут росли дрожжащие пепельного цвета грибы, лепясь отрядами среди ползущей по стенам плесени; с краев помоста свешивались хворост и мох.

Несколько выше этого скопления хлама из стены выступал неровный карниз; еще выше, на расстоянии одного шага от карниза, чернела горизонтальная щель, метра полтора высоты и не менее пятидесяти метров длины,— род естественного навеса, в глубине которого нельзя было ничего рассмотреть.

На этот помост упала, потеряв сознание, Отилия Гервак.

Как ни был страшен удар падения с такой высоты, он не убил ее. Слой хвороста, смешанный с перегноем и пружинами сучьев, встретил тело Гервак лишь жестоким сотрясением, от которого закачался весь помост; кроме того, острый древесный обломок рассек ее левый бок, вспоров кожу до ребер.

Она лежала в этом положении, как упала и свернулась при упругой поддаче: запрокинув голову, с вытянутыми руками, повернутыми ладонями вверх, с воткнувшимися в мусор до колен ногами. Ее рот раскрылся, на щеках угасала судорога, мелко и безвольно томясь, как стихающая рябь воды.

Так лежала она долго, ничего не чувствуя, ни боли, ни сырого холода пропасти, постепенно оживлявшего расстроенное кровообращение. Затем она стала дрожать, вначале мелко,— почти незаметно. Ее рот закрылся; рука вытянулась, сжала пальцы и снова разжала их. Гервак начала трястись и вздыхать, как выброшенная на берег рыба,— все чаще и глубже, со стоном и с

бессознательными усилиями изменить положение. Наконец, стон затих, и она вся затихла.

Гервак открыла глаза. Она еще не чувствовала ни боли, ни страха. Ее сознание молчало. Ей казалось, что она стоит в каком-то коридоре, прислонясь спиной к двери, и видит впереди себя узкий далекий выход. Подняв голову, она увидела, где находится, осмотрелась и вспомнила. Резкий порыв вскочить обессилил ее; с трудом, осторожно вытащила она из хама застрявшие ноги и, увидев их, вся сжалась: они были ободраны, почернели и залиты кровью. Гервак ощупала скверный разрыв кожи около бедра, и ее рука стала красной от крови. Кое-как, слипшимися пальцами она ощупала ноги и руки; убедаясь, что переломов нет, Гервак несколько ободрилась.

Она посмотрела вверх. Высота и теснота наглухо замыкали ее. Никакой Жан Вальжан<sup>1</sup> не смог бы вскарабкаться по этим красновато-бурым отвесам с выступающими из них скользкими глыбами. Она осмотрелась еще раз и вздрогнула, увидев позади себя пустоту, где внизу стояла вечная ночь. Гервак встала, колеблясь на расползающихся ногах, но головокружение снова усадило ее. Заметив карниз, она поползла к нему, иногда проваливаясь руками среди хвороста и замирая от острой боли в ногах, когда ее раны касались сучьев. Наконец, она ступила на карниз и выползла под навес.

Изнемогая от чрезвычайных усилий, Гервак легла. Она была более удивлена, чем обрадована. Ее представления о причине и следствии были нарушены. Закон: «упавший в пропасть — погиб» — оказался доступным исключению. Не собираясь кинуться на дно трещины ради торжества естественного порядка, она отнеслась к спасшему ее заграждению насмешливо и брезгливо, но не могла долго останавливаться на этом, так как не знала, сможет ли выбраться из каменной западни.

Поступок Моргианы Тренган доказал все: если бы она не отравила сестру, Гервак не лежала бы теперь со свихнутой шеей и окровавленным боком на холодном, как мерзлая земля, камне.

Оторвав низ рубашки, Гервак сделала бинты и перевязала, как могла, ноги; рана на боку распухла и не

---

<sup>1</sup> Герой «Отверженных» В. Гюго.

переставала кровоточить, но все равно ее нечем было перевязать. Одевшись опять, она встала и двинулась по длинной впадине, часто останавливаясь, чтобы рассмотреть полутьму, в которой далекое и близкое казалось обратным. Эта впадина-навес была неровна во всех направлениях; местами приходилось идти по самому краю обрыва, часто нагибаться, даже ползти; иногда становилось просторно, высоко, но потом вновь следовали ямы и возвышения. Такой путь, протяжением метров пятьдесят, шел по уклону вверх и внезапно обрывался на высоте восьми метров от земной поверхности; здесь было уже светло, и свисающие зеленые ветви кустов недосыгаемо близко обозначались на голубой полосе верхнего света. Начав безотчетно надеяться, Гервак не испытала, однако, ни беспокойного возбуждения, ни счастливых мыслей о внезапном спасении; ее надежда была замкнутая и низкая,—надежда, закусившая губу. Снова нашла она свое спасение неестественным, подивилась и перестала думать о нем.

Гервак смотрела вверх по тому направлению, в каком пробиралась, но, оглянувшись, увидела позади себя мостик из жердей, с веревочными перилами, перекинутый через пропасть; он служил пешеходам. Это открытие совершенно успокоило Гервак. Ей следовало только сидеть и ждать, пока на мостике появится человек, чтобы крикнуть ему о помощи. Но было тихо вверху; изредка пролетали птицы; край облака показался над началом моста, но двигалось оно так мало заметно, как будто стояло, скованное тишиной и жарой.

Гервак глядела на мостик не отрываясь, так как боялась пропустить неизвестного, которому стоило сделать всего несколько быстрых шагов, как мостик вновь стал бы пустым. Она сидела слабая и мрачная; ее мысли о Моргiane не были неистово мстительны, но полны такой тонкой и продуманной злости, как расчет игры с презируемым, хотя и опасным противником. Гервак признала поражение и отдала должное великому мастерству притворства, каким едва не уничтожила ее хозяйка «Зеленой флейты». Реванш, на который рассчитывала Гервак, должен был ударить не по телу, а по душе. Она даже повеселела, решив поступить так, как задумала.

Казалось, оживление ее мыслей вызвало оживление наверху: Гервак увидела человека, который, держась за веревку, осторожно переставлял ноги по шатающимся жердям. Это был почтальон с сумкой; он шел за почтой и не особенно торопился.

— Стойте! Спасите! — крикнула Гервак, высовываясь головой и плечами из-под нависшего над ней камня. Она кричала не переставая, хотя почтальон сразу услышал и начал осматриваться, даже посмотрел вверх. Новый крик женщины указал ему, где она находится; он схватился за веревку и нагнулся, всматриваясь в отвес трещины, где белело лицо. Гервак стала махать рукой, повторяя:

— Сюда! Я здесь! Бросьте веревку!

— Как вы попали туда? — закричал почтальон, изумленный и сообразивший, наконец, что случай требует немедленной помощи. — Хорошо, держитесь пока, — продолжал он, — я побегу в одно место, где мне дадут веревку.

— Отвяжите ее! Эту! — крикнула Гервак. — Ту, за которую держитесь!

— В самом деле! — пробормотал почтальон. Он подергал веревку, которая служила перилами к мостику, и отвязал ее с обоих концов. Затем, скрывшись в той стороне, где томилась Гервак, примерил, хватит ли длины веревки. Гервак внезапно увидела ее конец, почти хлеставший по ее ловящей руке, но с отчаянием и злостью подумала, что человек не догадался сделать петлю, вдруг она услышала сверху:

— Виден ли вам конец?

— Виден, хватит ли завязать петлю? — закричала Гервак.

Ответа не было. Минуты две она ничего не видела и не слышала, страшно боясь, что веревка окажется коротка и, отправясь за помощью, почтальон разнесет слух о ее приключении. Она проклинала его медлительность и с ненавистью ждала окончания тоскливых хлопот. Наконец, ее волосы что-то тронуло; веревка снова показалась перед ее лицом, но теперь это была большая петля; она двигалась, то удаляясь в сторону, то вертясь около рук, и ей все не удавалось схватить ее.

— Направо! Немного направо! — вскричала Гервак.

Петля поползла вправо, вертясь и увиливая, но Гервак, улучив момент, схватила ее.

— Держу! — сообщила она.

— Отлично! — раздалось сверху. — Теперь сделайте так: пропустите одну ногу в петлю и сядьте как бы верхом; руками же держитесь за веревку выше головы. Когда вы так устроитесь, смело сползайте с трещины и повисните. Упасть не бойтесь, я держу крепко. Я тотчас потащу вас наверх.

Они не могли видеть друг друга из-за выступов над местом, где сидела Гервак, поэтому, продев на себя петлю, как было ей указано, и чувствуя веревку болтающейся свободно, Гервак некоторое время не могла решиться скользнуть из своей расселины в пустоту. «Подтягивайте!» — крикнула она, готовая закачаться над пропастью. Веревка приподнялась; тогда, считая, что сотрясение уменьшится, Гервак попросила натянуть веревку потуже и, с захлестывающей дыхание мыслью о тьме внизу, выскользнула из-под навеса, перевернувшись несколько раз; ее плечо стукнулось об отвес; она придержалась за камень и остановила вращение.

— Тащите! Тащите! — закричала она, поджав ноги и закинув голову.

Она видела у самых глаз стену провала, которая неровными скачками подалась вниз и остановилась. Веревка, туго прильнувшая к выпуклости камня, терлась о него и поворачивалась вокруг себя. Фут за футом Гервак приближалась к зеленеющей на краю траве. Наконец, загорелая жилистая рука высунулась сверху, схватив веревку ниже края трещины, к ней присоединилась другая рука, и они втащили перепуганную Гервак, причем она помогала почтальону, уцепившись за древесный корень. Держась одной рукой за веревку, другой рукой почтальон схватил Гервак под мышку и опустил на траву.

— Вы думали, я ушел? — сказал почтальон. Это был высокий человек лет тридцати, с круглым, мускулистым лицом. — Вот что пришлось сделать, потому что веревка оказалась коротковата.

Свалившись от утомления, Гервак увидела показанную ей веревку, к верхнему концу которой был привязан ремень от сумки, а к ремню длинный сук, вроде шеста.



Гервак поднялась и села на пенё.

— Вы здорово разбились! — сказал почтальон. — У вас все в крови.

— Знаете, что произошло? — усмехнулась Гервак. — Я села на краю, свесила ноги, и у меня закружилась голова: дальше я ничего не помнила; очнувшись, увидела, что по странной прихоти обстоятельств упала на глубоко засевшую пробку из стволов, хвороста, мха и мягкого сора. Рядом была трещина; по ней и ползла все выше и очутилась около мостика.

— Чудо! — сказал почтальон. — Вы спаслись чудом. Как мой приятель, кочегар с «Филимона». Он упал в машинное отделение, а снизу другой кочегар нес на голове свернутый матрац. Вот это и задержало стремление моего приятеля достичь нижней палубы. Слушайте, вы вся в крови и расшиблены: я сведу вас тут недалеко, там вас полечат.

— Нет, я живу в городе, и я пойду в город, — ответила Гервак. — Ноги у меня целы. Я сильна, и никакие «чудеса» моих сил не отнимут. Благодарю за... то, что подняли меня вверх.

Взволнованный почтальон, у которого были ободранные ладони, ждал слов благодарности, не сознавая, что ждет; он обрадовался и покраснел, но окончание фразы придало всему серый тон. Смотря на испачканиую и растрепанную Гервак, он не чувствовал теперь того естественного, сильного желания помочь до конца, как вначале. Если бы она сказала: «Вы спасли меня, благодарю вас», — он был бы совершенно доволен, так как сам восхищался своей находчивостью при употреблении шеста. Но слова «спасение» он не услышал. Он совсем расстроился, когда Гервак сказала, что запишет его адрес, чтобы дать ему денег.

— Напрасно вы так говорите, — заявил он с досадой. — Хотите, я доставлю вам экипаж?

— Это лишнее, — ответила Гервак, собираясь идти. — В полумиле отсюда есть таверна, где я решу вопрос об экипаже самостоятельно.

— Как хотите, — сказал почтальон сдержанно. У него окончательно пропала охота помочь ей. Он вздохнул, надел свое кепи и отправился привязать веревку вдоль мостика. — Мне ваши секреты не интересны, — прибавил

он, остановясь.— Знаете ли вы, по крайней мере, как выйти на шоссе?

— Да, знаю.

Незаслуженно оскорбленный человек растерянно улыбнулся и пошел к мостику. «А! Ты надеялся, что я подчеркну чудо»,— думала Гервак, отходя и облегченно осматриваясь. Скоро она заметила тропу и вышла по ней на шоссе значительно ниже «Зеленой флейты». Она шла тихо, хромая и терпя боль ноющих ран. Гервак сильно ослабела, но ее поддерживала ирония и, насмешливо раздражаясь при воспоминании о спасительной причуде провала, своей кривой усмешкой она полагала стать выше всего, не зависящего от ее мерок.

Немного погодя услышала она дотоняющий быстрый звук и, обернувшись, заметила автомобиль, пассажирами которого были мужчина и дама, сидевшие рядом. Гервак склонилась к земле, уронив голову на руки. Она оставалась в таком положении, пока, вскоре после сстановки автомобиля, не почувствовала, что на ее плечо легла сдержанию спрашивающая рука, и посмотрела на джентльмена, старавшегося ее приподнять.

— Что с вами? — участливо спросил он.

— Я разбита, я не могу идти,— сказала Гервак.

— Где вы живете?

— Будьте добры, доставьте меня в Лисс, на улицу Горного хрусталя, дом номер шесть.

— Хорошо,— сказал джентльмен. Он взглянул на шофера и тот, выйдя с сиденья, помог ему довести больную в автомобиль, где, притворяясь, она села рядом с шофером.

— Какое несчастье произошло с вами? — спросила дама, сочувственно сведя брови.

— Я разбита...— мрачно повторила Гервак.

В лице дамы, спокойном и тонком, проступил румянец. Она повернулась к своему спутнику, который пожал плечами и приказал ехать.

— Итак, дорогая Мери,— произнес он,— этому курорту, несомненно, принадлежит будущее!

— Я очень рада,— сказала дама.

Затем автомобиль двинулся с быстротой ветра, и никто более не обращался к Гервак,— ни с вопросами, ни

с советами; она тоже сидела молча, полная угрюмой и беспредметной иронии, до которой не было никому дела.

## ГЛАВА XX

В десять часов вечера Джесси, спавшая все время после ухода гостей, проснулась беспокойно и сразу. Она села, дыша с усилием.

Она лежала в тени. У отдаленного стола, при свете небольшой, с темным абажуром лампы, расположилась в кресле, читая книгу, сиделка.

— Я проснулась,— сказала Джесси, оглядываясь.— Что такое я забыла? А где письмо?

Поняв, что говорит со сна, девушка понурилась и зевнула; затем была очень удивлена, когда сиделка взяла со стола конверт и подошла к ней.

— Вам есть письмо,— сообщила женщина. Сообразив, что Джесси спала, сиделка тоже удивилась ее словам о письме, которого она еще не видела, и сказала об этом.

Устало посмотрев на нее, Джесси пожала плечами и, откинувшись на подушки, стала рассматривать конверт. Сиделка засветила для Джесси вторую лампу. Почерк был незнаком девушке; без особого любопытства она вскрыла конверт и вытащила аккуратно сложенный листок. С каждым словом письма, отпечатанного пишущей машинкой и не имевшего подписи, ее изумление возрастало и, инстинктивно запахивая халат, теряясь от мыслей, Джесси начала сильно вздыхать, чтобы опомниться и одолеть слабость, что ей несколько удалось. Желая немедленно остаться одной, Джесси сказала сиделке, которая снова удалилась на свое кресло:

— Пожалуйста, приготовьте мне кофе. Очень хочется пить: только остудите сначала.

Ничего не подозревая, женщина отправилась исполнять просьбу Джесси, а девушка, задрожав, перечитала письмо:

«Ваша сестра отравила вас. Вы не больны, вы отравлены. Этот яд убивает в течение 10—12 дней. Лечение бесполезно, если даже врач знает об отравлении. Пока прямой опасности нет, а завтра утром с вами будут говорить по телефону. Противоядие известно только

нам; оно может быть доставлено, если вы согласитесь уплатить 1000 фунтов».

Ноги Джесси заныли; свет стал темнеть, и нервная тошнота стеснила горло. Второе чтение еще больше напугало ее. Ни верить письму, ни опровергнуть его девушка не могла; ее испуг перешел границу, перед которой еще можно стыдиться себя за потерю самообладания, имеющую значение подозрения; не в ее власти было сдерживать чувства, подобные ужасу при пробуждении в ярком свете пожара. Никто среди ее знакомых не мог шутить так. Ничего не объясняя, зная лишь, что должна немедленно спешить к сестре за объяснением и успокоением,— иначе умрет до утра или лишится рассудка,— Джесси встала в кровати на колени и начала прятать письмо в стол, под подушку, в книгу, вынимая и перемещая его без цели, пока не опомнилась. Тогда, стиснув письмо, она покинула кровать и надела туфли.

Ключ от гардеробной комнаты обыкновенно находился в замке. Помня это, Джесси тихо открыла дверь и побежала одеться. От страха и торопливости ее движения были бестолковы, неверны, и она не все время точно соображала, что делает. Пробежав залу и часть коридора, Джесси повернула за угол и с облегчением увидела ключ в замке: теперь, как и всегда, он заявлял о честности служащих. Раскрыв шкапы, Джесси побросала на пол все, что сняла с вешалок, но ее сознание не могло быстро управлять выбором. Она искала подходящее платье. Прижав к груди ворох одежды, Джесси вытряхнула из него коричневое платье, не требующее при одевании особой возни, а потому отвечающее быстроте замысла. Тут же она надела платье, криво застегнув кнопки; укутала голову голубым шарфом; крадучись, бегом вернулась к себе; натянула чулки, сунула ноги в какие попало туфли, захватила деньги, письмо и выскочила, открыв окно, на тротуар переулка.

Если бы она не так торопилась и горевала, ее сборы отняли бы значительно меньше времени, чем это произошло в действительности. Сотрясение прыжка с окна лишило ее дыхания; постояв у стены дома со слабым, нехорошим сердцем, причем ладонями и лбом опиралась на стену, Джесси отошла на тротуар, возбудив внимание немногочисленных прохожих, но, к ее облегчению, никто не подошел спрашивать ее, что случилось. Едва



«ДЖЕССИ И МОРГИАНА»



«ДЖЕССИ И МОРГИАНА»

передохнув, Джесси принялась искать экипаж и, не пройдя половины квартала, увидела таксомотор. Шофер взглянул на девушку в шарфе с благосклонной улыбкой. Так как Джесси не улыбалась, а категорически предложила десять фунтов за полчаса быстрой езды, он почтительно осведомился, куда ехать, и приступил к исполнению своих обязанностей. Едва Джесси уселась, ее начало колыхать, мчать; южный ветер перевернулся в ушах; стремясь в рот, в глаза, он прижал шарф к разгоряченному лицу девушки; отсверкали полумночные огни города, сменяясь тьмой отлогих холмов, и Джесси стала спокойнее. Движение облегчало ее; уверенность мелькающего в пространстве автомобиля заражала и ее уверенностью, что скоро наступит отдых.

Она думала только о письме, о Моргiane — бессильно и страстно, как стучат в дверь, призывая на помощь, но не слыша утешающего движения. Иногда с зеленой дороги выбегал страх, хватая ее руки, которые она тоскливо кутала в шарф, и снова отлетая в холмы, подобно тени придорожной оливы, опрокинутой светом фонарей. Слова «вы отравлены» не оставляли Джесси; они мчались среди холмов, вздрагивали в ее дыхании; где-то в углу, возле ее ног, эти слова стучали и торопились, как шарф, терлись о ее лицо, смешанные с ветром и тьмой.

Джесси очнулась; казалось ей, что в этом неопишемом состоянии она уже видела Моргiane, но не могла представить ни сказанного сестрой, ни что сказала сама. Они как будто уже расстались, и Джесси возвращалась в город. Как только она это представила, никакими усилиями сознания Джесси не могла вызвать представления, что едет из города. Направление перевернулось. Лишь когда мелькнули сияющие дома Каменного подъема и дорога, при новом возбуждении машины, пошла вверх, истинное направление стало в ее уме на свое место. Через несколько минут по обрыву, огражденному стеной, автомобиль выехал на ровное место и устремился к единственному огню дома, тотчас пропавшему за крышей жилища Гобсона. «Огонь есть, Моргiane еще не спит», — подумала Джесси.

Машина качнулась, остановилась; но изнуренная девушка несколько мгновений еще мчалась — внутри себя — по инерции чувств движения. Она сошла, запла-

тила деньги и, сказав: «Возвращайтесь, я более не поеду», позвонила у ворот. Уже лаяла подбежавшая из глубины двора собака. Шум у ворот, лай и звонок разбудили Гобсона. Он открыл окно, выглянул и, увидев женскую фигуру, не сразу узнал Джесси.

— Гобсон, впустите меня! — крикнула девушка. — Сестра дома?

С великим удивлением поняв, что приехала Джесси, Гобсон кинулся со всех ног открывать. Он едва успел надеть туфли и пальто, но и в пальто чувствовал свежесть ночи; еще более удивился он легкой одежде Джесси и ее плохому виду. Не решаясь ничего спрашивать, он впустил девушку и пошел сзади ее к подъезду, твердя:

— В спальне виден свет, а Нетти, наверное, уже спит; пожалуйста, да скорее, а то простудитесь; воздух здесь резкий.

Они подошли к подъезду; тогда, оставив Джесси, Гобсон обошел угол дома и постучал в окно горничной. За стеклом начала кидаться белая тень; скоро, с переполохом в лице, Нетти открыла дверь; приветствуемая ее тревожными восклицаниями, Джесси вступила в переднюю.

— Моргиана спит?! Разбудите сестру, — сказала Джесси, пройдя в первую комнату, откуда наверх шла лестница.

Гобсон удалился, горничная занесла уже ногу на ступеньку лестницы, но отступила, — сверху спускалась Моргиана, вполне одетая и еще не ложившаяся. Она слышала, как рокотал и остановился автомобиль; не узнала, а потом, с озлоблением и трусливой дурнотой в сердце, узнала голос Джесси, и все метнулось в ней, так как она почувствовала занесенный удар; не зная, ни в чем он, ни что случилось, Моргиана обмерла, когда, открыв дверь, расслышала слова Джесси «разбудите ее» внутри дома. Тогда только, крепко зажмурясь и с болью вздохнув несколько раз так глубоко, что смирилась отчаянное сердцебиение, она пошла вниз, готовая принять всякий удар.

Еще на лестнице Моргиана остановилась и нагнулась, всматриваясь в лицо сестры. Джесси бросилась к ней; не удержав слез и смеясь со страхом в глазах, она схватила ее руки, слабо таща сестру вниз и твердя:



— Я виновата, Мори, я ужасно виновата; я приехала, чтобы ты простила меня! Я буду у тебя ночевать!

— Нетти, вы более не нужны,— сказала Моргиана горничной,— идите. Джесси, ты помешалась? — спросила она, когда горничная закрыла за собой дверь.

— Я помешалась. Меня помешало письмо.

«Лгать»,— подумала Моргиана, догадываясь уже о том, что предстонт ей.

— Хорошо, письмо, однако пройдем в столовую. Ты совершенно больна; твой вид ужасен. Кто отпустил тебя?

— Ах, теперь все хорошо! — вскричала Джесси, идя за ней.— Но ты накажи меня! О, как я измучилась, как страдалась я за эти часы! На письмо, на, возьми и прочти, и догадайся, кто мог написать так!

В небольшой комнате, куда они вошли, Джесси легла на диван, затем приподнялась и подперла рукой голову. Моргиана прочтала письмо, медленно ходя перед глазами сестры, и поняла, что Гервак жива. «Да, лгать»,— сказала она себе, но ее лицо отказалось лгать в эту минуту; оно стало белым и диким. Не владея собой, Моргиана скомкала письмо; растерявшись, она стала перекладывать его из руки в руку; наконец, сунула в карман юбки. В этот момент, по ее лживым и упорным глазам, девушка узнала всю правду. Зная ее теперь, она не могла верить; знала и не верила.

— Отдай мне письмо! — вскричала Джесси, протягивая руку.— Отдай письмо, Моргиана! Я должна умереть с ним!

— Что ты кричишь?—угрожающе шепнула Моргиана.— Можно подумать, что я изверг. А! Ты не разорвала с негодованием злое письмо; ты поверила, спешила оскорбить меня?! Письмо написал подлец; кто он? как я могу знать?!

— Моргиана, немедленно говори!

— Не кричи. Если ты больна, оставайся здесь, но не терзай меня. Я не позволю тебе кричать.

— Моргиана, я требую, чтобы ты села и говорила. Помни, что мне худо! Говори просто и ласково, как с сестрой!

— Хорошо. Что я могу сказать?

— Тогда верни письмо.

— Нет!

— Скажи правду, Мори, родная моя!  
— Я — правда. Я — сама правда перед тобой!  
— Сестра, ты видишь, что я больна; я уже не отвечаю за мысли свои! Сядь, поговорим с доброй душой! Кто же мог так подшутить?

— Зачем ты притворяешься? Ты не вернешь письму. Скажи: веришь или не веришь?

— Да, я еще не знала, что ты такая, — сказала Джесси. — Не говори так жестоко; мне страшно от твоих слов!

Моргана вынула из кармана письмо и быстро, но старательно разорвала его на мелкие клочки, которые кинула за решетку камина.

— Вот мой ответ, — заявила Моргана. — Иди наверх и ложись. Но ты сделаешь лучше, если немедленно покинешь мой дом. Я дам тебе свой автомобиль.

Джесси тупо следила за ее движениями.

— Хорошо, — сказала она, вставая и пересаживаясь близко к сестре, прямо против нее. — Я узнаю правду простым путем. Завтра же я буду просить лицо, прославшее письмо, явиться ко мне, ничего не опасаясь. Тогда мне скажут, в чем дело!

— Джесси, ты не сделаешь так, потому что это мерзость!

— Нет, это не мерзость! Ведь я отравлена, понимаешь ты или нет? Не бывает таких болезней, не может быть!

— Не кричи! Говори тише!

— Мори! Сними же этот ужас! — вскричала Джесси, плача навзрыд. — Неужели ты — палач мой?

— Конечно, нет, — сказала Моргана, и ее осенила ложь, в которой выгоднее было запутаться, чем сказать истину. — Письмо, полученное тобой, — новое преступление.

— Значит, меня все-таки опоили?

— Мучительно тяжело мне, Джесси, но я вынуждена признаться. Ты знаешь, что я живу очень серой, совершенно ограниченной жизнью. Ты слушаешь?

— Я слушаю, говори!

Джесси смотрела на нее с надеждой и страхом.

— Я наказана за свои фантазии, — продолжала Моргана, вставая и расхаживая по комнате, чтобы не видеть глаз девушки. — Я купила у одного человека, —

адрес и фамилию которого могу сказать, если хочешь,— особое средство, обладающее, по его словам, способностью вызывать отчетливые, красивые сны. Так он сказал. У меня нет жизни, и я хотела испытать сны. В этом тяжело признаться, но это так.

Расстроенный ум Джесси изнемогал, стараясь отозваться доверием на всякое объясняющее слово. Моргiana говорила неровно: то с излишней силой, то трудно и с остановками. Но Джесси не следила за тем; ей было важно, что она скажет.

— Тебе тяжело? — спросила Моргiana, ловя в дыму лжи подобие странной правды, очертания, напоминающие действительность.— Я сокращу рассказ; ты приляжешь, я отвезу тебя домой и вызову твоего врача. Но... что я хотела сказать? Да, я тайно от тебя дала тебе принять несколько капель.

— Купила себе, а дала мне!

— Да!

— Почему?

— Я хотела узнать действие.

— Действие ты могла узнать на себе.

— Джесси, я знаю, как ты любишь рассказывать сны и как они у тебя интересны. Не всегда можно дать себе отчет в подобных вещах. Не могла же я думать об опасности для тебя! И вот я вижу, что попала в руки преступников, которые продали мне что-то вредное под видом наркотика, с целью вымогать потом деньги.

— Моргiana, этого не может быть. Неужели они, или кто там, будут шантажировать меня, пострадавшую? Ведь ты должна была пить эту... это — как ты говоришь — особое средство для снов. Никто не знал, что тебе придет в голову поднести его мне! А затем,— какой расчет дать отравляться тебе?

— Как я могу знать, в чем тут был расчет? Ты молода, испугана; платишь бешеные деньги за противоядие; боишься семейного скандала,— вот, может быть, почему!? Так же, как ты, я теряю соображение, стараюсь понять. Может быть, яд был дан по ошибке, а затем явилось намерение получить выгоду.

Джесси молчала, склонив голову и положив вытянутые руки на стол. Ее ресницы дрожали, блестя слезами.

— Это случилось в то утро?

— В какое утро?

— Когда ты пришла ко мне говорить с Флетчером. Осторожность изменила Моргиане. Моргиана ответила утвердительно, когда следовало сказать, что подмешала яд в питье вечером накануне.

— Разве человек видит сны днем? — спросила Джесси тоном печального торжества, открывая глаза и решительно вытирая их. — Моргиана, ты лжешь! Теперь я не могу тебе верить, и, может быть, хорошо, что ты выдумала эту историю с красивыми снами. Благодаря ей, слушая тебя, я хоть немного привыкла к мысли, что ты, моя сестра — чудовище! За что же ты погубила меня?

— Успокойся, Джесси, — сказала Моргиана с нервным, произвольным смехом, — я дала тебе это лекарство утром, потому что мне были даны разные наставления. Днем должны были быть грезы наяву, подобные снам.

— Такие же красивые, как то, что ты сделала? За чем, дав мне отраву, ты тотчас уехала?

— Тебе худо, Джесси!? Позволь, я помогу тебе лечь.

— Не тронь! Не касайся меня! Я лягу сама.

Джесси подошла к дивану и прилегла, почти свалилась, с помутневшим лицом. Силы оставили ее, и она подумала, что теперь умирает. «Оленя ранили стрелой»... вспомнила Моргиана. Возбуждение ее и потрясение собственной ложью перед лицом погибающей были так остры, что она продолжала говорить тихо и настойчиво:

— Я ничего не сделала, ничего. Но сны я хотела видеть; я, Джесси, имею право на сны. Во сне я могла быть ничем не хуже других: стройная, веселая, красивая я должна была быть во сне. Ведь это меня мучит, Джесси; ты не можешь понять, как тягостно смотреть на других, которыми все восхищаются, которым бросают цветы и поют песни! Мне больно, но я должна это сказать, так как я хотела жизнь заменить сном. Старая жаба хотела видеть себя розой; она сделала глупость. Только глупость, Джесси, ничего больше. Теперь ты все знаешь. Ты добра и простишь меня; но ведь скоро ты будешь здорова! Я поеду завтра же, и я добьюсь противоядия от этих мерзавцев или признания, чем ты отравлена, чтобы привлечь к этому делу врача, на кото-

рого можно положиться, что он не разгласит печальную ошибку твоей сестры.

Джесси открыла глаза и в изнеможении махнула рукой.

— Ты все сказала, благодарю,— прошептала она.— Ну, вот, кончена моя жизнь. К этому шло. Кто эти люди, у которых покупала ты сладкие сны?

Моргиана молчала.

— Говори же, дорогая сестра!

— Я, может быть, перепутала фамилию. Она записана у меня; я завтра тебе скажу.

Джесси, с внезапным порывом, вскочила и села. Она так страдала, что хотела бы призывать смерть, но смерть пугала ее.

— Помогите! — закричала девушка.— Помогите! Здесь убивают!

Моргиана, освирепев, зажала ей рот рукой.

— Помо... — вырвалось из-под ее пальцев.

— Ты хочешь скандала? — шепотом крикнула Моргиана.— Знаешь ли ты, что может получиться? Тебя не спасут тогда!

— Пусти, я уйду,— сказала Джесси, отталкивая ее руку.— Отойди, открой дверь. За что же это мне все, боже мой! Спаси и помилуй нас!

Она встала, порываясь выйти, но Моргиана, силой удерживая сестру, сказала:

— Слушай, клянусь тебе, ты немедленно поедешь домой! Но только не выходи из комнаты. Сейчас будет автомобиль. Я пойду и распоряжусь, и я тебя отвезу!

— Кто бы ни был, но только не ты!

— Это буду я, так как я не виновата, а ты теперь невменяема!

— Ложь! — сказала Джесси, продолжая плакать с открытыми глазами, полными безысходного отчаяния и бреда.— Ложь, Моргиана, палачиха моя. Ты все и обо всем лжешь. Если ты хотела наследства, тогда что? Но пусть; где автомобиль? Я уеду.

Она села, а Моргиана вышла. «Надо лгать,— сказала она,— единственно,— одна ложь до конца; бежать, значит,— признаться. Она уверилась, но не донесет. Я ее знаю. Она лучше умрет. Она умрет после этого разговора. Она может выбежать, пока я хожу».

Моргиана осторожно повернула ключ в двери, но, как ни тихо было движение, Джесси услышала, что ключ тронулся. Тогда ей представилось, что в соседней комнате сидит темный сообщник, который должен войти и доделать то страшное, что задумала Моргиана. Слыша по шагам, что Моргиана ушла, Джесси попыталась открыть дверь, но, видя ее запертой, подбежала к окну. От страха и горя вернулись к ней силы с тем болезненным исступлением, какое уже не рассчитывает препятствий. Соскользнув с подоконника, девушка очутилась в саду и, подбежав к стене, поднялась на дерево по приставленной у стены тачке. Дерево это находилось в небольшом расстоянии от стены, так что переступить с ветвей на ее гребень было бы не трудно здоровому человеку. Джесси отделилась от дерева в тот момент, когда верхний край стены приходился ей под мышкой; упав руками на стену до самых плеч, девушка, отталкиваясь ногами от ствола дерева, проползла все дальше через гребень стены и, потеряв равновесие, свалилась по ту сторону, в сухую траву.

«Это сделано,—подумала она,—и я полежу немного, чтобы идти, не падая. Но нет, надо идти или они поймают меня». Она встала, шатаясь и придерживаясь за стену, наказывая себе: «Все, только не обморок!» Наконец, ей удалось двинуться прямо через кустарник; она плохо соображала и думала, что выберется на дорогу, меж тем как шла по направлению к морю. «Это лес,—сказала Джесси,—но я не боюсь. Лес не так страшен, как быть с сестрой. Она не сестра мне; такая сестра не может быть у меня. Кто же она?» И в помраченном рассудке девушки началось действие сказки, убедительной как самая настоящая правда. «Сестру мою подменили, когда она была маленькой; ту украли, а положили вот эту. А та, которая любит сухарики и так на меня похожа,—та моя родная сестра. Да, это она, и я пойду к ней. Она сказала, что живет тут где-то, неподалеку. О, я знаю где! Мне надо пройти лес, потом я ее позову».

Она шла как слепая. Пасмурное небо являло ту же тьму, что земля и стволы внизу. По лицу Джесси скользили листья, она оступалась и останавливалась, стараясь заметить где-нибудь луч света. Но лишь сырая ночь стояла вокруг и, благодаря сырости, делавшейся

тем более резкой, чем дальше она погружалась в лес, ее слабость перестала угрожать обмороком. Джесси дрожала; ее ноги были расшиблены, но ясное представление о где-то недалеко находящейся дороге, которая ведет к неизвестной сестре, было таким упорным, что Джесси ежеминутно ожидала появления этой дороги,—широкой, полной садов и огней.

Ее больная фантазия была полна теней и загадочных слов, неясно утешавших ее, в то время как страх умереть одной среди леса уступил более высокому чувству—печальному и презрительному мужеству. Ее пылкое, разрывающее сердце отчаяние прошло; хотя кончилась та жизнь, которую она любила и берегла, и настала жизнь, ею никогда не изведанная,—с отравленной душой и с сердцем, испытывавшим худшее из проклятий,—она уже не горевала так сильно, как слыша ложь Морганы. Ее отчаяние достигло полноты безразличия. Наплакавшись, она брела теперь с сухими глазами, протягивая руки, чтобы не наскочить на сук, и прислушиваясь, не гонятся ли за ней тени «Зеленой флейты». Хотя лес и мрак защищали ее от воображаемого преследования, Джесси не смела кричать, боясь, что ее настигнут по голосу. Она шла теперь в направлении, параллельном береговой линии, и ушла бы далеко, если бы не припадки головокружения, во время которых она долго стояла на месте, держась за деревья. Несмотря на сырость и холод, ее так мучила жажда, что Джесси лизала покрытые росой листья, но от этого лишь еще сильнее хотелось пить.

«Неужели же я заблудилась и погибаю? — сказала девушка.—Как страшен такой конец! Не могу больше идти, нет у меня сил. Сяду и буду дожидаться расвета».

Когда она так решила, во тьме, перед ней, засветились листья огненными и черными бликами. Из последних сил Джесси побежала на свет и увидела жаркий костер, возле которого, пошатываясь, ходил старик с небритым, нездоровым лицом. На его плечи был накинута пиджак; у костра лежали шляпа, хлеб и бутылка. Вторая бутылка стояла рядом с узлом, из которого торчала третья бутылка. Старик ломал хворост о колено, подбрасывая его в огонь.

Этот человек стоял к Джесси спиной, согнувшись над хворостом. Добравшись до костра, девушка сказала:

— Если можете, спасите меня! Мне так худо, что не могу уже ни идти, ни стоять. Можно ли мне сесть у костра?

Заслышав так изумительно раздавшийся женский голос, старик повернул голову, оставаясь в том положении, при каком ломал хворост. Наконец, его направленные вниз и назад глаза заметили разорванный шелковый чулок Джесси. Он оставил хворост, повернулся и провел грязной рукой по спутанным на лбу волосам, смотря, как силится стоять прямо эта тяжело дышащая неизвестная девушка с распухшим от слез лицом, вздрагивая от холода и усталости.

— Садитесь,— сказал он задумчиво, с печальным, весьма поверхностным интересом рассматривая Джесси.— Кто вы ни были, вам необходимо согреться. Места хватит.

Он бросил пиджак к костру и указал на него рукой, а сам отошел к противоположной стороне и сел, поставив локти на поднятые колени. Погрузив спокойное лицо в заскорузлые ладони свои, как в чашу, неизвестный увидел, что девушка прилегла, беспомощно опустившись на локоть.

Волна жара падала на плечи и лицо Джесси, согревая ее. Широко раскрыв глаза, с вопросом, но без страха смотрела она на хозяина лесного огня, в то время как тот сидел и размышлял о ней без какого-нибудь заметного удивления. Обеспокоенная его страшным видом, Джесси сказала:

— Вы не должны сердиться на то, что я, может быть, помешала вам лечь спать. Я заблудилась. А утром, когда вы поможете мне выбраться из этого леса, я сделаю для вас все, что вы хотите!

— Отлично,— сказал неизвестный.— Я не любопытен, крошка, и не жаден. Огонь огнем, и я вас выведу, если только вам есть куда идти. Но не хотите ли вы поесть?

— Нет. Я хочу пить, только пить! Нет ли у вас воды?

— Вы больны?

— Я очень больна. Пожалуйста, дайте мне хоть глоток воды!



Видя, как жадно смотрит она на бутылки, старик подошел к ней и сел рядом. Он ничего не говорил, а только смотрел на девушку, пытаясь правильно оценить ее появление. Наконец, ему стало жаль ее, и сквозь крепчайший спиртной заряд, настолько привычный для него, что даже опытный глаз не сразу бы определил принятую им порцию, старик почувствовал, что видит совершенно живого человека, а не нечто среднее между действительностью и воображением.

— Глаза ваши не хороши, а сама бледная и дрожите,— сказал он.— Значит, больная. Но только, дитя мое, в той бутылке вода не для детей. О воде этой уже сто лет пишут книги, что она вредна, и чем больше пьют, тем больше ее пьют. Не знаю, можете ли вы ее пить.

— Что же это такое?

— Виски, друг мой.

— О, дайте мне виски! — взмолилась Джесси, приподнявшись и прикладывая руку к груди,— я не пила виски, но я читала, что оно освежает. А мне плохо! Я согреюсь тогда! Хотя бы только стакан!

— Освежает,— усмехнулся старик.— Вам случалось пить водку?

— Нет, никогда!

— Все-таки я рискну дать вам стакан. У вас лихорадка, а при ней полезна водка с хиной. Хина у меня есть.

— Не лихорадка, нет,— сказала Джесси.— Я отравлена и, может быть, должна умереть. Хина не поможет мне победить яд.

— Раз вы это говорите, значит, у вас сильный жар. От этого мысли мешаются. Я сам десять лет страдал лихорадкой. Возьмите стакан. Держите крепче! А это хина. Держите другой рукой!

Говоря так, старик совал в ее ладонь облатку, столь затасканную по тряпочкам и бумажкам его карманов, что она больше напоминала игральную фишку какого-нибудь притона, чем знаменитое лекарство графини Цинхоны. Джесси тоскливо рассматривала облатку, но ей почему-то хотелось слушаться.

— Но только напрасно,— сказала девушка, глотая хину и прижимая ко рту конец шарфа.— Теперь я буду пить, чтобы согреться.

С твердостью, хотя покраснев от непривычного питья, сотрясающего тело и разум, Джесси осушила стакан так счастливо, что даже не поперхнулась.

— Да, вы никогда не пили виски,— сказал старик, смотря на ее изменившееся, с закрытыми глазами лицо, по которому прошла судорога.— Ничего, так будет хорошо!

Джесси перестала дрожать. Ее истерзанная душа затихла, тело согрелось. Особая, заманчивая теплота алкоголя, при ее горе и страхе, напоминала временное прекращение мучительных болей, и, глубоко вздохнув, она прислонилась к камню, отражавшему вокруг нее жар костра. Костер слегка летал перед ней, в то время как старик то приближался, то отдалялся.

— Отвратительное снадобье! — сказала Джесси, получив дар слова.— Но жажды у меня теперь нет. Лишь голова кружится. Благодарю вас; но как же вас зовут и кто вы такой?

Старик налил себе стакан и, выпив, задумчиво погладил усы.

— Мое имя Сайлас Шенк. Я был бродячий фотограф. Что зарабатывал, то проживал; жил один и умру один. Для работы уже не гожусь; виски хочет, чтобы ему платили по счету, а счет большой. И я увидел, что жизнь кончена. Теперь я направляюсь к одному приятелю в Лисс; ему тоже шестьдесят лет. Мы вместе с ним проживем конец жизни, смотря, как живут другие.

— До восьмидесяти лет не надо сдаваться! — возразила Джесси.— За двадцать лет может много случиться нового! Я убеждена в этом!

— Самомнение молодости! — сказал Шенк, бросая сучья в костер.— А куда вы идете?

— Я скоро пойду к сестре,— ответила Джесси, смотря на драгоценные камни костра.— Ее тоже зовут Джесси. Она живет на красивой дороге,— там, внизу, где лес висит над морем. Она меня спасет. Одна женщина отравила меня.

Джесси прилегла, а Шенк смотрел на нее, размышляя, как много девушек, брошенных своими возлюбленными. Некоторые умирают, другие сходят с ума...

— Та женщина считалась моей сестрой,— говорила Джесси, и ей чудилось, что она лежит у пылающего камина.— На красивой дороге, в том доме, где синие стек-

ла и золотая крыша, живет моя сестра, Джесси. Но ту женщину уличили, она призналась сама. Та была привезена с севера. Я сейчас пойду к Джесси. Не правда ли, странно, что одно имя? Этого еще нигде не бывало, но так вышло. Я сразу узнала ее, а она меня. Моргана сделала так, что у меня теперь старая душа. А мне всего двадцать лет! Да, силы вернулись, я могу скоро идти...

Ее глаза закрылись, и лицо Джесси стало глухим. Темный конь сна мчал ее к горизонту, за которым нет ничего, кроме полного ничего. От костра вылетел уголек и упал на ее волосы. Шенк вытащил уголек.

— Не надо снимать шарф,— неясно пробормотала Джесси.— Детрей! — вдруг закричала она, все вспомнив, вскочив и дико глядя вокруг.— Детрей, я вас умоляю! Ведь вы стали мой друг! О, увезите меня отсюда!

Это была последняя вспышка. Шенк с трудом усадил ее, порывавшуюся встать на ноги, и силой заставил лечь снова. Она вначале оттолкнула его, но тут конь сна перелетел пропасть, и Джесси потеряла сознание, уснув при свете костра, в лесу, совершенно охмелевшая, в расстоянии не более полукилометра от «Зеленой флейты».

Было два часа ночи.

## ГЛАВА ХХІ

Приехав к Еве Страттон, Детрей увидел молодую женщину готовой отправиться. Она была в дорожной шляпе, в пальто и, говоря с Детреем, поспешно засовывала в сумку различные мелочи. Ее лицо выражало нежелание вступать в предположения и объяснения, пока еще надо двигаться самой ради ускорения дела. Она кивнула Детрею и сбегала по лестнице, значительно опередив офицера, который догнал ее, только-только успев раскрыть дверцу гоночного автомобиля Готорна. Они сели один против другого. Машина свернула, вызвав страшный ветер в лицо Еве и заставляя глаза схватывать мелькание уличного движения, проносившегося вокруг с быстротой падающих огненных декораций. За те десять минут, пока автомобиль сокращал город, десять полицейских отметили его номер в записной книжке, потому что были нарушены все правила уличного

движения, с неизбежным бегством врассыпную встречных и поперечных.

Заметив одобрительную улыбку Детрея, Ева сказала:

— Отец подсчитает штрафы. Я ненавижу экстравагантность, но никак нельзя сегодня поступать иначе. Я беспокою вас этой поездкой? Совершенно некого было пригласить помочь, кроме вас. Я просила отца ехать со мной. В это время вы стали говорить. Он мне сказал: «Если, по счастью, у телефона Детрей, попроси его, а меня уволь». Он находит, что в столь тревожных обстоятельствах вы более отвечаете положению.

Устранив, таким образом, подозрение в «перемене ветра», Ева продолжала:

— Она не была в бреду. Я говорила с сиделкой и Гердой. Джесси получила какое-то письмо, уловкой отослала сиделку, оделась и исчезла.

— Верно ли, что она поехала к своей сестре? Быть может, она в городе?!

— Нет, чувство говорит мне, что это так. Она у сестры. При их отношениях! Я хочу сказать, что между ними нет близости. Между тем, девушка, больная, срывается ночью и уходит из дома! Только Джесси способна к таким вещам. Она — там, но я ничего не понимаю.

— Предположим, — сказал Детрей, — что случилось несчастье, — там, у сестры.

— Тогда не пишут писем, потому что у Моргинаны есть автомобиль.

— Это верно.

— Вот видите. Но какое мученье! Мы еще едва отъехали от города.

Быстрота и ветер заставили их говорить с напряжением, отчего разговор смолк.

— У вас нет никаких серьезных догадок? — спросил Детрей. — Что может означать эта история?

— Я ничего не скрываю! — прокричала Ева, — я боюсь и хочу ее разыскать! Все дело в письме! Теряю голову!

Немногочисленные вопросы Детрея, с виду совершенно спокойного, рассердили ее. Так как он теперь умолк, смотря в сторону, Ева подумала, что он, вероятно, не очень благодарен ей за эту поездку, нарушившую, быть может, более приятный план поздних часов. Она сказала:

— Теперь скоро. Я начинаю думать спокойнее. Джесси должна быть там. Жаль, что вы мало знаете ее. Тогда вы простили бы меня за то, что я вас похитила.

— Я ее знаю,— сказал Детрей.

— Да?.. Как скоро...

Детрей помолчал, обдумывая ответ:

— Некоторых узнаешь скоро,— задумчиво сообщил он своей, слегка потешающейся про себя, компаньонке.— Все главное о них узнаешь сразу; а затем — целую жизнь — узнаешь какую-то мелочь, которая дает тон всему, вместе взятому.

— Значит, мелочь важнее?

— Должно быть, так.

— Ну, вы в противоречиях!

— Может быть,— согласился Детрей, не любивший никаких препирательств.

— Если вы знаете Джесси, скажите мне, какая она?

— Такая, какой вы ее знаете за время, более значительное, чем две мои встречи.

— Не увиливайте. Так какой же я ее знаю?

— Да именно той, такой.

— Какой такой?

— Какая она известна вам.

— Значит, не знаете!

— Отлично знаю!

— Самоуверенность!

— Нет, уверенность.

Неуязвимый с этой стороны, Детрей попался на коварное обещание:

— Если вы скажете, как определяете Джесси, я вам скажу, что она сказала о вас!

— А что?

— То, что вы знаете о себе.

— Однако,— сказал Детрей с тревогой, вызванной ее обращением,— во-первых, вы явно подражаете мне. А, во-вторых, я уверен и знаю, что нет на свете лучшей девушки, как Джермена Тренган. Об этом говорит ее дыхание, весь ее вид, и я считаю большой честью для себя помогать вам в цели этой поездки.

— Большая речь,— сказала Ева, задумавшись.— Но я вас обманула, Детрей. Джесси ничего не сказала.

Детрей остался в уверенности, что Ева, из сожаления к нему, умалчивает о каком-нибудь маленьком изде-

вательстве. Особенного внимания он на это не обратил, но легкомысленная пытливость Евы ему была неприятна. И все же — говорить о Джесси, произносить ее имя — было для него утешением. Его начала грызть тоска; но уже приехали, и второй раз за эту ночь у ворот «Зеленой флейты» остановился автомобиль, заявив о себе криком кларнета.

Гобсон, лежа в постели возле жены, размышлял вслух о причинах внезапного появления Джесси Тренган; ему не спалось.

— Не наше дело; потуши, наконец, огонь, — сказала ему жена. — Вот бьет три часа, и я не могу уснуть, так как ты то встаешь и куришь, то опять ворочаешься на кровати.

— Помолчи, кажется, кто-то еще приехал? — сказал Гобсон.

В этот момент раздался автомобильный сигнал. Гобсон встал, оделся и пошел к двери.

— Что-то серьезное, — сказал он. — Если хочешь, туши огонь; мне теперь не уснуть.

Жена выбрала его за то, что он накликал своим бдением так много автомобилей, а Гобсон, с зажатым в руке ключом, прошел к воротам и отомкнул решетчатую дверь. Заглушая звон ключа, Ева крикнула:

— Мы ищем Джесси Тренган! Она здесь?

— Приехала часа три назад, — сказал Гобсон, распахивая дверь и придерживая рукой поднятый воротник пиджака.

Услыхав это, Детрей сразу устал. Слова Гобсона произвели впечатление лихорадочно распечатанной телеграммы, которая прекращает тревогу, после чего, вздохнув, хочется смеяться сесть.

— Фу, даже голова закружилась! — сказала Ева Страттон. — Я довольна. Они спят?

Гобсон прошел в глубь двора и заглянул по окнам бокового фасада. Два окна наверху были освещены.

— Есть свет, — сообщил он. — Но свет часто бывает ночью за последние дни. Наша горничная Нетти говорила, что барышня страдает бессонницей.

— Во всяком случае, мы войдем, — решила Ева. — Будьте добры похлопотать, чтобы нас приняли — Еву Страттон и Финеаса Детрея.

— Мне кажется,— сказал Детрей,— что вам приятнее будет пойти одной. Я подожду.

— Пожалуй. Но тут холодно и темно.

— Не желаете ли посидеть у меня? — сказал Гобсон.

Детрей согласился. Гобсон отвел его в комнату, где спали дети. Теперь они все проснулись и, подняв головы со сбитых кроватей, широкими глазами изучали посетителя. Детрей уперся руками в бедра и подмигнул. Раздался подлый смех толпы, польщенной выходкой актера. Тогда вошла жена управляющего и пригласила гостя в столовую. Любопытство освежило ее грузное, недоспавшее тело, как умывание холодной водой. Убедившись из короткого ответа Детрея на ее замечание о погоде (он сказал: «двадцать минут четвертого»), что настаивать далее неэтикетно, она со скорбью пошла к детям и накричала на них, чтобы те спали. Детрей сидел на стуле у покрытого клеенкой стола и курил. Хозяйка была поражена, когда, опять зайдя в столовую, услышала его, запоздавший минут на десять, ответ:

— Это верно: после заката солнца делается свежо.

«Муж прав, будет торжествовать, что прав. У них что-то произошло,— подумала жена Гобсона.— Этот человек даже не видит, что я хожу здесь, перед самым его носом».

Между тем Гобсон проводил Еву в дом и, когда Нетти закрыла за ней дверь, вернулся к своей встревоженной семье, а Ева, как только вошла, увидала поджидавшую ее Моргину. Она стояла в двери гостиной.

— Четвертый час ночи,— сказала Моргина.— Нетти, вы не нужны. Итак, дорогая Ева, что значит этот скандал?

Ева, у которой захватило дыхание, слегка побледнела.

— Джесси нужно быть дома,— сказала она с твердостью.— Вы знаете, что она больна. Я хочу ее видеть, чтобы отвезти в город.

— Вы за этим приехали?

— Единственное мое оправдание.

— Со мной вам не о чем говорить?

— Нет, Моргина. Я все сказала вчера.

— Пройдите, Ева. Я вас простила. Так Джесси вас надула, исчезла, да?

— Моргиана, проведите меня к Джесси. Разговор становится странен,— поймите это! Где Джесси?

— Как же я могу знать наверное? Вы, Ева, очень настойчивы. Что же вы подозреваете, что я ее прячу?

— Не знаю. Я знаю, что она здесь.

— Была здесь,— хотите вы сказать. Да, Джесси приехала сюда в двенадцатом часу, точно не помню. Пять минут назад я вышла; когда вернулась, ее уже не было. Я думаю, что она дома и спокойно спит, в то время как вы будите моих служащих.

— Пойдите, я испугалась! — воскликнула Ева.— Джесси ушла?

— Вероятно, уехала. Но еще вернее, что она прячется где-нибудь неподалеку от дома, чтобы вызвать переполох. О, я не такова! Пусть выкидывает свои штуки. Пойдемте в гостиную.

— Гобсон сказал, что она здесь. Как же она ушла? Почему ушла? Почему она явилась сюда?

— Мне очень неприятно видеть вас, Ева, особенно после вчерашнего вашего нравоучения. На все ваши вопросы вам может ответить сама Джесси, а я вам говорю еще раз, что она воспользовалась моим отсутствием и убежала через окно, так как дверь была заперта. Окно выходит в сад; я обошла сад, сделав эту уступку ее дикой фантазии.

— О! Я мало вас знаю! — сказала Ева, отступая перед ее угрюмым взглядом.— Если вы можете так говорить теперь, когда Джесси неизвестно где,— я имею право подумать многое. Но я узнаю, какое и от кого она получила письмо. Стыдитесь, Моргиана! Нельзя вымещать злобу против меня на ребенке! Конечно, вы ее выгнали.

— Остановитесь! Я не позволю вам клеветать! — крикнула Моргиана.— Это вы стали между мной и сестрой! Вы шпионка, праведная Ева Страттон! Я не знаю, о каком письме идет речь. Посещение Джесси объясняется очень просто, но я не доставляю вам удовольствия и не удостою вас объяснением. Довольно бредней; я иду спать, а вы можете расположиться с вашим штабом в гостиной и сочинять диверсии.

— Как же вы допустили больного человека уйти? Ведь это хуже убийства!



— Все равно, что бы вы ни подумали,— заявила Моргiana, всматриваясь в Еву и убедаясь, что та говорит так только с отчаяния.— Должны понять, что сестре было не так уж худо, если она смогла приехать сюда. Ну, с вами сойдешь с ума. Но я требую, чтобы вы, по крайней мере, сегодня, оставили меня в покое!

— Так вы отказываетесь помочь мне найти Джесси?

— Туда или сюда? — тихо спросила Моргiana, водя рукой от гостиной к выходной двери.

Ева посмотрела на нее и бросилась прочь, на двор. Холод пробежал по ее спине, когда дверь захлопывалась за нею,— так страшно было лицо старшей сестры,— все в темных рубцах ненависти и воспаленной мысли, запертой блеском глаз. Задыхаясь, Ева прибежала к Гобсону и повалила спокойное ожидание Детрея одним толчком.

— Гобсон, видели ли вы, как Джесси ушла? — вскричала Ева, мельком взглянув на Детрея и тревожно кивнув ему.

Гобсон растерялся, объяснив, что не видел ничего, ничего не слышал с того времени, как проводил Джесси к сестре. Жена Гобсона села от удивления.

— Что случилось? — спросил Детрей.

— Возник секрет, о котором, я уверена, Гобсон будет молчать.

— Не сомневайтесь,— сказал Гобсон,— я и жена не причиним никаких неприятностей.

— Насчет нас можете быть спокойны,— подхватила толстая женщина.— Если что нужно, мы сделаем все.

— Джесси скрылась через окно в сад, а потом, вероятно, перелезла через стену,— сказала Ева, обращаясь к Детрею.— Она совсем больна и действовала в бреду. Необходимо ее найти. Времени терять, конечно, нельзя. Тяжелая история! Ну, Детрей, я не могу идти с вами, но, вероятно, Гобсон не откажется сопровождать вас?!

Гобсоны переглянулись. Детрей тоже не понимал, почему сестра Джесси спокойно отнеслась к исчезновению девушки, но у него не было времени для расспросов.

— Вы знаете местность? — спросил Гобсона Детрей.

— Да,— сказал тот, обдумывая положение.— Мы возьмем собаку. Это еще лучше.

— О! Если она годится, то половина дела сделана! — с облегчением воскликнул Детрей.

— Дай фонарь, — обратился Гобсон к жене.

Та, вытирая слезы волнения, отправилась разыскать фонарь, а Гобсон вышел в соседнюю комнату, надел сапоги, свитер и, открыв дверь, свистнул. «Кук!» — негромко позвал Гобсон. О его ноги толкнулся хвост, и раздалось быстрое дыхание животного. По-прежнему светилось верхнее окно Моргианы; с подозрением взглянув на него, Гобсон прикрепил к ошейнику Кука цепь, затем ввел черную, с блестящим, сухим взглядом, собаку в комнату, но увидел шедшего навстречу Детрея.

— Всегда говорят о своей собаке, что она умна и понятлива, — сказал Гобсон, — так вот и я скажу то же. Моя ищейка прибегала отсюда в город и там находила меня! Вот вы увидите.

Жена Гобсона принесла фонарь с зажженной свечой, а Ева, вышедшая с ней, положила руку на плечо Детрея. Ее лицо было печальным, и Детрей понял, что она примирилась с его отношением к Джесси, — не только ради Джесси.

— Я сделаю все, — сказал он. — Вы ждите здесь.

После того он вышел с Гобсоном через ворота и повернул влево, вокруг стены. Свет фонаря шел по траве и низу стены, озаряя никелированную цепь, туго натягиваемую собакой. Они прошли к тому месту ограды, где проткнулись через нее длинные ветви, помогшие Джесси выбраться из сада сестры. Хотя Гобсон выражал сожаление, что нет предмета, принадлежащего Джесси, и несколько сомневался, — поведение ищейки ободрило Детрея. Обрыскав носом траву, она подняла голову, тявкнула и стала махать хвостом.

— Ищи, ищи, — сказал ей Гобсон, — ворота были заперты, понимаешь? Если она прыгнула здесь, ты должен это знать.

Раздался короткий лай. Своим путем, нам мало известным, собака понимала тревогу хозяина. Фонарь означал поиски, цепь означала, что искать назначено Куку, но возникало сомнение, тот ли это след, который нужен Гобсону. След начинался от стены и был ясен собаке; решив, что дальнейшее покажет, — этот ли след интересует людей, Кук крепко почесался задней ногой и побежал, опустив нос, к лесу.

— Не волнуйтесь,— сказал Детрею Гобсон,— собака знает, куда идти.

Удерживая собаку, торопившуюся доказать пустяшность возложенной на нее задачи, они стали бродить в лесу, тщательно осматривая все места, где Кук задерживался, следуя неровному пути девушки и часто тревожа их краткими возвращениями — для точной проверки. Одно время он метался среди кустов, под листвою тесно стоящих деревьев, тем самым указывая состояние Джесси, в каком спешила она скрыться от Моргианы.

— Она далеко зашла,— сказал Детрей,— неизвестно, что с ней и как она себя чувствует. Пусть она увидит собаку и догадается, что помощь близка. Отвяжите пса! А мы пойдем на его лай.

— Лучше не делать так,— возразил Гобсон,— его недостаток тот, что он отыщет и возвратится: уведомить. Тогда мы зря потеряем время.

Детрей хотел спорить, но заметил огонь и побежал к нему с сжавшимся от острой тревоги сердцем. Ветви исхлестали его лицо. Огонь был дальше, чем показалось вначале; оставив Гобсона далеко позади себя, Детрей увидел, наконец, костер и Шенка, отошедшего от огня вглядеться в тьму, где слышал он голоса и лай.

— Вы ее ищете? — сказал Шенк задохнувшемуся Детрею, указывая на скорченную фигуру с темными волосами, спящую и укрытую пиджаком.

— Она пришла сама?

— Да, но едва дошла.

Гобсон вышел на свет, и Кук, все осмотрев, обнюхал подошву девушки, решительно заворчав, так как доказал правильность своего поступка.

Все трое подошли к спящей. Ее лицо было в поту, руки прижаты к груди.

— Кто вы? — спросил Шенка Детрей.

— Вышедший в тираж,— хмуро ответил тот, считая, что перед ним виновник несчастья.— Я с ней говорил; дал ей хины, потом водки; она очень хотела водки, потому что ее сильно трясло. Она то говорила, то бредила.

— Что говорила?

— Вам лучше знать это.

— Не хотите сказать?

— Нет. Потом, когда вы с ней объяснитесь, она повторит все, если это не бред.

— Вы вышли в тираж и стали ошибаться поэтому,— заметил Детрей.— Вы подумали не то, что надо думать. Слышите?

Шенк внимательно рассмотрел Детрея.

— Да, я ошибся,— сказал он, несколько прояснев.

— Благодарю вас! — искренне отозвался Детрей, пожимая его руку.— Но, может быть, ее бред кое-что объяснит.

Шенк взглянул на Гобсона, правильно учитывая вторую степенную роль пожилого и главную — Детрея; затем подойдя к Детрею, сказал на ухо несколько слов. Детрей растерянно оглянулся.

— Неужели не бред? — сказал он, вставая на колени около Джесси и рассматривая ее лицо.— Надо нести. Я надеюсь сделать это один.

Он снял пиджак, прикрывавший Джесси, и легко поднял ее, одной рукой обхватив под колени, другой — за плечи. Теперь, когда эта маленькая уснувшая голова лежала у его плеча, он понял, как долго может нести Джесси, и, тепло кивнув Шенку, начал шагать прочь, смотря более на закрывшиеся глаза девушки, чем следя за светом Гобсонова фонаря, двигавшимся впереди его. Он нес ее, удивляясь, что совершенно не чувствует тяжести, и боясь сделать Джесси неловко лежать у него на руках. Неоднократно Гобсон предлагал ему свою помощь, говоря: «Передайте теперь мне, не то у вас отнимутся руки»; Детрей кивал ему и продолжал быстро идти. Наконец, острая боль в плечах заставила его вздрогнуть, и он толкнулся о дерево.

Глаза Джесси открылись, но он этого не заметил. Потом глаза закрылись опять, но висевшая доселе рука ее легла на ноющее плечо Детрея, возле шеи, и боль в плечах прекратилась. Желая убедиться, точно ли Детрей не пересиливает себя, Гобсон осветил фонарем его лицо и увидел, что хранитель ноши улыбается, а его глаза влажны и бессмысленны. «В таком случае — донесет», — подумал Гобсон.

Так выбрались они из леса и пришли в комнату, где ожидали их Ева и жена Гобсона, тихо разговаривая о посторонних вещах. Стук ворот заставил их вскочить, и они бросились к двери, где Джесси тихо, но настойчиво сползла из объятий Детрея, заставив того усомниться, точно ли она все время была без сознания.

Ее положили; тогда она попросила Еву побыть с ней наедине. Дверь закрылась за ними, и Джесси призналась Еве во всем, умоляя скорее отвезти себя в город, а также позвать истинную сестру и сказать Детрею, что она виновата во всем, но что он был ей другом и она этого не забудет.

## ГЛАВА XXII

«Что же, сдаваться?» — сказала Моргиана, заперев Джесси и пройдя в столовую. Она села, но сидеть не могла; встала, начала ходить, но скоро остановилась. «Вот он,— обратный удар! Это Гервак. Она предусмотрительно заготовила письмо. Но Джесси не может уехать; не уедет; она уличила меня».

Выход из положения, о котором она думала в эти минуты, был так жесток, что даже ее злорадно прищуренное сознание запнулось при обсуждении. «Но я пошла на все,— сказала Моргиана,— не отступлю и теперь. На охоте добивают раненых птиц. Разницы я не вижу. Настал момент умертвить ее простыми словами».

Она задумала возвратиться к сестре, спокойно признаться, без раскаяния открыть все и пожелать смерти. Та правда, какую уже знала Джесси, пока была правдой трагической; еще правдивее должна бы стать она — правдой холодной расправы. Такая мысль напоминала белые глаза на черном лице; их взгляда не могла бы перенести девушка, едва начавшая жить; беспамятство или безумие, может быть, сама смерть, единственно вытекали из решения Моргианы. Она обдумала это и направилась добивать сестру.

Легко, почти весело, как с приветом и цветами в руках входят прогнать дурное настроение близкого человека, Моргиана отперла дверь, но пока дверь распахивалась, за ней еще не могла быть видна Джесси; думая, что она здесь, Моргиана сказала:

«Сестричка! Это все — правда. Я клюнула тебя в сердце. Я от...»

Моргиана закрыла дверь и подбежала к окну. Сад дышал ветром, ничего не было видно во тьме, скрывшей Джесси, но Моргиана подумала, что девушка здесь, в саду, и тихо позвала: «Джесси, автомобиль подан!»

Снова пахнул ветер; сад молчал, и Моргiana спустилась в него с террасы, тщательно заперев комнату, как будто из нее могли уйти те чувства и слова, которых она боялась. Она стала ходить между деревьев и клумб, всматриваясь в очертания темноты. Молчание и тоска ночи убедили ее, что Джесси в саду нет, но еще раз обошла она кругом небольшой сад и остановилась у дерева, где наткнулась на упавшую тачку. «Странно, что собака не лаяла,— подумала Моргiana.— Тачка стояла у стены. Джесси вскочила на тачку. Тогда ее здесь нет. В таком случае я всю ночь не должна спать; неизвестно, что произойдет, если ей удастся приехать в город. Но, может быть, силы ее оставят, разум померкнет?! Ночь холодная; она одета легко. А может быть, она лежит рядом, в траве, за стеной, лишившись сознания?»

Моргiana возвратилась, взяла ключ и отомкнула дверь сада, выходящую к тропинке в кустарник. Тогда у ее ног стала вертеться черная собака Гобсона. Моргiana обошла вокруг всей «Зеленой флейты», а собака рыскала у ее ног, иногда пропадая во тьме; затем она возвращалась и ждала, но ни разу не залаяла. Как только Моргiana пришла к тому месту, где Джесси перелезла через стену, собака сунулась в траву, замерла там и стала ворчать. «Джесси!» — позвала Моргiana, наклоняясь к траве. Никто ей не ответил; она прошла по тому месту, а затем стала следить, что будет делать собака. «Ищи»,— сказала она ей и хотела ее погладить, но, выскользнув из-под ее руки, животное побежало к лесу. Его уже не было видно; отбежав, оно остановилось, ожидая, что привлечет человека к поискам. Моргiana повернула обратно, и собака снова пришла к ней, молча спрашивая: «Почему не надо искать?» После того она исчезла, а Моргiana, все зная теперь, стала придумывать, как объяснить безучастие к побегу сестры, если та заблудится и умрет где-нибудь в диком углу. Тогда она решила сказать то, что сказала Еве Страттон: «Джесси исчезла не более пяти минут тому назад». И она возвратилась через садовую дверь. Горничная уже спала. Ей захотелось есть; она стала есть у буфета, стоя,— сыр, хлеб и масло, запивая еду белым вином.

Наверху, в своей спальне, Моргiana оставила свет, а внизу потушила его. Взойдя наверх, она снесла

в спальню все, что думала взять с собой, и стала укладываться на случай побега. Все ценное поместилось в небольшой саквояж, не вызывающий никаких догадок. У нее были деньги, и, кроме того, она могла получить от ювелира деньги за драгоценности. Все сделав, ничего не упустив при сборах, мысленно проверив подробности и заперев саквояж, Моргиана надела теплую шаль и села слушать у приоткрытого окна.

Не более как через час произошло вторжение Евы, но, как ни презирала Моргиана эту молодую женщину, разговор с ней менее ожесточил ее, чем прибытие Детрея, объявленное Гобсоном; оно опечалило и оскорбило ее; оно сказала ей о сильной любви.

Снова войдя в спальню, она села и задремала; и так было ей нехорошо, смутно, что она не сопротивлялась дремоте, но зорко стерегла сон, стоящий над ней с поднятой рукой, и немедленно раскрывала глаза, как только угадывала приближение забытья. Так прошло более часа, и в полночной тишине слышала она скрип флюгера наверху дома, вникая в его железные жалобы тем странным чувством, какое при бессоннице склонно надевать предметы жизнью.

Вдруг она услышала шаги двух людей; Нетти коротко постучала, и, встав, Моргиана крадучись подошла к двери, удерживая дыхание. Одной рукой она взялась за ключ, другой погасила огонь, но ничего не сказала на стук, продолжая молча стоять и слушать, как будто промедление должно было ей помочь. Второй стук, напоминающий тихое приказание, вызвал у нее внезапную злобу. Стиснув зубы, Моргиана быстро открыла дверь и увидела Еву Страттон. За ней, в слезах, с растерянной улыбкой стояла Нетти.

Ева видела фигуру старшей сестры, стоявшую неподалеку от дверей, в темной комнате, но не различала ее лица.

— Опять явились? — спросила Моргиана. — Что нужно?

— Джесси нашлась, — сказала Ева, вглядываясь с горем и негодованием в темноту, окружающую убийцу. — Я везу ее; теперь она будет бороться с последствиями ваших забот.

— Вы бы лучше ушли, — сказала Моргиана. — Вам место в пожарном обозе, Ева.

— Отошлите Нетти! Я скажу очень немного; затем уйду и оставляю вас. Я вас оставляю, но другие вас не оставят.

— Мне уйти? — сказала Нетти, прислушиваясь к странному разговору с тупым страхом.

— Да. Джесси в сознании?

— В сознании, но Нетти еще не ушла. Теперь она ушла... Так это вы отравили вашу сестру?

Моргиана молчала. Она шагнула вперед, и Ева увидела ее лицо. Моргиана стояла выпрямившись, с руками за спиной. Такого лица Ева не видела никогда. Она вскрикнула.

— Вот я, — произнесла Моргиана, — вы меня видите. Я невинна.

Ева закрыла лицо руками и разрыдалась.

— Плачь, гордая, — сказала Моргиана, — настал день слез и для подобных тебе.

— Я надеюсь, — ответила Ева, отходя с усталым жестом от безобразного и мучительного видения, — что вы душевно больны. Только это может примирить меня с тем, что произошло. Как вам поступить, вы знаете; должны знать. Пусть вас помилует суд, но я — простить не могу!

Спускаясь по лестнице, она услышала резкий хохот.

— Ева! Я вас пугала! — кричала ей Моргиана, перегибаясь через перила. — Уходите? Везете девочку? Будьте вы обе прокляты!

Все время, пока тешилась она так мстительно и чернотой, подобно концу хлыста, бьющего вокруг, повинувшись бессмысленно жестокой руке, — молчал ее страх; лишь теперь услышала она его голос и немного опомнилась.

«Так что же я теперь сделаю?» — сказала Моргиана. Совершенно уверенная, что Ева ее не пощадит, она спросила себя: «способна ли умереть?». Но ничего не ответила. На этот вопрос не было ответа в ее душе. Между тем, приближалось утро; и, по мере того, как в темной ее спальне обозначались предметы, мысль о смерти, вначале вынужденная и неприятная, начала доставлять ей некое утешение. То была дверь, скрывающая от любой погони.

«Как нелепо я собиралась скрыться! — размышляла Моргиана, — но это было бы возможно...» И так как обстоятельства, ею же подтвержденные в момент мститель-



ности, в сцене с Евой Страттон, обратились против нее, она поверила своему желанию умереть! Вращение волчка оканчивалось. Видимая неподвижность его перешла в заметную быстроту, и, уже вздрагивая, теряя устойчивость, он стал ходить и раскачиваться, готовясь свалиться. Подобной волчку была теперь Моргиана; мысль и намерение заменили ей силу, как заменяют волчку его стойкую быстроту последние безнадежные обороты — на границе падения.

Как пробило восемь часов, ее размышления кончились. С интересом рассматривала она мрачное лицо Нетти, но не пыталась выведать от нее что-либо, касающееся происшествий ночи; также было ей все равно, какие догадки бродят во дворе и что о ней думают.

Она пила кофе, но не могла есть. Значительным, как прощание навсегда, стало вокруг нее все, что видела она в это яркое, горячее утро: красивые комнаты, смятение горничной, сдерживаемое привычкой повиноваться; звук ложки о фарфор. «Злая и нелепая жизнь,— сказала Моргиана,— зачем ты была такой для меня?»

Так как она не знала, что Ева отвезла Джесси к себе, ее последним желанием было покончить с собой в городском доме. Она надеялась, что ее смерть потрясет Джесси, и, может быть, они вместе сойдут в могилу. Темное удовольствие все еще примешивалось к ее обдуманному отчаянию. «Если тебя спасут,— говорила она, обращаясь к сестре и видя ее тоскующее лицо,— как бы ты ни была довольна впоследствии своей жизнью, в твоём доме все-таки одна стена останется навсегда черной; и ты уже не забудешь меня!»

Моргиана оделась, но, собравшись выйти, задержалась у саквояжа, который уложила ночью. Ей почему-то не хотелось бросать его на стуле, где он стоял, как будто ей было еще не все равно, где он находится, будет ли даже он существовать после ее конца. Она сунула его в шкаф, который заперла; ключ от шкапа взяла с собой; потом встала на подоконник и отрезала шнур гардины, длиной метра два; свернув его и уложив в сумку, она удивилась, что делает все это для своей смерти. В ее осмотрительности все время стоял смутный вопрос. Наконец, она вышла во двор, где увидела шофера, тотчас усевшегося к рулю при виде ее. Прежде чем поклониться, он взглянул на нее таким же глухим взглядом, как

смотрела Нетти, внося кофе. Моргиана выехала, не видя ни Гобсона, ни его жены; но ей показалось, что у окна жнища Гобсона тронулась занавеска. В глубине двора стояла собака; она тоже смотрела на Моргиану. «Вот я ушла,— подумала Моргиана,— и ничто теперь не смутит ваших воспоминаний о Харите Мальком».

По дороге она обратила внимание на руку шофера, колеблющую черное колесо. Рука двигалась с властью и уверенностью судьбы. Ей представилось, что шофер не тот, не флегматичный Слэкер, и если он повернется, она не узнает его лица. «Не белое ли оно, с черными ямами?» — мелькнуло у Моргианы. Представление это навязалось с силой, вызвавшей у нее дрожь, и она громко сказала: «Обернитесь!»

Слэкер не расслышал, но обернулся и хмуро кивнул, думая, что возглас значит: «Поторопитесь». Машина удвоила бег, и хотя Моргиана теперь продолжала знать, что ее везет Слэкер, его мрачный кивок еще более расстроил ее.

Она ехала, то решаясь, то отказываясь от своего замысла. Внушение ночи исчезло; во всех светлых подробностях начался день, развлекая и как бы примиряя с самой безвыходностью. Приступы малодушия угнетали Моргиану не меньше, чем насильственно восстанавливаемая решимость. Обман шел с ней до конца, но она уже не различала его.

Подъезжая к дому, Моргиана не знала, что ее ждет — арест или вопрос врача? Ее внутренняя поза исчезла. Моменты невменяемости перемежались угрожающим озарением. Ее встретили Эрмина и Герда, которые провели ночь без сна и лишь недавно получили от Евы известие, что Джесси благополучно нашлась. Моргиана понимала, что они говорят ей о происшествии, но слышала одни восклицания, не различая слов и тупо смотря на других слуг, показывавшихся в отдалении, как будто по своему делу, но — она знала это — изучающих и рассматривающих ее.

— Сестра спит? — сказала Моргиана.

Узнав, что Джесси находится в доме Готорна, она удивилась и вздохнула свободнее. Она хотела отослать женщин, чтобы несколько последних минут провести в этой высокой зале, поддерживающей чувство достоин-

ства своими огромными окнами, светящими всей красотой утра на отраженные паркетом люстру и мебель.

— Оставьте меня,— тихо сказала Моргiana и, оставшись одна, подошла к окнам. В простенке, у трюмо, стояли бронзовые часы с медленно отзванивающим падением секунд маятником в форме лиры. Было пятьдесят пять минут девятого. Моргiana сжала рукой маятник; он двинулся в ее пальцах и неровно остановился. Услышав легкие шаги, она обернулась, увидев свою сестру, Джесси,— в сиреновом костюме сверх кофты и в белой шляпе, отделанной цветами ромашки. У Джесси были голубые глаза.

— Кто пропустил вас? — сказала Моргiana, едва ее страх прошел.

— Все было открыто,— ответила неизвестная, заплатив смелым румянцем за свое появление.— Одна дверь... и все двери были открыты. Я шла; никто меня не останавливал, и я не видела никого. Я пришла к Джермене Тренган, девушке, которая больна. Вчера я не могла прийти к ней.

— Вы ее знаете?

— Мы — тезки,— сказала молодая женщина, перестав улыбаться.— Мое имя — Джермена Кронвей. Мы говорили через решетку сада.

— Я сестра вашей знакомой,— сказала Моргiana.

— Могу ли я увидеть ее? — спросила посетительница, отступая перед упорным взглядом, почти безумным.

— Нет. Ее здесь нет. Идите к ее подруге. Там лежит Джесси, так похожая на вас, что хорошо бы и вам прилечь вместе с ней.

— Я рассердила вас?

— Вы меня насмешили. Что вы так смотрите? Наступит старость, и вы будете такая, как я.

— Может быть, я вас поняла,— сказала Джесси Кронвей, побледнев и поворачиваясь уйти,— но вы неправы. Лучше бы вы не говорили со мной!

Она растерянно оглянулась и пошла, не сразу найдя дверь,— сначала тихо, потом быстрее. Уже ее не было, но после ее исчезновения в зале как бы остались две голубые точки, мелькавшие в ливне лучей.

«Так что же? Оставить вас греться и жмуриться, а самой сгнить? — сказала Моргiana.— И вы поплачете

надо мной? Страшно молчание этих часов. Проклинайте, но последнее слово оставляю я за собой!»

Она тронула маятник, начавший неторопливо звучать, и прошла в комнату, которую уже имела в виду, направляясь сюда,— в ту, не имеющую никакого назначения комнату, где был у нее разговор с Евой Страттон,— и, присев к угловому столику, начала писать в записной книжке карандашом.

«Я родилась некрасивой, выросла безобразной. Моя жизнь...»

Не дописав, она зачеркнула эти слова так, чтобы их можно было прочесть; затем объяснила, как произошло преступление:

«Я была у гадалки; не имея будущего, я хотела, вероятно, обмана; за деньги это доступно. Я познакомилась с ней и, под видом жестокого милосердия к безнадежно больному родственнику, выпытала кое-что о том темном мире, где можно добыть яд.

Невозможно объяснить, как все это произошло в душе моей; нет объяснения.

Джесси росла на моих глазах, и я отравила ее. Не жалости...».

Моргиана зачеркнула эти два слова, но опять были они доступны прочтению.

«Так не казните меня,— написала Моргиана, отчетливо представляя и изыскивая действие своей записки,— моя жизнь была — моя казнь!

Хорошего я ничего не видела и не увижу. Это все — для других».

Перечитав, Моргиана прозрачно зачеркнула все, кроме слов о гадалке и слов: «Джесси выросла... я отравила ее».

Оставив записную книжку лежать на столе, она вышла в залу, позвонила и сказала Эрмине:

— Я уронила золотую монету, поищите ее под стульями.

Эрмина начала обходить зал; тогда, с омерзением риска, но также с сознанием, что лишь единственно этим путем может смягчить сердца ею презираемых, могущих горько задуматься людей, Моргиана встала на стул в лишней комнате, рядом с большой индийской вазой, стоявшей на высокой подставке, и прикрепила шнурок к крюку картины, изображающей жатву.

Сделав петлю, Моргiana сунула в нее голову и рассчитала прыжок так, чтобы задеть вазу ногой.

Она слышала, как Эрмина отодвигает стулья, и была поэтому почти спокойна за исход затеи; лишь странное чувство операции сопровождало движение ее холодных, как лед, рук.

Что-то мелькнуло в ее уме,— не свет, не отчаяние; быть может, тоска и скука опасности...

Она взялась за петлю у горла обеими руками и, задрожав, повисла, не теряя из вида вазу.

Но не все было рассчитано. Тонкий шнурок резко сдавил ее пальцы и горло. Оттолкнутый стул упал; она протянула руки, стараясь ухватить что-нибудь и слясь ударить вазу ногой. Но было уже поздно; носок башмака скользнул по фарфору, не достигнув цели. Тьма и боль губили ее с быстротой внезапного удара по голове. Ваза закачалась, но устояла.

Эрмина, бросившаяся на шум, увидела повисшую женщину, но вместо того, чтобы освободить ее из петли, перерезав шнурок и тем ослабив давление, остановилась, как вкопанная. Ей сделалось дурно. Когда, опомнясь и совладав с собой, она побежала, призывая на помощь,— Моргiane помощь была уже не нужна. Шнурок доконал ее, вызвав паралич сердца; расчет был точен, но еще точнее была случайность, подстерегающая ум наш, как кошка у входа, за которую, торопясь, запнулась уверенно шагающая нога.

## ГЛАВА XXIII

— Теперь можно с ней говорить,— сказал Сурдрег.— Я думаю, что лучше сделать это теперь, пока ее восприимчивость остается притупленной. Лучше, если она узнает все это от вас, чем самостоятельно.

— Я поступаю, как вы советуете,— ответила Ева.— Какой это был яд?

— Не знаю. Во всяком случае, ни один из тех, какие распознаются лабораторным анализом. Но это неудивительно, так как наука еще недостаточно исследовала страну темных сил, скрытую в органическом мире. Есть много ядовитых растений, грибов, насекомых, рыб, моллюсков, жаб и ящериц; многочисленны разновидности трупного яда; даже в человеке есть яды,—

в слюне, например. Кто знает, какие и где производятся тайные опыты над действием веществ, опасных для жизни? Искусный дегустатор, достаточно безнравственный и достаточно образованный, чтобы правильно проводить эксперимент, может добиться результатов в своем роде гениальных. Вспомните хотя бы яд «акватофана». Но, конечно, при состоянии медицины в средние века, когда паллиативное лечение не знало тех средств, поддерживающих сердце, какие в ходу теперь,— бороться с отравлением было труднее. И все же я думаю,— неожиданно закончил Сурдрег,— что стакан водки был ей полезен!

— Камфора,— благоговейно произнесла Ева.

— Спирт затрубил в рог,— продолжал Сурдрег, с удовольствием либерала, поддразнивающего единомышленника еретической шуткой,— он встряхнул организм и объявил ему об опасности. Несомненно, спирт вызвал благотворную реакцию,— положил ей начало. Старый врач никогда не отнесется без внимания к таким вещам. Кстати: появилось еще одно подозрительное заболевание сходного типа, и я думаю, что от него можно будет начать расследование о злоумышленниках. С той стороны — молчание?!

— Когда я бросилась в дом Джесси,— при известии о самоубийстве Моргианы,— кто-то вызвал к телефону Джесси, но узнав, что ее нет, спросил умершую. Мне передавала прислуга. На словах: «несчастье, она скончалась»,— разговор прекратился.

— Побоялись,— сказал Сурдрег.

Ева рассталась с ним и вошла к Джесси.

Джесси сидела в кресле, держа на коленях книгу с клочком бумаги поверх нее, что-то рисовала и черкала.

— Сегодня запрет снят,— начала Ева, тихо отнимая у нее бумагу и карандаш.— Ты выпалась? Хотя рано, но жарко.

Джесси равнодушно смотрела на нее. Она догадывалась, что значит задумчивая складка между бровей Евы, не знающей, как начать.

Лицо девушки напоминало лицо проснувшегося от долгого сна, когда еще не восстановлена связь между делами вчерашнего и заботами наступившего дня; проснувшийся — ни в прошлом, ни в настоящем. Взгляд

Джесси был ясен и тих, как лесная вода на рассвете, перед восходом солнца.

— Не бойся, Ева,— сказала девушка.— Когда умерла Моргана?

Ева изменилась в лице и подошла к ней.

— Успокойся,— шепнула она.— Тебе кто-нибудь сказал?

— Я спокойна. Но ты пришла сообщить мне о ее смерти?!

Взволновавшись, Ева молчала.

— Вот видишь,— сказала Джесси с слабой улыбкой.— Ее больше нет. Я почувствовала это недавно.

— В тот день, когда мы тебя нашли.

— Чем?

— На шнурке... рядом с залой. Вошли в маленькую комнату. Там это и было.

Ева остановилась и, видя, что Джесси, подавив вздох, смотрит на нее с ожиданием, продолжала:

— Врачу не удалось ничего сделать. Со всем этим пришлось возиться мне, так как твоя горничная немедленно известила меня. Но я рада, что поехала туда, потому что у меня оказалась записная книжка,— она, конечно, не для полиции. Я опередила врача на несколько минут.

Затем Ева рассказала, как Моргана велела Эрмине искать золотую монету, как горничная прибежала на грохот упавшего стула и испугалась.

— А теперь прочти,— заключила Ева, передавая Джесси записную книжку, раскрытую на той самой странице.— К сожалению, я не имела права уничтожить эту записку.

Она отошла к окну, став к Джесси спиной. Наступила полная тишина; затем послышался шелест переворачиваемых страниц.

Поняв, что Джесси окончила чтение, Ева с тревогой подошла к ней.

— Не будем никогда более говорить об этом,— сказала ей девушка.— Умереть она не хотела; я это поняла. Но здесь написана правда. Чужая правда. Я не виновата в том, что она чувствовала невиноватой — себя. Я к чужой правде не склонна и платить за нее не хочу. Моя правда — другая. Вот и все.

— Разве я возражаю тебе?

— Я возражаю ей. Что было еще?

— На другой день, рано утром, я и отец проводили гроб на кладбище. Кроме нас, никого не было.

— Двуличные не пришли,— сказала Джесси, первый раз улыбнувшись за время этого разговора.— Почувствовали скандал!

— Хочешь, я передам слухи?

— Нет. Я не люблю сплетен. Хотя... в том значении, какое мы скрыли?!

— Сурдрег не выдаст, конечно. Все остальные видят ряд ссор и более ничего.

— А завтра я возвращусь домой,— сказала Джесси, желая говорить о другом.

— Не советую тебе жить одной.

— О! Я уже написала пятерым родственникам. Трое придут, наверное,— таким образом, будет с кем пошуметь. Ева! — прибавила девушка, задумчиво смотря на подругу,— знаешь ли ты, что ты очень хороший человек?

Не найдя, что ответить, Ева покраснела и невольно пробормотала: «притупленное сознание».

— Что такое?

— Сурдрег сказал, что у тебя «притупленное сознание»; поэтому ты начала «изрекать».

— Он сам притупленный. Да если бы у мужчины был такой характер, как твой, и он был бы мой муж!

— Я удаляюсь, так как ты, очевидно, нуждаешься в отдыхе.

Когда Ева ушла, Джесси снова перечитала предсмертное письмо Морганы — и неловко, медленно, как будто это письмо ставило ей на вид все поступки ее, подошла к зеркалу. Она села против него без улыбки, без кокетства и игры, села, чтобы видеть — кто и какая она.

Джесси сидела молча, поставив локти на подзеркальник; охватив ладонями лицо, она смотрела на себя так, как читают книгу, и когда прошло много минут, все мысли, какие может вызвать рассказанная нами история, перебивали в ее темноволосой пылкой голове, с дарами и требованиями своими. Наконец, все они ушли; остались две, главные; одна называлась «Да», а другая «Нет».

И «Нет» сказала:



«Надень рубище и остриги волосы. Изнурь лицо и искалечь тело. Не будь ни возлюбленной, ни женой; забудь о смехе, так живут другие, которым не дано жить в цвете!»

А «Да» сказала иначе, и Джесси увидела дымную от брызг воду, напоминающую прозрачное молоко.

— Я — есть я, — произнесла Джесси, вставая, так как кончила думать, — я — сама, сама собой есть, и буду, какая есть!

Она громко ответила на стук в дверь, и к ней вошел сильно исхудавший Детрей. Он мало спал эти дни и очень надоед Еве, которая неохотно впускала его к Джесси, когда та еще лежала в борьбе с последними содроганиями отравы, медленно уступавшей твердому «так хочу» сильного организма девушки.

— Не более пяти минут, — сказала Джесси, — я очень устала!

— Джесси, — горячо заговорил Детрей, подходя к ней, — мне стоило большого труда решиться сказать о себе... и о вас... Мне пяти минут мало! Когда вы позволите мне прийти к вам? Затем, чтобы... может быть, сейчас же уйти?!

Джесси молчала, внимательно смотря на этого человека, готового отчаянно броситься — в ледяную или теплую воду? Он не знал ничего, потому что не понимал девушек, предлагающих «быть друзьями».

— Когда это началось у вас? — спросила она тоном врача.

— Всегда! Я думаю, что это было всегда!

— Сегодня день траура, Детрей, и лучше будет, если мы обсудим план наших прогулок, как предполагали вчера.

— Я отказываюсь! Неужели вы не видите, что мне худо, — а я еще ничего не сказал!

— Тогда идите.

Побледнев, Детрей пристально взглянул на нее и, медленно поклонясь, с трудом нашел дверь. Джесси шла за ним и, придерживав дверь, которую он хотел покорно закрыть, сказала с порога, в коридор, — уходящему, остановившемуся в мучениях:

— Вы помните, как вы меня несли ночью?

— Да, и если бы...

— Так вот, я точнее вас: отсюда и началось, а у кого? — догадайтесь.

Она закрыла дверь, запрещая этим продолжать разговор, а затем, оставшись одна, вверила себя и свою судьбу человеку, с которым только что так серьезно шутила.

## ГЛАВА XXIV

В ноябре о Джесси Тренган было известно ее знакомым лишь, что она вышла замуж за лейтенанта Детрея и живет с мужем в Покете, где нет даже порядочного театра.

Дом Джесси стоял пустым; «Зеленую флейту» она продала одному из поклонников Хариты Мальком, находившему драматическое расхаживание по бывшим комнатам артистки вполне серьезным занятием.

Однако чего ждали от Джесси ее знакомые, тотчас признавшие с довольной миной пророков, что ее судьба и не могла быть другой, как «стать на теневой стороне»? По-видимому, вольные и невольные их ожидания сулили ей в будущем ослепительную феерию. Жена ничем не замечательного человека, не имеющего никакого отношения к славе и блеску, жила, между тем, без всяких пышных расчетов, обладая достаточным запасом преданности и любви, чтобы из обыкновенной, очень скромной жизни создать необыкновенную, совершенно недоступную большинству.

Как раз в этом отношении нет способов передать сущность жизни мужа и жены так, чтобы сущность эту ощутил слушатель.

Но нам уже приходилось быть непоследовательными. Так как Детрей не только не захотел выйти в отставку, но даже от намеков на это приходил в мрачное настроение, Джесси оставила его жить так, как ему нравилось, и сама стала жить одной с ним жизнью, в доме из пяти комнат, а прислугой ее была одна Герда. Круг их знакомых был прост и не тягостен. Из ограниченного жалованья Детрея, с прибавкой хорошо продуманной лжи в виде тайно потраченных своих денег, Джесси создала комфорт и была искренне поражена своим искусством. Детрей был тронут ее усилиями, но беспокойная, холостая жизнь притупила его восприимчивость, и он

больше догадывался, чем знал, что сделанное Джесси — хорошо.

Окончив свои труды по устройству квартиры, Джесси подарила Детрею лошадь, — белую с рыжей гривой, тысячу папирос его любимой марки и ящик рома. Детрей был в восторге два дня.

Тогда она произвела в квартире беспорядок, приказала Герде не мести комнаты, сдвинула стулья, опрокинула статуэтку, на стол положила чайное полотенце и пролила воду возле цветов.

— Вам, наверное, очень неприятен этот хаос? — сказала Джесси Детрею, — но к вечеру все будет прибрано.

— Не думайте, что я очень жесток, — ответил Детрей, — главный порядок в том, что вы со мной.

Наступил вечер, когда Детрей вернулся домой. Джесси встретила его нарядная, с лукавым видом, и провела по всем комнатам.

— Мы с Гердой обломали все ногти, — сказала она, — так мы чистили и скребли. Но уж зато пылинки нигде нет. Я — молодец?

На самом же деле Джесси оставила все, как было утром.

— Дорогая Джесси, — ответил Детрей, оглядываясь с тоской, — неужели необходимо удручать себя? Действительно, все блестит и сияет, но, по моему мнению, с вещами надо обходиться так: дать им несколько дней свободно перемещаться и бунтовать, а потом рассчитывать с ними сразу за все.

— Относится ли это к мытью тарелок?

— Конечно. Надо купить сто тарелок.

— Таинственное существо, мой друг, откройте мне великую тайну: разве мужчины не педанты чистоты и хозяйственности?

— Клевета! — мрачно сказал Детрей. — Мы жертвы этой клеветы в течение уже четырех тысячелетий.

— Хорошо, расскажите же мне о себе!

— Вам будет страшно, но я расскажу. Мы живем двести лет назад. Я и вы. Мы пристали на парусном корабле к берегу Дремучих лесов.

— И Поющих ручьев?

— Да. Я сложил дом из бревен, сам их нарубив. И я сложил очаг из глыб песчаника, а также поймал дикую лошадь и выкорчевал участок.

— Я не знала, что вы можете сказать подряд тридцать пять слов.

— Иногда; когда вы держите меня за руку, как сейчас.

— Но в той лавке древностей — я не держала вас за руки? Я не мешала?

— Нет; конечно, нет.

— Что же я делала?

— Я жарил для вас оленей и куропаток.

— Да, но я?!

— Вы сидели в шалаше, пока строился дом, и вам было не велено выходить во время дождя.

— А потом что?

— Мы жили вместе. Мы пекли в очаге картофель, а в реке удили рыбу. И я рассматривал все следы, чтобы вовремя заметить врага.

— А теперь,— сказала Джесси,— я расскажу вам, и вы увидите, что я могу попадать в тон. Она... гм... то есть та, которая всегда была сухой благодаря отличному устройству шалаша... Так вот она ела однажды салат из почек кедра, замешанный на бобровом сале, и у нее заболели зубы.

Детрей хохотал, не замечая, что у Джесси нервно блестят глаза.

— Заболели зубы,— продолжала Джесси, вставая и ходя по комнате с заложенными за спину руками.— Так, заболели. Ай-ай-ай! Вот ужас! И коренной и глазной, сразу,— и надо было ей зубного врача. Попробовали компресс из сырого мяса пятнистой пантеры — не годится. Она скандалит и бежит под дождем. Он, конечно, читает заметки на коре дерева, сделанные когтями гризли, но не находит никаких указаний. И вдруг...

— И вдруг?! — спросил встревоженный Детрей.

— Зуб прошел сам. Не обижайтесь на меня, милый, я вас очень люблю.

Она пошла в спальню и написала Еве Страттон: «Будь добра, напиши, что ты очень больна».

На ее письмо пришел ответ в виде двух отдельных листков. Первый листок содержал уведомление о тяжелой болезни почек; на втором, которого Детрей не чи-

тал, стояла шеренга восклицательных знаков, заканчивающихся словами: «Лучше бы помирились».

Тогда Джесси проверила белье Детрея, крепко расцеловала его и, кивнув из окна вагона, показала пальцем на свой лоб, на сердце и сдунула с ладони воображаемое перо. Поезд уже тронулся, так что, затрудненный этими таинственными знаками, Детрей долго стоял у опустевших рельсов, сказав лишь «Дорогая моя».

Он прожил четыре дня в пустых комнатах, со ставшим очень отчетливым стуком стенных часов, и среди казарм, в зное известковых стен обширных дворов, по которым всегда медленно проходили солдаты.

Утром четвертого дня подробная телеграмма Евы Страттон произвела, наконец, благодетельную операцию, несмотря на сварливый тон Евы: «Нарушаю честное слово, предаю вашу жену. Сегодня, в час дня, Джесси подписывает продажу своего дома, добавляет к сумме всю наличность, продает ценные бумаги и покупает двадцать шесть недурных жемчужин, а также билет для возвращения домой. Эти жемчужины вы можете растворить в уксусе вашего самомнения и выпить его за здоровье одного бескорыстного, преданно любящего вас существа, которому, очевидно, все равно, будут у него дети или нет,— лишь бы угодить своему повелителю».

Бесспорно искренний, по значению чувства, но неестественный эгоизм Детрея стал вполне ясен ему. Как ни мечтал он быть для жены всем, ее решительные поступки устроили его. Он не мог хотеть помнить всю жизнь непоправимую вину. Еще красный от хорошего стыда, едкого, как попавший в глаза табачный дым, Детрей послал Герду на телеграф с телеграммой такого содержания: «Подал в отставку и жду приезда». Детрей не подозревал, что для него, с его врожденными способностями и наклонностями, эта телеграмма представляет значительную жертву. Но он хотел, чтобы Джесси была спокойна.

Между тем, его жена, очень довольная сюрпризом, тайно подготовляемым для Детрея, сидела в рабочей комнате Евы Страттон, ожидая появления нотариуса и покупателя дома, голландца Ван-Гука, директора фабрики граммофонных пластинок. Джесси продавала не торгуясь, за полцены, лишь бы скорей вернуться домой. И ее восхищала мысль, что Детрей, встретив ее, не за-

метит жемчужины на ее груди; таких и подобных им жемчужин на всем земном шаре считалось не более ста тридцати. Они ждали ее денег в громадном магазине Фланкона, запертые в стальном сейфе. Жемчужины эти, величиной в белую сливу, блестели, как луна. Стоили они, по словам Джесси, сущие пустяки. «Я назову их,— сказала Джесси взбешенной и утомленной Еве,— назову их «все мое несу с собой», а так как слов много, то сокращу, составлю им имя из начальных букв: «ве-мене-с». Веменес. Почти как испанское».

— Веменес, тебе телеграмма,— вздохнула Ева, готовясь к расплате и передавая телеграмму Джесси.

Джесси прочла ее про себя, глубоко задумалась, изменилась в лице и, сведя брови, стала смотреть на Еву в упор.

— Я прочту вслух,— сказала Джесси.— Слушай: «Подал в отставку и жду приезда». Ева, ты должна понимать, что означают эти слова!

— А мне все равно,— ответила та, стараясь быть бесстыдно веселой, хотя покраснела и выглядела довольно жалко.

— Ты низкая мошенница! — вскричала Джесси, не зная, плакать или смеяться от этой, так нежно и горячо ударившей ее, неожиданности.— На кого же я тогда могу положиться?! Ведь это предательство!

— Ты права. Я беззащитна,— сказала Ева.— Мне сказать нечего. Я молчу.

— О, господи! — вздохнула Джесси, расстроенная равно как смущением подруги, так и ее угловатым вмешательством.— Простить тебя, что ли?! Ты что ему написала?

— Не больше того, что есть. Неужели тебе жаль жемчужин?

— Представь: да!

— Это похоже на тебя.

— Ну, ты не смеешь так говорить!

Но ссоры не произошло, потому что пришел Готорн, с самого начала принимавший деятельное участие в конспирациях Джесси. Узнав, что случилось, он стал настаивать юную женщину именно так, как это хотелось ей услышать.

— Я безусловно сочувствую вашему мужу,— говорил Готорн.— Надо правильно взглянуть на него. Он

представляет собой редкое ископаемое,— отпечаток раковины в куске фосфорита,— чистый, твердый человек. Он человек деятельный. Дым его жертвы равен блеску наших неосуществленных жемчужин. Ему просто надо помочь. Мой старый школьный товарищ Гракх Батеридж устраивает конный завод, а так как вы говорили, что ваш муж хорошо знает лошадей и любит их, я считаю, что, при его согласии, место управляющего заводом будет оставлено ему. Этим все и решится.

— Благодарю вас,— сказала Джесси.— Я виновата.

— В чем вы виноваты, дружок?

— Не знаю.— Она вытерла проступившие в глазах слезы.— Чувствую, что виновата. А может быть — нет.

— Наверное, не виноваты ни в чем. Однако я слышу шаги; это идет ваш покупатель с нотариусом.

Голландец был неприятно поражен, когда Джесси, едва ответив его приветствию, поспешно сказала:

— Дом больше не продается. Я его не продаю. Я раздумала

— Так,— сказал толстый, черноволосый человек, садясь и плавно осматривая присутствующих поверх скрывающего нос платка. Посморкавшись, он шумно задышал и взглянул на нотариуса, оживленная улыбка которого приняла официальный оттенок. «Настало время шутить»,— подумал Ван-Гук и сказал:

— «Сердце красавицы — как ветерок полей!?»

— Вы должны меня извинить,— твердо заявила Джесси, уже оправясь,— я сговаривалась серьезно, но обстоятельства, незадолго до вашего появления, изменили мое решение. Что я могу сделать?!

— Цена, предложенная мной, была, сознаюсь, несколько низка.— Ван-Гук стал часто дышать.— Я предлагаю вам высказаться в смысле ваших желаний.

— Она совершенно серьезно отказывается продавать дом,— сдержанно вмешался Готорн.— Дом остается в ее руках.

Голландец, сильно и зло покраснев, пристально всмотрелся в Готорна и неожиданно встал. Слегка качнувшись, что означало сухой общий поклон, Ван-Гук и, вместе с ним нотариус, вышли, сопровождаемые общим молчанием.

— Он обиделся,— сказала Джесси тихо,— действительно, вышло это не совсем красиво.

— Ничего особенного, — возразил Готорн, — уверяю вас, что этот прожженный делец рассердился не на меня и не на вас, но только на «внезапное обстоятельство». Ван-Гук привык ездить по гладким рельсам. «Неожиданное обстоятельство» для него есть неприличие, срам. Но вас, Джесси, он будет теперь глубоко уважать, — вы оказали неодолимое сопротивление, а он к этому не привык.

Итак, голландец остался без дома, Джесси — без ожерелья, а Детрей — без службы.

На другой день вечером Джесси приехала в Покет. Описание встречи ее с мужем не произвело бы того впечатления, какое могло быть, если бы читатель был очевидцем встречи, и мы оставляем эту возможность не тронутой. Тем подтверждается все более укрепляющееся в Европе мнение, что читатель есть главное лицо в литературе, а писатель — второстепенное. Против такой идеи нечего возразить; она помогает пищеварению.

На лисском кладбище, несколько сторонясь от других могил, стоит высокая мраморная плита, уже обвитая дикими розами, в тени двух деревьев. Она ограждена черной решеткой с позолоченными железными листьями. Кроме имени «Моргиана Тренган», на плите этой нет никакой надписи. Но это имя есть, в то же время, единственная возможная сентенция.

Вскоре после смерти Моргианы на ее могилу явилась деревенская девушка. Она странно держала голову, как будто движение головой причиняло боль в шее, и положила к плите полевые цветы, помня с горячей благодарностью те десять фунтов, которые получила она от умершей в возмещение удара камнем.

Вот и все; немного — или много? Как кому нравится.

20 апреля 1928 года.  
Феодосия.



# ПО ЗАКОНУ

## ЧУЖАЯ ВИНА

### I

Лесная дорога, соединяющая берег реки Руанты с группой озер между Конкаибом и Ахуан-Скапом, проложенная усилиями одного поколения, была, как все такие дороги, скупа на прямые перспективы и удобна более для птиц, чем для людей, однако по ней ездили, хоть и не так часто. Еще утром этой дорогой скакал почтальон, крепко сложенный, женатый человек тридцати пяти лет, но встретил неожиданное препятствие.

Его оседланная лошадь спокойно бродила по озаренной солнцем дороге, обрывая губами листья дикой акации. Хвост животного мерно перелетал с бедра на бедро, гоняя мух, которые, прекрасно изучив ритм этих конвульсий, взлетали и садились, не рискуя ничем.

В чаще залегло солнце. Стояла знойная тишина опущенной в дневной зной неподвижной листвы.

На дороге, лицом вниз, словно рассматривая из-под локтя лесную жизнь, лежал труп человека с едва заметно разорванным на спине сукном куртки. Из разжатых пальцев правой руки вывалился револьвер. Плоская фуражка с прямым клеенчатым козырьком лежала впереди головы, пустотой вверх, и через нее переползал жук.

Над трупом кружилось облако мух, привлеченных запахом сырого мяса, шедшим из-под этого плотного, тяжелого тела, где земля была еще липко влажная.

У седла лошади при каждом шаге вздрагивала откинутая крышка сумки, откуда, скользя друг по другу и перевертываясь на краю кожаного борта, сваливались запечатанные конверты. Копыта время от времени наступали на них, превращая в уродливые розетки.

Обрывая ветки, лошадь подвигалась к трупу все ближе и ближе. Заметив лежащего, она, казалось, припомнила недавнюю суматоху и коротко проржала; затем попятилась, неуверенно ставя задние ноги и взмахивая головой, как будто перед ее глазами стоял кулак. Сильный грудной храп вылетел из ноздрей. Она скакнула на месте, потом замерла, настороженно опустив голову; левый глаз дико косил.

В это время из леса, раздвинув ветви прямым, сильным движением обеих рук, вышел и ступил на дорогу человек в меховой бараньей жилетке, надетой кожей вверх на пеструю сатиновую рубашку, в серой шляпе, высоких горных сапогах. Он был небрит, с быстрым взглядом и худощавым, равнодушным лицом. Увидев, что находится перед ним, он повернулся и исчез, как пружинный, с быстротой появления.

Некоторое время его неподвижно белеющее лицо смотрело из сумерек чащи. Он всматривался и ждал.

Затем снова протянулась рука, расталкивая зеленый плетень, и человек вышел вторично, бросая вокруг внимательные взгляды. Ничто не угрожало ему. Лошадь, отойдя, продолжала обрывать листья.

Еще два письма выпали из седельной сумки.

На затылке трупа стояло солнечное пятно.

## II

Неизвестный подошел к мертвому и, присев на корточки, уперся тылом ладони в его лоб, осматривая лицо.

— Вот почему стреляли в этой стороне, — сказал он, вставая. — Гениссер больше не будет возить почту. Стало быть, вез деньги и не давался живой. Несчастливая твоя жена, Гениссер!

Он покачал головой, вздохнул и навел беглое следствие, как сделал бы это всякий случайный прохожий: обошел труп, поднял револьвер и удостоверился, что в одном гнезде нет пули. Всего один раз успел выстрелить почтальон.

Уважение к смерти вызвало в неизвестном минуту задумчивости. Он потускнел, щелкнул пальцами, затем стал подбирать письма, набрав их полную руку.

Время от времени он вертел какой-нибудь конверт, прочитывая незнакомые и знакомые имена с интересом человека, имеющего свободное время.

Он поднял еще одно письмо, внезапно отступил, продолжая держать его перед глазами, затем бросил все собранные письма, кроме последнего, и, поискав взглядом в воздухе решительного указания, как поступить в этом непредвиденном случае, стал очень нервен. Тяжелая, пристальная озабоченность не сходила с его лица. Тонкое лезвие стыда болезненно рвалось в нем навстречу другому чувству, бывшему сильнее всех, какие когда-либо посещали его.

Обстоятельства этого случая могли ввести в грех даже менее импульсивную натуру. Инстинкт требовал вскрыть письмо. Неизвестный был человек инстинкта. После короткой борьбы он уступил неимоверному искушению и разорвал конверт неверным движением первого воровства.

Прочтя лист, исписанный торопливым мужским почерком, он аккуратно вложил письмо в конверт, сунул в карман и хлопнул по карману рукой, как бы утверждая и замыкая этим движением факт во всей его железной отчетливости. Очнувшись, он заметил камень и сел на него.

— Так, — шумно сказал он, начиная обдумывать.

Опустив голову, он сцепил пальцами руки, локти положил на расставленные колени. В таком положении просидел он некоторое время, иногда встряхивая сжатые руки и повторяя свое «так...» все тише, задумчивее, пока весь ход мыслей и представлений не выразился отчетливой потребностью в действии.

Еще раз тряхнув руками, слегка потянувшись, человек поднял лицо и встал. Казалось, он пережил что-то приятное, так как вышел на дорогу с улыбкой. Это была улыбка бессознательная и странная. Продолжая хранить ее, он стал ловить лошадь, бросая ей на голову свою просторную меховую жилетку. После некоторых неудачных попыток он схватил наконец повод, взлетел на седло и обратил голову артачащегося животного в сторону Конкайба.

Лошадь попятилась, потом подалась вперед. Удар в бок окончательно вывел ее из равновесия, и, яростно мотнув гривой, она стала выделять стремительное

«та-ра-па-та», «та-ра-па-та» вдоль летящих в глаза ветвей.

Всадник не нашел удовлетворения даже в таком карьере, хотя дышал острым ветром хлещущего пространства. Он оскорбил лошадь резкими замечаниями и стал выжимать всю быстроту, на какую способна здоровая трехлетка хорошей крови.

### III

Так он скакал час и два, иногда приходя в ярость, отчего лошадь, начиная уже тяжело одолевать подъемы, с хрипом взлетала на них, из последних сил натягиваясь в струну. При спусках всадник и лошадь составляли одно сумасшедшее живое существо, несшееся с быстротой падения. Худые мостики, перекинутые кое-где над трещинами и потоками, подскакивали и изгибались, как будто копыта били в живое тело. Иногда, отразив подкову, камень отлетал сам. Когда кончился лесной склон, начались луга с более мягким грунтом; лошадь пошла тяжелее, но ударами ног и страстным напряжением всех человеческих сил ей приказано было от исступления перейти к подвигу. Она сделала это. В ее глазах отражался пар сгорающих легких. Шея была вытянута безумным усилием. Вид старой крыши среди тростников поманил ее ложной целью, она пробежала шагов сто и перешла в рысь, потом, затрепетав, как от пулевой раны, грохнулась, вся в мыле, издыхая и колотя копытами воздух.

Ездок даже на мгновение не склонился над ней.

Он соскочил с нее, как с пошатнувшегося бревна, и так уверенно быстро, как будто все было предусмотрено, а потому не могло вызвать задержек и колебания, побежал к впадине берега, над линией которого двигалась, скрываясь и появляясь, рыжая меховая шапка. Там, стоя в лодке, загорелый старик вбивал кол в речное дно; он, подняв голову, увидел человека, стоящего на обрыве с поднесенным к виску револьвером.

Эта сцена произошла как видение.

Рука с револьвером дрогнула коротким толчком, звук выстрела осадил фигуру стреляющего, он склонил голову и упал навзничь.

Заостренно прищурясь, старик бросил деревянный молот и с криком, означавшим внезапный перерыв мыслей, тремя взмахами достиг берега.

Хватаясь руками за земляные глыбы обрыва, взобрался он наверх быстро, как белка, и был уже близко от трупа, как самоубийца, воспрыв, неожиданно кинулся вниз, завладел лодкой и отплыл в тот момент, когда пальцы старика, менее проворного, чем судорожная работа веслом, на дюйм лишь не достигнув борта, остались протянутыми к убегающей лодке.

— Орт Ганувер! — сказал старик, стоя по колени в воде. — Я тебя узнал. Тебя все равно поймают. Поймают! — повторил он и, неторопливо выйдя на берег, услышал хмурый ответ.

— Лодка была нужна.

#### IV

Старик ничего не ответил и, топнув ногой, побежал к дому. Решась наказать похитителя, он взял ружье и поднялся на крышу дома по приставной лестнице.

Ганувер плыл с гоночной быстротой вниз по течению. Лодка, раскачиваясь, как скорлупа, отскакивала при гибком упоре весел мерными размашистыми движениями, и, когда гребец обогнул поворот, его кивающая фигура выказалась на блестящей воде.

Рядом со стариком стоял мальчик лет восьми, хмурый, белоголовый, деловито выглядывая из-под руки. Он вскарабкался на крышу с куском хлеба в зубах.

— Клади его на месте! — посоветовало отцу дитя ртом, полным пищи.

На линии выстрела гребец поднял весло, прикрыв его лопастью голову, и невольно нагнулся, когда, дернув весло, пуля унеслась в тростник. Тотчас стал он грести еще поспешнее, почти выйдя уже из угрожающего пространства к защите левого берега, но стукнул второй выстрел; лязгнув по уключине, пуля снесла мизинец.

Не чувствуя сгоряча боли, гребец тупо смотрел на искаленную левую руку, от которой стекала по веслу тонкая струя крови, капая в воду. На отдалении, миновав другой поворот, он наспех перевязал руку платком и посмотрел на солдце.

Солнце показывало пятый час на исходе.

— Еще миля,—сказал он, снова начав грести с прежней неутомимостью и тряся головой, чтобы удалить заливающий глаза пот. Платок на его руке покрылся черными пятнами; там билась острая боль, властная, как ожог.

— Стоит ли возвращать лодку,—пробормотал он, все чаще поглядывая на солнце,—мизинец мне не купит даже и за сто таких лодок.

Наконец показались темные сараи, сады, лесопильная, мельница, площадь и вывески. Орт Ганувер выехал под сваи мостков, выбросился из лодки на песчаный откос и, более не заботясь о лодке, поспешил к противоположной стороне города.

## V

Все эти две сотни крыш можно было оглянуть с высоты барочной мачты одним взмахом ресниц; не хуже любого жителя края Ганувер мог вперед сказать, какое зрелище представится ему за любым углом любой улицы. Но он был в том особом положении, когда знакомое населенное место измеряется лишь масштабом стиснутого опасностью пульса, когда вся внешняя известность этого места ничто пред неизвестностью — какой характер примет первая случайная встреча. Тем не менее Орт Ганувер взялся за дело, требующее забыть о себе. Увидя распахнутые двери гостиницы, он не стал выискивать окольных путей, так как дорожил каждой минутой. Пробегая мимо гостиницы, он заметил несколько человек, стоявших тут, и по тому выражению внезапной мысли, с каким кое-кто из людей этих передвинул сигару в другой угол рта, рассматривая его открыто, в упор, он понял, что его узнали. Если бы Ганувер обернулся, он увидел бы сквозь пыль и лучи, как все взгляды направились ему вслед; впрочем, он знал это, не оборачиваясь.

Он был разгорячен, заверчен своим бешеным путешествием, а потому думал о неизбежном преследовании лишь сквозь видение дома, дверь которого торопился открыть еще больше, чем полчаса назад, так как услышал первый гудок парохода. Когда он наконец открыл дверь, навстречу ему вышла суровая старуха и, наклонив голову, взглянула поверх стекол.

Она узнала его. Всякое ненавистное явление наполняло ее строгим молчанием. Ее лицо приняло категорическое выражение висячего замка, а желтая рука нервно указала дверь комнаты, где женский голос напевал песенку о весенних цветах.

Собравшись с духом, пряча за спину раненую руку, Ганувер предстал перед молодой девушкой, посмотревшей на него взглядом великого изумления. В ее лице проступил внезапный румянец, но без улыбки, без жизни: сухой румянец досады.

По-видимому, она укладывалась, только что кончив собирать мелочи. Раскрытый большой чемодан стоял на полу.

Ганувер сказал только:

— Не бойтесь, Фен, это я.

Его глаза искали в ее лице мнение о себе, но не нашли. Молча он протянул письмо.

Наградой за это был долгий взгляд, пытливый и немилостивый. Она резко взяла письмо, прочла и вышла из равновесия. Вся, всем существом восстала она против удара, еще не зная, что сказать, как и куда двинуться, но Орт, видя теперь ее лицо, сам взволновался и отступил, готовя множество слов, которым в смятении не суждено было быть сказанными.

Девушка села, прикрыв глаза маленькой, крепкой рукой, но, вздохнув, тотчас увела слезы обратно.

— Лучше бы вы убили меня, Орт! — сказала она. — И вы еще читали это письмо... Как назвать вас?!

— Но иначе я не был бы здесь, — поспешно возразил Ганувер. — Выслушайте меня, Фен. Я не знал, клянусь вам, какое место в вашей жизни занимает этот Фицрой. Знай я, — я, может быть, простил бы ему добрую половину того, что он наговорил мне. Дело прошлое: оба мы были пьяны, и вся эта история произошла под вывеской «Трех медведей». Слово за слово. Последним его словом было, что я негодяй. последним движением — бросить в меня стакан. И тут я спустил курок, что сделали бы и вы на моем месте. Правда, из-за таких же историй я должен был отсюда бежать, но разве помнишь это, когда кипит кровь? Как видите, Фицрой ранен, и жив, и зовет вас. Надо было торопиться, пока вы не сели на пароход. Что вы сегодня должны поехать, узнал я из этого же письма. Я не терял време-

ни. Пусть весь стыд останется мне, но я рад, что вы узнали обо всем вовремя.

— Скажете ли вы, наконец, как попало к вам это письмо?

— Скажу. Я поднял его на дороге. Я переходил дорогу. Я не знаю, кто отдал Гениссера, но вся его контора была рассыпана на пространстве двадцати — тридцати шагов. Гениссер был мертв. Грязное дело, и я не знаю, кто ограбил его. Когда я собирал письма, то увидел ваше имя... При других обстоятельствах я не... не читал бы письмо. Но тогда...

Он хотел сказать, что поддался внушению совпадений, — странности случая, вырезанного ужасным ударом, — но не нашел для этого слов, умолк и прислонился к стене, смотря на девушку с раскаянием и тревогой.

— Вскрыть письмо?! — сказала она, ударяя ладонью по столу. — О, черт возьми! Я еще не знала вас хорошо, Орт!

— Палка о двух концах, — возразил он, слегка обожаясь. — В противном случае вы бы не знали о положении дел.

— Да, но это сделали вы!

— Увы, я! И вот сплелся круг; как хотите, так и судите.

— Однако вам попадет за Гениссера, — сказала, помолчав, Фен. — И за все вообще.

— Не я убил Гениссера, — отвечал Ганувер, — я уже сказал вам.

Он нахмурился и прислонился к стене, толкнув нечаянно спрятанную за спиной руку. Он побледнел, согнулся от боли.

— А это что? — подозрительно сказала она, указывая на бинт.

— Ничего, — ответил Ганувер, стягивая зубами и правой рукой размотавшуюся повязку. — Прощайте, Фен. Скажите... Скажите Фицроу, что я очень жалею... Я...

Он застенчиво посмотрел на нее и, махая шляпой, направился к выходу.

— Зачем вы сделали это? — услышал он на пороге. Голос прозвучал, как мог, сухо.

— Я уже объяснил, — сказал Ганувер, оборачиваясь с болезненным чувством, — что эти оскорбления...



— Не валяйте дурака, Орт. Я спрашиваю о другом.

— Н-ну,— сказал он, пожимая плечами и запинаясь,— потому, что я вас люблю, Фен, о чем вы хорошо знаете. Не стоило спрашивать.

— Не стоило...— повторила она в раздумье.— Видел вас кто-нибудь?

— Должно быть.

— На всякий случай я выпущу вас другим ходом, а там — что будет.

Он прошел за ней по короткому коридору к раме раскрытых дверей с вставленной в нее картиной цветника и собаки, смотревшей, натянув цепь, кровавыми загорающимися глазами на человека в меховом жилете. Он знал, что за дверью открылась не жизнь, а картина жизни, которую он может вызвать в памяти перед тем, как его повесят. Чувство опасности остро разлилось в нем.

Выходя, он обернулся и увидел, как женская рука плотно прикрыла дверь.

Орт Ганувер направился было к воротам, но, раздумав, повернул в противоположную сторону, перескочил невысокую каменную ограду и прошел углом соседнего огорода к выходу на другую улицу. Он был теперь ненормально спокоен и вял, хотя еще полчаса назад рвался повернуть и отстранить все, мешающее вручить письмо. Реакция была так же сильна, как было строго и беспощадно напряжение встречи. Он чувствовал, что теряет способность соображать.

Постояв в нерешительности, хотя сознавал, что медлить опасно, он наконец тронулся с места, перешел улицу и стал пробираться к реке.

## VI

Вечером следующего дня редактор «Южного Курьера» взял у метранпажа стопу гранок и перебрал их, бормоча сам с собой. «Землетрясение в Зурбагане», «Спектакли цирковой труппы Вакельберга», «Очередной биржевой коктейль», «Арест Ганувера»...

Отложив эту заметку, он взял карандаш и прочел: «Сегодня вечером арестован на улице города Кнай Орт Ганувер, дела которого, надо сказать прямо, не

блестящи. Он обвиняется в убийстве и ограблении почтальона. Кроме того, старые грехи этого молодца, обладающего горячим характером, образуют величественную картину разнузданности и дикости, а потому...»

Остальное было в этом роде, и, молча прочтя конец, редактор подписалверху гранки:

«Арест Ганувера».

«Грабитель почты понесет заслуженное наказание».

«Мрачный, но необходимый пример получают все, ставшие врагами общества и порядка».

— Вот так,— сказал он, передавая корректуру сотрудику.— Остальное тоже пустить в машину.

Сотрудник, разобрав материал, подошел к редакторскому столу.

— Которая заметка пойдет? — сказал он.— У меня две заметки о Ганувере.

— Например?..

— Вот та; а вот вторая, о которой я говорю.

Эта вторая заметка была составлена так:

«Арест О. Ганувера вызвал в нашем городе много толков и пересудов. Его обвиняют в убийстве и ограблении почтальона. Между тем установлено путем предъявления следствию бесспорных доказательств, что О. Ганувер явился в Кнай передать одному лицу найденное на дороге письмо. Мы не знаем, как отзовется это обстоятельство на приговоре суда, но считаем делом справедливости печатно установить непричастность Ганувера к ужасному и печальному делу».

— Кто отдал это в набор? — спросил редактор.— Должно быть, вы, Цикус?

— Да. Потому что вас не было.

— Кем подписан оригинал?

— Он подписан...

Говоря это, молодой, рыжий, как морковь, человек разыскал на столе и подал листочек, подписанный: «Ф. О'Терон».

— Звучит несколько интимно, несколько легкомысленно,— сказал редактор, ни к кому не обращаясь и взглядывая поочередно на обе заметки.— Суд есть суд. Газета есть газета. И я думаю, что первая заметка выигрышнее. Поэтому пустите ее, а что касается письма Ф. О'Терон, редакция ответит ей в частном порядке.

# ГАТТ, ВИТТ И РЕДОТТ

## I

Три человека, желая разбогатеть, отправились в Африку. Им очень хотелось иметь собственные автомобили, собственные дома и собственные сады. В то время африканские алмазные прииски, расположенные на реке Вивере (эта река такая маленькая, что ее нет на карте), каждый месяц давали от тысячи до трех тысяч каратов драгоценного камня. Поэтому каждый месяц пароход, приходивший к тому берегу из Занзибара, ссаживал сотни людей, желавших попытать счастья.

Наши три человека были: почтальон, извозчик и пекарь. Первого звали Гатт, второго — Витт и третьего — Редотт. Скопив денег на дорогу, отправились они в страну змей, обезьян и львов копать тамошние пески.

Немедленно по приезде с ними начались несчастные случаи. Сначала заболел лихорадкой Редотт, затем Витт и наконец Гатт. Пока они лежали в палатке, отпиваясь хиной и кокосовым пивом, негры украли у них все деньги, инструменты и лошадей. Выздоровев, они подыскали себе участок, где, по их расчетам, должны были находиться алмазы; заняли три лопаты и стали работать.

После целого месяца усиленного труда на всех троих нашли всего лишь один-единственный бриллиант, но и тот мутный, как грязное стекло. Он был, правда, величиной с орех, но почти ничего не стоил; маклер дал за него только три фунта.

Между тем их энергия стала падать. Они попытались менять участки, но нигде более ничего не нашли. Кроме того, зной плохо действовал на состояние их здоровья: они худели, пили много воды и почти не могли спать; тревога и забота не давали им покоя.

Однажды вечером сидели они у костра, молча и тихо.

— Итак, у нас ничего нет,— сказал задумчивый, спокойный Редотт,— нет даже сил, чтобы разрубить дерево для костра. Питаемся мы почти одной зеленью. Этак мы скоро подохнем.

— Я не желаю подыхать,— возразил беспокойный, крикливый, более всех тщедушный и прожорливый Гатт,— я хочу, понимаете, бифштексиков, вина и денег. Вообще я хочу широко наслаждаться жизнью, черт ее побери.

— Наслаждайся,— насмешливо сказал желчный черноволосый Витт.— Мне бы только немного окрепнуть. Я тогда пойду к голландцу Ван-Клопсу. Ван-Клопс даст мне ружье и пороха. И я присоединюсь к охотникам за слоновой костью. Но, увы, я должен поесть, поесть много раз хорошего мяса.

— Да, сильным быть хорошо,— отозвался Редотт.— Куда я гожусь? — Он засучил рукава и посмотрел на свои худые руки.— Будь я, например, немного посильнее Самсона, я черной земляной работой добыл бы себе здесь форменный капитал. Разве не так?

— Я ловил бы слонов, как мышей,— сказал Витт.— Я вырывал бы руками клыки и таскал бы целые снопы их, как пачку папирос. Кроме того, десяток — другой львов, пойманных живьем, купит любой зверинец. А вы знаете, сколько стоит приличный лев? Говорят, тысяча фунтов. Теперь сосчитайте.

— Двадцать тысяч фунтов,— сказал Гатт.— При такой силишке, о которой вы говорите, я просто плюнул бы в реку, не сходя с места, и убил бы простым плевком столько рыбы, сколько нужно для всего прииска. Рыба свежая — пожалуйста, и деньги на бочку.

## II

— Так в чем же дело? — раздался над головами их громкий вопрос.

Костер бросал в тьму летающий рыжий блеск, и в блеске этом показалась бронзовая фигура индуса. Его тюрбан сиял дорогим шитьем, за поясом мерцали драгоценные камни кинжальной рукояти. Матовые, орлиные глаза индуса выражали достоинство и гордость. Недавно прибыл он на Виверу с множеством лошадей и слуг, но не собирался жить здесь; как говорили, держит он путь в глубину Африки.

— Ваше степенство... — пробормотал, подымаясь, Гатт.— Удостоите присесть.

— Садитесь,— угрюмо пробормотал Витт.

Редотт встал и, ответив индусу на его приветственный жест поклоном, сказал:

— Саиб Шах-Дуран, зажги свою трубку у нашего огня. Больше у нас ничего нет.

— Но будет,— сказал индус.— Я прогуливался и услышал ваш разговор.— Он сел.— Так в чем дело? Повторяю,— продолжал Шах-Дуран,— если хотите быть сильными, я могу исполнить ваше желание.

— Вы шутите! — воскликнул Редотт.

— У нас. в Индии, такими вещами не шутят,— сказал индус.

— Арабские сказки,— фыркнул на ухо Витту смешливый Гатт, и шепотом ответил ему Витт:

— Шах, кажется, был в миссии и хватил немного хмельного.

Тонкий слух индуса поймал смысл их слов.

— Я не пью «хмельное»,— сказал он без раздражения, но так внушительно, что Витт и Гатт оторопели.— Что же касается «арабских сказок», то лучше мне прямо приступить к делу. Хотите вы быть сильными или нет?..

— О! — сказал Витт.

— Ага! — ответил Гатт.

— Да! — произнес Редотт.

Шах-Дуран расстегнул платье и достал из бисерного мешочка три пшеничных зерна.

— Вот зерна,— сказал он,— эти зерна взяты из саркофага египетского фараона Рамзеса I, который жил тысячи лет назад. В них заключена сила жизни. Пять тысяч лет копилась она и увеличивалась. Человек, съевший это зерно, станет сильнее целого стада буйволов.

— Позвольте спросить вас,— обратился к нему Гатт,— почему именно это зерно имеет такую силу, а те, из каких печем мы свои лепешки, вызывают только расстройство желудка?

— У тебя не хватает терпения пропечь лепешку как следует. Что касается этих зерен, то я сейчас объясню, почему в них колоссальная сила. Египетская пшеница в хорошем урожае дает сам-двести. Следовательно, из одного зерна,— если бы оно проросло,— получится двести зерен.

— Он не пил виски,— шепнул Гатт Витту как можно тише.— Единожды двести — двести, это я ручаюсь.

— Я не пил виски,— меланхолически подтвердил Шах-Дуран, а Гатт сделал невинные собачьи глаза.— В доказательство этого я приведу дальнейший расчет. Нил разливается два раза в год, два раза в год плоские его берега дают жатву... Итак, одно зерно с его двумястами детьми дадут в год 40 тысяч зерен. На следующий год 40 тысяч произведут 80 миллионов потомства. На пятый — заметьте, только на пятый год — число зерен возрастет до 102 центилионов четыреста секстилионов, то есть...

Индус взял палочку и начертил на песке 1024, прибавив к этой цифре 23 нуля

— Вот,— сказал он,— вот сколько будет зерен через пять лет только из одного зерна.

— Высшая математика! — благоговейно прошептал Гатт.

— Говорить ли о пяти тысячах лет? — сказал, посмеиваясь, Шах-Дуран.— Тогда будет столько нулей, что вы соскучитесь их писать.

— Сойду с ума,— подтвердил Витт.

— Или...— вставил Гатт.

Редотт молчал.

— Один золотник весу содержит колос,— продолжал индус.— Та цифра, что я написал, выдержит тяжесть такого же числа колосьев, то есть шестьдесят четыре квинтиллиона пудов зерна. Вот сила, с которой нам приходится иметь дело. Какова же она за пять тысяч лет?

— Но эту силу,— ехидно возразил Витт,— вы изволите спокойно подбрасывать на ладони да еще увеличенную в три раза.

— Да,— сказал Шах-Дуран.— Вся сила растительности одного зерна за пять тысяч лет сообщится тому, кто проглотит зерно. Как и почему, это я вам объяснить не буду. Желаете ли вы иметь такую силу?

Как ни был притуплен рассудок алмазоискателей нуждой и усталостью, все же они поняли, что предлагают им,— и похолодели от ужаса. Но скоро овладел страхом своим Редотт и, улыбаясь, протянул руку.

— Берешь? — сказал Шах-Дуран.

— Да.

Но, положив на ладонь темное зерно, Редотт взял иголку и царапнул ею свой талисман. Одна едва заметная пылинка отделилась при этом, и он лизнул то место руки, где она должна была быть.

Индуc благосклонно улыбнулся.

— Ты осторожен,— сказал он,— и, кажется, поступил хорошо. Но даже при такой скромной порции ты спокойно можешь разбить кулаком каменный дом. Брось это зерно, оно более не может служить. Пусть идет в землю и спокойно освобождает свою силу. Ну-те,— обратился он к остальным,— что скажете вы?

«Не может быть столько секстилионов из одного семечка»,— легкомысленно подумал Гатт и, взяв зерно, съел его, даже разжевал.

— Вот и все,— сказал он, благодушно прислонясь к камню, затем упал.

Раздался оглушительный вой.

Выскочив при движении локтя Гатта, десятитонный камень секнул пространство на неизмеримую высоту; там, раскаленный трением воздуха, вспыхнул он метеором и рассыпался яркою пылью.

— Ползерна! — вскричал, видя это, охлажденный Витт.— Ползерна — настоящая порция! Иначе меня разорвет сила.

Индуc вынул перочинный ножик и отсек ползерна Витту. Налив чашку воды, Витт запил ползерна крупным глотком.

— Чтобы растворилось немного,— сказал он и хлопал себя по животу.

Шах-Дуран встал.

— Будьте здоровы,— сказал индуc, поклонился и исчез во тьме.

Затаив дыхание, смотрели наши приятели, как тает во мраке его белый тюрбан, потом осторожно сели и закрыли глаза.

### III

То, что они чувствовали, было поразительно. Казалось Гатту, что в жилах его мчатся и гудят железнодорожные поезда. Витт слышал, что сила впивается в него, подобно водопаду. Редотт задумчиво ковырял ногтем огромный пень, откалывая пудовые куски дерева.

Но их оцепенение, их изумление перед самими собой скоро прошло, так как тело их уже забыло, что значит быть слабым. Первый вскочил Гатт, он закричал что было духу:

— С такой-то силой, как у меня, шутить не приходится! Эх, где бы ее показать?.. К чему бы это ее немедленно приложить?.. Никак не подвертывается такого предмета!

Он кружился, топал и размахивал руками, оглядываясь, затем, сбив с ног Витта, лишившегося от толчка чувств, кинулся к тысячелетнему баобабу, взял его из земли так же легко, как мы берем спичку, и хлопнул им по Вивере.

Удар был неплох. Дерево, пробив течение реки, прошло в ее дно на глубину двухсот метров и обратилось в пыль, и в этой же бешеной воронке земли и воды мгновенно исчез Гатт, увлеченный силой собственного удара, и от него не осталось ничего. Вивера же вышла из берегов, а затем вздрогнула на триста миль в окружности, отчего жители проснулись и побежали, думая, что началось землетрясение.

— Ты видел? — сказал Редотт очнувшемуся от толчка Витту. — Он сожрал, правда, все зерно, но и в тебя вошла приличная порция. Смотри, не ошибись.

— Я буду охотиться на слонов, — сказал Витт. — Теперь мне не надо никакого ружья.

И они зажили разной жизнью. Витт ушел с топором в лес и пропадал три недели, разыскивая слонов. Сначала скажем, как действовал он, потом вернемся к Редотту. Витт действовал до крайности просто. Его первая встреча со слонем произошла так: слон бросился на него, подняв хобот. Витт намотал хобот на руку, пригнул голову испуганного великана к земле и вырвал клыки; после такой операции зверь бросился бежать, а Витт, всадив клыки в землю, пошел дальше. То один, то два, то целое стадо слонов попадалось ему, и у всех их, то дергая за ноги, то опрокидывая кулаком, вырывал он клыки с хладнокровием и легкостью зубного врача. Он опрокидывал их, как кот мышей. Очень скоро у него скопилось тысяча двести пудов слоновой кости. «Это будет получше алмазов», — сказал он, когда связал плот из тысячелетних деревьев и погрузил на него добычу. Плот тихо стоял у берега, Витт сидел



у костра, благодушествовал и курил. Теперь ему было легко добывать пищу. Стоило хлопнуть ладонью по стволу кокосового или мангового дерева, как все плоды, стряхиваясь, усыпали землю вокруг него. Если же ему случалось попасть камнем в стадо антилоп, то одна из них наверняка была разорвана на куски.

И от того, что он стал так невероятно силен и каждый день убивал зверей,— он стал очень жесток. Ему доставляло удовольствие разрывать рот львам, давить пальцами рысей и пантер, связывать хвостами всех вместе — носорогов, красивых жирафов, слонов, крокодилов и буйволов — и смотреть, как обезумевшее от ярости стадо грызло и топтало друг друга. Он громко хохотал, а затем, набрав пудовых камней, бросал их в пленников, пока жертвы не превращались в груды дымного мяса.

И вот, когда однажды он сидел у костра, посматривая на свой плот и замышляя, не прибавить ли еще груза,— маленькая коралловая змея, упав с дерева, воинзила ему зубы в колено и умерла, так как он раздавил ее. Затем он сам покрылся холодным потом, скорчился, почернел и умер. И гиены поужинали его трупом.

#### IV

Между тем Редотт, почувствовав такую силу, что мог бы мешать землю рукой, как мы ложкой мешаем крупу, долго размышлял, что бы теперь предпринять. Он хорошо понимал, что обнаружить силу свою опасно в полном размере, так как его будут бояться, будут ему завидовать, и он наживет себе врагов. Если враг стреляет в темноте ночью,— какая сила удержит кровь пробитого сердца?

— Что ж, надо работать все-таки,— сказал он себе.— Работать мне теперь будет легко. Вся тяжелая человеческая работа есть для меня сущие пустяки.

Он нанялся на прииск копать землю. Вначале ему было очень смешно притворно ковырять землю лопаткой, делая иногда вид, что устал; однако он скоро прихоронился и, возбуждая, правда, великое удивление, начал выкапывать за день столько земли, сколько самый сильный негр мог выкопать только в три дня.

«Вот так силач!» — говорили о нем, но так как такая сила, хотя очень редко, все же существует, то ров-

но никто не подозревал, что Редотт может разбить каменный дом ударом кулака.

У него было много работы и много денег, так как ему платили в пять раз больше, чем другим. Случилось, что он подружился с одним бельгийцем и, малость подвыпив, открыл ему свою тайну.

Бельгиец захохотал.

— Никак я не думал,— сказал он насупившемуся Редотту,— что вы, такой дельный, честный человек, можете так нагло и глупо врать!

Редотт спокойно посмотрел на него, затем встал.

— Идите за мной! — сурово сказал он.

Они вышли из палатки и подошли к рельсам, сложенным на пути.

— Вот куча рельс,— сказал Редотт,— смотрите и судите.

Затем он взял рельсу и воткнул ее в землю аршина на три, так, что конец торчал вровень с его лицом. Бельгиец попятнулся, а Редотт, хлопнув ладонью по верхнему концу рельсы, заставил ее исчезнуть в землю.

— В таком случае,— сказал упавший от испуга бельгиец, вставая и вытирая о штаны руки,— надо завтра же завоевать Африку. Я буду вашим министром. Не будете же вы без толка и пользы держать вашу сверх-перевех-силищу?!

— Не знаю,— сказал Редотт.— Я посмотрю. Может, наступит день, когда мне понадобится вся моя сила. Лучше я поберегу ее.

И он взял с бельгийца клятву молчать.

— Клянусь Бельгией! — сказал уstraшенный рабочий.

— Хорошо, я вам верю,— ответил Редотт.

## V

Была ночь, когда разбудил Редотта страшный, глухой гул. Он вскочил и побежал к копиям. Множество народа бежало уже туда, крича: «Обвал, обвал!» И стало всем ясно, что на большой глубине под землей, где рыли землю, разыскивая алмазы, тысячи человек, случилось несчастье.

Разные назывались причины. Однако скоро стало известно, что взорвались ящики с динамитом. Взрыв

был так силен, что обвалились и засыпались все верхние входы, проникнуть под землю было уже нельзя.

Увидев ряд фонарей. Редотт подошел к ним. Здесь собрались инженеры, горячо спорившие о том, как спасти тех, кто, погребенный обвалом, может быть, еще жив, но должен будет задохнуться от недостатка воздуха. Здесь же громко и тяжело плакали женщины, мужья которых работали под землей. Каждая из них успела уже броситься на колени перед инженером, умоляя спасти близких, но инженеры только разводили руками. И, высчитав приблизительно необходимое количество дней, чтобы открыть шахту, сказали, что потребуются десять дней; только через десять дней можно будет сойти вниз и извлечь мертвых и живых,—если живые не поумирают к тому времени от голода и удушья.

В том месте, где было отверстие шахты, склон горы оканчивался справа отвесной скалой, имевшей высоту не менее двухсот футов. На эту-то скалу обратил свое внимание Редотт, слушая вполуха, что говорят инженеры. Наконец раздумье его окончилось; он вытряхнул свою трубку и подошел к совещанию. Теперь он не скрывал свою силу, так как торопился. Проходя сквозь толпу, он просто разводил руками, как по воде, и от этих тихих его движений люди посыпались, как горох. Но все это было приписано суматохе и толкотне, поэтому никакого удивления еще не было. Ему только кричали:

— Чего вы толкаетесь!

— Мистер Витсон,— сказал Редотт старшему инженеру,— есть способ спасти всех или почти всех. Разрешите мне это сделать.

Инженеры умолкли. Штейгер, знакомый Редотта, сказал с досадой:

— Ступайте и проспите, Редотт. Нехорошо быть сегодня пьяным.

— Понюхайте! — Редотт взял штейгера за голову, притянул к себе идохнул ему прямо в нос.— Пахнет ли водкой?

— Не пахнет,— сказал тот,— но вы, значит, малость не в своем уме. Идите и не мешайте.

— Витсон,— сказал Редотт, поворачиваясь к инженеру,— слушайте, я говорю правду: я спасу всех. И сейчас.

— Объясните толком, чего вы хотите.

— Вот чего я хочу: чтобы вы и все, кто тут есть, приготовились увидеть небольшое гимнастическое упражнение. Дело, прямо скажу,— ответственное. Кроме того, прикажите публике отступить подальше от шахты, чтобы не произошло новых несчастий.

Все были растеряны, все говорили, перебивая друг друга, и Редотт видел, что ему никто не верит. Тогда подошел и встал рядом с ним бледный, как смерть, бельгиец. Смотря на Редотта, он трясся от ожидания и гонения.

— Он сделает,— сказал бельгиец,— он может, верьте ему,— клянусь Бельгией!

Не зная, что делать, и уступая мольбам рабочих, требовавших разрешения Редотту сделать свою попытку, Витсон приказал разойтись всем как можно дальше от шахты. Едва приказание было исполнено, как Редотт неторопливо подошел к скале, в которую упирался горный скат, и исчез. Во тьме было не видно, что он делает. Толпа, затаив дыхание, ожидала.

И вот произошло великое дело, памятное доселе в летописях алмазных копей Виверы. Редотт уперся в скалу правым плечом, скрестил руки, ногами уперся в камень и, собрав всю силу, двинул весь горный склон прочь. Под этим местом шли ходы шахт. Он сгреб гору своей скалой так же просто, как паровоз грудью сбрасывает с рельс снежный завал, открыв этим усилием сразу несколько вертикальных ходов. Так мальчик сбивает вершину муравейника, обнажая внутренние муравьиные галереи.

Рев сорванных горных пластов напомнил ужасный гул тропических бурь. Ему ответили крики замурованных обвалом людей. Торопливо выползали они на воздух, вынося обмерших и откопанных. Спасение остальных было уже делом часов, а не дней.

Труп Редотта нашли лежащим у опрокинутой и далеко отъехавшей скалы. От непосильного напряжения у него лопнула на руках и ногах кожа; лопнули жилы шеи и внутренностей. Среди других за его гробом шел бельгиец, говоря каждому, кто хотел слушать:

— Действительно, он свернул шею горё, клянусь Бельгией!

## ЗМЕЯ

«Наследники Неда Гарлана», как прозвали их в шутку знакомые, были семеро молодых людей, студентов и студенток, владевшие сообща моторной лодкой, которой наградил их Гарлан, скончавшийся от чахотки в Швейцарии.

В середине июля состоялась первая поездка «наследников». Они направились на берег озера Снарка «вести дикую жизнь».

Восьмым был приглашен Кольбер, несчастная любовь которого к одной из трех пустившихся в путешествие — Джой Тевис — стала очень популярной в университете еще год назад и часто служила материалом для комментариев.

Джой Тевис с шестнадцати лет по сей день наносила рану за раной, и, так как она не умела или не хотела их лечить, они без врача заживали довольно быстро. Кольбер был ранен серьезнее других и не скрывал этого.

Он делал Джой предложение три раза, вызвав сначала смех, потом желание «остаться друзьями» и наконец нескрываемую досаду. Он ей не нравился. Она боялась серьезных длинных людей, смотрящих в упор и делающих печальными от любви. При одной мысли, что такой подчеркнуто сдержанный человек делается ее мужем, ею овладевали запальчивость, мстительный гнев, обращенный к невидимому насилию.

Однако Кольбер не был навязчив, и она не избегала его, предварительно взяв с него слово, что он не будет более делать ей предложений. Он послушался и стал держать себя так, как будто никогда не волновал ее этими простыми словами: «Будьте моей женой, Джой!»

На третий день «дикой жизни» Джой захотелось пойти в лес, и она пригласила Кольбера ее провожать, смутно надеясь, что его каменное обещание «не делать более предложений» встретит повод растаять. Уже три месяца ей никто не говорил о любви. Она хотела какой-нибудь небольшой сцены, вызывающей мимолетное, вполне безопасное настроение, напоминающее любовь. Когда Кольбер шел сзади, она испытывала чувство,

словно за ней движется боязливо жаждущая упасть стена. Надо было угадать момент — отойти в сторону, чтобы стена хлопнулась на пустое место.

Прогулка в лесу изображала следующее: впереди шла девушка-брюнетка небольшого роста, с красивым, немного ленивым лицом, напоминающим улыбку сквозь пальцы; а за ней, неуклюже поводя плечами и сдвинув брови, шел рослый детина, тщательно рассматривая дорогу и заботливо предупреждая о всех препятствиях. Со стороны каждый подумал бы, что Кольбер невозмутимо скучает, но он шел в счастливом, приподнятом настроении и мог бы идти так несколько тысяч лет. Он видел Джой, она была с ним; этого Кольберу было совершенно достаточно.

Они вышли на поляну с высокой травой, усеянную камнями, и сели на камни, думая каждый о своем.

Кольбер заметил, что, отдохнув, следует возвратиться.

— Вы рады, что наши отношения стали простыми? — сказала, помолчав, Джой.

— Этот вопрос исчерпан, я полагаю, — осторожно ответил Кольбер, не без основания предполагая ловушку. — Я дал слово. Впрочем, если...

— Нет, — перебила Джой, — я уже запретила вам, а вы дали слово. Неужели вы хотите нарушить обещание?

— Скорее я умру, — серьезно возразил Кольбер, — чем нарушу обещание, которое я дал вам. Вы можете быть спокойны.

Джой с досадой взглянула на него; он сидел, улыбаясь так покорно и печально, что ее досада перешла в возмущение. Ее затея не удалась.

Идти дальше — значило самой попасть в глупое положение. Некоторое время она еще надеялась, что Кольбер не выдержит и заговорит, но тот лишь задумчиво катал меж ладоней стебель травы. Джой вдруг почувствовала, что этот человек всем своим видом, преданностью и твердостью дает ей урок, и ее охватила такая сильная неприязнь к нему, что она не удержалась от колкости:

— Вы дали слово из трусости. Безопаснее сидеть молча, не так ли?

— Джой,— сказал встревоженный Кольбер,— на вас действует жара. Идемте обратно, там вы будете в тени!

Джой встала. Ей захотелось вцепиться в густые рыжеватые волосы и долго трясти эту тяжелую голову, не понимающую смысла игры. Он не захотел ответить ее прихотливому настроению. Обидчиво и тяжело взволнованная девушка пристально смотрела себе под ноги, покусывая губу. Ее внимание привлекло нечто, блестящее в зашуршавшей траве.

— Смотрите, ящерица!

Толчок Кольбера едва не опрокинул ее. Она закачалась и с трудом устояла на ногах. Кольбер, махая руками, топтал что-то в траве, затем присел на корточки и осторожно поднял за середину туловища маленькую змею, повисшую двумя концами: головой и хвостом.

— Видали вы это? — возбужденно заговорил он, смотря в гневное лицо Джой.— Простите, если я вас сильно толкнул. Бронзовая змея! Одна из самых опасных! Женщины почти всегда принимают змей за ящериц. Укушенный бронзовой змеей умирает в течение трех минут.

Джой подошла ближе.

— Она мертва?

— Мертва,— ответил Кольбер, сбрасывая змею и снова поднимая ее.

По мнению Джой, было храбро брать мертвую змею в руки, и она не захотела дать в этом перевес Кольберу. Взяв у него змею, она обвила ею свою левую руку, отчего получилось подобие браслета. Змейка, смятая в нескольких местах каблуком Кольбера, отливала по смуглой коже Джой цветом старого золота.

— Бросьте, бросьте! — вдруг закричал Кольбер.

Он не успел сказать, что по безжизненному телу прошла едва заметная спазма. Змея ожила на мгновение, только затем, чтобы, почувствовав враждебное тепло человеческой руки, открыть рот и ущемить руку Джой. Это усилие совершенно умертвило ее. Кольбер схватил змею у головы и так сдавил, что она порвалась, потом сбросил с руки Джой остаток туловища и увидел две капли крови, смысл которых был ему понятен, как крик.

— Не теряться! — сказал он.— Помните, что смерть — здесь!

Его тело разрывалось от дрожи, которую он сдерживал. Джой беспомощно смотрела на свою укушенную руку. Она испытала гадливую боль, но ее воображение не действовало так быстро, как у Кольбера, и сознание конца не оглушило еще ее. Но резкость и приказания Кольбера вооружили всю ее самостоятельность, очутившуюся в опасности от той крупной услуги, которую собрался оказать Кольбер.

— Пустите,— сказала она, бурно дыша.— Я сама. Дайте мне нож.

В такой момент время дороже жизни. Раскрыв нож, Кольбер старался повалить девушку, чтобы совершить операцию. В то же время он быстро обвел языком десны и нёбо, чтобы установить, нет ли у него царапин во рту.

— Высосать яд! — кричал он.— Больше ничего не поможет! Джой, не спорьте!

Молча, стиснув зубы, она боролась с ним, в странной запальчивости своей предпочитая умереть, чем принять жизнь из его рук. Она отлично знала, чем это должно кончиться. У Кольбера был теперь шанс стать ее мужем — и, без слов, без мыслей, заключив все это в одном инстинкте своем, она отчаянно билась в его руках. Вне себя Кольбер подтащил ее к дереву с раздвоенным стволом и, протиснув в это раздвоение ее руку, причем ободрал кожу, зашел сам с другой стороны. Здесь он схватил Джой за кисть. Теперь ее рука была как в тисках.

Крепко сдавив эту ненавидящую его руку у локтя, причем его огромная сила заставила посинеть ногти Джой, Кольбер глубоко просек тело в месте укуса и, припав к ране, наполнил рот кровью. Сплюнув ее, он сделал это еще раз и, отдышавшись, в третий раз отсосал кровь любимой девушки, которая, дернув руку раза два, наконец, затихла. Она стояла с другой стороны, прислонясь к дереву. Страх, унижение и гнев покрыли ее лицо злыми слезами. Она твердила:

— Кольбер, я все равно никогда не буду вашей женой. Пустите меня!

Кольбер молчал. Отпустив наконец ее руку, он понял, что она говорила, и ответил:

— Вы будете чьей-нибудь женой, а это главное. Чтоб быть женой, надо жить.



Его усы и подбородок были в крови, и он вытер их такой же красной от крови рукой.

Джой, мрачно протянув ободранную и израненную руку, прижимала к ране платок. Оба дышали, как после долгого бега. Наконец, разорвав платок, Джой перевязала руку. Кольбер смотрел на часы.

— Кажется, прошло пять минут. Теперь я спокоен.

Джой не ответила, стоя к нему спиной. Когда она обернулась, его не было на поляне.

Удивленная девушка позвала: «Кольбер!» Ничего не прощая ему, все еще во власти внутреннего насилия, которым Кольбер окончательно одержал верх, девушка направилась по следу смятой травы, и, заглянув в кусты, остановилась.

Кольбер лежал навзничь с черным и распухшим лицом. Это был совсем другой человек. Глаза его заплакали, усы и рот, вымазанные спасительной кровью, открыли весь ужас, от которого он избавил свою возлюбленную. Это отвратительное, отравленное лицо заставило наконец Джой испугаться, так как она увидела свой предотвращенный конец во всем его незабываемом ужасе, и она бросилась бежать, крича: «Спасите, я умираю!»

Но было уже поздно, так как она была спасена.

## ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ

### I

Старик умирал. Он был почти слеп; к своему положению он относился с несколько смешной гордостью человека, долго и досыта дышавшего жарким огнем жизни. Поэтому Маурей уважал его.

Дом, где они жили, стоял на границе двух пустынь — степи и леса. До ближайшего поселения вниз по реке было два дня пути. В этом поселении находилась второй, еще более важный, чем свой — для Маурей, — дом с белыми занавесками. Там жила особа в

заплатанных платьях, но, по мнению Маурея, достойная носить костюм из звездных лучей,— Катерина Логар.

Маурей кормился ружьем. Но этого было недостаточно, чтобы с рук его невесты сошли грубые, болезненные трещины и чтобы напряженное, заботливое выражение ее глаз стало спокойным. Поэтому он сделал вдвое больше ловушек для куниц и бобров, чем в прошлом году. Шкуры, добытые им, висели в кладовой, устроенной на высоком дереве. Месяц назад неизвестный вор, проходя этими местами в отсутствие Маурея, залез на дерево, взял шкуры и исчез, а Маурей после того просидел целый день, опустив в руки лицо.

Кто был старик, умиравший в его хижине,— охотник не знал. Его свезли на берег плотовщики; он выпросился плыть с ними, но заболел по дороге, введя тем веселых парней в мрачное настроение. Рассудив, что дела старика все равно плохи, они попросили его сесть в лодку и дожидаться смерти на твердой земле.

— Я плыл в Аламбо, к родственникам,— сказал он Маурею утром,— у всякого человека должны быть родственники. Кое-кого я надеялся разыскать там.

Вечером он сказал:

— Подойдите и слушайте.

Маурей набил две трубки, но умирающий отказался курить.

— Сегодня я стану неподвижен,— продолжал старик,— не огорчайтесь этим, так как в свое время вы тоже станете неподвижным. Вы давали мне пить и есть в тяжелую для себя минуту. Я хочу вас поблагодарить.

— Напрасно,— возразил Маурей.

— Исполнение последней воли обязательно, поэтому спорить вам не приходится. В Аламбо живет известный миллионер Гордон.

— Я слышал о нем.

— Да. Когда он был беден, я дал ему взаймы, без векселя, тысячу золотых.

— Это хорошо.

— Затем он разбогател.

— На ваши деньги?

— Конечно. Это плут и делец. Затем я стал беден.

— Это плохо,— сказал Маурей.

— Пожалуй,— согласился старик.— И я потребовал вернуть мне деньги. С того дня, как я потребовал их, до сего дня прошло десять лет. Он не дал мне ни копейки.

— Почему?

— Этого я тоже не понимаю. Это какой-то психологический заскок, свойственный богатым, даже очень богатым.

— Что же теперь делать?

Старик вытащил карандаш, клочок бумаги и написал: «Тысячу золотых, взятых тобою, Гордон, когда тебе нечего было есть, отдай Маурею. Когда-то «твой» Робертсон».

— Вот, получите,— сказал он,— деньги ваши. Он должен отдать.

— Но у вас, вероятно, есть наследники? — спросил Маурей.

— О нет! — Старик сделал попытку рассмеяться.— Нет, никого нет.

Маурей протестовал. Старик стоял на своем. Согласие было обеспечено сущностью положения.

— Хорошо,— сказал, наконец, охотник.— Что же передать еще Гордону?

— Что он подлец,— сказал умирающий, поворачиваясь к стене лицом; он заснул и более не просыпался.

## II

Утром Маурей опустил его в землю, прикрыл могилу травой и, посидев несколько минут с клочком бумаги в руках, нашел, что ради Катерины Логар стоит проехать в Аламбо. Так как дело не расходилось у него с мыслью, он, взяв в мешок все ценное, то есть остаток шкур, нож и белье, сел вечером того же дня в лодку, а через четыре дня видел уже вертикальную сеть мачт, реявших вокруг белых с зеленым уступов города, спускавшегося к воде ясным амфитеатром.

Маурей привязал лодку к купальне, заплатил сторожу и поднялся в сверкающие асфальтовые ущелья города. По улицам переливалось экипажное и человеческое движение с той ошеломляющей, бархатистой напряженностью делового дня, какая мгновенно делает одиноким пришельца, доселе ждавшего, быть может, немедленно-

го, приятного общения. Спросив раз десять, как пройти к Гордону, Маурей получил несколько противоположных указаний, следуя которым каждый раз попадал к затейливым огромным домам,—и все это были дома Гордона, но во всех этих домах его не было. Он был в каком-то еще одном, своем доме.

Наконец, исколесив половину города, Маурей нашел дом и в нем — Гордона. Он прошел железные кружевные ворота, аллею с огненными цветами и попал к раскинутому мостом подъезду, середина которого сверкала ярким небом зеркальных стекол.

Не видя никого, в то время как около дома вились эхом женские и мужские голоса, Маурей громко сказал: — Эй! Есть ли кто живой здесь?

Молчание. Мимо его лица пролетела бабочка; деревья зеленели, цвели цветы, и не было никого. Маурей три раза повторил окрик, затем выстрелил в щебень дорожки. Камешки брызнули, как вода.

Тогда он увидел, что в глубине зеркальных выпуклостей подъезда мелькает, пропадая и торопясь, человеческая фигура.

Испуганный швейцар выбежал, хлопнул дверью и подступил к Маурею.

— Это вы выстрелили? — вскричал он, косясь и оглядывая с ног до головы смельчака. — Кто выстрелил? Что произошло здесь?

— Случайно зацепился курок, — сказал Маурей, кладя револьвер обратно. — Это вы — Гордон?

— Что?! Я Гордон?! Эй, любезный!..

— Простое, очень простое дело, — остановил его Маурей. — Нам нет причин ссориться. Если вы не Гордон, то проводите меня к Гордону.

— А вам зачем? Что у вас за дела с ним? Ступайте!

— Если у меня и есть дела, — сказал, начиная сердиться, Маурей, — то я скажу ему о том сам. А, вижу, вы — слуга. Только так бесится слуга, когда ему нечего сказать против законного желания. Я желаю видеть вашего господина.

— Милейший, — возразил швейцар, засовывая руки в карманы и показывая на лице глубочайшее оскорбление, — видеть Гордона — не совсем то, что поздороваться с пастухом. Гордон занят. Гордон никого не прини-

мает. Гордон не примет даже второго Гордона, если такой объявится. Но если вы желаете увидеть Гордона — только увидеть, — то вы можете подежурить несколько у ворот. Через несколько минут Гордон выедет в свое загородное имение. Что же касается помощи, если о том речь, — то по это...

Единый удар массивной руки Маурей придал окончанию этого слова характер второго выстрела. Без звука, без сотрясения оглушенный швейцар пал. Маурей, вытирая о штаны руки, огляделся и, не видя никого, прошел в кусты. Здесь было так тревожно, прекрасно и тихо, как это бывает при сердцебиении ранним утром. Мгновенно оценив план, вызванный очевидною положением и возникший непосредственно за ударом по швейцарской щеке, Маурей снова вышел, перенес бесчувственное тело заслуженно пострадавшего в свое цветущее убежище и заткнул ему платком рот, руки же и ноги перевязал обрывком ремня.

Эти приемы, свидетельствовавшие об опытности и хладнокровии человека, применившего их, казались сущими пустяками для Маурей, так как жизнь в лесах развивает предприимчивость и точность движений. Затем он стал ожидать так неподвижно, как если бы охотился на бобра. Немного погодя, из глубины заднего плана, эластически шелестя, скользнул к подъезду кабриолет; черная лошадь стала, картинно опустив морду к груди, а кучер в цилиндре с плюмажем увидел неизвестного человека, дружески кладущего ему на колено руку.

— С швейцаром плохо, — сказал Маурей, — помогите поднять.

— Тропке!.. — вскричал кучер. — А что? Где?

— Он здесь за деревьями. Его хватил солнечный удар, — взволнованно проговорил Маурей.

Кучер слез и пробежал в тень лучистой листвы; Маурей бежал рядом. Едва блеснул затылок лежащего ничком швейцара, как кучеру показалось, что он видит сон, где все качается и исчезает из глаз: сбив кучера с ног, Маурей быстро завязал ему рот шарфом и опустил тело лианой. Плотнее забив рот, чтобы не проскочило ни одного звука, он выдрал сквозь петли лиан весь выездной костюм, приговаривая, где надо, чтобы дело шло быстрее, мертвящие мозг слова. Как бы то ни бы-

ло, когда он вышел и сел с хлыстом в руке, обтянутой лопнувшей перчаткой, на передок кабриолета, ничто не могло обнаружить какой-либо перемены.

Беглый взгляд Гордона, вышедшего к великому своему изумлению без швейцара, заметил, как всегда, только плюмаж и хлыст. Лиц слуг он не помнил. Но он стал замечать после некоторых сосредоточенных размышлений делового характера, что экипаж мчится уже в парке, далеко оставив за собой некстати и в стороне единственное шоссе Аламбо, по которому лежит недавно купленное имение.

— Кой черт! — сказал Гордон, притоптывая в кабриолете маленькой жирной ногой. — Почему вы сюда заехали?

Он оглянулся. Маурей стремительно искал глухого угла. Наконец, свернув с аллеи в поросший густой травой просвет, он разом остановил лошадь и обернулся к полуобморочному Гордону.

— Вот записка, — сказал он, тыча в осоловшееся багровое лицо клочок бумаги. — От Робертсона. Уплатить! Живо!

— Я... — начал Гордон

Черный револьвер и белая бумага ставили ему выбор. Совсем близко от дула он нагнулся и прочел резкое завещание.

— Чек или деньги! — сказал Маурей. — Начало всему положил ваш швейцар. Он думал, что я нищий. Потом перестал спорить. Затем наступила моя очередь думать. Уже запахло вами, а я — охотник.

Наступила очередь третьего человека как бы видеть сон в залитой солнцем листве: что он, лижа сухим, горячим языком чернильный карандаш, выписывает чек; затем, вспомнив, что деньги в кармане, комкает, отсчитывает билеты.

— Что-нибудь... что-нибудь... этот славный... этот великолепный, чудеснейший... передать мне?! — пролепетал Гордон.

— Да, — спокойно сказал Маурей. — Что вы — подлец.

Затем стало тихо вокруг Гордона. Как бы проснувшись, он никого не увидел. Далеко, в дальних просветах аллеи двигались малые фигуры людей, а лошадь как лошадь — спокойно общипывала листву.

## НЯНЬКА ГЛЕНАУ

Рулевой Спринг заканчивал свою береговую отлучку в Коломахе, куда приехал из Покета по железной дороге. Там стояла его «Морская карета» — парусное судно в семьсот тонн, пришедшее с Филиппинских островов.

Спринг был родом из Коломахи. Здесь он провел свои молодые годы. Теперь ему было пятьдесят лет. Как большинство моряков, он остался холостяком.

Спринг пропил или проиграл жалование за два месяца, посетил некоторых и теперь, накануне отъезда в Покет, размышлял: «зачем ему понадобилась Коломаха?»

Кабаки Коломахи ничем не уступали таким же заведениям Покета, а знакомств в Покете у него было даже больше, чем здесь.

Обратясь к честной стороне памяти, он неохотно признал, что ему хотелось повидаться с конопатчиком Дезлем Гленау, от которого он года два назад получил письмо, извещающее о рождении у Гленау девочки.

«Надо было зайти, поздравить», — думал Спринг каждый день, но за множеством приглашений и угощений откладывал это дело на завтра, а «завтра» тоже было некогда.

Однажды выдалась свободная половина дня, то есть Спринг оказался трезвым случайно; но, сообразив положение, пошел и хватил бутылку.

«Нехорошо явиться нетрезвым, — думал он, — а завтра я воздержусь и непременно пойду».

Наконец он набрался решимости и отправился к конопатчику.

Это был дом в две комнаты с кухней; все помещения вытянулись по прямой линии, так что пройти в последнюю комнату надо было через кухню и первую комнату.

Спринг зашел в кухню. Ставни были закрыты по случаю палящего зноя. Двигаясь в полутьме, едва рассеиваемой тонким лучом в щель ставни, Спринг кашлянул и сказал:

— Встречайте Спринга. Кто дома? Я хочу видеть Гленау или его жену. Вы что, спите, что ли?

Постояв и передохнув, он прошел в первую комнату, где повторил свои возгласы с тем же успехом, как первый раз.

Ему стало неловко и скучно. Однако желая убедиться окончательно, Спринг прошел в последнюю комнату.

Здесь была такая же дневная тьма, как в остальных помещениях. Среди душной тишины тикал невидимый будильник, гудели потревоженные мухи.

Спринг подошел к смутно белевшему возвышению и с достоинством взгляделся в него, но не рассмотрел подробностей. Однако перед ним был действительно кисейный полог детской кровати; он свешивался с потолка и охватывал, как палатка, маленькое ложе с бортами, подвешенное между двух стоек. Кровать нервно качнулась.

«Отец и мать ушли,— подумал Спринг,— они ненадолго вышли, потому что здесь ребенок».

Он подвинул табурет и сел ждать.

За пологом не было ничего видно, но Спрингу казалось, что он различает рыжие волосы на маленькой голове.

— Ты спи, а я посижу,— сказал Спринг, опасливо косясь на таинственное сооружение.— Ссориться не будем, нет; драться тоже.

Внезапно кровать качнулась сильнее и заходила, как под раздраженной материнской рукой. Раздался ноющий звук, от которого у рулевого выступил пот.

— Спи, спи,— поспешно сказал гость,— акула далеко, в море, она не придет. Она ест тюленя. Ам, ам! вот и слопала. Так что не надо кричать.

Кровать перестала было качаться, но при последних словах Спринга понеслась быстрыми размахами взад и вперед, и плаксивый, безутешный писк послышался из-за полога. Струсив, что младенец разбушует и тем поставит его в замысловатое положение, так как у него не было опыта в деле образумления разогорченных детей, Спринг протянул руку под полог и начал тихо качать девочку, говоря:

— Ты не будешь есть тюленей. Нет. А только один шоколад. Го-го! Мы уж поедим шоколаду! Вот идет большой пароход,— двадцать тысяч тонн шоколаду. И все — тебе!



Так как он не мог представить ничего ослепительных флотилии с шоколадом, то начал развивать эту тему, прислушиваясь к слезливым звукам, грозящим перейти в рев.

— И еще идет маленький пароход с шоколадом,— говорил Спринг,— а за ним большая шхуна. Вот там самый лучший шоколад. Мы все съедем. Давай нам еще! Все съели, больше нет. Везите нам из Бразилии, из Мексики. Шоколаду, чертн такие-сякие! Да побольше! Этот нехорош — давай другого. Вот этот хорош. А акуле не дадим, пошла прочь!

Кровать сильно закачалась, и из-под нее вылез Дезль Гленау, заливаясь хохотом, от которого Спринг почувствовал себя так, как будто упал с табурета.

— Ну, здорово же ты меня кормил своим шоколадом! — вскричал Гленау, открывая ставни и хлопая затем Спринга по широким плечам. — Здорово! Слышал, что ты в Коломахе. А я лег, видишь, поспать, залез под полог, чтоб мухи не ели. Мать ушла с Полли к соседям. Я лежу там, пишу нарочно, а ты стараешься! У меня даже бока смокли, так я удерживался от смеха. Отчего ты не женился? Хорошая вышла бы из тебя нянька!

— Я однажды чуть не женился,— сказал Спринг,— и женился бы, только я знаю, что это дело сложное.

— Врешь! — сказал Гленау.

Это был рыжий человек с веселым лицом, худошавый и гибкий.

Разговор шел уже за столом в кухне перед бутылкой. Приятели сидели и выпивали.

— Лучше бы я соврал,— сказал Спринг, задумчиво смотря на Гленау,—...только я говорю правду. Здесь, в Коломахе, жила девушка; очень нуждалась. Лет пять назад. Я посватался. Она согласилась, и я пошел в море — скопить на хозяйство. На Борнео вышел скандал с малайцами, и один задел мне крисом<sup>1</sup> по глазу, и он вытек. Пропал глаз. Я вернулся и говорю ей: «Хочешь меня такого, как я есть?» — Она была деликатна. Я спорил. Тогда она призналась, что ей по душе один человек. Я, конечно, мешать не стал, так как это дело на всю жизнь, ну и... я, правду говоря, для нее стар.

— Экий ты дурак, Спринг,— заметил Гленау.

---

<sup>1</sup> Малайский изогнутый нож.

— Я и говорю, что дурак,— ответил рулевой очень серьезно.— Мне уж многие это же говорили.

Вошла жена Гленау, ведя девочку. Молодая женщина сделала большие глаза, потом весело улыбнулась и подала гостю руку.

— Вот дядя Спринг, Полли,— сказал Гленау дочери, которая уставилась на нового человека голубыми глазами отца,— он шоколадный король. У него целый склад шоколада!

В глазах Полли явно наметилось ожидание.

— Даже и купить забыл,— смущенно сказал Спринг, вспотев от досады на свою рассеянность.— Ты не подумай, Гленау...

— Ну что там! — сказал муж.

— Разве это так важно? — подхватила жена.

— Важно,— настаивал Спринг.— Потом я пришлю, не забуду.

Он погладил девочку по голове и стал прощаться. Гленау долго пытался удержать приятеля, но Спринг не остался, сославшись на то, что может опоздать к поезду. Жена Гленау, утомленная жарой, молчала, сдерживая зевоту.

— Хорошо, что зашел, не забыл,— сказал Гленау.— Увидимся еще в другой раз.

Он уже рассказал жене, как Спринг укачивал пустую кровать, и это вызвало общий смех, после которого наступило молчание.

— Прощайте,— сказал Спринг.

— Женись, непременно женись! — говорил Гленау, провожая товарища.— Он мне рассказал, Бетси, как...

Тут жена Гленау вспомнила, что со двора могут украсть пеленки, и вышла взглянуть на них, поэтому Гленау обратился к Спрингу.

— Кто же она? Я ведь знаю здесь всех. Или — секрет?

У Спринга чуть не сорвалось с языка: «Она пошла за пеленками», — но, смолчав об этом, он сказал:

— Ее теперь нет в Коломахе,— она куда-то уехала.

Потом он еще раз попрощался с хозяевами, поцеловал девочку и ушел.

«Зачем же я заходил? — подумал Спринг.— А ведь как тянуло пойти!»

Все же он был доволен, что зашел трезвый.

# ПО ЗАКОНУ

## I

Наконец я приехал в Одессу. Этот огромный южный порт был, для моих шестнадцати лет,— дверью мира, началом кругосветного плавания, к которому я стремился, имея весьма смутные представления о морской жизни. Казалось мне, что уже один вид корабля кладет начало какому-то бесконечному приключению, серии романов и потрясающих событий, овеянных шумом волн. Вид черной матросской ленты повергал меня в трепет, в восторженную зависть к этим существам тропических стран (тропические страны для меня начинались тогда от зоологического магазина на Дерибасовской, где за стеклом сидели пестрые, как шуты, попугаи), все, встречаемые мной, моряки и, в особенности, матросы в их странной, волнующей отблесками неведомого, одежде,— были герои, гении, люди из волшебного круга далеких морей. Меня пленяла фуражка без козырька с золотой надписью «Олег», «Саратов», «Мария», «Блеск», «Гранвиль»... голубые полосы тельника под распахнутым клином белой, как снег, голландки, красные и синие пояса с болтающимся финским ножом или кривым греческим кинжальчиком с мозаичной рукояткой, я присматривался, как к откровению, к неуклюжему низу расширенных длинных брюк, к загорелым, прищуренным лицам, к простым черным, лакированным табакеркам с картинкой на крышке, из которых эти, впущенные в морской рай, безумно счастливые герои вынимали листики прозрачной папиросной бумаги, скручивая ее с табаком так ловко и быстро, что я приходил в отчаяние. Никогда не быть мне настоящим морским волком! Я даже не знал, удастся ли поступить мне на пароход.

Довольно сказать вам, что я приехал в Одессу из Вятки. Контраст был громаден! Я проводил дни на улицах, рассматривая витрины или бродя в порту, где, на каждом шагу, открывал Америку. Здесь бился пульс мира. Горы угля, рев гудков и сирен, заставляющий плакать мое сердце зовом в Америку и Китай, Австралию и Японию,— по океанам, по проливам, вокруг мыса Доброй Надежды! Вот когда география совершила злое

дело. Я рылся в материках, как в щепках, но даже простой угольный пароход отвергал мои предложения, не говоря уже о гигантах Добровольного флота или изящных великанах Русского общества. Было лето, стояла удушливая жара, но, в пыли и зное, обливаясь потом, выхаживал я каждый день молы, останавливаясь перед вновь прибывшими пароходами и, после колебания, взбирался на палубу по трапу, сотрясаемому шагами грузчиков. Обычно у трюма, извергающего груз под грохот лебедки, под отчаянный крик турка: «Вирра!» или «Майна!», торчала фигура старшего помощника с накладными в руках, и он, выслушав мой вопрос: «Нет ли вакансии,— рассеянно отвечал: — «Нет». Иногда матросы осыпали меня насмешками, и, должно быть, действительно казался смешон с моей претензией быть матросом корабля дальнего плавания,— я, шестнадцатилетний, безусый, тщедушный, узкоплечий отрок, в соломенной шляпе (она скоро потеряла для меня иллюзию «мексиканской панамы»), ученической серой куртке, подпоясанный ремнем с медной бляхой и в огромных охотничьих сапогах.

Запас иллюзий и комических представлений был у меня вообще значителен. Так, например, до приезда к морю я серьезно думал, что на мачту лезут по ее стволу, как по призовому столбу, и страшился оказаться несостоятельным в этом упражнении. Рассчитывая, по крайней мере, через месяц, попасть в Индию или на Сандвичевы острова, я взял с собой ящичек с дешевыми красками, чтобы рисовать тропических птиц или цветы редких растений. Поступить на пароход казалось мне так же легко, как это происходит в романах. Поэтому крайне был озадачен я тем, что на меня никто не обращает внимания, и ученики мореходных классов, красивые юноши в несравненной морской форме, которых я встречал повсюду, казались мне рожденными не иначе, как русалками,— не может обыкновенная женщина родить такого счастливецца.

## II

Подъезжая к Одессе, я разговаривал в вагоне с подозрительным человеком. На мой взгляд, он был опасный международный авантюрист, из тех, что хладно-

кровно душат старух, присваивая бриллианты и золото. Поэтому я отправился в соседнее купе, чтобы предупредить там пожилую еврейку с большим количеством багажа. С ней я тоже свел знакомство. Вообще в поезде все знали, что я еду «на море», и я у всех допытывался, как поступить на пароход. Я сказал ей, чтобы она остерегалась, так как рядом со мной сидит несомненный жулик. Она горячо благодарила меня и, кажется, поверила.

Все произошло оттого, что я никогда не видел таких людей, как этот самоуверенный, хлыщеватый господин с остроконечной бородкой, в золотом пенсне, щегольском клетчатом костюме, лиловых носках и желтых сандалиях. Он так разваливался, картавил, делал такие капризные широкие жесты, что я принял его за мошенника благодаря еще обилию брелоков и колец, так как читал, что червонные валеты унизируются драгоценностями. Между тем это был всего-навсего главный бухгалтер Одесской Мануфактуры Пташникова, человек безобидный и добрый. Узнав, что я еду с одним рублем, что о море и морской жизни имею не более представления, чем о жизни в пампасах, он дал мне письмо к бухгалтеру Карантинного Агентства Русского Общества с просьбой обратить на меня внимание. Но, до момента вручения письма, я был непоколебимо уверен, что письмо заключает какую-то ловушку или страшную тайну, хранить которую меня обяжут под клятвой, угрожая револьвером. Однако именно благодаря этому письму второй бухгалтер устроил мне прият и полное матросское содержание, — правда, без жалованья, — в так называемой «береговой команде».

«Береговой командой» были матросы, кочегары и другие мелкие служащие Общества, почему-либо неспособные временно находиться на корабле. Это был полулазарет-полубогадельня. Можно здесь было встретить также загулявшего и отставшего от рейса матроса или живущего в ожидании места какого-нибудь старого служащего. Всего жило человек двадцать, по койкам, как в казарме; днем, кто хотел, работал носильщиком в складах пристани, а ночью нес очередную вахту около пакугаузов Общества.

Отсюда-то и совершал я свои путешествия в порт, упиваясь музыкой рева и грома, свистков и криков, лязга вагонов на эстакаде и звона якорных цепей, — и голу-

блм заревом свободного, за волнорезом, за маяком синего Черного моря. Я жил в полусне новых явлений. Тогда один случай, может быть незначительный в сложном обиходе человеческих масс, наполняющих тысячи кораблей,— показал мне, что я никуда не ушел, что я — не в преддверии сказочных стран, полных беззаветного ликования, а среди простых, грешных людей.

### III

В казарму привезли раненого. Это был молодой матрос, которого товарищ ударил ножом в спину. Поссорились они или, подвыпивши, не поделили чего-нибудь — этого я не помню. У меня только осталось впечатление, что правда на стороне раненого, и я помню, что удар был нанесен внезапно, из-за угла. Уже одно это направляло симпатии к пострадавшему. Он рассказывал о случае серьезно и кратко, не выражая обиды и гнева, как бы покоряясь печальному приключению. Рана была не опасна. Температура немного повысилась, но больной, хотя лежал,— ел с аппетитом и даже играл в «шестьдесят шесть».

Вечером раздался слух: «доктор приехал, говорить будет».

Доктор? Говорить? Я направился к койке раненого.

Доктор, пожилой человек, по-видимому, сам лично принимающий горячее участие во всей этой истории, сидел возле койки. Больной, лежа, смотрел в сторону и слушал.

Доктор, стараясь не быть назойливым, осторожно и мягко пытался внушить раненому сострадание к судьбе обидчика. Он послан им, пришел по его просьбе. У него жена, дети, сам он — военный матрос, откомандированный на частный пароход (это практиковалось). Он полон раскаяния. Его ожидают каторжные работы.

— Вы видите,— сказал доктор в заключение,— что от вас зависит, как поступить — «по закону» или «по человечеству». Если «по человечеству», то мы замнем дело. Если же «по закону», то мы обязаны начать следствие, и тогда этот человек погиб, потому что он виноват.

Была полная тишина. Все мы, сидевшие, как бы не слушая, по своим койкам, но не проронившие ни одного

слова, замерли в ожидании. Что скажет раненый? Какой приговор изречет он? Я ждал, верил, что он скажет: «по человечеству». На его месте следовало простить. Он выздоравливал. Он был лицом типичный моряк, а «моряк» и «рыцарь» для меня тогда звучало неразделимо. Его руки до плеч были татуированы фигурами тигров, змей, флагов, именами, лентами, цветами и ящерицами. От него несло океаном, родиной больших душ. И он был так симпатично мужествен, как умный атлет...

Раненый помолчал. Видимо, он боролся с желанием простить и с каким-то ядовитым воспоминанием. Он вздохнул, поморщился, взглянул доктору в глаза и нехотя, сдавленно произнес:

— Пусть... уж... по закону.

Доктор, тоже помолчав, встал.

— Значит, «по закону»? — повторил он.

— По закону. Как сказал, — кивнул матрос и закрыл глаза.

Я был так взволнован, что не вытерпел и ушел на двор. Мне казалось, что у меня что-то отняли.

С этого дня я стал присматриваться к морю и морской жизни с ее внутренних, настоящих сторон, впервые почувствовав, что здесь такие же люди, как и везде, и что чудеса — в самих нас.

## ОГНЕННАЯ ВОДА

### I

К главному подъезду замка Пелегрин, описав решительный полукруг, прибыл автомобиль жемчужного цвета — ландо.

В левом его углу с подчеркнутой скромностью человека, добровольно ставящего себя в зависимое положение, сидела молодая женщина с серьезным, мелких черт, лицом и тем оттенком улыбки, какой свойствен сдержанной душе при интересном эксперименте.

Она была не одна. Господин с лысиной, выходящей из-под цилиндра к затылку половиной тарелки, с завитыми вверх, лирой, усами и тройным подбородком, уронив, как слезу, в руку монокль, оступился, и, подхваченный швейцаром, вновь вскинул стекло в глазную орбиту, чопорно оглядываясь.

Швейцар звонком вызвал лакея, презрительно поджав нижнюю губу, что, впрочем, относилось не к посетителю.

— Нижайшее почтение господину нотариусу, — сказал он почтительным, но несколько фамильярным тоном сообщника. — Все в порядке.

— В порядке, — повторил нотариус Эспер Ван-Тегиус. — Шутки долой. Пока не пришел кто-нибудь из этой банды, говорите, как дела.

— Во-первых, идут какие-то проделки и стоит кавардак. Во-вторых, совещание докторов окончилось ничем. Я подслушивал у дверей с негром Амброзио. Смысл решений такой, что «нет никаких оснований».

— А... Это печально, — сказал Ван-Тегиус. — Профессор Дюфорс еще меня не известил обо всем этом. — Удар! Последнее средство... — Он обернулся и кивнул даме в автомобиле, махнувшей ему ответно концом вуали. — Ну, что еще? Настроение? Факты?

В далях заднего плана раскатисто заскакало эхо ружейного выстрела, сопровождаемого резким криком.

— Факты? — сказал, вздрогнув, швейцар, и его гладстоновское лицо передернулось, как кисель. — Вот и факты. Утром он убил восемь павлинов, это девятый.

— Но что же...

— Тс-с...

Где-то вверху лестницы уставился в ухо нотариуса пронзительный свисток, ему ответил второй, и по лестнице, припрыгивая и катясь ладонью по гладким мраморным перилам, спустился бритый человек с лицом тигра; его кожаная куртка и полосатая рубаша были растегнуты; широкие штаны болтались вокруг огромных ботов с подошвой в три пальца. Копна полуседых, черных волос была стянута малинового цвета платком. Дым шел одновременно из трубки и рта, так что человек спустился как бы на облаке.

Неволью Ван-Тегиус увидел за его спиной призрак подобострастного маркиза в шелковых чулках и крас-



ной ливрее, но лакеев этого типа не найти было более в Пелегрине.

— Что здесь происходит? — спросил страшный слуга.

— Нет ни abordaja, ни драки дубовыми скамейками, — с ненавистью ответил швейцар, — просто посетитель, ничего более. Да. Может быть, вы взберетесь по вантам доложить о его прибытии? Нотариус Ван-Тегиус.

Страшилище почесало затылок.

— Я хочу видеть по делу владельца, Эвереста Монкальма, — заявил нотариус, намеренно избегая титула.

— Пойду скажу, — задумчиво ответил матрос, — не знаю, что будет.

Он исчез, шагая по три ступеньки; тем временем швейцар сообщил еще кое-что интересное: уволено тридцать слуг, взамен их Монкальм выписал откуда-то человек двадцать матросов, которые и делают, что хотят. Этикет уничтожен; исчезло малейшее подобие знатности и величия. Недавно едва не затравили собаками директора кинематографической фирмы, приехавшего со свитой и актерами просить разрешения снять в древнем гнезде маленькую комедию. Жена Монкальма, эта «темная особа низкого происхождения», как выразился швейцар, вчера самолично руководила на кухне приготовлением кушанья, изобретенного ее мужем. Сам не терпит никаких возражений и указаний. Звонки заменены свистками и трубными сигналами. Все это хлынуло дождем безобразия за три недели, как только изгнанный пятнадцать лет назад за многочисленные художества Эверест по непонятному капризу его дяди стал полным и единственным наследником.

— Гм... гм... — сказал Ван-Тегиус, затем вышел к автомобилю, пошептался с дамой и вернулся в момент, когда ему сверху махнули рукой идти.

## II

Он все-таки ожидал еще по старой привычке, так как не раз бывал здесь, что с блаженным и торжественным чувством погрузится в бездны темной стенной резьбы, простора внушительных и величественных предметов с гулким эхом шагов. Отчасти это и было так с

той поразительной и всему придавшей иной вид разницей, что во всех помещениях стоял яркий, дневной свет. С удалением темных цветных стекол и заменой их прозрачными залы, казалось, сверкали вихрем желтых и голубых перьев. Чинно выступая вслед развалистой походке морского бродяги, Ван-Тегиус, несколько струсив, прошел сквозь строй коек, составленных пирамидой ружей, и матросов, игравших в карты, прихлебывая вино,— это была охрана Монкальма. Вдали, на коротком просвете анфилады, промчалась горничная с паническим лицом. В одной гостиной стояла огромная палатка, внутри ее виднелась походная меблировка пустыни; пальмы в кадках, сдвинутые вокруг, являли вид комнатных тропиков.

Следующая комната, путь к которой шел по небольшой лестнице, показала наконец Ван-Тегиусу более кроткое зрелище. Здесь, полулежа на ковре, подпирая маленькой смуглой рукой голову, расположилась пышно-непричесанная, но в бальном платье, шлейф которого был занят двумя книгами, женщина или, вернее, девочка, ставшая женщиной на семнадцатом году жизни. Все шкафы здесь были открыты, и их музейное содержание — фарфоровые фигурки зверей и людей — образовало перед лицом странной особы маленькую цветную толпу, которую она заботливо группировала в какие-то сцены, по-видимому, придавая этому большое значение. Увидев Ван-Тегиуса, она сердито смутилась и грациозно приподнялась, затем встала, сложив руки назад.

— Это пленник? — сказала она серьезно. — Что он сделал?

— Ничего, идет себе. — ответил матрос, — только это не пленник.

Нервно смеясь, угадывая, что видит жену Монкальма, нотариус отвесил театральный поклон и хотел назвать себя, но женщина, покраснев, махнула рукой.

— Идите, идите, я потом приду, — заявила она и отвернулась, очаровательно заалев.

Путь среди этих чудес был пыткой. Наконец она кончилась. Ван-Тегиус, расстроенный, но крепко решившийся, вошел в колоссальную библиотеку, где у раскрытого окна с винтовкой в руках стоял сам Эверест Монкальм, нелюбимый и изгнанный сын Монкальма, одного из трех великих дюжин страны.

Он был в турецком костюме, чалме и низких сафьяновых сапогах. Его широкое нервное лицо с прищуренным, как на солнце, взглядом отражало весь его беспокойный, неукротимый характер; сложенный красиво и сильно, он двигался, как порыв ветра, говорил громко и медленно.

— Ван-Тегиус,— сказал он, вывихивая рукопожатием плечо нотариуса.— Надоели павлины. Их крик ужасен. Что скажете?

Они сели, причем Монкальм уронил свою винтовку, но не поднял; стук, заставив нотариуса вздрогнуть, помог ему начать в темп встречи,— и сразу:

— Эверест,— сказал он,— я знал вас ребенком. Не будем говорить о печальных обстоятельствах...

— Что же печального? — перебил Монкальм.— Обыкновенный блудный сын. Деликатное изгнание с пенсией. Нежелание обручиться с девицей, безрадостной, но богатой...

— Молодость Генриха четвертого,— разрешил себе обобщить Ван-Тегиус,— побеги на рыболовных судах...

— Я откровенно скажу,— снова перебил Монкальм,— пятнадцать лет сделали меня таким, каков я теперь. Со мной Арита. Это моя жена. Я нашел ее в темном углу с пыльным золотым светом. Больше мне ничего не надо. Кстати,— сказал он таинственно,— заметили палатку?

— О, да.

— И военный постой?

— Хм... конечно.

— Ну, так это она. Ей хочется, чтобы все было «как на корабле». Вахта. И пустыня, где она не бывала; поэтому соорудили палатку. Не стоит мешать ей.

— Я удостоился,— с улыбкой сказал Ван-Тегиус,— удостоился вопроса,— «не пленник ли я?»

— Ну да,— ответил, быстро подумав, Эверест.— Это замок. У нее все спуталось в голове. Она, может быть, ждет драконов,— почему я знаю? Вы знаете,— просто сообщил он,— что здесь все смеются над нами. Однажды меня не было. Ей подали обед в парадном порядке, но с издевательством. От поклонов, услуг и титулования она не могла есть; она сидела и плакала,

так как растерялась. Узнав это, я выгнал всех хамов и заменил их старыми своими знакомыми. Вас привел Билль. Он был, правда, пиратом, но мимо спальни проходит на цыпочках.

— К сожалению,— сказал нотариус,— ваш образ жизни, бесцеремонный уход с праздника у сестры вашей, герцогини Эльтрат, в сопровождении забулдыг, ваше нежелание посетить влиятельных лиц и многое другое — отвратило от вас много дружественных душ.

— О,— сказал Монкальм и наивно прибавил,— правда. Невероятно скучны эти кисляи. Я делаю, что хочу. Хотите, мы вам сейчас споем хором «Песню о Бобиндоне, морском еже»?

— Нет,— вздохнул Ван-Тегнус.— Я уже стар. Монкальм, я приехал с кузиной вашей, Дорой дель-Орнадо. Она в автомобиле, так как боится войти.

Взгляд, подобный пощечине, и срыв Монкальма в хлопнувшую, как стрела, дверь был ответом. Ван-Тегнус пробыл один около десяти минут, пока Эверест вернулся в сопровождении легко и мило выступающей женщины, видимо, взволнованной тем, что предстояло сказать.

— Меня не надо бояться,— сказал Монкальм, двигая ударом ноги кресло для посетительницы.

Затем нотариус приступил к делу и рассказал, что, умирая, дядя Эвереста ввиду невозможности быстро переделать завещание, сделанное в пользу племянника,— призвал его, Ван-Тегнуса, и ее, Дору дель-Орнадо, и заставил поклясться, что устное его пожелание будет передано племяннику.

#### IV

Оказалось, что игра вышла наврядли. Молодая женщина успела только сказать:

— Дорогой Эверест, мое положение тяжело. Я не посягаю на все и не имею права, но я прошу вас сделать, что можно.

В этот момент вошла Арита, робко потянув дверь. Эверест удержал ее рукой за плечо. Она прошла вперед, упираясь головой в подмышку гиганта, с застенчивым и прелестным лицом, полным неловкости.

— Душа моя,— сказал Монкальм, подмигивая нотариусу и кузине,— мы завтра уезжаем с тобой в Гс-дарк, в новое путешествие.

— При полном ветре,— сказала она.— И вы с нами?

Смех, короткое представление, два-три ненужных слова,— и посетители удалились.

— Ваш расчёт верен,— сказала нотариусу Дора с чувством, смотря на его деловитое, улыбающееся лицо, когда автомобиль тронулся.— Нас даже не провожали, однако.

— Как? Разве вы не видели? Впрочем, я понимаю ваше волнение. За нами шел Билль, этот мрак в образе человека.

— Итак, вы...

Она обернулась на Пелегрин с выражением охотника, повалившего тигра.

— Так просто,— сказал Ван-Тегиус.— Ох, уж эти романтики...

## ГОЛОС СИРЕНЫ

### I

Среди битв, через открытое поле, близ Ангудора, проезжало семейство Эмилон Детерви. Он переселялся в зону, свободную от военных действий. Между тем, неправильно взятый путь, благодаря тому, что путешественники хотели сократить дорогу, привел их на этом поле к крутому обстрелу, и шальная граната, лопнув под синим небом, выбросила град пуль, одной из которых сын Детерви, Артур, был контужен в спину.

Что произошло с нервной системой пострадавшего, как изменилась она и в чем,— мы не знаем. Вскоре после этого Артур Детерви начал чувствовать тяжесть и онемение нижней части спины, ходить начал с трудом, и наконец у него совершенно отнялись ноги.

Семейство Детерви было зажиточным. Несколько докторов и клиник за приличный гонорар нашли воз-

можным только сказать, что случай неизлечим. Во всяком лечебном заведении больной находил радушный прием, но очень мало надежд. И, наконец, по совету профессора А. Ренольда, Артура Детерви перевезли в южный город, где был большой порт. Неподалеку от города находилась грязевая лечебница. Сняв уютную загородную дачу, отец Детерви поместил больного в лучших условиях: его комната примыкала к веранде, где, лежа днем, Артур видел море и, по изгибу уходящего в лиловатую даль берега,— часть порта. У него было также всегда много цветов под окнами, в саду и на столе. Раз в неделю больного навещал доктор, кроме того, две сиделки, сменяясь посуточно, ухаживали за ним с ловкостью, терпением и тишиной образцовыми.

Сделав это, отец Детерви погрузился в биржевую игру, почему редко бывал дома. Его сестра Беатриса, девушка семнадцати лет, едва поспевала присоединиться к той или другой компании, переходя от гребного спорта к верховой езде с неумолимостью молодого животного, жадного к жизни. Две тетки, сестры отца Детерви, увлекались работами на биологической станции и, подлетантски упрямо, сидели за микроскопом. Мать Детерви, вскорости после приезда, переехала на тот берег бухты гостить к родственникам. Таким образом, неподвижный больной мальчик почти всегда был один.

Артуру Детерви было восемнадцать с небольшим лет. Вынужденное лежание или сидение в кресле временами доводило его до бешенства. Это была нервная, непоседливая натура, пылкая и настойчивая. Здесь,— на даче, на обрыве дикого, цветущего берега, он чувствовал себя, как в вечной, монотонной тюрьме. Ему было запрещено чтение волнующих книг, отчего, часто с досадой отбрасывал он те вялые и пространные сочинения, какими вынужден был довольствоваться и над которыми засыпает даже здоровый. Лучшим развлечением было для него смотреть на море и порт. Внизу, под обрывом, двигался белый узор прибоя, за черту горизонта текли дымы пароходов и белые паруса шхун. Огромный стоял перед ним мир, с запахами ветра и соли. В далеком порту звенел гул, напоминающий летнее ликование кузнечиков. Сквозь дым и солнечные лучи Детерви видел наклонные черты кранов, острые мачты и гигантские, слегка откиннутые назад, трубы с цветными

полосками. Меж молгов просвечивала вода. Дым, пар, полошущие и набирающие ветер паруса; огромными клинами контуры океанских пароходов выплывали на рейд. Иногда смешанный, алчный хор стонущих, звонящих и громыающих звуков порта выделял мелодию свистков, совпадающих так, что, начиная с пронзительных, отрывистых катерных свистков и до поворачивающего в глубине сердца самые большие тяжести, низкого воя сирен — все промежуточные голоса различных судов сливались в стройный, упрямый вихрь. Тогда, сквозь печальную задумчивость, в душе Артура Детерви начинали подыматься непонятные, подступающие слезами в горле, гордость и нежность. Нагнувшись в своем кресле, побледнев от тоски и радости, он смотрел в пестрое отдаление порта так, как будто хотел взглядом переброситься к высоким бортам пришедших издадека стройных судов.

Когда проходил этот момент волнения, он устало откидывался на подушки и, взяв книгу, смотрел мимо нее.

## II

Раз рано утром, — так рано, что еще бледное небо сообщало всему бледный и сонный вид, — Артур Детерви проснулся и, не в состоянии будучи снова заснуть, лежал, смотря на выступающий над нижним краем окна морской горизонт. Второе окно приходилось слева от Детерви, и из него виден был порт. Переведя взгляд к этому окну, увидел он вспыхнувшую за рамой струйку белого пара, такую маленькую отсюда, что воображением можно было принять ее за струйку дыма, выпущенную из трубки курильщиком. Она кипела, резко восходя вверх; затем Детерви услышал, как едва дрогнули оконные стекла и, продолжая легко дрожать, наполнили комнату как бы гулом двигающихся на стекле шмелей. Низкое, как подымаемый тяжкий груз, далекое, сжимающее слух, «о-о-о-о-о!», приближаясь издадека сильными, наваливающимися волнами, заставило Детерви поднять голову. Нет сомнения, то была сирена — гудок трансатлантика «Эквадор», звук, зовущий и вместе приковывающий слушать неподвижно. Из всех ревов и гулов порта больше всего волновал Детерви именно этот страшный, как судьба, звук оглушительного гудка.

То был не рев, не вой, но вой и рев вместе. Наконец струя пара угасла. Звук, оканчиваясь, сошел к самой низкой ноте и, как бы зачеркнув сам себя этим обрывом, исчез, как бы улетел прочь.

Пока Детерви слушал, внушительная вибрация звука прогнала прочь остаток сна, бросила кровь в сердце и голову. С ним произошла странная вещь: он испытал легкое, подобное лишь мысли об этом, напряжение мышц правой ноги и почти с ужасом подумал, что пошевелил ею. Но этого не было.

Несколько минут он лежал, прижав руки к вискам и прислушиваясь к своим мыслям, восстающим внезапно. Наконец смертельная тоска, рожденная безумной надеждой, воодушевила его. Он приподнялся, на руках переполз к стулу, поднялся на него и заглянул в окно, выходящее в сад.

Уже солнце поджигало траву; по саду шел садовник и его пять рабочих.

— Друзья, — сказал им Детерви, — вы знаете, может быть, что у меня болят ноги. Слушайте: я вам заплачу щедро; пока в доме все спят, снесите меня на паром «Эквадор», затем — обратно.

Ему пришлось повторить эту просьбу несколько раз и на разный манер до тех пор, пока полусонные люди не убедились, что им не предлагают ничего страшного или непозволительного.

Детерви дал им вперед денег, оделся, затем сел в кресло и поплыл на четырех парах сильных рук вниз по тропе.

### III

Чем далее двигался он, разговаривая с носильщиками об окружающем и об их делах, а также и о своей болезни, тем спокойнее становилось у него на душе. Наконец он приближался к миру неутомимого раскаленного движения, о котором мечтал все эти три года. Он вдыхал запах угля, морской воды и особый, имеющий тайную прелесть запах прокаленных ветром и солнцем парусных судов, кузова которых, рядом, как затылки солдатской шеренги, теснились у набережной, немного ниже ее, открывая беспорядок палуб. Дальше порт отходил вправо в бухту каменными затоками молов, у концов



которых дымились трубы пароходов; там же сквозь изменчивый в тумане и пыли цвет пространства поднимались на воздух, как бы перелетая, бочки и кучи ящиков; цепь крана, схватившую их, глаз не замечал сразу, почему казалось, что материя получила самостоятельное движение. По воздушной железной дороге, временами скрывая эту картину, тянулись груженные хлопком платформы. Было такое впечатление у Детерви, что вся эта громада судов, заслоняющих своими мачтами и трубами друг друга так, что тянулись по набережной целые улицы снастей, дымит трубами от нетерпения сойти с места и плыть в страну далей.

Детерви сидел в кресле. Его ноги были окутаны пледом. Кресло с колесиками, когда его поставили на мостовую, катилось довольно легко, поэтому двое рабочих катили, а двое шли сзади, затем сменяли тех, кто толкал кресло. Прохожие взглядывали на Детерви, и он отвечал им взглядом, говорящим: «Да, ходить не могу». Женщины, соболезняющие, подняв брови, перешептывались на его счет, двое-трое мальчишек шли некоторое время сзади, но отстали.

Меж тем настало полное утро и пламенно улыбнулось. Яркий, живой блеск заиграл в воде. За зданиями пакгаузов, при повороте Детерви увидел «Эквадор».

Он вспомнил тогда Гулливера и лилипутов. Корабль, размеры которого глаз мог охватить только на отдалении, стоял стеной между ним и остальной гаванью. По длине, высоко громоздящейся над мостовой и, казалось, достигавшей домов порта, мог продвинуться целый небольшой пароход. У схода, ведущих вверх, как на башню, шествие остановилось. Здесь, в густой толпе, хлопчущей среди гор ящиков и багажа, Детерви затерялся. Устав, он посмотрел вверх.

Среди труб вилась тонкая струя белого пара. Она выравнилась, потекла прямо вверх, приняла форму долгого, белого взрыва, метнувшегося под облака, и начала песнь, от которой все померкло, все стало тихим и малым. Некоторое время не было совершенно слышно никаких звуков, как на улице кинематографического экрана, кроме волн победоносного гула, разрывающего пространство. Померкли мысли, дыхание, цвета и предметы; и тот же ужасный рев ревел в самой груди слушающих.

И вне себя от восторга, от счастья видеть и слышать переполняющую его силу, Детерви, весь зазвучав сам, встал со своего кресла. Вначале он не чувствовал ног, как бы летя на месте, но скоро по онемевшим суставам прошли холодными иглами мурашки. Он сделал шаг, пошатнулся и удержался за кресло.

— Теперь поедem назад,— сказал он людям, несшим его,— они еще слабы. О, как ревет! Прямо в меня!

— Да, лучше вам не ходить,— сказал один из носильщиков, ничего не поняв в этом и думая, что Детерви мог стоять.— Однако, голосок у этого парохода. Даже ушам больно.

## ЗОЛОТО И ШАХТЕРЫ

*(Из воспоминаний)*

### I

Когда, еще юношей, я попал в Александрию (египетскую), служа матросом на одном из пароходов Русского общества, мне, как бессмертному Тартарену Додэ, представилось, что Сахара и львы совсем близко — стоит пройти за город.

Одолев несколько пыльных, ширских, жарких, как пекло, улиц, я выбрался к канаве с мутной водой. Через нее не было мостика. За ней тянулись плантации и огороды. Я видел дороги, колодцы, пальмы, но пустыни тут не было.

Я посидел близ канавы, вдыхая запах гнилой воды, а затем отправился обратно на пароход. Там я рассказал, что в меня выстрелил бедуин, но промахнулся. Подумав немного, я прибавил, что у дверей одной арабской лавки стояли в кувшине розы, что я хотел одну из них купить, но красавица-арабка, выйдя из лавки, подарила мне этот цветок и сказала «селям алейкюм».

Так ли говорят арабские девушки, когда дарят цветы, и дарят ли они их неизвестным матросам — я не знаю до сих пор. Но я знаю:

1) Пустыни не было. 2) Была канава. 3) Розу я купил за две пар... (4 коп.) 4) Не чувствовал ни капли стыда.

Равным образом, когда, по возвращении с Урала, отец спрашивал меня, что я там делал, я преподнес ему «творимую легенду» приблизительно в таком виде: примкнул к разбойникам, с ними ограбил контору прииска, затем ушел в лес, где тайно мыл золото и прокутил целое состояние.

Услышав это, мой отец сделал большие глаза, после чего долго ходил в задумчивости. Иногда, взглядывая на меня, он внушительно повторял: «Д-да. Не знаю, что из тебя выйдет».

## II

Я и сам не знал «что из меня выйдет», или, вернее, что случится со мной, когда, в лаптях и трепаном пиджаке, подбитом куделью, выехал из Перми «зайцем» на Пашийские рудники. В этих краях я был впервые. Поэтому я рассуждал так: раз Урал золотоносен, то золотоносен сплошь, и копайся... в огороде, золота будет много. На этом основании, как пошел лесной дорогой на прииски, я в нескольких местах проковырял землю палкой, но там был самый обыкновенный «прах». Где же самородки?

Я шел среди зеленых и синих гор. Ночевать мне пришлось в оригинальной казарме рабочих железного рудника. Все было здесь желто, даже красновато-желто, от рудной пыли. Стены желты, руки, рубахи и столы и тулупы. Я провел ночь в мире, выкрашенном в железную краску. Наутро (была весна) я по подмерзшей дороге явился на Пашийские или Шуваловские прииски (графа Шувалова).

Темное, старое село разбросано было в лесу, по берегам извилистой речки. Я зашел в контору, где отдал свой паспорт, и получил право определиться на какую хочу работу. Кроме того, мне выдали рубль задатка.

Конторой был кряжистый, большой дом из огромных бревен. За окошечком сидел кассир. В окне сиял лес. Вот пришел старик в тулупе и валенках с красными крапинками — с т а р а т е л ь — получать деньги за сданное вчера золото. Он вынул из платка тарелку; на

эту тарелку была ему высыпана груда блестящих пятирублевых — тысячи три. Я обомлел. «Значит, здесь много золота», — подумал я. Почти вслед за первым старателем явился другой, — черный, молодой, с резким и угрюмым лицом; он принес в холщовом мешочке платину. Ее свешали на весах и выдали квитанцию. Платина разочаровала меня, она выглядела, как свинцовые опилки. Но я уже был уверен, что скоро буду миллионером.

Так, воодушевляясь, вышел я из конторы и поселился в одной избе, за рубль в месяц. Спать пришлось на полу. Кроме меня, было здесь еще двое рабочих, хозяин, тоже рабочий, и его беременная жена, болезненная, испитая женщина. Один рабочий был рыж и веснушчат, лет сорока, звали его Кондрат. Каждый вечер он и хозяин, вернувшись с работы, ставили перед собой бутылку водки и чашку кислой капусты. Кондрат, подперев щеку рукой, пил и громко, жалостно пел:

Скажи мне, звездочка золотая,  
Зачем печально так горюшь.  
Кор-роль, кор-роль, о чем вздыхаешь,  
Со страхом речи говоришь?..

Хозяин молча вздыхал, но вдруг, рванувшись и покраснев, орал что есть мочи:

Ска-ж-ж-и мы-ы-ис-с...

В это время хозяйка молча двигалась, прибирая что-то, или стояла у печки, сложив руки, пока ее снова не посылали за водкой. Это случалось почти каждую ночь. Вначале я ворочался на полу без сна, но потом привык и просыпался, лишь когда шум стихал.

С этими-то сожителями я и вышел на другой день к продовольственной лавке, куда собирались, так сказать, нештатные рабочие. Было холодно, удивительно свежо пахло лесом. Красное солнце бросало из-за деревьев по грязному розовому снегу ясные, как свет костра, лучи. Десятник отметил меня, и мы толпой, с бабами и стариками, отправились к насосам, на разведку.

Минут двадцать дорога шла лесом, по талой тропе. Вскоре показалась долина, или увал, где по ее длине, на равном расстоянии друг от друга, чернели небольшие вертикальные шахты — шурфы. Когда-то на некоторой глубине здесь протекала река; шурфы были до подпочвенного слоя песка, который промывали в

ковше, если находили достаточный процент золота (1 зол. на 1 куб. саж.) — здесь закладывалась настоящая шахта. Вокруг шурфов деревья были срублены, пылали костры и кипятились чайники.

Я встал к насосу. Насос опускался до дна шахты, имея вверху отводной желоб и коромысло с длинными ручками. Шесть человек качало, шесть сидело. А внизу, в шахте, бил землю киркой рабочий в так называемых приисковых сапогах, из очень толстой кожи, подошвы которых были подбиты гвоздями с шляпками, величиной в боб. Когда он наполнял деревянную бадью песком, смешанным с галькой, ее втаскивали наверх, а штейгер, взяв немного песка в ковш, промывал пробу водой, — песок сливали, золото оставалось.

Так как я был ко всему этому любопытен, штейгер объяснил мне, что черная галька «шлихт» всегда сопутствует золоту. Раз все побросали качать и пошли смотреть в штейгеров ковш. Там, среди двух черных камешков и щепотки мокрого, серебристого песка, что-то блестело, но я не мог различить, блестит ли это солнце, внутренность луженого ковша или отражение морской гальки. Золотых песчинок я так и не увидел, хотя меня, что называется, тыкали носом. Штейгер только сказал, что его мало, и я от души согласился с ним.

На Урале говорят «робить» вместо «работать». Оттого, что я «робил», мне скоро становилось тепло, к полудню солнце грело уже изрядно, и, отобедав, т. е. напившись чаю с хлебом, я вновь «робил», пока не садилось солнце. Затемно мы возвращались домой.

Однажды в обеденный перерыв я прошел в невырубленный лес конца долины и увидел там маленький домик старателя. Ели вплотную примыкали к нему, и было тут таинственно и тенисто, как в сказке. У двери стояла рослая женщина с крупными чертами лица, с густыми черными бровями и суровым взглядом. Неподалеку сам старатель возился с вашгертом, подводя под него полено. Вашгерт, т. е. промывальный станок, напоминал собой продолговатый ящик, с выдающимся внизу деревянным ложем для стока воды: он был закрыт, заперт и запечатан. Раз в неделю или раз в день, смотря как с кем, чиновник прииска снимал печать, золото извлекалось и взвешивалось на месте, чтобы не было продажи на сторону.

Я узнал от старателя, что его участок плохой, что он только кормится, а прибыли не имеет. Как на пример особой удачи, он указал на соседний лесной дом, его хозяин, тоже старатель, нашел как-то «карман», т. е. такое место, где золото особенно густо, и от этого кармана нажил тот человек тысяч пятнадцать.

### III

Разведка скоро окончилась. Меня приставили тогда к настоящей шахте: холм щебня, извлеченного из недр, окружал ее. Над шахтой стоял ворот с канатом и железной бадьей. В этой бадье спускали вниз, в шахту, забойщика и плотника, делом которого было крепить шахту, ставить крепь. Эта же бадья выбрасывала наверх щебень подпочвенного золотоносного слоя. Щебень, перемешанный с песком, промывали в «бутаре». Бутара — род наглухо закрытой бочки, цилиндра, и хотя я забыл внутреннее ее устройство, однако помню, что песок вместе с водой и небольшим количеством ртути дает при вращении бутары амальгамированный ртутью осадок золота. Золото растворяется в ртути. Затем ее извлекают и выпаривают на огне, а золото остается.

Несколько ночей стоял я в ночной смене у ворота, вместе с другими рабочими мы крутили ворот и освобождали бадью. Не легкое дело. Изломанным и разбитым чувствовал я себя, возвращаясь домой. Однажды я спустился в шахту днем. Действительно, я увидел вверху — в ничтожном четырехугольнике голубой пустоты, — несколько бледных звезд. Я прошел, согнувшись, в тупик горизонтальной ветви шахты, везде поддерживаемой крепью. чтобы не ссыпался грунт. Крепь — это деревянное П, которое ставят плотники на расстоянии полуаршина одно от другого, из коротких балок, по мере того, как забойщик постепенно выбивает впереди себя киркой продолжение шахты. Здесь низко и сыро, красноватый свет шахтерской лампочки в проволочной сетке пятном озаряет низкий, как в сундуке, свод; вода непрерывно льется сверху крупным дождем. Забойщик полулежал на боку, одной рукой действуя киркой; он выбивал и сгребал назад, за себя, кучи мокрого щебня. Щебень выносил рабочий в ведре и шахтовой бадье.

Было воскресенье, когда я увидел наконец «хищника». Такое имя носят люди, добывающие золото на свой риск и страх в частных и казенных владениях. Их ловят, а иногда убивают на месте; о битвах и перестрелках хищников с стражниками я слышался всласть.

В воскресенье я зашел в общую казарму рабочих и там увидел сидящего на краю чар, в беседе с кем-то, молодого человека с приятным, открытым лицом, серыми глазами и серьгой в ухе. Он был в отличных новых сапогах, красной бумазейной блузе с стоячим воротником, плисовых шароварах и плисовой шапке с лисьей опушкой. Богато вышитый шелком бархатный пояс стягивал его талию. Тут же я узнал, что этот человек — хищник, но такой ловкий и удачливый, что до сих пор не попался. Ходит он открыто, стражники и администрация знают, кто эта красивая птица, но улик прямых нет.

Тотчас я подсел к нему с тем, что называется «интервью», а по существу есть нестерпимое любопытство.

Вот что он рассказал. Я, конечно, передаю не речь его, а суть дела.

«Хищничают» партиями, в три и пять человек, редко более. Хищник вооружен, снабжен заступом, киркой, провизией и компасом; промывка происходит в самых диких, нетронутых местах лесов. Золото ищут по логам, падам, т. е. преимущественно в ложбинах. Так же, как и на приисках, бьют шурфы — шахты, для пробы. Но у хищника нет промывального станка — «вашгерта», и, во всяком случае, его работа носит поспешный, случайный характер. Промывают в большом ковше или тазу; некоторые промывают на разложенных уступами кусках дерна: вода уносит промываемую землю, а тяжелое золото застревает в траве. Есть еще способ — амальгамирование, т. е. взбалтывание золотоносной земли в корчагах, куда впущено немного ртути (она растворяет, вбирает в себя металл), но, за трудностью для хищника достать ртуть, она употребляется редко. К тому же хищники разыскивают и знают такие места, где золото идет не по 1 1/2 — 2 золотника на куб, а лежит россыпями, так что, теряя при грубой промывке, они все же добывают довольно. Таково, например, верховое золото. Если верить моему рассказчику,

довольно в таких местах содрать дерн и тряхнуть его, и с корней травы посыплется крупные блестки.

Т а й н о е золото берут скупщики по 2—2 1/2 рубля золотник, платину — по той же цене. Рассказчик сообщил мне, что пришел на прииски звать товарища — идти к Черной Березе, за двести верст, где будто бы зарыто два голенища с золотым песком. Но... он заметно прихвастывал в своих удачах, и я не особенно поверил Черной Березе.

Вечером Кондрат и хозяин мой, где я жил, снова начали пить — был день получки. Устав, я крепко спал, рано проснулся. По еще темному окну шла розовая полоса рассвета. Хозяйка, с трудом передвигая ноги и охая, растопляла печь. Новый — тонкий и жалобный звук раздался за ситцевой занавеской. Страшно похудевшая женщина бросилась к кровати; спеленатый тряпками, там лежал только что, этой ночью родившийся мальчик.

Это был единственный случай, что я был свидетелем столь мужественных и горьких родов — без акушерки, врача, без криков и жалоб. Пьяный хозяин храпел на полу. Кондрат спал, уронив на стол руки и голову.

При свете керосиновой лампы я увидел тогда пятирублевую золотую монету, блестящую на залитой щами и водкой домотканой скатерти.

И это было единственное золото, которое я видел на приисках, если не считать того, что в конторе было взято — «старателем».

Муж храпел. Но хозяйка, вся полная, сквозь страдание, светлой материнской тишиной, ласково приговаривала:

— Ш-ш-ш-ш...

Скоро я покинул прииск.



РАССКАЗЫ,  
ВКЛЮЧЕННЫЕ А. С. ГРИНОМ  
В СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ  
ДЛЯ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ  
ИЗДАТЕЛЬСТВА «МЫСЛЬ»

КЛУБНЫЙ АРАП

I

Некто Юнг, продав дом в Казани, переселился в Петроград. Он был холост. Скучая без знакомых в большом городе, Юнг первое время усиленно посещал театры, а потом, записавшись членом в игорный клуб «Общество престарелых мучеников», пристрастился к карточной игре и каждый день являлся в свой номер гостиницы лишь утром, не раньше семи.

Никогда еще азарт не развивался так сильно в Петрограде. К осени 1917 года в Петрограде образовалось свыше пятидесяти игорных притонов, носивших благозвучные, корректные наименования, как-то: «Собрание вдумчивых музыкантов», «Общество интеллигентных тружеников», «Отдых пропойского района» и т. п. Кроме карточной игры, ничем не занимались в этих притонах. Каждый, кто хотел, мог прийти с улицы и за 10—15 рублей получить членский билет. Публика была самая сборная: чиновники, студенты, мародеры, мастеровые, торговцы, шулера, профессиональные игроки и невероятное количество солдат, располагавших подчас, неведомо откуда, довольно большими деньгами.

Когда Юнг начал играть, у него было около сорока тысяч, вырученных сверх закладной. Крайне нервный и жадный к впечатлениям, он отдавался игре всем существом, входя не только в волнующую остроту данных или же битых карт, но в весь строй игорной ночной жизни. Он настолько познал ее, что не отделял ее от игры; ее наглядность и размышления о ней как бы сдабривали

сухое волнение азарта и часто сглаживали мучительность проигрыша, развлекая своей мошеннической, живой сущностью. Не будь этой игорной кулисы, играй Юнг в клубе старинном, чопорном, где «шокинг» не идет дальше пропавшего карточного долга, пули в лоб или же — верх несчастья — уличения опростоволосившегося элегантного шулера, Юнг, может быть, бросил бы скоро игру. Будучи чужим клубной публике, входя только в игру, с ее лицемерной церемонностью сдерживаемых хорошего тона ради страстей, он, быстро утомленный, пресытился бы однообразным прыганием очков в раскрываемых картах. А в «Обществе престарелых мучеников» его заражал азартом и удерживал именно этот густой, крепкий запах жадной безнравственности, нечто животное к деньгам, в силу чего они приобретали веский, жизненный вкус, разжигая аппетиты и делаясь оттого желанными, как голодному кушанье.

Во всех петроградских клубах игра шла главным образом в «макао» — старинная португальская игра, несколько видоизмененная временем.

В неделю Юнг изучил быт «Престарелых мучеников». Шулеров, в прямом артистическом значении этого слова, здесь не было, отчасти потому, что карты при сдаче вкладывались в особую машинку, мешающую перереднуть или сделать накладку (лишняя, затаенная в рукаве, подобранная сдача на одну или несколько игр), а более всего по причине множества клубов и большого выбора поэтому арен для шулерских доблестей. Кроме того, богатые притоны, с целью развить игру, перебывали друг у друга известных шулеров на гастроли, дабы те заставили говорить о случившемся в таком-то месте крупном выигрыше и проигрыше. Ради рекламы не останавливались даже перед тем, чтобы дать Х-су крупный куш специально для «раздачи», как называется упорное «невезение» банкомета.

«Престарелые мученики» наполнялись самой отборной публикой. Тут можно было встретить сюртук литератора, пошлую толщиной часовую цепочку мясника или краснотоварца, галуны моряка, кожан, а то и косоворотку рабочего, офицерские погоны и солдатские мундиры, — без погон, по последней моде. Поражало количество денег у солдат и рабочих. Это были едва ли не

самые крупные, по азарту и деньгам, игроки почтенного учреждения.

Как сказано, прямого шулерства не было, но существовало «арапничество», среднее в сути своей между попрошайничеством и мошенничеством. Об этом, однако, после.

## II

Юнг на первых порах выигрывал. Пословица — «новичкам везет» — права, может быть, потому что новичок инстинктивно приноравливается к единственному закону игры — случайности, он ставит где попало и как попало; прибавьте к этому, что новичок большею частью затесывается в клуб случайно; таким образом, соединение трех случайностей увеличивает шансы на выигрыш, совершенно так же, как выполнение сразу трех намерений редко увенчивается успехом. Позже, присмотревшись, как играют другие, и возомнив, что научился расчету в том, как и где ставить (вещь нелепая), игрок закрывает глаза на то, что он уже борется с законом случайности и борется во вред себе, так как естественно в этом случае изнурение нервов, ведущее к растерянности и безволию. Неизвестно, как лежат карты в колоде. Думаешь, что ты угадал, на какие табло вот теперь следует ставить и в какую очередь, — значит думаешь, что знаешь. Но карты издеваются над такой притязательностью. Есть, правда, небольшое число людей с особо-тонко развитой интуицией в смысле угадывания, но выигрывать всегда людям этим мешает их же недоверие к интуиции; зачастую усумнившись в внутреннем голосе, ставят они на другое, чем показалось, табло и, думая, что обманули судьбу, дуют потом на пальцы.

Пока Юнг отделялся только замиранием сердца, ставя куда попало и мечта ответы без учитывания жира и девятки, ему везло. Каждый вечер уходил он с сотнями и тысячами рублей выигрыша. Нужно отметить, что уйти с выигрышем — вещь несколько трудная. Выигрывающий обыкновенно назначает себе предельную сумму, с которой, доиграв ее, и решает уйти. Если ему везет дальше, — из жадности мечтает он уже о высшей предельной сумме и, не добившись, естественно, предела в беспредельности, начинает в некий момент спускать деньги обратно. Желания теперь сужи-

ваются, становятся все кургузее и молитвеннее. Вот игрок мечтает уже о том, чтобы достичь снова бывшей кульминационной точки уплывающей суммы. Вот он говорит: «Проиграю еще не более, как столько-то, и уйду». Вот он проиграл весь выигрыш, и бледный, с потухшим взором, ставит опять свои деньги. Не везет! Он, торопясь в рай, ставит большие куши, удваивает их и остается, наконец, с мелочью на трамвай или извозчика, но часто лишенный и этого, занимает у швейцара целковый.

Юнг везло, и около месяца, счастливо закладывая банки, мечта удачные ответы или понтируя, купался он в десятках тысяч рублей, привыкнув даже, когда играл, смотреть на них не как на деньги, а как на подобие игорных марок,— некое техническое приспособление для расчета. Но счастье, наконец, повернулось к нему спиной. Проиграв однажды пять тысяч, он приехал на другой день с пятнадцатью и к закрытию клуба совершенно рассорил их. Удар был ощутителен; желание возмездия проигранное выразилось в силу возникшего недоверия к своей «метке» тем, что Юнг начал давать деньги в банк и на ответ другим игрокам, бойкость и опытность которых казалась ему достаточной гарантией успеха. Лица эти, играя для него, но более (если им решительно не везло) для многочисленных своих приятелей, ставивших в таких случаях весьма усердно и крупно, не далее как в неделю лишили его трех четвертей собственных денег. Иногда незаметно платили они за ставки больше, чем следует, а затем делились с получающим разницей. Иногда, после того как карты были уже открыты на то табло, где сияли выигравшие очки, ловко подсовывалась крупная бумажка и за нее получалось. Иногда банкомет, смешав, как бы ненароčno, юнговы деньги со своими, разделял их затем не без выгоды для себя и клялся, что поступил правильно. С помощью таких нехитрых приемов, бывших обычными среди посетителей «Общества престарелых мучеников», карточные пройдохи привели Юнга в состояние полной растерянности и нерешительности. Оставшись с небольшой суммой, он то ставил мало, когда счастье, казалось, подмигивало ему, то много, когда определенно билась карта за картой, и вскоре, дойдя до придумывания беспроигрышных «систем» — худшее, что может постигнуть иг-

рока,— кончил он тем, что остался с двадцатью—тридцатью рублями, напился и в клубе появился снова через дней пять, подавленный, измученный, без всяких определенных планов, с одной лишь жаждой — играть, играть во что бы то ни стало, быть в аду вечной жажды,— ожидая случая, толпиться и вздрагивать, сосчитывая слепые очки.

Переход от воздержанности к запойной игре, а от последней к арапничеству, совершается незаметно, как все то, где главное действующее лицо — страсть. Окончательно проигравшись или же став в положение, при котором вообще неоткуда достать своих денег, игрок начинает обыкновенно собирать долги. Тот ему должен, тот и тот. Суммы эти служат некоторое время, игра для такого человека сделалась страстью, ее зуд прочно завяз в душе, подобно раздражению десен, когда ненасытно жуют вар или грызут семечки. Но вот истребованы, выклянчены и проиграны все долговые суммы. Возможно, что в этом периоде были моменты относительной удачи,— тем хуже. Игрок смотрит уже на них как на чужие, даром доставшиеся деньги. Истрепанные нервы требуют оглушения. Он пьет, развратничает, играет, не соображая ставок пропорционально наличности, и в скорости начинает занимать сам. Сначала ему дают, затем — морщатся, ссылаясь на собственный проигрыш, затем с ругательствами, издевкой над скулением отбивают охоту вообще просить денег взаймы. Все постоянные посетители знают и его и его привычки, даже тот соединенный неписаным уставом кружок «арапов», к которому он уже принадлежит, но, большей частью, не знают ни его жизни, ни имени, ни фамилии. Такова странность всепоглощающих интересы занятий! Налицо здесь лишь зрительная фигура; фигура менее значит для этого общества, чем «жир» в картах.

Когда так называемая нравственная стойкость достаточно потускнела; когда всю жизнь заполнила и высосала игра, а задерживающие центры перестают обращать внимание на такие пустяки, как унижение и обида,— арап готов. Он сделан из попрошайничества, уменья словить момент, шутовства, настойчивости и мелкого мошенничества. Научившись быстро вести расчет по всей сложности и учету ставок, он, как настоящий крупье, за 10 процентов помогает любому желаю-

щему метать ответ, но медлительному в цифровых соображениях. Геройски распоряжается он чужими деньгами; выхватывает их из рук банкомета или из-под его носа; кричит: «Сойдите!» — «Швали ушли!» — «Крылья полностью», — «Какие слова?» (Загнутый угол бумажки, обозначающий меньшую, чем ассигнация, ставку) — «Комплект!» — «Куш платит!» — «Делайте вашу игру!» — и все другое, подобное, штампованные выражения выигрыша, проигрыша и ожидания. Он способствует закладу часов и колец карточнику или швейцару. Он достает водку. Он дает «на счастье» рубль в банк и бывает в случае выигрыша необыкновенно привязчив. Он подбрасывает на выигравшее табло лишние деньги. Он привозит богатых и пьяных игроков. Он пытается из-под локтя собственника стянуть деньги и, если это замечается, говорит, что хотел поправить их, они, мол, намеревались упасть на пол. В таких клубах легко смотрят на обнаруженное покушение смощенничать или украсть. Никогда дело не вызывает скандала. В худшем случае — короткий гвалт, в лучшем — гневный взор и угроза трясением пальца.

Постоянно играющие должны быть всегда в проигрыше. Расчет их таков: клуб в виде платы за места, за закладывание банков и штрафами (за игру позже известного часа) собирает в день, в среднем, — две тысячи. Общая сумма денег, пускаемых в игру (сообразно процентным отношениям с «ответом» и банком) — сто тысяч. Через месяц и двадцать дней эти сто тысяч целиком переходят в клубную кассу.

Юнг стал а р а п о м.

### III

Ему не повезло. Когда он отошел от стола, — денег совсем не было.

Трясаясь, шаря по карманам и часто мигая, как ослепленный облаком пыли, Юнг старался припомнить порядок, в каком произошло несчастье, но ощущал лишь бессилие и тоску. Глубокое отвращение к себе, к игре, к жизни овладело им. Не зная, что делать, он крикнул, как сумасшедший, в отчаянии: «Покрыт банк!». У стола, где давалось сорок рублей, банк выиграл.

— Будет за мной! — глухо сказал Юнг...

Поднялся отвратительный шум. Кто-то из выигравших, внимательно посмотрев на Юнга, внес сорок рублей.

— В банке восемьдесят! — сказал утихомиренный банкомет. — Прием на первое!

#### IV

Юнг прошел в читальню, взял номер статистического журнала, повертел его, бросил и сел в кресло. Глухая подавленность отчаяния держала его вне места и времени.

— Что же делать? — сказал он себе. — Теперь — крышка. Одно остается: броситься с моста в воду. — Он построил это как фразу, но, повторив еще раз, проник наконец в смысл сказанного и понял, что броситься с моста в воду — значит умереть. Решимость покончить самоубийством приходит даже у самых меланхолических натур внезапно. Можно подготовиться к этому в двадцать лет и все же дожидаться внуков; можно, наоборот, никогда не думать серьезно о самоубийстве и, вдруг почувствовав жизнь нестерпимо омерзительной, кинуться, как к отдыху, к смерти. Такое непродуманное, но уже тоскливо влекущее решение вдруг ожил в Юнга. В новом, непривычном состоянии безымянного трепета поднялся он с кресла, но в это мгновение случайно взгляд его упал на одну из картинок стереоскопа, рассыпанных на столе. Картинка изображала женщину, сидящую верхом на конце бревна, выдающемся с озерного берега над водой.

Юнг взял картинку. Болезненное желание увидеть перед концом воду, такую же воду, какая должна была в скорости сомкнуться над ним, заставило его установить изображение в стереоскопе и поднести аппарат к глазам. Сначала освещенное электричеством изображение оставалось плоским, но скоро, уступая напряжению взгляда, выявило понемногу перспективу и жизненность трех измерений. Юнг увидел большое лесное озеро, тень в нем от бревна и босые, обнаженные до колен, напрягающиеся неудобством положения, крепкие ноги женщины. Ее лицо удивило его. Вне аппарата — оно было застывшим, с тем самым неестественным выражением, какое свойственно человеку, снимаемому фотографом, а теперь улыбалось. Тяжелое чувство, предвидение

необычайного, родственное тягости перед припадком или в ожидании мрачного известия, овладело им. Он быстро опустил аппарат и вздрогнул, как от внезапной струи холода, заметив, что, когда глаза уже расставались с изображением,— женщина качнула ногой, словно собираясь покинуть бревно и сойти на землю.

— Дико,— сказал он, морщась и прикладывая руку к томительно бьющемуся сердцу. «Неужели сумасшествие — начало его?» — подумал Юнг. Тревога его не проходила, а нарастала, подобно приближающемуся барабанному бою. Он оглянулся, переживая странное электризирующее ощущение, подобно воображенному, конечно,— тому, как если бы все предметы ожили, сошли с места, а затем мгновенно разместились в прежнем порядке, с быстротою частиц ртути, вплескивающихся взаимно.

Против него в пустом ранее того кресле сидела смуглая молодая женщина,— та самая, на которую в стереоскоп смотрел Юнг. Ее черные, ровные как шнурки, брови были высоко поставлены над смелыми, большими глазами, блистающими того рода жуткой одухотворенностью, какая свойственна старинным портретам, в колеблющемся и неверном свете. От платья и фигуры ее веяло разрушением действительности. То, что испытал Юнг в течение этого замечательного свидания, никак не может быть названо страхом. Начало сверхъестественного лежит в нас и выявленное тайными силами, противу всяческих ожиданий потрясающего недоумения страха, вводит лишь, правда не без сильного возбуждения, в привычную область **в е р ы ф а к т а м**. Чтобы понять это, достаточно представить ощущение человека, впервые попадающего под выстрелы или претерпевающего крушение поезда. Контраст факта разителен с обыденностью предстояния факту, и, однако, что бы ни толковали люди логической психологии,— **с т р а х** сопутствует указанным фактам. **О ц е л е н е н и е** в о з б у ж д е н и я — вот, пожалуй, приблизительно верная оценка переживаний. Что стреляют в т е б я,— этому, пока оно не случилось, так же трудно поверить, как явлению демона.

— Это что? — спросил, тяжело дыша, Юнг.

В гостиной, кроме него и неизвестной дамы, никого не было.



— Слушайте внимательно,— сказала женщина, наклоняясь через стол к Юнгу.— Сегодня 23-е число, день, в который я выхожу из тумана. Больше вы меня не увидите. Я предлагаю вам новую, чудную по результатам игру, которая при удаче утысачерит всякое счастье, при неудаче магичеокки усилит несчастье. Это — и г р а н а в р е м я . Посмотрите колоду. Возьмите ее себе. У нас она называется Шеес-Магор, что значит — потерянная и возвращенная жизнь.

Юнг взял колоду. В ней, как и в обыкновенной игральной, было пятьдесят два четырехугольных, но квадратных, лоскутка, сделанных из неизвестного материала, черного и твердого, как железо, тонкого, как батист, шелковистого на ощупь, слегка просвечивающего и легкого. До крайности странны были фигуры, разрисованные от руки, как и все остальные карты, красной и белой красками. Очки пик были изображены в виде коротких стрел; трефы — трилистников; бубны — красных четырехугольных цветов; червы — сердца, сжатых рукой. Тяжелая, гротескная узорность фигур таила в себе нечто идольское, древнее и потустороннее.

— Играйте с любым, с кем хотите,— продолжала дарительница, когда Юнг поднял глаза, весь во власти открывающейся пред ним бездны.— Вам предоставлено ставить в какую хотите азартную игру любое количество лет, месяцев, дней, часов и даже минут. Б и т а я ставка переносит вас в будущее на ставленный интервал времени, ставка в ы и г р а н н а я —отдалит в прошлое.

Последние слова женщины звучали глухо и отдаленно. Договорив, она исчезла — не расплылась, не растаяла, а именно исчезла, как в смене кинематографических сцен. Юнг вскочил, уронил газету и, весь трясаясь еще от волнения, нагнулся, собирая карты. Не поднимая головы, он увидел, что возле его рук движутся, делая что и он,— еще две руки. Пальцы их были покрыты крупными золотыми кольцами.

Юнг посмотрел выше. Перед ним на корточках сидел, помогая собирать, крайне удивленный видом карт известный игрок Бронштейн,— сложная разновидность Джека Гэмлина в русских условиях. Круглый, с небольшим брюшком, если не всегда веселый, то неизменно оживленный, человек этот сказал:

— Турецкие?

— Нет,— машинально ответила Юнг.

— Греческие?

— Не...

— Первый раз вижу такие карты. Где вы их взяли?

К Юнгу вернулось самособладание. Он гладко солгал:

— Это карты неизвестно какого происхождения. Ко мне они перешли от отца, вывезшего их из Дагестана. Слушайте, Яков Адольфович. У меня есть примета (карты были собраны, и оба присели уже к столу),— если я впустую играю перед настоящей игрой один удар с кем-нибудь этой колодой,— мне должно тогда повезти за любым столом.

— Хорошо,— сказал Бронштейн.— Все мы игроки — чудаки. Делайте вашу игру. Закладываю в банк на первый случай, солнце и... хотя бы... луну...

Быстрыми, летающими движениями привычного игрока он сдал, как всегда в макао, на четыре табло и со скучающим видом приподнял свои три карты.

— Девять,— с неизменяющим игроку никогда, даже при игре в «пустую», удовольствием сказал он.

Юнг еле успел взглянуть на свои карты, т. е. на те, что покрывали предполагаемое первое табло. Он проиграл. У него было три.

## V

Приглашая Бронштейна сыграть в «пустую», Юнг мысленно определил ставкой пять лет и два месяца с тем расчетом, что, выиграв, вернется он к особенно любимым в прошлом дням первых свиданий с Ольгой Невзоровой, девушкой, которая должна была стать его женой и которую взял от земли тиф. Проигрыш, наоборот, увлекал в неизвестное, может быть, к смерти. Последнее не беспокоило Юнга. Фантастическая жизнь клуба, где каждая битая ставка являлась, в виде малом и скудном, образом смерти, бесчисленным множеством этих отдельных потрясений, давно уже притупила инстинкт самосохранения; к тому же, как видели мы, Юнг сам желал самоубийственного конца.

У карт не было крапа. Когда они, в числе трех, верою легли перед ним,— в блестящей черноте их, отра-

жавшей, словно водами глубокой пропасти, свет люстры, появились, двигаясь, несколько тихо мерцающих точек. Особым, глубинным и безотчетным знанием Юнг понимал, что точки эти — те годы, которые он поставил. Девятка Бронштейна бросила ему в горло первый комок спазмы. Станные подобия гримасы мысли сопровождали движение его руки, когда он открыл свои три карты.

Юнг повернулся на бок. Все тело нестерпимо ныло, как бы просило уничтожения раздражающих прикосновений одеяла и тюфяка. Прикрученная на круглом столе лампа горела больным светом. В кресле спала сестра милосердия, полнолицая, рябая женщина. Голова ее низко опустилась на грудь, производя такое впечатление, как будто сестрица всматривается в собственные очки.

Ворочаясь, Юнг задел локтем склянку с лекарством: звонко ударившись о стакан, она разбудила дремавшую женщину.

— Глупости... некуда-с... — забормотала она спросонок и очнулась. — Что вам? Пить? Беспокойно, может? — спросила она привычно заботливым голосом. — А вы хорошо спали нынче, поправитесь, видно.

— Да. В середине ночи проснулся, — не замечая ее смущения, сердито сказал Юнг. — Смерть идет... Плохо мне.

— Больные все мнительны, — сказала сестрица. — Не такие на моих глазах выздоравливали.

— А, ну вас, — с отчаянием прошептал Юнг и закрыл глаза.

Вчера вечером с тонкостью интуиции, присущей тяжелобольным, он видел по напряженному лицу доктора, что дело плохо. Различные воспоминания с беспорядочной яркостью пробегали в его тоскующей голове. Между прочим, он вспомнил, как был пять лет тому назад клубным арапом, вспомнил подробности некоторых вечеров, ио далее того сила воспоминаний гасла, оставляя значительный промежуток неопределенных туманностей, как это часто бывает у людей слабой или рассеянной памяти; так называемый «провал» лежал между текущим моментом и тем, когда он решил идти топить.

Вдруг Юнг вспомнил о картах. Они лежали под его подушкой. Сознание его не шло дальше возможности

очутиться с помощью их в небытии или в новых (старых?) условиях. Оно и не могло идти дальше: магическая игра являла действительность столь опрокинутой, отраженной в себе и послушной необычайному, что Юнг бессильно поморщился. Он хотел быть с Ольгой Невзоровой или не быть совсем.

— Юлия Петровна, — слабым голосом сказал он, — подвиньте мне, пожалуйста, столик.

— Чего вы надумали еще? Лежите, лежите себе!

— Да ну, подвиньте.

Она поспорила еще, но исполнила, наконец, его желание. Юнг с трудом приподнялся на локте, положив перед собой колоду. По причине слабости, а также чтобы избежать вопросов и любопытных взглядов сестры милосердия, в случае если бы она принялась рассматривать карты, Юнг задумал упрощенную игру в «кучки». В игре этой — если играют двое — колода делится крапом вверх на две равных или неравных половины. Каждый выбирает, какую хочет, выигрывает тот, чья нижняя карта старше нижней карты противной «кучки».

Очки Юлии Петровны с беспокойством и удивлением следили за его действиями.

Юнг стал медленно приподнимать «кучку», лежавшую ближе к нему. «Десять лет... десять лет и четыре месяца», — мысленно твердил он.

— Ах, — дико закричал он, увидев в то же мгновение против короля второй «кучки» свою пиковую десятку.

Все кончилось.

## ВПЕРЕД И НАЗАД

*(Феерический рассказ)*

### I

В конце мая и начале июля город Зурбаган посещается «Бешеным скороходом». Ошибочно было бы представить этого посетителя человеком даже самой сума-

сшедшей внешности: длинноногим, рыкающим и скорым, как умозаключение страуса относительно спасительности песка.

«Бешеный скороход» — континентальный ветер степей. Он несет тучи степной пыли, бабочек, лепестки цветов; прохладные, краткие, как поцелуи, дожди, холод далеких водопадов, зной каменистых почв, дикие ароматы девственного леса и тоску о неведомом. Его власть делает жителей города тревожными и рассеянными; их сны беспокойны; их мысли странны; их желания туманны и обаятельны, как видения анахорета или мечты юности. Самое большое количество неожиданных отъездов, горьких разлук, внезапных паломничеств и решительных путешествий падает на беспокойные дни «Бешеного скорохода».

5-го июля в сорока милях от Зурбагана три человека шли по узкой степной тропе, направляясь к западу.

Шедший впереди был крепкий, прямой, нервный человек, лет тридцати трех. Природа наградила его своеобразной цветистостью, отдаленно напоминающей редкую тропическую птицу: смуглый цвет кожи, яркие голубые глаза и черные, выщипанные, с бронзовым отливом, волосы производили весьма оригинальное впечатление, сглаживая некрасивость резкого мускулистого лица, именно богатством его оттенков. Двигался он как бы толчками — коротко и отчетливо. На нем, как и на остальных двух путниках, был охотничий костюм; за спиной висело ружье; остальное походное снаряжение — сумка, свернутое одеяло и кожаный мешочек с пулями — размещались вокруг бедер с толковой, удобной практичностью предусмотрительного бродяги, пользующегося, когда нужно, даже рельефом своего тела.

Этого звали Нэф.

Второй путник, развалисто поспешавший за первым, был круглолиц, здоров и неинтересен в той степени, в какой бывают неинтересны люди, созданные для работы и маленьких мыслей о работе других. Молодой, видимо, добродушный, но тугой и медлительный к повизне, он являлся того рода золотой серединой каждого общества, которая, по существу, неоспорима ни в чем, подобно столу или крепко пришитой пуговице. Сама природа отдыхает на таких людях, как голодный поэт

на окорске. Второго путника звали Пек, а был он огородником.

Третий мог бы нагнать тоску на самого веселого клоуна. Представьте одушевленный гроб; гроб на длинных, как бы перекрученных, испитых ногах, с вставшим животом, вздернутыми плечами, впалыми, кислыми глазами и руками-граблями. Его рыжие усы висели как ножки мертвого паука, он шел размашисто и неровно, вяло шагая через воздух, как через ряд сундуков. Этого звали Хин. В Зурбагане он чистил на улице сапоги.

Все трое шли в полусказочные, дикие места Ахуан-Скапа за золотом, скрытым в тайной жиле Эноха. Умирая, Энох передал план тайников Нэфу<sup>1</sup>. Хин, соблазнившись, истрагил на снаряжение деньги из сберегательной кассы, а Пек шел как могучая рабочая сила, годная копать землю и вязать на переправах плоты.

## II

Когда стемнело, путники остановились у небольшой роши, разожгли костер, поужинали и напились кофе.

Огромная ночь пустыни сияла цветными звездами, большими, как глаза на ужас и красоту. Запах сухой травы, дыма, сырости низин, тишина, еще более тихая от сонных звуков пустыни, дающей вздохи, шелест ветвей, треск костра, короткий вскрик птицы или обманчиво близкий лепет далекого водопада,— все было полно тайной грусти, величавой, как сама природа — мать ощущений печальных. Человек одинок; перед лицом пустыни это яснее.

Нэф развернул карту.

— Вот, братцы,— сказал он, отводя ногтем часть линии не более пяти миллиметров.— вот сколько мы сделали в первый день.

— А сколько осталось? — спросил, помолчав, Хин.

— Столько.— Нэф двинул рукой до противоположного края карты.

— Д-да,— сказал Пек.

Хин промолчал. Устремив глаза в тьму, бесцельно, но напряженно, как бы улетаая в нее к далекой цели, Нэф сказал:

---

<sup>1</sup> В единственной известной публикации вместо «Нэфу» напечатано «Эхору». (Ред.)

— Помните, что путь наш не легкий. Я уже говорил это. Нас будет рвать на куски судьба, но мы перешагнем через ее труп. Там глухо: леса, тьма, враги и звери; не на кого там оглянуться. Золото залегло в камне. Если хотите, чтобы ваши руки засветились закатом, как глаза, а мир лежал в кошельке,—не хряхтите.

Пек и Нэф вскоре уснули, но Хин даже не задремал. Беспокойно, первый раз так опасно и реально, представил он долгий-предолгий путь, дожди, голод, ветры и лихорадки; пантер, прыгающих с дерева на загравок, магические глаза змей, стрелу в животе и пулю в сердце... Чей-то скелет среди глубокого ущелья... Он вспомнил красоту отделанного под орех ящика, на котором останавливается щедрая нога прохожего, солнечный асфальт, свою газету, свою кофейню и верное серебро. Он внутренне отшатнулся от того края карты, на котором, смеясь, Нэф положил ладонь; отшатнулся и присмирел.

Хин осторожно встал, собрался и, не разбудив товарищей, зашагал к Зурбагану, унося на спине взгляд догорающего костра. Так, человек, страдающий боязнью пространства, поворачивается спиной к площади и идет через нее, пятясь... Мир опасен везде.

### III

Проснувшись, Нэф показал Пеку следы, обращенные к почлегу пятками.

— Нас двое теперь,—сказал он.— Это лучше и хуже.— Пек выругался, невольно все-таки размышляя о причинах, заставивших Хина вернуться. Он был смущен.

Затем прошел месяц, в течение которого два человека пересекали Аларгетскую равнину с достоинством и упорством лунатиков, странствующих по желобу крыши, смотря на луну. Нэф шел впереди. Он говорил мало; часто задумывался; в хорошую погоду — смеялся; в плохую — кусал губы. Он шел легко, как по тротуару. Пек был разговорчив и скучен, жаловался на лишения, много ел и часто вздыхал, но шел и шел из любви к будущему своему капиталу.

Однажды вечером к поселку, расположенному на берегу большой реки, пришли два грязных, бородатых

субъекта. Их ногти были черны, одежда в земле. Они вошли в небольшой дом, где молодцеватый, крупный старик и молодая девушка, красивая, как весенняя зелень, сиделись ужинать.

— Вы куда? — осведомился старик.

— К Серым горам, — сказал Нэф.

— Далеко.

— Пожалуй.

— Зачем?

— Слитки.

— Дураки, — заявил старик. — Туда многие ходят, да мало кто возвращается.

— Мало ли что, — возразил Нэф, — ведь я иду в первый раз.

Старик хмыкнул, как на лепет ребенка.

— Нерра, покорми их и положи спать, — сказал он дочери. — Пусть они во сне целуются с золотом, а наяву — со смертью.

— Шутки не наполняют кармана, — возразил Нэф.

Девушка засмеялась. Пек сел к пирогу со свиной; Нэф выпил водки, потом занялся и едой.

Ужин прошел в молчании. Затем Нерра сказала:

— Сумасшедшие, ваша постель готова.

— Ты любишь умных? — спросил Нэф.

— Должно быть, если не люблю глупых вопросов.

— Какой принести тебе подарок?

— Свой скальп, если ты разыщешь его.

— Бери сейчас. — Нэф нагнулся, подставив лохматую голову.

Старик, вынув изо рта трубку, густо захохотал. Девушка рассердилась.

— Идите спать! — вскричала она.

Нэф скоро заснул; Пек, ворочаясь, вспоминал круглые руки Нерры. Утром, когда Нэф занялся чисткой ружья, Пек вышел во двор и сел на бревно, осматриваясь.

Вдали, за цветущей изгородью, виднелись холмы хлебных полей. В сарае толкались свиньи, розовые с черными пятнами. На другом дворе бродили коровы великанского вида. Под ногами Пека сустились крупные, цветные куры, болтливые индейки; вечно падающие гуси шипели, как тещи; синие с золотом и хохолками на голове утки охорашивались на солнышке.



Старик вышел из хлева. Увидев Пека, он подошел к нему и сказал:

— Любезный, в горах дико и дрянно, а у меня много работы. Два месяца назад утонул мой сын. Если хочешь, живи работником. Мы всегда спокойны и сыты.

В это время через двор прошла Нерра, улыбаясь себе, в солнце и ярком платье, богатая молодостью. Она скрылась. Вся картина знакомой фермерской жизни была для души Пека, как оттепель среди суровой зимы,— тоска мучительного и опасного странствования.

— Хорошо,— сказал Пек.

Старик подбросил лопату. Пек пошел в дом, где столкнулся с Нэфом, одетым и готовым к походу.

— Скорее, идем,— сказал Нэф.

— Нэф... я...

— Где же твое ружье?

— Послушай...

— Время дорого, Пек.

— Я здесь останусь работником.

Нэф отвернулся. Постояв с минуту, он прошел мимо Пека, как мимо пустого места. У ворот он обернулся, увидев Нерру, смотревшую на него из-под руки.

— Ну, я пошел,— сказал он.

— Прощай. Береги скальп.

Нэф досадливо отмахнулся. Девушка презрительно фыркнула и повернулась спиной к дороге, уходящей к горам.

#### IV

Жизнь знает не время, а дела и события. Поэтому, без точного исчисления месяцев, разделивших две эти главы, мы останавливаемся у окна, только что вымытого Неррой до блеска чистой души. Около нее стоял Пек.

— Что же мне теперь делать?

— Купать лошадей.

— Нерра!

— Отстань, Пек. Твоей женой я не буду.

Он смотрел на ее гибкую спину, тяжелые волосы, замкнувшиеся глаза и маленькие, сильные руки. Так, как смотрит рыбак без удочки на игру форели в быстром ключе. Он вдруг озлобился, вышел и повел лоша-

дей, а когда возвращался с ними, то заметил спускающегося по склону холма неизвестного человека в лохмотьях, так густо обросшего волосами, что сверкали только глаза и зубы. Человек шел сильно хромая.

— Пек! — сказал бродяга, взяв под уздцы лошадь.

— Нэф!!

— Я. Я и мое золото...

— Так ты не умер?

— Нет, но умирал.

Они вошли в дом. Пек привел старика, Нерру; все трое обступили Нэфа, рассматривая его с чувством любопытной тревоги.

Его вид был ужасен. В дырах рубища сквозило черное тело; шрамы на лице и руках, склеенные запекшейся кровью, казались страшной татуировкой; босые ноги раздулись, один глаз был завязан. Он снял мешок, ружье, тяжелый кожаный пояс и бросил все в угол, потом сел.

— Скальп цел, — кратко сообщил он.

Девушка улыбнулась, но ничего не ответила.

Ему дали еды и водки. Он сел, выпил; на мгновение заснул, сидя, и мгновенно проснулся.

— Рассказывай, — сказал старик.

— Для начала... — заметил Нэф, отворачивая левый рукав.

От плеча до кисти тянулись обрывки сросшихся мускулов — подарок медвежьей лапы. Затем, поправив рукав, Нэф спокойно, неторопливо рассказал о таких трудах, лишениях, муках, ужасе и тоске, что Пек, посмотрев в угол, где лежал мешок с кожаным поясом, почувствовал, как все это на взгляд стало приземистее и легче.

На другой день выпавшийся Нэф побрился, вымылся и оделся. Он перестал быть страшным, но вид его все же говорил красноречиво о многом.

Оставшись с ним наедине, Пек сказал:

— Ты меня предательски бросил здесь, Нэф. Я колебался... Ты не утшил меня, как следовало бы поступить верному другу. И вот — ты миллионер, а я — прежнему нищий.

Нэф усмехнулся и развязал пояс. Взяв чайный стакан, он насыпал его до краев мутным, желтым песком.

— Возьми! — сказал он покрасневшему от жадности Пеку.

К вечеру Пек исчез. На кровати Нэф нашел его записку и показал Нерре.

«Жадный, вероломный приятель! Прибыв страшным богачом, ты дал мне, всегдашнему твоему спутнику, жалкую часть. Будь проклят. Я уезжаю от тебя и развратной девки Нерры к своему дяде, где постараюсь лет через пять разбогатеть больше, чем ты, хитрый бродяга».

— Закурим этой бумажкой, — весело сказал Нэф. — Не бледней, Нерра; знай, дурак кусает лишь воздух. Послушай... Я сберег скальп для тебя.

Она помолчала, затем положила на его плечо руку, а потом мягко перевела руку на вьющиеся волосы Нэфа.

— Через неделю будет пароход сверху, — сказала Нерра, — если хочешь, я поеду с тобой.

— Хочу, — просто ответил Нэф.

Так началась их жизнь. Одним мужем и одной женой стало больше на свете, богачом разными парами, но весьма бедном любовью и уважением.

У подъезда каменного зурбаганского театра сидел наш знакомый Хин, рассматривая по профессиональной привычке ноги прохожих; выше он почти никогда не поднимал глаз, считая это убиточным.

Прошло несколько времени. На ящик Хина ступила небольшая мужская нога в лакированном сапоге; после нее — другая. Хин заботливо их почистил и протянул руку.

То, что оказалось в руке, сначала удивило его своим цветом, цветом не ассигнаций. Цвет был коричневый с розовым. Развернув бумажку, Хин, встав, с трепетом и почтением прочел, что это чек на предъявителя, на сумму в пятьдесят тысяч. Подпись была «Нэф».

Он судорожно огляделся, и показалось ему, что в зурбаганской пестрой толпе легли тени пустыни и грозное дыхание диких мест промчалось над разогретым асфальтом, тронув глаза Хинна свежестью неумолкающих водопадов.

## ВОЛШЕБНОЕ БЕЗОБРАЗИЕ

Этот город был переполнен людьми, за каждым из которых числилась одна, а то и несколько чрезвычайно странных историй. Некоторые из этих людей давно умерли, однако, проходя кладбищем, я узнаю нюхом, в каких именно могилах покоятся их бывшие тела, прошедшие трудный стаж диковинных личных событий. Я вспоминаю их имена, наружность, манеру покашливать или извлекать папиросу.

На углу Кикса Кисляйства и Травоедения стоит еще и ныне старик посыльный, погубивший свою молодость и красивую семейную жизнь с любимой женою тем, что однажды взялся доставить клетку с птицей бесплатно. Это поручение ему дала очень красивая молодая девушка, одетая элегантно и ароматно. Хотя посыльный был сердцеед и лишь недавно женился на премилой хлопотунье-блондинке, однако красота девушки была исключительная; он почувствовал удар в сердце. У красавицы с огненными глазами случайно не было с собой денег.— «Вот что,— сказал посыльный,— я простой человек, но позвольте мне, сударыня, бесплатно услужить вам».— «Благодарю»,— просто ответила девушка и улыбнулась, и улыбка ее окрасила смущенную душу посыльного пожарным отблеском счастливой тревоги.

Девушка потерялась в толпе, а посыльный с клеткой, где шарахалась маленькая испуганная канарейка, отправился по адресу. Он прибыл к серому высокому дому, в далекую туманную улицу, обвеянную фабричным дымом. Улица была грязна, а дом роскошен. Лестница в коврах и цветах привела посыльного к квартире № 202-й. Он позвонил, и ему отперла сама юная красавица.

Посыльный передал клетку, пробормотал несколько слов и, краснея от мучительной внезапной влюбленности, хотел уйти, но девушка, смеясь и приговаривая: «Ничего, ничего, мой милый, пусть это будет маленьким приключением»,— взяла его большую руку своей маленькой лепестковой рукой и повела через анфиладу высоких угрюмых зал.

Благодаря опущенным занавесям, везде царили нежилые, хмурые сумерки; мебель и картины были в чехлах; где-то таинственно скреблись мыши. Девушка

привела посыльного в отдаленную комнату и заперла дверь. Его сердце билось глухим волнением. Здесь было светло и уютно; топились камин, улыбался скульптурный фарфор; лилии и камелии красно-белым узором сияли в голубоватых горшках; среди атласной мебели, всяческого изящества, среди тонкого аромата прелестного женского гнезда посыльный ослабел волей. Дома о нем беспокоилась жена — прошел час обеда. Но он почти не помнил об этом. Скоро его внимание привлек ряд пустых клеток, висевших на стене, против камина.

«Я покупаю и выпускаю их на свободу», — сказала красавица. Немедля повела она себя пленительно вызывающим образом; посыльный был в ее власти. Он очнулся от тяжелого глубокого сна поздно утром. Неизвестно кем поданный завтрак и кофе дымились на белом столике; любовники подкрепили свои силы, и девушка, капризничая, сказала:

«Вот адрес зоологического магазина. Три раза в день ты будешь ходить туда покупать мне одного дрозда, одного зяблика и одного чижа. Немедленно отправляйся за первой партией».

Он механически повиновался, вышел и скоро разыскал магазин. Здесь, в узкой полутемной лавке, сидел у железной печки суетливый дрожащий старичок; взгляд его был тускл, голос насмешлив и тонок. В стенных клетках блестели идиотические глаза попугаев, их кривляющееся бормотанье мешалось с звенящим высиством синиц, разливной трелью канареек, воркованием голубей и другими звуками, издаваемыми бесчисленными пернатыми существами, прячущимися в глубине клеток. За прилавком виднелись ларьки, где сохло конопляное семя, разная зерновая смесь, фисташки, японские бобы и прочие блюда птичьего ресторана; пахло пером и ишатаырем.

Посыльный, купив назначенных птиц, завернул клетки в газетную бумагу и вернулся к возлюбленной.

По дороге он вспомнил, что ничего не знает ни о ее жизни, ни о личности, не знает даже ее имени, но, позвонив у дверей, снова забыл об этом.

Девушка встретила покупку выражением необузданного восторга, и ее розовое лицо с огненными глазами вспыхнуло пределом оживленной удручающей красоты. Пока посыльный по ее указанию подвешивал клетки

в ряду других, девушка умиленно разговаривала с птичками, являясь как бы олицетворением любви к маленьким изящным детям природы.

Случайно взглянув на вчерашнюю клетку с канарейкой, посыльный заметил, что птицы там уже нет. На вопрос свой по этому поводу, он получил ответ, что канарейка выпущена на рассвете.

«И она, конечно, пресчастлива», — воскликнула девушка.

Посыльный расцеловал ее. Так, среди ласк, еды, страсти и милых разговоров о пустяках, прошел день за ним другой и третий, и каждый день посыльный ходил покупать каких-нибудь певчих птиц и, просыпаясь, видел новые клетки пустыми. Каждую ночь он спал тяжелым непробудным сном и не видел, как на рассвете очаровательная любовница его приносила жертву свободе, выпуская нежной рукой крошечных летунов.

На пятую ночь случилось так, что со стены над кроватью сорвалась фарфоровая тарелка и больно ударила посыльного по колену. Он вскочил, огляделся — он был один, возлюбленная его исчезла. Он позвал ее, но безрезультатно. Встав, молодой человек вышел в соседнюю комнату — здесь тоже никого не было. Он прошел несколько пустых помещений и, наконец, толкнув полуспрятанную портьерой дверь, увидел красавицу сидящей перед камином, с клеткой и синицей в руках. Девушка, исступленно смеясь, бросила птицу в бледный жар кучи углей. Судорожно пищавший дымный клубок забился, подняв облако золы среди красных решеток; раза три взлетело нечто бесформенное и жалкое и, сникнув, стало, подергиваясь, тихо шипеть. Девушка оскалилась, ужасное счастье сияло в ее мертвенно-белом лице.

«Гадина, ведьма!» — закричал, холодея, посыльный. Волосы его поднялись дыбом и, не помня себя, он бросился на девушку с кулаками.

Полураздетая, она вскочила, выронила пустую клетку и скрылась в противоположную дверь. Трясаясь, посыльный вернулся, оделся наспех и выбежал на улицу. Было раннее утро. Потрясенный видением, молодой человек решил отправиться предупредить хозяина птичьей лавки — в расчете, что он не продаст более ничего той женщине; он намеревался сообщить ее приме-

ты и адрес. Однако, к удивлению своему, посыльный не нашел так хорошо знакомого магазина. Это была та улица и то самое место: напротив стояла церковь, ряд домов в приметной комбинации — домов тех же, что были тут вчера, — наполнял маленький загородный квартал, но зоологической лавки с вывеской, изображавшей оленя и павлина, как не бывало. Смутившись, посыльный прошел взад вперед от угла до угла несколько раз, всматриваясь в каждый камень каждого дома. Но лавка исчезла. На том месте, где она была или могла быть, стоял фруктовый ларек. Посыльный стал наконец расспрашивать местных жителей, но все они с удивлением отвечали, что в квартале никогда и не было птичьего магазина. Тогда странное подозрение овладело посыльным. Не помня себя, бросился он к дому, где жила девушка, и, вызвав швейцара, спросил его, кто занимает квартиру № 202-й. «Да она пустая, — сказал швейцар, — в нашем доме, видишь ли, давно не производили ремонта; хозяин разорился, и дом теперь бросовый. Неисправно у нас паровое отопление, холодно, жилец и не едет. Пустует он шестой год; да у нас всего жилых-то восемь квартир».

Шатаясь, посыльный вышел на воздух, и, немного оправившись, поехал домой. Он очень торопился. Его мучило терзающее раскаяние. С тоской и жалостью думал он о жене, которая, вероятно, больна от Сспокойства и неизвестности, и светленькое теплое свое чилие вспоминал со всеми его милыми подробностями: дочерга у печки, задернутой ситцевой занавеской, старенький яркий самовар, герань на окошке, кот с рассеченным ухом — все видел он так безупречно отчетливо, как если бы уже сидел дома за завтраком. Но приехав, узнал он, что отсутствие его длилось три года: квартиру занимали другие люди, а жена недавно умерла в городской больнице.

Посыльный этот всегда кланяется, завидев меня, так как я охотно даю на чай за небольшие концы. В его глазах есть нечто замолкшее. Он сильно постарел, любит вечером посидеть в чайной. Там он часами неподвижно размышляет о чем-то над остывшим стаканом, смотря вниз, и папироса гаснет в его поникшей руке.

## ЗАКОЛОЧЕННЫЙ ДОМ

Как стало блеснуть и шуметь лето, мрачный дом в улице Розенгард, окруженный выбоинами пустыря, не так уже теснил сердце ночного прохожего. Его зловещая известность споткнулась о летние впечатления. На пустыре роились среди цветов пчелы; обрыв за переулком белел голубою далью садов; в горячем солнце черные мезонины брошенной старинной постройки выглядели не так ужасно, как в зимнюю ночь, в снеге и бурях. Но, как наступал вечер, любой житель Амерхоузена с уравновешенной душой,— кто бы он ни был,—предпочитал все же идти после одиннадцати не улицей Розенгард, а переулком Тромтус, имея впереди себя утешительный огонь окон бирхалля с вывеской, на которой был изображен бык, а позади не менее ясные лампы кинематографа «Орион». Тот же, кто, пренебрегая уравновешенностью души, шел упрямо улицей Розенгард,— тот чувствовал, что от острых крыш заколоченного дома бежит к нему предательское сомнение и вязнет в путающихся ногах, бессильных прибавить шаг.

Но что же это за дом? Кстати, в пивной с вывеской быка хозяин словоохотлив, и я узнал от него все. Не всякий может это узнать; лишь тот выйдет удовлетворен, кто похвалит бирхаллевского шпица. Шпиц получил премию на собачьей выставке и чувствует это в тех только случаях, когда внимательная рука погладит его по вымытой белой шерсти, почешет ему за ухом и в острых, черных глазах его прочтет тоску о беседе.

Я сказал шпицу: «Великолепная, блистательная этакая ты собаченция; уж, наверное, за чистоту кровей выдали тебе диплом и медаль». (А я уже узнал, что выдали.)

Немедленно стал он ласков, как муфта, и подвижен, как фокстерьер, и облизал мне впопыхах нос. Хозяин порозовел от счастья. Мечтательно закатив глаза и снizu вверх пальцами причесав бороду, он сказал:

— Я вижу, вы понимаете в собаках. Большая золотая медаль прошлого года в Дитсгейме. Вот что, камрад,— волосы ваши длинные, шляпа широкопола, а трость суковата; правой руки указательный палец ваш с внутренней стороны отмечен неотмывающимися черни-



ламп. По всему этому вы есть поэт. А я чувствую к поэтам такую же привязанность, как к собакам, и прошу вас отведать моего особого пива, за которое я не беру денег.

— Заколоченный дом Берхгольца,— продолжал он, когда особое пиво действовало и когда я выразил к этому дому неотвязный интерес,— известен мне довольно давно. Вам многие наговорают об доме Берхгольца невесть какой чепухи; я один знаю, как было дело. Берхгольц повесился перед завтраком, ровно в полдень. Он оставил записку, из которой ясно, что привело его к такому концу: крах банка. Состояние улетучилось. Казалось бы, делу конец, но жильцы меньше чем через год выехали все из этого дома. Все это были почтенные, солидные люди, к которым не придерешься. Сколько было голов, столько и причин выезда, но ни один не сказал, что его мучат стук и ли хождения, или еще там не знаю какие страхи. Однако стали говорить вскоре, что Берхгольц стучит в двери во все квартиры, когда же дверь открывается, за ней никого нет. Солидный жилец как может признаться в таких странных вещах? Никкак — он потеряет всякий кредит. Поэтому-то все приводили различнейшие причины, но все наконец выехали, и в доме стал гулять ветер. Это было лет назад двадцать. Наследник сдал дом в аренду, а сам уехал в Америку. Арендатор спился, и с тех пор никто не живет в доме, хотя были охотники попробовать, не минуют ли их ужимки покойника. Пробы были недолгие. Скоро стали грузиться возы смельчаков — в отлет на более легкое место. Раз... был я тогда моложе — я вызвался на пари с судьей Штромпом провести ночь среди, так сказать, мертвецов и чертей...

— Чертей? — спросил я довольно поспешно, чтобы не замять это слово, так как хозяин Вальтер Аборциус имел обыкновение брать высокие ноты, не обращая внимания на оркестр, и нахально спускать их, когда слушающий сам забирался на высоту. — А что же черти, много ли их там?

— Как сказать,— произнес самолюбивый Аборциус, потягивая особое пиво, которое имело на него особое действие. — Как сказать и как понимать? Черти... да, это были они, или что-нибудь в том же роде, но еще страшнее. Я прочитал молитву и лег в кабинете Берхгольца —

прошлым летом, как раз под Иванову ночь. Уже я начинал засыпать, так как выпил перед тем особого пива, вдруг дверь, которую я заставил курительным столиком, раскрылась так стремительно, что столик упал. Ветер прошел по комнате, свеча погасла, и я услышал, как над самым моим ухом невидимая скрипка играет дьявольскую мелодию. Мелькнули образины, одна другой нестерпимее. Что же?! Я не трус, но при таком положении дела почел за лучшее выскочить в окно. Как я бежал — о том знают мои ноги да соседние огороды. Судья, получив выигрыш, злорадно хохотал и стал мне ненавистен.

— Мастер Аборциус! — сказал тут чей-то голос с соседнего стола, и, подняв взоры, увидели мы квадратную бороду Клауса Ван-Топфера, счетовода. — Стыдитесь! — продолжал он тем трезвым тоном, который даже сквозь пиво являет признаки положительного характера. — Вы несете непростительную чепуху. Какие черти?! Какие дьявольские мелодии?! Да я сам ночевал раз в доме Берхгольца, и так же на паре, как вы. Я спал спокойно и безмятежно. Дом стар; дуб изъеден червями, печи, окна и потолки нуждаются в небольшом ремонте, но нет чертей. Нет чертей! — повторил он с апломбом здоровой натуры, — и ночуйте вы там сто лет, никакой удавленник не придет к вам жаловаться на дела Дитсгеймского банка. Все. Получите за пиво.

Аборциус был, казалось, связан и несколько пристыжен таким решительным заявлением. Пока он собирался с духом ответить Клаусу, я незаметно улизнул через заднюю дверь и с запасом действия в голове особого пива отправился к заколоченному дому Берхгольца. Так! Я решил сам войти в это спорное место. Меж тем звезды повернулись уже к рассвету, и в ночной тьме не хватало той прочности, устойчивости, при которой ночь властвует безраздельно. Ночь начала таять, и хотя была еще отменно черна, воздух свежел.

По стене дома, снаружи, шла железная лестница; я поднялся и проник под крышу через слуховое окно. У меня были спички, и я светил ими на чердаке, пока разыскал опускную дверь, ведущую во внутренние помещения третьего этажа. Был я не так молод, чтобы верить в чертей, но и не так стар, чтобы отказать себе в

надежде на что-то особенное. Дух исследования вел меня по темным комнатам. Я спотыкался о мебель, время от времени озаря старинную обстановку светом спичек, которых становилось все меньше; наконец их более уже не было. В это время я путался в небольшом, но затейливом коридоре, где никак не мог разыскать дверей. Я устал; сел и уснул.

Открыть глаза в таком месте, где не знаешь, что увидишь по пробуждении, всегда интересно. Я с интересом открыл глаза. Горячий дневной свет дымился в золотистой пыли; он шел сквозь венецианское окно с трепетом и силой каскада. Как и следовало ожидать, дверь была рядом со мной, за дверью щебетала малиновка. Тотчас войдя, я увидел эту хорошенькую птичку перепархивающей по жесткой, цветной мебели красного дерева; одно стекло окна, выбитое камнем или градом, объясняло малиновку. Она исчезла, порхая под потолком, в соседнее помещение. Здесь же, в сору, меж карнизом пола и стеной, полз дикий выюнок, семена которого, попав с ветром, нашли довольно пыли и тлена, чтобы вырасти и зацвести. Неожиданно из-за стены прогремел бас: «Смелей, тореадор!» — прогремел он; я бросился на жилицу и, толкнув дверь, увидел драматурга Топелиуса, расхаживающего в табачном дыму с пером в руке.

Мое изумление при таком афронте было значительно; оно даже превысило мои описательные способности. — «Друг Топелиус! — сказал я, протягивая руки, чтобы отразить нападение призрака, — если ты тень — исчезни. Нехорошо привидению гулять утром с трубкой в зубах!»

Он яростно закричал: — «Неужели и здесь я не найду покоя, хотя ты мне и приятель! Так это твои блуждания я слышал сегодня ночью, когда сцена прощания Тристана с Изольдой подходила уже к концу?! Клянусь трагедией, я начинал поджидать визита Берхгольца. Впрочем, сядь; пьеса готова. Слушай: когда под тобой, внизу, сто раз в день сыграют рапсодию Листа, а над тобой — «Молитву девы» и когда на дворе смена бродячих музыкантов непрерывно от зари до зари, — ты тоже подыщешь какой-нибудь заколоченный дом, куда надо влезать в окно, но где, по милости молвы, живут одни привидения. Впрочем, здесь так чудесно!»

— Да, чудесно, и я повторяю это за ним, так как чудеса — в нас. Не тронул ли меня солнечный свет в лиловых оттенках? И выюнок на старой панели? И птица — среди вещей? Наконец, эта рукопись, которую он протянул мне с гордой улыбкой, рожденная там, где боются дышать?

## ФАНДАНГО

### I

Зимой, когда от холода тускнеет лицо и, засунув руки в рукава, дико бегают по комнате человек, взгляды-вая на холодную печь, — хорошо думать о лете, потому что летом тепло.

Мне представилось зажигательное стекло и солнце над головой. Допустим, это — июль. Острая ослепительная точка, пойманная блистающей чечевицей, дымится на конце подставленной папиросы. Жара. Надо расстегнуть воротник, вытереть мокрую шею, лоб, выпить стакан воды. Однако далеко до весны, и тропический узор замороженного окна бессмысленно расстилает прозрачный пальмовый лист.

Закоченев, дрожа, я не мог решиться выйти, хотя это было совершенно необходимо. Я не люблю снег, мороз, лед — эскимосские радости чужды моему сердцу. Главнее же всего этого — мои одежда и обувь были совсем плохи. Старое летнее пальто, старая шляпа, сапоги с проношенными подошвами — лишь этим мог я противостоять декабрю и двадцати семи градусам.

С. Т. поручил мне купить у художника Брока картину Горшкова. Со стороны С. Т. это было добродушным подарком, так как картину он мог купить сам. Жалея меня, С. Т. хотел вручить мне комиссионные. Об этом я размышлял теперь, насвистывая «Фанданго».

В те времена я не гнушался никаким заработком. Эту небольшую картину открыл я, зайдя неделю назад к Броксу за некоторым нмуществом, так как недавно занимал ту же комнату, которую теперь занимал он. Я не любил Горшкова, как не любят пожатия холодной, потной и вялой руки, но, зная, что для С. Т. важно «кто»,

а не «что», сказал о находке. Я прибавил также, что не уверен в законности приобретения картины Брокком.

С. Т.— грузный, в халате, задумчиво скребя бороду, зевнул, сказав: «Так, так...» — и стал барабанить по столу красными пальцами. В это время я пил у него настоящий китайский чай, ел ветчину, хлеб с маслом, яйца, был голоден, неловок, говорил с набитым ртом.

С. Т. помешал в стакане резной золоченой ложечкой, поднял ее, схлебнул и сказал:

— Вы, это, ее сторгуйте. Пятнадцать процентов дам, а что меньше двухсот — ваше.

Я называю деньги их настоящим именем, так как мне теперь было бы трудно высчитать, какая цепь ношей ставилась тогда после двухсот.

В то время тридцать золотых рублей по ощущению жизни равнялась нынешней тысяче. Держа в кармане тридцать рублей, каждый понимал, что «человек — это звучит гордо». Они весили пятнадцать пудов хлеба — полгода жизни. Но я мог еще выторговать ниже двухсот, заработав таким образом больше чем тридцать рублей.

Я получил толчок к действию, заглянув в шкафчик, где стояли пустые кастрюли, сковорода и горшок. (Я жил Робинзоном.) Они пахли голодом. Было немного рыжей соли, чай из брусники с надписью «отборный любительский», сухие корки, картофельная шелуха.

Я боюсь голода,— ненавижу его и боюсь. Он — наказание человека. Это трагическое, но и пошлейшее чувство не щадит самых нежных корней души. Настоящую мысль голод подменяет фальшивой мыслью,— ее образ тот же, только с другим качеством. «Я остаюсь честным,— говорит человек, голодающий жестоко и долго,— потому что я люблю честность; но я только один раз убью (украду, солгу), потому что это необходимо ради возможности в дальнейшем оставаться честным». Мнение людей, самоуважение, страдания близких существуют, но как потерянная монета: она есть и ее нет. Хитрость, лукавство, цепкость — все служит пищеварению. Дети съедают вполтину кашу, выданную в столовой, пока донесут домой; администрация столовой скрадет, больница — скрадет, склад — скрадет. Глава семейства режет в кладовой хлеб и тайно пожирает его, стараясь не зашуметь. С ненавистью

встречают знакомого, пришедшего на жалкий пир нищей, героически добытой трапезы.

Но это не худшее, так как оно из леса; хуже, когда старательно загримированная кукла, очень похожая на меня (тебя, его...) нагло вытесняет душу из ослабевшего тела и радостно бежит за куском, твердо и вдруг уверившись, что она-то и есть тот человек, какого она зацала. Тот потерял уже все, все исказил: вкусы, желания, мысли и свои истины. У каждого человека есть свои истины. И он упорно говорит: «Я, Я, Я», — подразумевая куклу, которая твердит то же и с тем же смыслом. Я не раз испытывал, глядя на сыры, окорока или хлебы, почти духовное перевоплощение этих «калорий»: они казались исписанными парадоксами, метафорами, тончайшими аргументами самых праздничных, светлых тонов; их логический бес равнялся количеству фунтов. И даже был этический аромат, то есть собственное голодное вождение.

— Очевидно, — говорил я, — так естественен, разумен, так прост путь от прилавка к желудку...

Да, это бывало, со всей ложной искренностью таких умопомрачений, а потому я, как сказал, голода не люблю. Как раз теперь встречаю я странно построенных людей с очень живым напоминанием об осьмушке овса. Это воспоминание переломилось у них на романтический лад, и я не понимаю сей музыкальной вибрации. Ее можно рассматривать как оригинальный цинизм. Пример: стоя перед зеркалом, один человек вlepяет себе умеренную пощечину. Это — неуважение к себе. Если такой опыт произведен публично, — он означает неуважение и к себе и к другим.

## II

Я превозмог мороз тем, что закурил и, держа горящую спичку в ладонях, согрел пальцы, насвистывая мотив испанского танца. Уже несколько дней владел мной этот мотив. Он начинал звучать, когда я задумывался.

Я редко бывал мрачен, тем более в ресторане. Конечно, я говорю о прошлом, как бы о настоящем. Случалось мне приходить в ресторан веселым, просто веселым, без идеи о том, что «вот, хорошо быть веселым, потому что...» и т. д. Нет, я был весел по праву человека находиться в любов настроении. Я сидел, слу-

шая «Осенние скрипки», «Пожалей ты меня, дорогая», «Чего тебе надо? Ничего не надо» и тому подобную бездарно-истеричную чепуху, которой русский обычно попирает свое веселье. Когда мне это надоедало, я кивал дирижеру, и, проводя в пальцах шелковый ус, румын слушал меня, принимая другой рукой, как доктор, сложенную бумажку. Немного отвернув лицо взад, вполголоса он говорил оркестру:

— Фанданго!

При этом энергичном, коротком слове на мою голову ложилась нежная рука в латной перчатке, — рука танца, стремительного, как ветер, звучного, как град, и мелодического, как глубокий контральто. Легкий холод проходил от ног к горлу. Еще пьяные немцы, стуча кулаками, громогласно требовали прослезившее их: «Пожалей ты мена, торокая», но стук палочки о пюпитр внушал, что с этим покончено.

«Фанданго» — ритмическое внушение страсти, страстного и странного торжества. Вероятнее всего, что он — транскрипция соловьиной трели, возведенной в высшую степень музыкальной отчетливости.

Я оделся, вышел; было одиннадцать утра, холодно и безнадежно светло.

По мостовой спешила в комиссарнаты длинная вереница служащих. «Фанданго» звучало глуше, оно ушло в пульс, в дыхание, но был явствен стремительный перелет такта — даже в едва слышном напеве сквозь зубы, ставшем привычкой.

Прохожие были одеты в пальто, переделанные из солдатских шинелей, полушубки, лосиные куртки, серые шинели, френчи и черные кожаные бушлаты. Если встречалось пальто штатское, то непременно старое, узкое пальто. Миловидная барышня в платке лапала по снегу огромными валенками, клубя ртом синий и белый пар. Неуклюжей от рукавицы рукой прижимала она портфель. Выветренная, как известняк, — до дыр на игривых щеках, — бойко семенила старуха, подстриженная «в кружок», в желтых ботинках с высокими каблучками, куря толстый «Зефир». Мрачные молодые мужчины шагали с нездешним видом. Не раз, интересуясь всем, спрашивал я, почему прохожие избегают идти по тротуару, и разные получал ответы. Один говорил: «Потому что меньше спашивается обувь». Другой отве-

чал: «На тротуаре надо сторониться, соображать, когда уступить дорогу, когда и толкнуть». Третий объяснял просто и мудро: «Потому что лошадей нет» (то есть экипажи не мешают идти). «Идут так все,— заявлял четвертый,— иду и я».

Среди этой картины заметил я некоторый ералаш, производимый видом резко отличной от всех группы. То были цыгане. Цыган много появилось в городе в этом году, и встретить можно было их каждый день. Шагах в десяти от меня остановилась их бродячая труппа, толкая между собой. Густобровый, сутулый старик был в высокой войлочной шляпе, остальные двое мужчин в синих новых картузах. На старике было старое ватное пальто табачного цвета, а в сморщенном ухе блестела тонкая золотая серьга. Старик, несмотря на мороз, держал пальто распахнутым, выказывая пеструю бархатную жилетку с глухим воротником, обшитым малиновой тесьмой, плисовые шаровары и хорошо начищенные, высокие сапоги. Другой цыган, лет тридцати, в стеганом клетчатом кафтане, украшенном на крестце огромными перламутровыми пуговицами, носил бороду чашкой и замечательные, пышные усы цвета смолы; увеличенные подусниками, они напоминали кузнечные клещи, схватившие поперек лица. Младший, статный цыган, с худым воровским лицом напоминал горца — черкеса, гуцула. У него были пламенные глаза с синевой вокруг горбатого переносья, и нес он под мышкой гитару, завернутую в серый платок; на цыгане был новый полушубок с мерлушковой оторочкой.

Старик нес цимбалы.

Из-за пазухи среднего цыгана торчал медный кларнет.

Кроме мужчин, здесь были две женщины: молодая и старая.

Старуха несла тамбурин. Она была укутана в две рваные шали: зеленую и коричневую; из-под углов их выступал край грязной красной кофты. Когда она взмахивала рукой, напоминающей птичью лапу,— сверкали массивные золотые браслеты. Смесь вороватости и выскомерия, наглости и равновесия была в ее темном безобразном лице. Может быть, в молодости выглядела она не хуже, чем молодая цыганка, стоявшая рядом, от



которой веяло теплом и здоровьем. Но убедиться в этом было бы теперь очень трудно.

Красивая молодая цыганка имела мало цыганских черт. Губы ее были не толсты, а лишь как бы припухшие. Правильное свежее лицо с пытливым пристальным взглядом, казалось, смотрит из тени листвы,— так затенено было ее лицо длиной и блеском ресниц. Поверх теплой кацавейки, согнутая на сгибах рук, висела шаль с бахромой; поверх шали расцветал шелковый турецкий платок. Тяжелые бирюзовые серьги покачивались в маленьких ушах; из-под шали, ниже бахромы, спускались черные, жесткие косы с рублями и золотыми монетами. Длинная юбка цвета настурции почти скрывала новые башмаки.

Не без причины описываю я так подробно этих людей. Завидев цыган, невольно старался я уловить след той неведомой старинной тропы, которой идут они мимо автомобилей и газовых фонарей, подобно коту Киплинга: кот «ходил сам по себе, все места называл одинаковыми и никому ничего не сказал». Что им история? эпохи? сполохи? переполохи? Я видел тех самых бродяг с магическими глазами, каких увидит этот же город в 2021 году, когда наш потомок, одетый в каучук и искусственный шелк, выйдет из кабины воздушного электромотора на площадку алюминиевой воздушной улицы.

Поговорив немного на своем диком наречии, относительно которого я знал только, что это один из древнейших языков, цыгане ушли в переулок, а я пошел прямо, раздумывая о встрече с ними и припоминая такие же прежние встречи. Всегда они были в разрез всякому настроению, прямо пересекали его. Встречи эти имели сходство с крепкой цветной ниткой, какую можно неизменно увидеть в кайме одной материи, название которой забыл. Мода изменит рисунок материи, блеск, толщину и ширину; рынок назначит произвольную цену, и носят ее то весной, то осенью, на разный покрой, но в кайме все одна и та же пестрая нить. Так и цыгане — сами в себе — те же, как и вчера, — гордые, черноволосые существа, внушающие неопределенную зависть и образ диких цветов.

Еще довольно много я передумал об этом, пока мороз не выжал из меня юг, забежавший противу сезона в южный уголок души. Щеки, казалось, сверлит лед;

нос тоже далеко не пылал, а меж оторванной подошвой и застывшим до бесчувственности мизинцем набился снег. Я понесся, как мог скоро, пришел к Броку и стал стучать в дверь, на которой было написано мелом: «Звон. не действ. Прошу громко стуч.»

### III

Острые мелкие черты, козлиная бородка чеховского героя, выдающиеся лопатки и длинные руки, при худом сложении и очках, делающих тусклые впалые глаза ненормально блестящими,—эта фигура вышла открыть мне дверь. Брок был в длинном сером пиджаке, черных брюках и коричневой жилетке, одетой поверх свитера. Жидкие волосы его, приглаженные, но не везде следующие покатоности черепа, торчали местами назад, горизонтально, словно в разных местах он заложил грязные перья. Он говорил медленно и низко, как дьякон, смотрел исподлобья, поверх очков, склоняя голову набок, потирал вялые руки.

— Я к вам,—сказал я (в квартире были и другие жильцы).—Позвольте, однако, прежде всего согреться.

— Что, мороз?

— Да, сильный мороз...

На эту тему говоря, прошли мы темным коридором к светлому ромбу полуоткрытой двери, и Брок, войдя, тщательно закрыл ее, потом сунул дров в пылающую железную печь и, небрежительно вертя папиросу, бросился на пыльную оттоманку, где, облокотясь и скрестив вытянутые ноги, поддернул повыше брюки.

Я сел, наставив ладони к печке, и, смотря на розовые, сквозь свет пламени, пальцы, впивал негу тепла.

— Я вас слушаю,—сказал Брок, снимая очки и протирая глаза концом засморканного платка.

Посмотрев влево, я увидел, что картина Горшкова на месте. Это был болотный пейзаж с дымом, снегом, обязательным, безотрадным огоньком между елей и парой ворон, летящих от зрителя.

С легкой руки Левитана в картинах такого рода предполагается умышленная «идея». Издавна боялся я этих изображений, цель которых, естественно, не могла быть другой, как вызвать мертвящее ощущение пустоты, покорности, бездействия,—в чем предполагался, однако, п о р ы в.

— «Сумерки», — сказал Брок, видя, куда я смотрю. — Величайшая вещь!

— О том особая речь, но что вы взяли бы за нее?

— Что это? Купить?

— Ну-те!

Он вскочил и, став перед картиной, оттянул бородку концами пальцев вперед.

— Э... — сказал Брок, косясь на меня через плечо. — У вас столько и денег нет. Еще подумаю, отдать ли за двести, и то потому только, что деньги нужны. Да и денег у вас нет!

— Найду, — сказал я. — Я потому и пришел, чтобы поторговаться.

Вдали, на парадной, застучали.

— Ну, это ко мне!

Брок кинулся в дверь, выставил в щель из коридора бородку и прикрикнул:

— Одну минуту, я тотчас вернусь поговорить с вами.

Пока его не было, я осматривался по привычке коротать время более с вещами, чем с людьми. Опять уловил я себя в том, что насвистываю «Фанданго», бессознательно огораживаясь мотивом от Горшкова и Брока. Теперь мотив вполне отвечал моему настроению. Я был здесь, но смотрел на все, что вокруг, издалека.

Это помещение было гостиной, довольно большой, с окнами на улицу. Когда я жил здесь, здесь не было избытка вещей, ввезенных Броком после меня. Мольберты, гипс, ящики и корзины с наваленными на них бельем и одеждой, загромождали проход между стульями, расставленными случайно. На рояле стояла горка тарелок с ножиком и вилкой поверх, среди кожур от огурца. Оконные пыльные занавеси были разведены углом, весьма неряшливо. Старый ковер с дырами, следами подошв и щепным мусором, дымился у печки, в том месте, где на него выпал каленый уголь. Посредине потолка горела электрическая лампочка; при дневном свете напоминала она клочок желтой бумаги.

На стенах было много картин, частью написанных Броком. Но я не рассматривал их. Согревшись, ровно и тихо дыша, я думал о неуловимой музыкальной мысли, твердое ощущение которой появлялось всегда, как я прислушивался к этому мотиву — «Фанданго». Хорошо зная, что душа звука непостижима уму, я, тем не менее,

пристально приближал эту мысль, и, чем более приближал, тем более далекой становилась она. Толчок новому ощущению дало временное потускнение лампочки, то есть в сером ее стекле появилась красная проволока — знакомое всем явление. Помигав, лампочка загорелась опять.

Чтобы понять последовавший затем странный момент, необходимо припомнить обычное для нас чувство зрительного равновесия. Я хочу сказать, что, находясь в любой комнате, мы привычно ощущаем центр тяжести заключающего нас пространства, в зависимости от его формы, количества, величины и расположения вещей, а также направления света. Все это доступно линейной схеме. Я называю такое ощущение центром зрительной тяжести.

В то время, как я сидел, я испытал — может быть, миллионной дробью мгновения, — что одновременно во мне и вне меня мелькнуло пространство, в которое смотрел я перед собой. Отчасти это напоминало движение воздуха. Оно сопровождалось немедленным беспокойным чувством перемещения зрительного центра, — так, задумавшись, я, наконец, определил изменение настроения. Центр исчез. Я встал, потирая лоб и всматриваясь кругом с желанием понять, что случилось. Я почувствовал ничем не выражаемую определенность видимого, причем центр, чувство зрительного равновесия вышло за пределы, став скрытым.

Слыша, что Брок возвращается, я сел снова, не в силах прогнать чувство этой перемены всего, в то время как все было то же и тем же.

— Вы заждались? — сказал Брок. — Ничего, грейтесь, курите.

Он вошел, таща картину порядочной величины, но изнанкой ко мне, так что я не видел, какова эта картина, и поставил ее за шкаф, говоря:

— Купил. Третий раз приходит этот человек, и я купил, только чтобы отвязаться.

— А что за картина?

— А, чепуха! Мазня, дурной вкус! — сказал Брок. — Посмотрите лучше мои. Вот написал две в последнее время.

Я подошел к указанному на стене месту. Да! Вот, что было в его душе!.. Одна — пейзаж горохового цве-

та. Смутные очертания дороги и степи с неприятным пыльным колоритом; и я, покивав, перешел к второму «изделю». Это был тоже пейзаж, составленный из двух горизонтальных полос; серой и сизой, с зелеными полей кустиками. Обе картины, лишенные таланта, вызывали тупое, холодное напряжение.

Я отошел, ничего не сказав. Брок взглянул на меня, покашлял и закурил.

— Вы быстро пишете,— заметил я, чтоб не затянуть молчания.— Ну, что же Горшков?

— Да как сказал,— двести.

— Это за Горшкова-то двести? — сорвалось у меня.— Дорого, Брок!

— Вы это сказали тоном, о котором позвольте вас спросить. Горшков... Да вы как на него смотрите?

— Это — картина,— сказал я.— Я намерен ее купить; о том речь.

— Нет,— возразил Брок, уже раздраженный и моими словами и безразличием к картинам своим.— За неуважение к великому национальному художнику цена будет с вас теперь триста!

Как часто бывает с первыми людьми, я, вспыхнув, не мог удержаться от острого вопроса:

— Что же вы возьмете за эту капусту, если я скажу, что Горшков просто плохой художник?

Брок выронил из губ папиросу и длительно, зло посмотрел на меня. Это был тонкий, прокалывающий взгляд вздрагнувшей ненависти.

— Хорошо же вы понимаете... Циник!

— Зачем браниться,— сказал я.— Что плохо, то плохо.

— Ну, все равно,— заявил он, хмурясь и смотря в пол.— Двести, как было, пусть так и будет: двести.

— Не будет двести,— сто будет.

— Вот теперь начинаете вы...

— Хорошо! Сто двадцать пять?!

Еще сильнее обидевшись, он мрачно подошел к шкапу и вытащил из-за него картину, которую принес.

— Эту я отдам даром,— сказал он, потрясая картиной,— на ваш вкус; можете получить за двадцать рублей.

И он поднял в уровень с моим лицом, правильно повернув картину, нечто ошеломительное.

Это была длинная комната, полная света, с стеклянной стеной слева, обвитой плющом и цветами. Справа, над рядом старинных стульев, обитых зеленым плющом, висело по горизонтальной линии несколько небольших гравюр. Вдали была полуоткрытая дверь. Ближе к переднему плану, слева, на круглом ореховом столе с блестящей поверхностью, стояла высокая стеклянная ваза с осыпающимися цветами; их лепестки были рассыпаны на столе и полу, выложенном полированным камнем. Сквозь стекла стены, составленной из шестигранных рам, были видны плоские крыши неизвестного восточного города.

Слова «нечто ошеломительное» могут, таким образом, показаться причудой изложения, потому что мотив обычен и трактовка его лишена не только резкой, но и какой бы то ни было оригинальности. Да, да! — И тем не менее, эта простота картины была полна немедленно действующим внушением стойкой летней жары. Свет был горяч. Тени прозрачны и сонны. Тишина — эта особенная тишина знойного дня, полного молчанием замкнутой, насыщенной жизни — была передана неошутимой экспрессией; солнце горело на моей руке, когда, придерживая раму, смотрел я перед собой, силясь найти мазки — ту расхолаживающую математику красок, какую, приблизив к себе картину, видим мы на месте лиц и вещей.

В комнате, изображенной на картине, никого не было. С разной удачей употребляли этот прием сотни художников. Однако, самое высокое мастерство не достигало еще никогда того психологического эффекта, какой, в данном случае, немедленно заявил о себе. Эффект этот был — неожиданное похищение зрителя в глубину перспективы так, что я чувствовал себя стоящим в этой комнате. Я как бы зашел и увидел, что в ней нет никого, кроме меня. Таким образом, пустота комнаты заставляла отнестись к ней с точки зрения личного моего присутствия. Кроме того, отчетливость, вещьность изображения была выше всего, что доводилось видеть мне в таком роде.

— Вот именно, — сказал Брок, видя, что я молчу. — Обыкновеннейшая мазня. А вы говорите...

Я слышал стук своего сердца, но возражать не хотел.

— Что же,— сказал я, отставляя картину,— двадцать рублей я достану и, если хотите, зайду вечером. А кто рисовал?

— Не знаю, кто рисовал,— сказал Брок с досадой.— Мало ли таких картин вообще. Ну, так вот: Горшков... Поговоримте об этом деле.

Теперь я уже боялся сердить его, чтобы не ушла из моих рук картина солнечной комнаты. Я был несколько оглушен; я стал рассеян и терпелив.

— Да, я куплю Горшкова,— сказал я.— Я непременно его куплю. Так это ваша окончательная цена? Двести? Хорошо, что с вами поделаешь. Как сказал, вечером буду и принесу деньги, двести двадцать. А когда вас застать?

— Если наверное, то в семь часов буду вас ждать,— сказал Брок, кладя показанную мне картину на рояль, и, улыбаясь, потер руки.— Вот так люблю: раз, два — и готово,— по-американски.

Если бы С. Т. был теперь дома, я немедленно пошел бы к нему за деньгами, но в эти часы он сам слонялся по городу, разыскивая старый фарфор. Поэтому, как ни было велико мое нетерпение, от Брока я направился в «Дом ученых», или КУБУ, как сокращенно называли его, узнать, не состоялось ли зачисление меня на паек, о чем подавал прошение.

## V

Тепло одетому человеку с холодной душой мороз мог показаться изысканным удовольствием. В самом деле,— все околело и посинело. Это ли не восторг? Под белым небом мерз стиснутый город. Воздух был неприятно, голо прозрачен, как в холодной больнице. На серых домах окна были ослеплены инеем. Мороз придал всему воображаемый смысл: заколоченные магазины с сугробами на ступенях подъездов, с разбитыми зеркальными стеклами; гробовое молчание парадных дверей, развалившиеся киоски, трактиры с выломанными полами, без окон и крыш, отсутствие извозчиков,— вот, казалось, как жестоко распорядился мороз. Автомобиль, ехавший так себе, но вдруг затыркнувшийся на ме-

сте, потому что испортился механизм,— и тот, казалось, попал в зубы морозу. Еще более напоминали о нем действия людей, направленные к теплу. По мостовой, тротуарам, на руках, санках и подводах, с скрипучей медленностью привычного отчаяния, ползли дрова. Возы скрипели, как скрипит снег в мороз. пронзительно и ужасно. Заледеневшие бревна тащились по тротуару руками изнемогающих женщин и подростков того типа, который знает весь непринятый в общежитии лексикон и просит «прикурить» басом. Между прочим, среди промыслов, каких еще не видел город, за исключением «пастушества на дому» (сено, рассыпанное в помещении, как трава для коз) и «новое-старое» (блестящая иллюзия новизны, придаваемая найденной на свалке «обуви»), о чем говорит А. Ренье в своей любопытной книге «Задворки Парижа», следовало бы теперь отметить также профессию «продавцов щепок». Эти оборванные люди продавали связки щепок весом не более пяти фунтов, держа их под мышкой, для тех, кто мог позволить себе крайне осторожную роскошь: держать, зажигая одну за другой, щепки под дном чайника или кастрюли, пока не закипит в них вода. Кроме того, с санок продавались малые порции дров, охапки,— кому что по средствам. Проезжали тяжело нагруженные дровами подводы, и возница, идя рядом, стегал кнутом воров — детей, таскающих на ходу поленья. Иногда, само упав с воза, полено воспламеняло страсти: к нему мчались, сломя голову, прохожие, но добычу получал, большей частью, какой-нибудь усач-проходимец,— того типа, что в солдате варят из топора суп.

Я шел быстро, почти бежал, отскрипывая квартал за кварталом и растирая лицо. На одном дворе я увидел толпу благодушно настроенных людей. Они выламывали из каменного флигеля деревянные части. Невольно я приостановился,— был в этом зрелище широкий деловой тон, нечто из того, что на лаконическом языке психологии нашей называется: «Валяй, ребята!..» Вылетела двойная дверь, половая балка рухнула концом в снег. В углу двора двое, яростно наскakивая друг на друга, пилили толстый, как бочка, обрез бревна. Я вошел в двор, переживая чувство человеческой солидарности, и сказал наблюдавшему за работой сонному человеку в синей поддевке:



— Гражданин, не дадите ли вы мне пару досок?

— Что такое? — сказал тот после долго натянутого молчания. — Я не могу, это слом на артель, а дело от учреждения.

Ничего не поняв, я понял, однако, что досок мне не дадут и, не настаивая, удалился.

— Как?! Едва встретились и уже расстаемся, — подумал я, вспоминая поговорку одного интересного человека: «Встречаемся без радости, расстаемся без печали»...

Меж тем временно изгнанная морозом картина солнечной комнаты снова так разволновала меня, что я устремил все мысли к ней и к С. Т. Добыча была заманчива. Я сделал открытие. Меж тем начало жечь щеки, стрелять в носу и ушах. Я посмотрел на пальцы, их концы побелели, став почти бесчувственными. То же произошло с щеками и носом, и я стал тереть отмороженные места, пока не восстановил чувствительность. Я не продрог, как в сырость, но все тело ломало и вязало нестерпимо. Коченея, побежал я на Миллионную. Здесь, у ворот КУБУ, я испытал второй раз странное чувство мелькнувшего перед глазами пространства, но мучаясь, не так был удивлен этим, как у Брока, — лишь потер лоб.

У самых ворот, среди извозчиков и автомобилей, явилась взгляду моему группа, на которую я обратил бы больше внимания, будь немного теплее. Центральной фигурой группы был высокий человек в черном берете с страусовым белым пером, с шейной золотой цепью поверх бархатного черного плаща, подбитого горностаем. Острое лицо, рыжие усы, разошедшиеся иронической стрелкой, золотистая борода узким винтом, плавный и властный жест...

Здесь внимание мое ослабело. Мне показалось еще, что за острой, блестящей фигурой этой, покачиваясь, остановились закрытые носилки с перьями и бахромой. Три смуглых рослых молодца в плащах, закинутых через плечо по нижнюю губу, молча следили, как из ворот выходят профессора, таща за спиной мешки с хлебом. Эти три человека составляли как бы свиту. Но не было места дальнейшему любопытству в такой мороз. Не задерживаясь более, я прошел в двор, а за моей спиной произошел разговор, тихий, как перебор струн.

— Это тот самый дом, сеньор профессор! Мы были!

— Отлично, сеньор кабалерро! Я иду в главную канцелярию, а вы, сеньор Эвтерп, и вы, сеньор Арумито, приготовьте подарки.

— Немедленно будет исполнено.

## VI

Уличные зеваки, глашатаи «непререкаемого» и «достоверного», а также просто любопытные содрали бы с меня кожу, узнав, что я не потолкался вокруг загадочных иностранцев, не понюхал хотя бы воздуха, которым они дышат в тесном проходе ворот, под красной вывеской «Дома ученых». Но я давно уже приучил себя ничему не удивляться.

Вышеуказанный разговор произошел на чистом кастильском наречии, и так как я довольно хорошо знаю романские языки, мне не составило никакого труда понять, о чем говорят эти люди. «Дом ученых» время от времени получал вещи и провизию из различных стран. Следовательно, прибыла делегация из Испании. Едва я вошел в двор, как это соображение подтвердилось.

— Видели испанцев?— сказал брюшковатый профессор тощему своему коллеге, который, в хвосте очереди на соленых лещей, выдаваемых в дворовом лабазе, задумчиво жевал папиросу.—Говорят, привезено много всего и на следующей неделе будут раздавать нам.

— А что будут давать?

— Шоколад, консервы, сахар и макароны.

Большой двор КУБУ был занят посередине, почти до главного внутреннего подъезда, длинным строением служб великой княгини, которой ранее принадлежал этот дворец. Слева и справа служб шли узкие, плохо мощенные проходы с лестницами и кладовыми, где, время от времени, выдавались на паек рыба, картофель, мясо, мармелад, сахар, капуста, соль и тому подобное кухонное снабжение. В кладовых двора выдавалось главным образом все то, что затрудняло выдачу других продуктов из центральной кладовой, находившейся в нижнем этаже бывшего дворца. Там каждому члену КУБУ, в раз навсегда определенный для него день недели и в известный час, вручался основной недельный паек: пор-

ции крупы, хлеба, чая, масла и сахара. Эта любопытная, сильная и деятельная организация еще ждет своего историка, а потому мы не будем скупно изображать то, чему надлежит некогда развернуться полной картиной.

Смысл этих замечаний моих тот, что на дворе было много народа преимущественно интеллигентного типа. Народ этот если не проходил по двору, то стоял в очередях у дверей нескольких кладовых, где приказчики рассекали топорами мясные кости или сваливали с весов в ведро кучу мокрых селедок. В одной лавке раздавали лещей, фунтов 10 на человека, и я приметил ржаво-жестяной хвост этой рыбы, торчавший из разорванного мешка, поставленного на маленькие салазки. Владелец поклажи, старик с обильно заросшим седым лицом и такими же длинными волосами, прихватив локтем веревку санок, хотел вручить понурой, немолодой женщине какую-то бумажку, но тщетно искал ее в пачке документов, вытащенных из бокового кармана пальто.

— Постой, Люси,— говорил он с начинающимся раздражением,— посмотрим еще. Гм... гм... розовая — банная карточка, белая — кооперативная, желтая — по основному пайку, коричневая — по семейному, это — талон на сахар, это — на недополученный хлеб, а тут что? — свидетельства домкомбеда, анкета вуза, старый просроченный талон на селедки, квитанция починки часов, талон на прачечную и талон... Матушки! — вскричал он, — я потерял вторую белую карточку, а сегодня последний день сахарного пайка!

Так воскликнув, воскликнув горько, потому что, уже в пятый раз листая свои бумажки, должен был признаться в потере, он поспешно затолкал весь том обратно в карман и прибавил:

— Если я не забыл ее на кухне, где чистил сапоги!.. Я успею! Я вернусь! Я побегу и буду через час, а ты подожди меня!

Они уговорились, где встретиться, и старик, намотав веревку на варешку, засеменил, таща санки, к воротам. От резкого движения лещ выпал из дыры в снег, и я, подняв его, закричал:

— Рыба! Рыба! Вы потеряли рыбу!

Но уже старик скрылся в воротах, а женщины не было. Тогда, по болезненному чувству находки съестного, без особой практической мысли и без жгучей ра-

дости, единственно потому, что лежала у ног пища, я подпихнул ложку и сушу его в карман. Затем я стал пересекать разные очереди, то и дело спотыкаясь о ползущие санки. Сквозь тесную толпу первого коридора я проник в канцелярию с целью павести справку о своем заявлении.

Секретарь с мрачным лицом, стол которого обступили дамы, дети, старики, художники, актеры, литераторы и ученые, каждый по своему тоскливому делу (была здесь и особая разновидность — пайковые авантюристы), взрыл наконец груды бумаг, где разыскал пометку против моей фамилии.

— Еще дело ваше не решено,—сказал он.— Очередное заседание комиссии состоится во вторник, а теперь пятница.

Несколько остыв от надежд, с какими пробирался к столу, я двинулся вверх, в буфет, где мог за последнюю свою тысячу выпить стакан чая с куском хлеба. Движение вокруг меня было так велико, что напоминало бал или банкет с той разницей, что все было в пальто и шапках, а за спиной тащили мешки. Двери хлопали по всему дому, вверх и вниз. Везде уже переходил слух об иностранной делегации, привезшей подарки; о том говорили на каждом повороте, в буфете и кулуарах.

— Вы слышали о делегации из Аргентины?

— Не из Аргентины, а из Испании.

— Из Испании, да.

— Ах, все равно, но скажите — что? что? жиры? А есть ли материя?

— Говорят, много всего и раздавать будут на следующей неделе.

— А что именно?

Некто авторитетный, громкий, с снисходящим взглянуть иногда вокруг сводом бровей, утверждал, что делегация прибыла с острова Кубы.

— А не из Саламанки?

— Нет, с Кубы, с Кубы,— говорили, проходя, всеведущие актрисы.

— Как, с Кубы?

Уже родился каламбур, и я слышал его дважды: «Кубу от Кубы». Две молодые девушки, сбегая по лестнице, как это делают девушки, то есть через ступеньку, остановили своих знакомых, крикнув:

— Шоколад! Да-с!

Оживились даже старухи и те сутуловатые, близорукые люди в очках, с лицами, лишенными заметной растительности, которые кажутся бесчувственными и которым всегда узко пальто. Во взглядах появился знак душевного равновесия. Голодные лица, с напряженной заботой о еде в усталых глазах, спешили повторить новость, а кое-кто направился уже в канцелярию с точностью разузнать обо всем.

Так прошло несколько времени, пока я толкался на мраморной лестнице, украшенной статуями, и пил в буфете чай, сидя за стеклянным столом под пальмой,— ранее в помещении этом был зимний сад. Не понимая, отчего хлеб пахнет рыбой, взглянул я на руку, заметил приставшую чешую и вспомнил леща, который торчал в кармане. Утолкав удобнее леща, чтобы не тер хвостом локтя, я поднял голову и увидел Афанасия Терпугова, давно знакомого мне повара из ресторана «Мадрид». Это был сухой, пришибленный человек с рыскающим взглядом и некоторой манерностью в выражении лица; тонкие, плотно сжатые его губы были выбриты, а смотрел он поверх очков.

На нем были длинное, как труба, пальто и тесная мерлушковая шапка. Человек этот, шутя, дергал за хвост моего леща.

— С припасцем! — сказал Терпугов. — А я думал сначала сечка, боялся порезаться, хе-хе-хе!

— А, здравствуйте, Терпугов, — ответил я. — Вы что здесь делаете?

— Да вот один знакомый хлопотал для меня место в лавке или на кухне. Так я зашел ему сказать, что отказываюсь.

— Куда же вы поступили?

— Как куда? — сказал Терпугов. — Впрочем, вы этого дела еще не знаете. Одно вам скажу, — приходите завтра в «Мадрид». Я снял ресторан и открываю его. Кухня — мое почтение! Ну, да вы знаете, вы мои растегаи, подвыпивши, на память с собой брали, помните? И говорили: «К стенке приколочу, в рамку вставляю». Хе-хе! Бывало! Вот еще польские колдуны с маслом... Ну, ну, я ведь вас дразнить не хочу. Далее — оркестр, первейший сорт, какой мог только найти. Ценой

не обижу, а уж так и быть, для открытия, сыграем вам испанские танцы.

— Однако, Терпугов,— сказал я, поперхнувшись от изумления,— вы соображаете, что говорите?! Что, вам одному, противу всех правил, разрешат такое дело, как «Мадрид»? Это в двадцать-то первом году?

Здесь произошло со мной нечто, подобное всем известному моменту раздвоения зрения, когда все видишь вдвойне. Что-то мешало смотреть, ясно видеть перед собой. Терпугов отдалился, потом стал виден еще далее, и, хотя стоял он рядом со мной, против окна, я видел его на фоне окна, как бы вдали, нюхающего табак с задумчивым видом. Он говорил, словно и не обращаясь ко мне, а в сторону:

— Там как вы хотите, а приходите. Ко всему тому отдайте-ка мне леща, а я вымочу, вычищу — да обрабатую под кашу и хрен со сметаной, уж будете вы довольны! Я думаю, что у вас и дров нет.

Продолжая дивиться, я протер глаза и снова овладел зрением.

— Хотя говорите вы чепуху,— сказал я с досадой,— леща, однако. возьмите, потому что мне не изготовить его самому. Берите! — повторил я, вручая рыбу.

Терпугов внимательно осмотрел ее, потрепал хвост и даже заглянул в рот.

— Рыба хороша, жирна,— сказал он, пряча леща за пазуху.— Будьте покойны. Терпугов знает свое дело,— все косточки удалю. Пока до свидания! Так не забудьте, завтра в «Мадриде» в восемь часов открытие!

Он тронул шапочку, шаркнул ногой, серьезно посмотрел на меня и исчез за стеклянной дверью.

— Бедняга рехнулся! — сказал я, выходя на лестницу к резным дверям Розового Зала. Я отогрелся, голод так не мучил меня, и я, вспомнив Терпугова, улыбнулся, думая: «Лещ попал к Терпугову. Какая странная у леща судьба!»

## VII

Массивная двойная дверь зала была полуотворена. Едва я подошел к ней, как несколько лиц высшей администрации, с портфелями и без оных, ворвались мимо меня в дверь один за другим, заглядывая через головы передних,— так все они торопились увидеть нечто, без

сомнения, связанное с испанцами. Я помнил разговор в воротах, а потому заглянул сам и увидел, что большой зал полон народом. Пожав плечами, в знак равенства, степенно вошел и я и, так как было довольно тесно, стал несколько в стороне, наблюдая происходящее.

Обычно занят был этот зал канцелярской работой, но теперь столы были сдвинуты к стенам, а машины куда-то исчезли. Один большой стол, накрытый синим сукном, стоял ближе к дальней, от двери, стене, меж зеркальных окон с видом на занесенную снегом реку. По правому концу стола восседал президиум КУБУ, а по левому — тот рыжий человек в берете и плаще с горностаевым отложным воротником, которого видел я у ворот. Он сидел прямо, слегка откинувшись на твердую спинку стула, и обводил взглядом собрание. Его правая рука лежала прямо перед ним на столе, сверх бумаг, а левой он небрежно шевелил шейную золотую цепь, украшенную жемчугом. Его три спутника стояли сзади него, выказывая лицами и позой терпение и внимание. Перед столом возвышалась баррикада тюков, зашитых в кожу и холст, и я подивился, что администрация разрешила внести сюда столько товаров.

Смотря крайне внимательно, я в то же время слышал, что говорят и шепчут с разных сторон. Публика была обыкновенная, пайковая публика: врачи, инженеры, адвокаты, профессора, журналисты и множество женщин. Как я узнал скоро, набились они все сюда постепенно, но быстро, привлеченные оригиналами — делегатами.

Основное качество «слуха» есть тончайшая эманация факта, всегда истинная по природе своей, какую бы уродливую форму ни придумал ей наш аппарат восприятия и распространения, то есть ум и его лукавый слуга — язык. Поэтому я слушал не безразлично. Дыша мне в затылок, сказал кто-то соседу:

— Этот испанский профессор — странный человек. Говорят, большой оригинал и с ужаснейшими причудами: ездит по городу на носилках, как в средние века!

— Да профессор ли он? А знаете, что я слышал? Говорят, что эта личность не та, за кого себя выдает!

— Вот те на!

— А что прикажете думать?!

Стоявшая впереди меня, протискалась назад, к разговаривающим, подслушивая их, старуха, и приняла немедленно участие в обсуждении дела.

— Что же это такое и как же понять? — прошамкала она лягушачьим ртом; серые жадные ее глаза таинственно просветлели. Она понизила голос:

— А мне, мне, слушайте-ка меня, слышите? Будто, говорят, проверили полномочия, а печать-то не та, нет...

Я понял, что общественный нюх работает. Но не было времени прислушиваться к другим шепотам потому, что комиссия потребовала удаления посторонних.

Испанец, встав, кратко повел рукой.

— Мы просим, — сказал он сильным и звучным голосом, — разрешить остаться здесь всем, так как мы рады быть в обществе тех, кому привезли скромные наши подарки.

Переводчик (это был литератор, выпустивший в печать несколько томов испанской словесности) оказался не совсем сведущим в языке. Он перевел: «мы должны быть», неверно, на что, протискавшись вперед, я тотчас же указал.

— Сеньор кабалерро знает испанский язык? — обратился ко мне приезжий с обольстительной змеиной улыбкой и стал вдруг глядеть так пристально, что я смутился. Его черно-зеленые глаза с острым стальным зрачком направились на меня взглядом, напоминающим хладнокровно засученную руку, погрузив которую в мешок до самого дна неумолимо нащупывает там человек искомый предмет.

— Знаете испанский язык? — повторил иностранец. — Хотите быть переводчиком?

— Сеньор, — возразил я, — я знаю испанский язык, как русский, хотя никогда не был в Испании. Я знаю, кроме того, английский, французский и голландский языки; но ведь переводчик уже есть?!

Произошел общий перекрестный разговор между мной, испанцем, переводчиком и членами комиссии, причем выяснилось, что переводчик сознает несовершенное знание им языка, а потому охотно уступает мне свою роль. Испанец ни разу не взглянул на него. Повидимому, он захотел, чтоб переводил я. Комиссия, устав от переполоха, тоже не возражала. Тогда, обратясь ко мне, испанец назвал себя:



— Профессор Мигуэль-Анна-Мария-Педре-Эстебан-Алонзе-Бам-Гран,— на что ответил я так, как следовало, то есть:

— Александр Каур (мое имя),— после чего заседание вновь приняло официальный характер.

Пока что я переводил обычный обмен приветствий, выражаемых, поочередно, комиссией и испанцем, составленных в духе того времени и не заслуживающих подробной передачи теперь. Затем Бам-Гран прочел список даров, присланных учеными острова Кубы. Перечень этот вызвал общее удовольствие. Два вагона сахара, пять тысяч килограммов кофе и шоколада, двенадцать тысяч — маиса, пятьдесят бочек оливкового масла, двадцать — апельсинового варенья, десять — хереса и сто ящиков манильских сигар. Все было уже взвешено и погружено в кладовые. Но те тюки, что лежали перед столом, заключали в себе, о чем Бам-Гран сказал только, что, с разрешения пайковой комиссии, он «будет иметь честь немедленно показать собранию все, что есть в тюках».

Как только перевел я эти слова, в зале прошел гул одобрения: предстояло зрелище, вернее, дальнейшее развитие зрелища, во что уже обратилось присутствие делегации. Всем, а также и мне, стало отменно весело. Мы были свидетелями щедрого и живописного жеста, совершаемого картинно, как на рисунках, изображающих прибытие путешественников в далекие страны.

Испанцы переглянулись и стали тихо говорить между собой. Один из них, протянув руку к тюкам, вдруг улыбнулся и добродушно посмотрел на толпу.

— Все взрослые — дети,— сказал ему Бам-Гран довольно отчетливо, так что я расслышал эти слова; затем, поняв по моему лицу, что я расслышал, он наклонился ко мне и, заглядывая в глаза лезвием своих блестящих зрачков, шепнул:

«На севере диком, над морем,  
Стоит одиноко сосна.  
И дремлет,  
И снегом сыпучим  
Засыпана, стонет она.

Ей снится: в равнине,  
В стране вечной весны,  
Зеленая пальма... Отныне  
Нет снов иных у сосны...»

Так мягко, так изысканно пошутил он, только пошутил, конечно, но мне как будто крепко пожали руку, и, с сильно забившимся сердцем, не обратив даже внимания, как смело и легко он придал в странном намеке своем особый смысл стихотворению Гейне,— смысл которого безграничен,— я нашелся лишь сказать:

— Правда? Что хотели вы выразить?

— Мы знаем кое-что,— сказал он обычным своим тоном.— Итак, приступите, кабалерро!

Едва настроение это, этот момент, подобный неожиданному звону струны, замер среди возни, поднявшейся вокруг тюков, как я был снова погружен в свое дело, внимательно слушая отрывистые слова Бам-Грана. Он говорил о поспешности своего отъезда, извиняясь, что привез меньше, чем могло быть. Тем временем руки испанцев, с уверенностью кошачьих лап, взвились из-под плащей, сверкнув узкими ножами; повернув тюки, они рассекли веревки, затем быстро вспороли кожу и холст. Наступила тишина. Зрители толпились вокруг, ожидая, что будет. Было только слышно, как за дверью соседней комнаты телеграфически трещит пишущая машинка под угрюмой, ко всему равнодушной рукой.

К этому времени зал набился так плотно клиентами и служащими КУБУ, что видеть действие могли только стоящие впереди. Уже испанцы вынули из тюка коробку с темными, короткими свечками.

— Вот! — сказал Бам-Гран, беря одну свечку и ловко зажигая ее.— Это ароматические курительные свечи для освежения воздуха!

Сухой, бледной рукой поднял он огонек, и по накуренному скверным табаком залу прошло тонкое благоухание, напоминающее душистое тепло сада. Многие засмеялись, но тень недоумения легла на некоторых ученых физиономиях. Не расслышав моего перевода, эти люди сказали:

— А, свечи, хорошо! Наверное, есть и мыло!

Однако в большинстве лиц скользнуло разочарование.

— Если все подарки таковы...— сказал седой человек с красным носом багровому от переполняющей его мрачности молодому человеку, скрестившему на груди руки,— то что же это такое?

Молодой человек презрительно сощурил глаза и сказал:

— Н-да...

Меж тем работа шла быстро. Еще три тюка распались под движениями острых ножей. Появились куски замечательного цветного шелка, узорная кисея, белые нанамские шляпы, сукно и фланель, чулки, перчатки, кружева и много других материй, видя цвет и блеск которых я мог только догадаться, что они лучшего качества. Разрезая тюк, испанцы брали кусок или образец, разворачивали его и опускали к ногам. Шелестя, одна за другой лились из смуглых их рук ткани, и скоро образовалась гора, как в магазине, когда приказчики выбрасывают на прилавок все новые и новые образцы. Наконец материи окончились. Лопнули, упав, веревки нового тюка, и я увидел морские раковины, рассыпавшиеся с сухим стуком; за ними посыпались красные и белые кораллы.

Я отступил, так были хороши эти цветы дна морского среди складок шелка и полотна,— они хранили блеск подводного луча, проникающего в зеленую воду. Как стало смеркаться, зал был освещен электричеством, что еще больше заставило блестеть груды подарков.

— Это — очень редкие раковины,— сказал Бам-Гран,— и нам будет очень приятно, если вы возьмете их на память о нашем посещении и об океане, который там, далеко!..

Он обратился к помощникам, жестом торопя их:

— Живей, кабалерро! Не задерживайте впечатления! Сеньор Каур, передайте собранию, что пятьдесят гитар и столько же мандолин доставлено нами; вот мы сейчас покажем вам образцы.

Теперь шесть самых больших и длинных тюков встали перед нами на возвышение; развернув их, испанцы обнажили пальмовое дерево тонких, крепких ящиков и осторожно взломали их. Там, упакованные шерстяной едой, лежали новые инструменты. Вынимая гитары, одну за другой, бережно, как спящих детей, испанцы вытирали их шелковыми платками, ставя затем к столу или опуская на кучи цветных материй. Но скоро класть стало некуда, как одну на другую, и пришлось попросить зрителей расступиться. Грифы, а также деки гитар

цвета темной сигары были украшены перламутровой инкрустацией, местами — золотой тонкой резьбой.

Пока с ними возились, стоял смутный звон; иногда толчок гитары о дерево возвышал это беспорядочное звенение в нежный аккорд.

Скоро появились и мандолины, также украшенные перламутром и золотом. Мандолины, распространяя острый, металлический звон, вызываемый, непроизвольно, движениями людей, трогавших их, заняли весь стол и все пространство под ним. Работа эта была кончена сравнительно нескоро, так что я имел время всмотреться в лица членов комиссии и уразуметь их чрезвычайно напряженное состояние.

В самом деле, происходящее начало принимать характер драматической сцены с сильным декоративным моментом. Канцелярия, каравай хлеба, гитары, херес, телефоны, апельсины, пишущие машины, шелка и ароматы, валенки и бархатные плащи, постное масло и кораллы образовали наглядным путем странно дегустированную смесь, попирающую серый тон учреждения звоном струн и звуками иностранного языка, напоминающего о жаркой стране. Делегация вошла в КУБУ, как гребень в волосы, образовав пусть недолгий, но яркий и непривычный эксцентр, в то время как центры административный и продовольственный невольно уступали пришельцу первенство и характер жеста. Теперь хозяевами положения были эти церемонные смуглые оригиналы, и гостеприимство не позволяло даже самого умеренного намека на желательность прекращения сцены, ставшей апофеозом непосредственности, раскинувшей пестрый свой лагерь в канцелярии «общественного снабжения». Вопреки обычаю, деловой день остановился. Служащие собрались отовсюду — из лавок, присутственных мест, агентур, кладовых, топливного отдела, из бани, парикмахерской, прачечной, из буфета и дежурных комнат, из библиотеки и санитарии, и если пришли не все, то без тех, кто не пришел, не могла двинуться ни одна бумага. Пайщики, пришедшие за пайком, отложили получение продуктов своих, не желая предпочесть то, что видели каждый день, редкому инциденту. Несколько скоро поспевающих, все и везде пронюхивающих шмыгальцев уже побежали в отделы хлопотать о выдаче им шоколада и хереса, чтобы, получив, таким образом, талоны, избежать грядущих очередей.

Хотя я проницал настроение членов комиссии, но должен был также принять в соображение, что теперь только один тюк — самый длинный, тщательнее всех нных заштукованный, остался нетронутым. Шел четвертый час дня, так что более получаса депутация в этом зале пробыть не могла. Зал, естественно, должен был затем быть заперт для учета и уборки разбросанного товара, а испанцы — перейти в комнату заседаний для делового окончания своего посещения КУБУ. По всему этому я уверился, что неприятностей не случится.

Испанцы ухватились за длинный тюк и поставили его вертикально. Ножи оттянули веревки тупым углом, и они, надрезанные, лопнули, упав вокруг тюка змеей. Тюк был зашит в несколько слоев полотна. Развертывая его, набросали кучу белых полос. Тогда, расцвечиваясь и золотясь, вышел из саженого кокона огромный свиток шелка, шириной футов пятнадцать и длиной почти во весь зал. Трепля и распушивая его, испанцы разошлись среди расступившейся толпы в противоположные углы помещения, причем один из них, согнувшись, раскатывал сверток, а два других на вытягивающихся все выше руках донесли конец к стене и там, вскочив на стулья, прикрепили его гвоздями под потолок. Таким образом, наклонно спускаясь из отдаления, лег на весь беспорядок товарных груд замечательно искусный узор, вышитый по золотистому шелку карминными перьями фламинго и перьями белой цапли — драгоценными перьями Южной Америки. Жемчуг, серебряные и золотые блестящие, розовый и темно-зеленый стеклярус в соединении с другим материалом являли дику и яркую красоту, овеянную нежностью композиции, основной мотив которой, быть может, был заимствован от рисунка кружев.

Шумя, ахая, множа шум шумом и в шуме становясь шумливыми еще больше, зрители смешались с комиссией, подступив к сверкающему изделию. Возник беспорядок удовольствия — истинный порядок естества нашего. И покрывало заколыхалось в десятках рук, трогавших его с разных сторон. Я выдержал атаку энтузиастов, требующих немедленно запросить Бам-Грана, кто и где смастерил такую редкую роскошь.

Смотря на меня, Бам-Гран медленно и внушительно произнес:

— Вот работа девушек острова Кубы. Ее сделали двенадцать самых прекрасных девушек города. Полгода вышивали они этот узор. Вы правы, смотря на него с заслуженным восхищением. Прочтите имена рукодельниц!

Он поднял край шелка, чтобы все могли видеть небольшой веночек, вышитый латинскими литерами, и я перевел вышитое: «Лаура, Мерседес, Нина, Пепита, Конхита, Паула, Винсента, Кармен, Инеса, Долорес, Анна и Клара».

— Вот что они просили передать вам,— громко продолжал я, беря поданный мне испанским профессором лист бумаги: «Далекие сестры! Мы, двенадцать девушек-испанок, обнимаем вас издали и крепко прижимаем к своему сердцу! Нами вышито покрывало, которое пусть будет повешено вами на своей холодной стене. Вы на него смотрите, вспоминая нашу страну. Пусть будут у вас заботливые женихи, верные мужья и дорогие друзья, среди которых — все мы! Еще мы желаем вам счастья, счастья и счастья! Вот все. Простите нас, неученых, диких испанских девушек, растущих на берегах Кубы!»

Я кончил переводить, и некоторое время стояла полная тишина. Такая тишина бывает, когда внутри нас ищет выхода не переводимая ни на какие языки речь. Молча течет она...

«Далекие сестры...» Была в этих словах грациозная чистота смуглых девичьих пальцев, прокалывающих иглой шелк ради неизвестных им северянок, чтобы в снежной стране усталые глаза улыбнулись фантастической и пылкой вышивке. Двенадцать пар черных глаз склонились издали над Розовым Залом. Юг, смеясь, кивнул Северу. Он дотянулся своей жаркой рукой до отороженных пальцев. Эта рука, пахнувшая розой и ванильным стручком,— легкая рука нервного, как коза, создания, носящего двенадцать имен, внесла в повесть о картофеле и холодных квартирах наивный рисунок, подобный тому, что делает на полях своих книг Сетон Томпсон: арабеск из лепестков и лучей.

## IX

На острие этого впечатления послышался у дверей шум,— настойчивые слова неизвестного человека, желавшего выбраться к середине зала.

— Позвольте пройти! — говорил человек этот сум-  
рачно и многозначительно.

Я еще не видел его. Он восклицал громко, повышая  
свой режущий ухо голос, если его задерживали:

— Я говорю вам, — пропустите! Гражданин! Вы  
разве не слышите? Гражданка, позвольте пройти! Вто-  
рой раз говорю вам, а вы делаете вид, что к вам не  
относится. Позвольте пройти! Позво... — но уже зрители  
расступились поспешно, как привыкли они расступаться  
перед всяким сердитым увальнем, имеющим высокое  
о себе мнение.

Тогда в двух шагах от меня просунулся локоть, от-  
талкивающий последнего, заслоняющего дорогу, профес-  
сора, и на самый край драгоценного покрывала ступил  
человек неопределенного возраста, с толстыми губами  
и вздернутой щеткой рыжих усов. Был он мал ростом  
и как бы надут — очень прямо держал он короткий свой  
стан; одет был в полушубок, валенки и котелок. Он стал,  
выпятив грудь, откинув голову, расставив руки и ноги.  
Очки его отважно блестели; под локтем торчал порт-  
фель.

Казалось, в лице этого человека вошло то невыра-  
зимое бабье начало, какому, обыкновенно, сопутствует  
истерика. Его нос напоминал треновый туз, выраженный  
тремя измерениями, дутые щеки стягивались к ноздрям,  
взгляд блестел таинственно и высокомерно.

— Так вот, — сказал он тем же тоном, каким горя-  
чился, протискиваясь, — вы должны знать, кто я. Я —  
статистик Ершов! Я все слышал и видел! Это какое-то  
обалдение! Чушь, чепуха, возмутительное явление! Это-  
го быть не может! Я не... верю, не верю ничему!  
Ничего этого нет, и ничего не было! Это фантомы, фан-  
томы! — прокричал он. — Мы одержимы галлюци-  
нацией или угорели от жаркой железной печки! Нет  
этих испанцев! Нет покрывала! Нет плащей и горно-  
стаев! Нет ничего, никаких фиглей-миглей! Вижу, но  
отрицаю! Слышу, но отвергаю! Опомнитесь! Ущипните  
себя, граждане! Я сам ущипнулся! Все равно, можете меня  
выгнать, проклинать, бить, задарить или повесить, — я  
говорю: ничего нет! Не реально! Не достоверно! Дым!

Члены комиссии повскакали и выбежали из-за стола.  
Испанцы переглянулись. Бам-Гран тоже встал. Закри-  
нув голову, высоко подняв брови и подбоченясь, он

грозно улыбнулся, и улыбка эта была замысловата, как ребус. Статистик Ершов дышал тяжело, словно в беспмятстве, и вызывающе прямо глядел всем в глаза.

— В чем дело? Что с ним? Кто это?! — слышались восклицания.

Бегун, секретарь КУБУ, положил руку на плечо Ершова.

— Вы с ума сошли! — сказал он. — Опомнитесь и объясните, что значит ваш крик?!

— Он значит, что я более не могу! — закричал ему в лицо статистик, покрываясь красными пятнами. — Я в истерике, я вопию и скандалю, потому что дошел! Вскипел! Покрывало! На кой мне черт покрывало, да и существует ли оно в действительности?! Я говорю: это психоз, видение, черт побери, а не испанцы! Я, я — испанец, в таком случае!

Я переводил, как мог, быстро и точно, став ближе к Бам-Грану.

— Да, этот человек — не дитя, — насмешливо сказал Бам-Гран. Он заговорил медленно, чтобы я успевал переводить, с несколько злой улыбкой, обнажившей его белые зубы. — Я спрашиваю кабалерро Ершова, что имеет он против меня?

— Что я имею? — вскричал Ершов. — А вот что: я прихожу домой в шесть часов вечера. Я ломаю шкаф, чтобы немного согреть свою конуру. Я пеку в буржуйке картошку, мою посуду и стираю белье! Прислуги у меня нет. Жена умерла. Дети заиндевели от грязи. Они ревут. Масла мало, мяса нет, — вой! А вы мне говорите, что я должен получить раковину из океана и глазеть на испанские вышивки! Я в океан ваш плюю! Я из розы папироску сверну! Я вашим шелком законопачу оконные рамы! Я гитару продам, сапоги куплю! Я вас, заморские птицы, на вертел насажу и, не ошпав, испеку! Я... эх! Вас нет, так как я не позволю! Скройся, видение, и, аминь, рассыпся!

Он разошелся, загремел, стал топтать ногами. Еще с минуту длилось оцепенение, и затем, вздохнув, Бам-Гран выпрямился, тихо качая головой.

— Безумный! — сказал он. — Безумный! Так будет тебе то, чем взорвано твое сердце: дрова и картофель, масло и мясо, белье и жена, но более — ничего! Дело сделано. Оскорбление нанесено, и мы ух-



дим, уходим, кабалерро Ершов, в страну, где вы не будете никогда! Вы же, сеньор Каур, в любой день, как пожелаете, явитесь ко мне, и я заплачу вам за ваш труд переводчика всем, что вы пожелаете! Спросите цыган, и вам каждый из них скажет, как найти Бам-Грана, которому нет причин больше скрывать себя. Прощай, ученый мир, и да здравствует голубое море!

Так сказав, причем едва ли успел я произнести десять слов перевода,— он нагнулся и взял гитару; его спутники сделали то же самое. Тихо и высокомерно смеясь, они отошли к стене, став рядом, отставив ногу и подняв лица. Их руки коснулись струн... Похолодев, услышал я быстрые, глухие аккорды, резкий удар так хорошо знакомой мелодии: зазвенело «Фанданго». Грянули, как поцелуй в сердце, крепкие струны, и в этот набегающий темп вошло сухое щелканье кастаньет. Вдруг электричество погасло. Сильный толчок в плечо заставил меня потерять равновесие. Я упал, вскрикнув от резкой боли в виске, и среди гула, криков, беснования тьмы, сверкающей громом гитар, лишился сознания.

## Х

Я очнулся тяжело, как прикованный. Я лежал на спине. С потолка светила под зеленым абажуром электрическая лампа.

В голове, около правого виска, стояло неприятное онемение. Когда я повернул голову, онемение перешло в тупую боль.

Я стал осматриваться. Узкая, вся белая комната с покрытым белой клеенкой полом была, по-видимому, амбулаторией. Стоял здесь узкий стеклянный шкаф с инструментами и лекарствами, два табурета и белый пустой стол.

Я не был раздет, заключив поэтому, что ничего опасного не произошло. Моя фуражка лежала на табурете. В комнате никого не было. Ощупав голову, я нашел, что она забинтована, следовательно, я рассек кожу об угол стола или о другой твердый предмет. Я снял повязку. За ухом горел сильный, постреливающий ушиб.

На круглых стенных часах стрелки указывали пол часа пятого. Итак, я провел в этой комнате минут десят, пятнадцать.

Меня положили, перевязали, затем оставили одного. Вероятно, это была случайность, и я не сетовал на нее, так как мог немедленно удалиться. Я торопился. Припомнив все, я испытал томительное острое беспокойство и неудержимый порыв к движению. Но я был еще слаб, в чем убедился, привстав и застегивая пальто. Однако медицина и помощь неразделимы. Ключи висели в скажине стеклянного шкафа, и, быстро разыскав спирт, я налил полную большую мензурку, выпив ее с облегчением и великим удовольствием, так как в те времена водка была редкостью.

Я скрыл следы самоуправства, затем вышел по узкому коридору, достиг пустого буфета и спустился по лестнице. Проходя мимо двери Розовой Залы, я потянул ее, но дверь была заперта.

Я постоял, прислушался. Служащие уже покинули учреждение. Ни одна душа не попалась мне, пока я шел к выходной двери; лишь в вестибюле сторож подметал сор. Я поостерегся спросить его об испанцах, так как не знал в точности, чем закончилось дело, но сторож дал сам повод для разговора.

— Которые выходят в дверь, — сказал он, — это правильно. Не как духи или нечистая сила!

— В дверь или в окно, — ответил я, — какая разница?!

— В окно... — сказал сторож, задумавшись. — В окно, скажу вам, особь статья, если оно открыто. А испанцы после скандала вышли поперек стены. Так, говорят, прямо на Неву, и в том месте, слышь, где опустились, будто лед лопнул. Побежали смотреть.

— Как же это понять? — сказал я, надеясь что-нибудь разузнать дальше.

— Там разберут! — Сторож поплевал на ладони и стал мести. — Чудасия!

Покинув его одолевать непонятное, я вышел во двор. Сторож у ворот, в огромной шубе, не торопясь, поднялся со скамейки с ключами в руке и, всматриваясь в меня, пошел открывать калитку.

— Чего смотришь? — крикнул я, видя, что он назойливо следит за мной.

— Такая моя должность, — заявил он, — смотрю, как приказано не выпускать подозрительных. Слышали ведь?!

— Да,— сказал я, и калитка с треском захлопнулась.

Я остановился, соображая, как и где разыскать цыган. Я хотел видеть Бам-Грана. Это было страстное и безысходное чувство, понятие о котором могут получить игроки, тщетно разыскивающие шляпу, спрятанную женой.

О моя голова! Ей была задана работа в неподходящих условиях улицы, мороза и пустоты, пересекаемой огнями автомобилей. Озадаченный, я должен был бы сесть у камина в глубокое и покойное кресло, способствующее течению мыслей. Я должен был отдаться тихим шагам наития и, прихлебывая столетнее вино вишневого цвета, слушать медленный бой часов, рассматривая золотые угли. Пока я шел, образовался осадок, в котором нельзя уже было откинуть возникающие вопросы. Кто был человек в бархатном плаще, с золотой цепью? Почему он сказал мне стихотворение, вложив в тон своего шепота особый смысл? Наконец, «Фанданго», разыгранное ученой депутацией в разгаре скандала, внезапная тьма и исчезновение, и я, кем-то перенесенный на койку амбулатории,— какое объяснение могло утолить жажду рассудка, в то время как свехрассудочное беспечно поглощало обильную алмазную влагу, не давая себе труда внушить мыслительному аппарату хотя бы слабое представление об удовольствии, которое оно испытывает беззаконно и абсолютно,— удовольствие той самой бессвязности и необъяснимости, какие составляют горшную муку каждого Ершова, и, как в каждом сидит Ершов, хотя бы и цыкнутый, я был в этом смысле настроен весьма пытливо.

Я остановился, стараясь определить, где нахожусь теперь, после полубеспамятного устремления вперед и без мысли о направлении. По некоторым домам я сообразил, что иду недалеко от вокзала. Я запустил руку в карман, чтобы закурить, и коснулся неведомого твердого предмета, вытащив который разглядел при свете одного из немногих озаренных окон желтый кожаный мешочек, очень туго завязанный. Он весил не менее как два фунта, и лишь горячностью своей я объясняю то обстоятельство, что не заметил ранее этой оттягивающей карман тяжести. Нажав его, я прощупал сквозь кожу ребра монет. «Теряясь в догадках...» — говорили

ранее при таких случаях. Не помню, терялся ли я в догадках тогда. Я думаю, что мое настроение было как нельзя более склонно ожидать необъяснимых вещей, и я поспешил развязать мешочек, думая больше о его содержимом, чем о причинах его появления. Однако было опасно располагаться на улице, как у себя дома. Я присмотрел в стороне развалины и направился к их снежным проломам по холму из сугробов и щебня. Внутри этого хаоса вело в разные стороны множество грязных следов. Здесь валялись тряпки, замерзшие нечистоты; просветы чередовались с простенками и рухнувшими балками. Свет луны сплетал ямы и тени в один мрачный узор. Забравшись поглубже, я сел на кирпичи и, развязав желтый мешок, вытряхнул на ладонь часть монет, тотчас признав в них золотые пиастры. Сосчитав и пересчитав, я определил все количество в двести штук, ни больше, ни меньше, и, несколько ослабев, задумался.

Монеты лежали у меня между колен, на поле пальто, и я шевелил их, прислушиваясь к отчетливому прозрачному стуку металла, который звенит только в воображении или когда две монеты лежат на концах пальцев и вы соприкасаете их краями. Итак, в моем беспамятстве меня отыскала чья-то доброжелательная рука, вложив в карман этот небольшой капитал. Еще я не был в состоянии производить мысленные покупки. Я просто смотрел на деньги, пользуясь, может быть, бессознательно наставлением одного замечательного человека, который учил меня искусству смотреть. По его мнению, постичь душу предмета можно лишь, когда взгляд лишен нетерпения и усилия, когда он, спокойно соединясь с вещью, постепенно проникается сложностью и характером, скрытыми в кажущейся простоте общего.

Я так углубился в свое занятие, — смотреть и перебирать золотые монеты, — что очень не скоро начал чувствовать помеху, присутствие посторонней силы, тонкой и точной, как если бы с одной стороны происходило легчайшее давление ветра. Я поднял голову, соображая, что бы это могло быть и не следит ли за моей спиной бродяга или бандит, невольно передавая мне свое алчное напряжение? Слева направо я медленным взглядом обвел развалины и не открыл ничего подозрительного, но хотя было тихо, а хрупко застоявшаяся тишина была бы резко нарушена малейшим скрипом снега или шо-

рохом щепня,— я не осмеливался обернуться так долго, что наконец возмущился против себя. Я обернулся в друг. Стук крови отдался в сердце и голове. Я вскочил, рассыпав монеты, но уже был готов защищать их и схватил камень...

Шагах в десяти, среди смешанной и неверной тени, стоял длинный, худой человек, без шапки, с худым улыбающимся лицом. Он нагнул голову и, опустив руки, молча рассматривал меня. Его зубы блестели. Взгляд был направлен поверх моей головы с таким видом, когда придумывают, что сказать в затруднительном положении. Из-за его затылка шла вверх черная прямая черта, конец ее был скрыт от меня верхним краем амбразуры, через которую я смотрел. Обратный толчок крови, вновь хлынувшей к сердцу, возобновил дыхание, и я, шагнув ближе, рассмотрел труп. Было трудно решить, что это — самоубийство или убийство. Умерший был одет в черную сатиновую рубашку, довольно хорошее пальто, новые штиблеты, неподалеку валялась кожаная фуражка. Ему было лет тридцать. Ноги не достигли земли на фут, а веревка была обвязана вокруг потолочной балки. То, что он не был раздет, а также некая обстоятельность в прикреплении веревки к балке и — особенно — мелкие бесхарактерные черты лица, обведенного по провалам щек русой бородкой, склоняло определить самоубийство.

Прежде всего я подобрал деньги, утрамбовал их в мешочек и спрятал во внутренний карман пиджака; затем задал несколько вопросов пустоте и молчанию, окружавшим меня в глухом углу города. Кто был этот безрадостный и беспечальный свидетель моего счета с необъяснимым? Укололся ли он о шип, пытаясь сорвать розу? Или это — отчаявшийся дезертир? Кто знает, что иногда приводит человека в развалины с веревкой в кармане?! Быть может, передо мной висел неудачный администратор, отступник, разочарованный, торговец, потерявший четыре вагона сахара, или изобретатель «перпетуум-мобиле», случайно взглянувший в зеркало на свое лицо, когда проверял механизм?! Или хищник, которого родственники усердно трясли за бороду, приговаривая: «Вот тебе, коршун, награда за жизнь воровскую твою!» — а он не снес и уничтожил себя?

И это и все другое могло быть, но мне было уже нестерпимо сидеть здесь, и я, миновав всего лишь один квартал, увидел как раз то, что разыскивал,— уединенную чайную.

На подвальном этаже старого и мрачного дома желтела вывеска, часть тротуара была освещена снизу заплывшими сыростью окнами. Я спустился по крутым и узким ступеням, войдя в относительно тепло просторного помещения. Посреди комнаты жарко трещала кирпичная печь с железной трубой, уходящей под потолок в полутемные недра, а свет шел от потускневших электрических ламп; они горели в сыром воздухе тускло и красновато. У печки дремала, зевая и почесывая под мышкой, простоволосая женщина в валенках, а буфетчик, сидя за стойкой, читал затрепанную книгу. На кухне бросали дрова. Почти никого не было, лишь во втором помещении, где столы были без скатертей, сидело в углу человек пять плохо одетых людей дорожного вида; у ног их и под столом лежали мешки. Эти люди ели и разговаривали, держа лица в пару блюдечек с горячим цикорием. Буфетчик был молодой парень нового типа, с солдатским художавым лицом и толковым взглядом. Он посмотрел на меня, лизнул палец, переворачивая страницу, а другой рукой вырвал из зеленой книжки чайный талон и загремел в жестяном ящике с конфетами, сразу выкинув мне талон и конфету.

— Садитесь, подадут,— сказал он, вновь увлекаясь чтением.

Тем временем женщина, вздохнув и собрав за ухо волосы, пошла в кухню за кипятком.

— Что вы читаете? — спросил я буфетчика, так как увидел на странице слова: «принцессу мою светлую...»

— Хе-хе! — сказал он. — Так себс, театральная пьеса. «Принцесса Греза». Сочинение Ростанова. Хотите посмотреть?

— Нет, не хочу. Я читал. Вы довольны?

— Да,— сказал он нерешительно, как будто конфузясь своего впечатления,— так, фантазия... О любви. Садитесь,— прибавил он,— сейчас подадут.

Но я не отходил от стойки, заговорил теперь о другом.

— Ходят ли к вам цыгане? — спросил я.

— Цыгане? — переспросил буфетчик. Ему был, видимо, странен резкий переход к обычному от необычной для него книги.— Ходят.— Он механически обратил взгляд на мою руку, и я угадал следующие его слова:

— Это погадать, что ли? Или зачем?

— Хочу сделать рисунок для журнала.

— Понимаю, иллюстрацию. Так вы, гражданин,— художник? Очень приятно!

Но я все же мешал ему, и он, улыбнувшись, как мог широко, прибавил:

— Ходят их тут две шайки, одна почему-то еще не была этот день, должно быть, скоро придет... Вам подано! — и он указал пальцем стол за печкой, где женщина расставляла посуду.

Один золотой был зажат у меня в руке, и я освободил его скрытую мощь.

— Гражданин,— сказал я таинственно, как требовали обстоятельства,— я хочу несколько оживиться, поесть и выпить. Возьмите этот кружок, из которого не сделаешь даже пуговицы, так как в нем нет отверстий, и возместите мой ничтожный убыток бутылкой настоящего спирта. К нему что-либо мясное или же рыбное. Приличное количество хлеба, соленых огурцов, ветчины или холодного мяса с уксусом и горчицей.

Буфетчик оставил книгу, встал, потянулся и разобрал меня на составные части острым, как пила, взглядом.

— Хм...— сказал он.— Чего захотели!.. А что, это какая монета?

— Эта монета испанская, золотой пиастр,— объяснил я.— Ее привез мой дед (здесь я солгал ровно наполовину, так как дед мой, по матери, жил и умер в Толедо), но вы знаете, теперь не такое время, чтобы дорожить этими безделушками.

— Вот это правильно,— согласился буфетчик.— Обождите, я схожу в одно место.

Он ушел и вернулся через две-три минуты с проясненным лицом.

— Пожалуйста сюда,— объявил буфетчик, заводя меня за перегородку, отделяющую буфет от первого помещения,— вот сидите здесь, сейчас все будет.

Пока я рассматривал клетушку, в которую он меня привел — узкую комнату с желто-розовыми обоями, та-

буретами и столом со скатертью в жирных пятнах,— буфетчик явился, прикрыв ногой дверь, с подносом из лакированного железа, украшенным посередине букетом фантастических цветов. На подносе стоял большой трактирный чайник, синий с золотыми разводами, и такие же чашка с блюдцем. Особо появилась тарелка с хлебом, огурцами, солью и большим куском мяса, обложенным картофелем. Как я догадался, в чайнике был спирт. Я налил и выпил.

— Сдачи не будет,— сказал буфетчик,— и, пожалуйста, чтоб тихо и благородно.

— Тихо, благородно,— подтвердил я, наливая вторую порцию.

В это время, проскрипев, хлопнула наружная дверь, и низкий, гортанный голос странно прозвучал среди подвальной тишины русской чайной. Стукнули каблук, отряхивая снег; несколько человек заговорили сразу громко, быстро и непонятно.

— Явилось, фараоново племя,— сказал буфетчик,— хотите, посмотрите, какие они, может, и не годятся!

Я вышел. Посреди залы, оглядываясь, куда присесть или с чего начать, стояла та компания цыган из пяти человек, которых я видел утром. Заметив, что я пристально рассматриваю их, молодая цыганка быстро пошла ко мне, смотря беззастенчиво и прямо, как кошка, почуявшая рыбный запах.

— Дай погадаю,— сказала она низким, твердым голосом,— счастье тебе будет, что хочешь, скажу, мысли узнаешь, хорошо жить будешь!

Насколько раньше я быстро прекращал этот банальный речитатив, выставив левой рукой так называемую «джеттатуру» — условный знак, изображающий рога улитки двумя пальцами, указательным и мизинцем,— настолько же теперь, поспешно и охотно, ответил:

— Гадать? Ты хочешь гадать? — сказал я. — Но сколько тебе нужно заплатить за это?

В то время как цыгане-мужчины, сверкая чернейшими глазами, уселись вокруг стола в ожидании чая, к нам подошел буфетчик и старуха-цыганка.

— Заплатить,— сказала старуха,— заплатить, гражданин, можешь, сколько твое сердце захочет. Мало дашь — хорошо, много дашь — спасибо скажу!



— Что же, погадай,— сказал я,— впрочем, я вперед сам погадаю тебе. Иди сюда!

Я взял молодую цыганку за — о боги! — маленькую, но такую грязную руку, что с нее можно было снять копию, приложив к чистой бумаге, и потащил в свою конуру. Она шла охотно, смеясь и говоря что-то по-цыгански старухе, видимо, чувствующей поживу. Войдя, они быстро огляделись, и я усадил их.

— Дай корочку хлеба,— тотчас заговорила моя смуглая пифия и, не дожидаясь ответа, ловко схватила кусок хлеба, оторвав тут же половину огурца; затем принялась есть с характерным и естественным бесстыдством дикой степной природы. Она жевала, а старуха равномерно твердила:

— Положи на ручку, тебе счастье будет!—и, вытащив колоду черных от грязи карт, обслюнила большой палец.

Буфетчик заглянул в дверь, но, увидев карты, махнул рукой и исчез.

— Цыганки! — сказал я.— Гадать вы будете после меня. Первый гадаю я.

Я взял руку молодой цыганки и стал притворно всматриваться в линии смуглой ладони.

— Вот что скажу тебе: ты увидела меня, но не знаешь, что тебе придется сделать в самое ближайшее время.

— Ну, скажи, будешь цыган! — захохотала она.

Я продолжал:

— Ты скажешь мне...— и тихо прибавил,— как найти человека, которого зовут Бам-Гран.

Я не ожидал, что это имя подействует с такой силой. Вдруг изменились лица цыганок. Старуха, сдернув платок, накрыла лицо, по которому судорогой рванулся страх, и, согнувшись, хотела, казалось, провалиться сквозь землю. Молодая цыганка сильно выдернула из моей руки свою и приложила ее к щеке, смотря прямо и дико. Лицо ее побелело. Она вскрикнула, вскочив, оттолкнула стул, затем, быстро шепнув старухе, поспешно увела ее, оглядываясь, как будто я мог погнаться. Видя, что я улыбаюсь, она опомнилась и, уже на пороге, кивнув мне, тяжело и порывисто дыша, сказала изменившимся голосом:

— Молчи! Все окажу, ожидай здесь; тебя не знаем, толковать будем!

Не знаю, струсил ли я, когда таким внезапным и резким образом подтвердилась сила странного имени, но мысли мои «захолонуло», как будто в ночи над ухом, чутким к молчанию, прозвучала труба. Нервно пожимаясь, выпил я еще чашку специи, основательно закусив мясом, но рассеянно, не чувствуя голода сквозь туман чувств, кипящих беззвучно. Тревожась от неизвестности, я повернул голову к перегородке, слушая загадочный тембр цыганского разговора. Они совещались долго, споря, иногда крича или понижая голос до едва слышного шепота. Это продолжалось немалое время, и я успел несколько поостыть, как вошли трое, обе цыганки и старик-цыган, кинувший мне еще через порог двусмысленный, резкий взгляд. Уже никто не садился. Говорили все стоя, с волнением, вогнавшим их в пот; его капли блестели на лбу старика и висках цыганок и, вздохнув, вытерли они его концом бахромчатого платка. Лишь старик, не обращая на них внимания, рассматривал меня в упор, молча, словно хотел изучить сразу, наспех, что скажет мое лицо.

— Зачем такое слово имеешь? — произнес он. — Что знаешь? Расскажи, брат, не бойся, свои люди. Расскажешь, мы сами скажем; не расскажешь, верить не можем!

Допуская, что это входит почему-либо в план обращения со мной, я, как мог толково и просто, рассказал об истории с испанским профессором, упустив многое, но назвав место и перечислив аксессуары. При каждом странном упоминании цыгане взглядывали друг на друга, говоря несколько слов и кивая, причем, увлекшись, на меня тогда не обращали внимания, но, кончив говорить между собой, все разом вцепились в мое лицо тревожными взглядами.

— Все верно говоришь, — сказала мне старуха, — истинную правду сказал. Слушай меня, что я тебе говорю. Мы, цыгане, его знаем, только идти не можем. Сам ступай, а как — скоро скажу. По картам тебе будет и что надо делать, — увидишь. Говорить по-русски плохо умею; не все сказать можно; дочка моя тебе объяснять будет!

Она вытащила карты и, потасовав их, пристально заглянула мне в глаза; затем положила четыре ряда карт, один на другой, снова смешала и дала мне снять

левой рукой. После этого вытащила она семь карт, расположив их неправильно, и повела пальцем, толкуя по-цыгански молодой женщине.

Та, кашлянув, с чрезвычайно серьезным лицом нагнулась к столу, слушая, что твердит ей старуха.

— Вот,— сказала она, подняв палец и, видимо, затрудняясь в выборе выражений,— одно место, где был сегодня, туда снова иди, оттуда к нему пойдешь. Какое место, не знаю, только там твое сердце тронут. Сердце разгорелось твое,— повторила она,— что там увидел, тебе знать. Деньги обещал, снова прийти хотел. Как придешь, один будь, никого не пускай. Верно говорю? Сам знаешь, что верно. Теперь думай, что от меня слышал, чего видел.

Естественно, я мог только признать в этих указаниях Брока с его картиной солнечной комнаты и, соглашаясь, кивнул.

— Это правда,— сказал я,— сегодня случилось то, что ты рассказываешь. Теперь говори дальше.

— Туда придешь...— она выслушала старуху и стала размышлять вытерев нос рукой.— Не просто можно прийти. Кого увидишь, ни с кем не говори, пока дело сделаешь. Что увидишь, ничего не пугайся, что услышишь, молчи, будто и нет тебя. Войдешь,— огонь потуши, и какое тебе средство дадим, разверни и в сторону положи, а двери запри, чтобы никто не вошел. Что делается, что будет, сам поймешь и дорогу найдешь. Теперь денег дай, на карты положи, дай бедной цыганке, не жалея, брат, тебе счастье будет.

Старуха тоже начала попрошайничать.

— Сколько же тебе дать? — сказал я, не от колебания, а чтобы испытать эту силу привычки, не изменяющую им ни в каких случаях.

— Мало дашь — хорошо, много дашь — спасибо скажу! — повторили цыганки с напряжением и настойчивостью.

Запустив руку в карман, я взял в горсть восемь или десять пиастров, сколько захватил сразу.

— Ну, держи,— сказал я красавице.

Взглянув подобострастно и жадно, схватила она монеты. Одна упала, и ее проворно поймал старик; старуха рванулась с места, суя мне согбенную горсть.

— Положи, положи на ручку, не жалея бедной цы-

ганке! — завопила она, пересыпая русские слова восклицаниями на цыганском языке. Все трое дрожали, то рассматривая монеты, то снова протягивая ко мне руки.

— Больше не дам, — сказал я, однако прибавил к даянию своему еще пять штук. — Замолчите или я скажу Бам-Грану!

Казалось, это слово имеет универсальное действие. Азарт смолк; лишь старуха вздохнула тяжело, как будто у нее умер ребенок. Поспешно спрятав монеты в тайниках своих шалей, молодая цыганка протянула старику руку ладонью вверх, чего-то требуя. Он начал спорить, но старуха прикрикнула, и, медленно расстегнув жилет, старик вытащил небольшой острый конус из белого металла, по которому, когда он блеснул при свете, мелькнула внутренняя зеленая черта. Тотчас цыган завернул конус в синий платок и подал мне.

— Не раскрывай на воздухе, — сказал цыган, — раскрой, как придешь, положи на стол, будешь уходить, снова заверни, а с собой не бери. Все равно у меня будет, место себе найдет. Ну, будь здоров, брат, чего не так сказали, — не сердись.

Он отступил к двери, делая цыганкам знак выйти.

— Скажи мне еще, кто такой Бам-Гран? — спросил я, но он только махнул рукой.

— У него спроси, — сказала старуха, — больше мы ничего не скажем.

Цыгане вышли, говоря друг с другом тихо, взволнованно и опасливо. Их поразил я. Я видел, что их изумление огромно, ошеломленность и поспешность угождать смешаны со страхом, что в их жизни произошло событие. Я сам волновался так сильно, что спирт не действовал. Я вышел и столкнулся с буфетчиком, который неоднократно заглядывал уже в дверь, однако не мешал нам, и я был ему за это крайне признателен. Цыганки обыкновенно уводят выгодного клиента за дверь или в другой укромный уголок, где заставляют его смотреть в воду, а также повторять какое-нибудь нехитрое заклинание, поэтому буфетчик мог думать, что, отложив рисование, поддался я соблазну узнать будущее.

— Убежали, фараоново племя! — сказал он, смотря на меня с мрачным интересом. — Чай им подали, они не стали пить, погорланили и ушли. Испугались они вас или как?

Я поддержал эту догадку, сообщив, что цыгане очень суеверны и их трудно уговорить позволить нарисовать себя незнакомому человеку. На том мы расстались, и я вышел на улицу, выдвинутую из тьмы строем теней. Луны не было видно, но светлый туман одевал небо, сообщая перспективе сонную белизну, переходящую в мрак.

Я отошел подальше, остановился и вытащил из внутреннего кармана пальто синий платок. В нем прощупывался конус. Я должен был узнать, почему цыгане запрещают обнажать эту вещь прежде, чем приду на место, то есть к Броку, так как указание не поддавалось никакому другому толкованию. Говоря «должен», я подразумеваю долю скептицизма, которая еще осталась во мне вопреки странностям этого дня. К тому же разительная неожиданность, являющаяся, опрокинув сомнение, всегда слаще голой уверенности. Это я знал твердо. Но я не знал, что произойдет, иначе потерпел бы еще не один час.

Остановясь на углу, я развернул платок, и увидел, что сверкание зеленой черты в конусе имеет странную форму приближающегося издалека света — точно так, как если бы конус был отверстием, в которое я наблюдаю приближение фонаря. Черта скрывалась, оставляя светлое пятно, или выступала на самой поверхности, разгораясь так ярко, что я видел собственные пальцы, как при свете зеленого угля. Конус был довольно тяжел, высотой дюйма четыре и с основанием в разрез яблока, совершенно гладкий и правильный. Его цвет старого серебра с оливковой тенью был замечателен тем, что при усилении зеленоватого света казался темно-лиловым.

Увлеченный и очарованный, я смотрел на конус, замечая, что вокруг зеленоватого сияния образуется смутный рисунок, движение частей и теней, подобных черному бумажному пеплу, колеблемому в печи при свете углей. Внутри конуса наметилась глубина, мрак, в котором отчетливо двигался ручной фонарь с зеленым огнем. Казалось, он выходит из третьего измерения, приближаясь к поверхности. Его движения были прихотливы и магнетичны; он как бы разыскивал скрытый выход, светя сам себе вверху и внизу. Наконец фонарь стал решительно увеличиваться, устремляясь вперед, и, как это бывает на кинематографическом экране, его контур, выросши, пропал за пределами конуса; резко, пря-

мо мне в глаза сверкнул дивный зеленый луч. Фонарь исчез. Весь конус озарился сильнейшим блеском, и не прошло секунды, как ужасное, зеленое зарево, хлынув из моих пальцев, разлилось над крышами города, превратив ночь в ослепительный блеск стен, снега и воздуха — возник зеленоватый день, в свете которого не было ни одной тени.

Этот безмолвный удар длился одно мгновение, равное судорожному сжатию пальцев, которыми я скрыл поверхность изумительного предмета. И, однако, это мгновение было чревато событиями.

Еще дрожал в моих пораженных глазах всеразрывающий блеск, полный слепых пятен, но, как гигантская стена, рухнул наконец мрак, такой мрак, благодаря мгновенному переходу от пределов сияния к густой тьме, что я, потеряв равновесие, едва не упал. Я шатался, но устоял. Весь трясаясь, я завернул конус в платок с чувством человека, только что швырнувшего бомбу и успевшего повернуть за угол. Едва я совершил это немеющими руками, как в разных местах города поднялся шум тревоги. Надо думать, что все, кто был в этот час на улицах, вскрикнули, так как со всех сторон донеслось далекое «а-а-а», затем послышался отскакивающий звук выстрелов. Лай собак, ранее редкий, возвысился до остервенения, как будто все собаки, соединясь, гнали одинокого и редкого зверя, соскучившегося в тесных трущобах. Мимо меня пробежали испуганные прохожие, оглашая улицу неистовыми и жалкими воплями. Нервно вспотев, я кое-как шел вперед. Во тьме сверкнул красный огонь; грохот и звон выскочили из-за угла, и дорогу пересек пожарный обоз, мчась, видимо, наудачу, куда придется. От факелов летел с дымом и искрами волнующий блеск пожара, отражаясь в блестящих касках адским трепетом. Колокольцы дуг били резкий набат, повозки гремели, лошади мчались, и все проскакало, исчезнув, как стремительная атака.

Что произошло еще в этот вечер с перепуганным населением, — я не узнал, так как подходил к дому, где жил Брок. Я поднялся по лестнице с тяжким сердцебиением, лишь крайним напряжением воли заставляя слушаться ноги. Наконец я достиг площадки и отдышался. В полной темноте я нащупал дверь, постучал и вошел, но ничего не сказал открывшему. Это был один из

жилец, знавший меня ранее, когда я жил в этой квартире.

— Вам Брока? — сказал он. — Его, кажется, нет. Он был недавно и ждал вас.

Я молчал, боясь произнести хотя одно слово, так как уже не знал, что за этим последует. Разумная мысль пришла мне: приложив руку к щеке, я стал ворочать языком и мычать.

— Ах, эта зубная боль! — сказал жилец. — Я сам хожу с дурной пломбой и часто лезу на стенку. Может быть, вы будете его ждать?

Я кивнул, разрешив, таким образом, затруднение, которое, хотя было пустячным, могло пресечь все мои дальнейшие действия. Брок никогда не запирал комнату, потому что при множестве коммерческих дел интересовался оставляемыми на столе записками. Таким образом, ничто не мешало мне, но если бы я застал Брока дома, на этот случай был мной уже придуман хороший выход: дать ему, ни слова не говоря, золотую монету и показать знаками, что хорошо бы достать вина.

Схватясь за щеку, я вошел в комнату, благодаря впустившего меня кивком и кислой улыбкой, как надлежит человеку, помраченному болью, и тщательно прикрыл дверь. Когда в коридоре затихли шаги, я повернул ключ, чтобы мне никто не мешал. Осветив жилье Брока, я убедился, что картина солнечной комнаты стоит на полу, между двумя стульями, у простенка, за которым лежала ночная улица. Эта подробность имеет безусловное значение.

Подступив к картине, я всмотрелся в нее, стараясь понять связь этого предмета с посещением мною Бам-Грана. Как ни был силен толчок мыслям, произведенный ужасным опытом на улице, даже вдвое более раскаленный мозг не привел бы сколько-нибудь сносной догадки. Еще раз подивился я великой и легкой живости прекрасной картины. Она была полна летним воздухом, распространяющим изящную полуденную дремоту вещей, ее мелочи, недопустимые строгим мастерством, особенно бросались теперь в глаза. Так, на одном из подоконников лежала снятая женская перчатка, — не на виду, как поместил бы такую вещь искатель легких эффектов, но за деревом открытой оконной рамы; сквозь стекло я видел ее, снятую, маленькую, существующую

о с о б о, как существовал особо каждый предмет на этом диковинном полотне. Более того, следя взглядом возле окна с перчаткой, я заметил медный шарнир, каким укрепляются рамы на своем месте, и шляпки винтов шарнира, причем было заметно, что поперечное углубление шляпок замазано высохшей белой краской. Отчетливость всего изображения была не меньше, чем те цветные отражения зеркальных шаров, какие ставят в садах. Уже начал я размышлять об этой отчетливости и подозревать, не расстроено ли собственное мое зрение, но, спохватясь, извлек из платка конус и стал, оцепенев, всматриваться в его поверхность.

Зеленая черта едва блистала теперь, как бы подстергая момент снова ослепить меня изумрудным блеском, с силой и красотой которого я не сравню даже молнию. Черта разгорелась, и из тьмы конуса выбежал зеленый фонарь. Тогда, положась на судьбу, я утвердил конус посередине стола и сел в ожидании.

Прошло немного времени, как от конуса начал исходить свет, возрастая с силой и быстротой направляемого в лицо рефлектора. Я находился как бы внутри зеленого фонаря. Все, за исключением электрической лампы, казалось зеленым. В окнах до отдаленнейших крыш протянулись яркие зеленые коридоры. Это было озарением такой силы, что, казалось, развалится и сгорит дом. Странное дело! Вокруг электрической лампы начала сгушаться желтая масса, дымящаяся золотым паром; она, казалось, проникает в стекло, крутясь там, как кипящее масло. Уже не было видно проволоочной раскаленной петли, вся лампочка была подобна пылающей золотой груше. Вдруг она треснула звуком выстрела; осколки стекла разлетелись вокруг, причем один из них попал в мои волосы, и на пол пролились пламенные желтые сгустки, как будто сбросили со сковороды кипящие яичные желтки. Они мгновенно потухли, и один зеленый свет, едва дрогнув при этом, стал теперь вокруг меня как потоп.

Излишне говорить, что мои мысли и чувства лишь отдаленно напоминали обычное человеческое сознание. Любое, самое причудливое сравнение даст понятие лишь об усилиях моих сравнить, но ничего — по существу. Надо пережить самому такие минуты, чтобы иметь право говорить о никогда не испытанном. Но, может



быть, вы оцените мое напряженное, все отмечающее смятение, если я сообщу, что, задев случайно рукой о стул, я не почувствовал прикосновения так, как если бы был бестелесен. Следовательно, нервная система моя была поражена до физического бесчувствия. Поэтому здесь предел памяти о том, что было испытано мной душевно, с чем согласится всякий, участвовавший хотя бы в штыковом бою: о себе не помнят, действуя тем не менее точно так, как следует действовать в опасной борьбе.

То, что произошло затем, я приведу в моей последовательности, не ругаясь за достоверность.

— Откройте! — кричал голос из непонятного мира и как бы по телефону, издалека.

Но это лопнули в дверь. Я узнал голос Брока. Последовал стук кулаком. Я не двигался. Рассмотрев дверь, я не узнал этой части стены. Она поднялась выше, имея вид арки с запертыми железными воротами, сквозь верхний ажур которых я видел глубокий свод. Больше я не слышал ни стука, ни голоса. Теперь, куда я ни оглядывался, везде наметились разительные перемены. С потолка спускалась бронзовая массивная люстра. Часть стены, выходящей на улицу, была как бы уничтожена светом, и я видел в открывшемся пространстве перспективу высоких деревьев, за которыми сиял морской залив. Направо от меня возник мраморный балкон с цветами вокруг решетки; из-под него вышел матадор с обнаженной шпагой и бросился сквозь пол, вниз, за убегающим быком. Вокруг люстры сверкала живопись. Это смешение несоединимых явлений образовало подобие набросков, оставляемых ленью или задумчивостью на бумаге, где профили, пейзажи и арабески смешаны в условном порядке минутного настроения. То, что оставалось от комнаты, было едва видимо и с изменившимся существом. Так, например, часть картин, висевших на правой от входа стене, осыпалась изображениями фигур; из рам вывалились подобия кукол, предметов, образовав глубокую пустоту. Я запустил руку в картину Горшкова, имевшую внутри форму чайного цыбика, и убедился, что эти картины вставлены в деревянную основу с помощью столярного клея. Я без труда отломил их, разрушив по пути избу с огоньком в окне, оказавшимся просто красной бумагой. Снег был обыкновенной ватой, посыпанной нафталином, и на ней торчали две засох-

шие мухи, которых раньше я принимал за классическую «пару ворон». В самой глубине ящика валялась жестянка из-под ваксы и горсть ореховой скорлупы.

Я повернулся, не зная, что предстоит сделать, так как, согласно указаниям, мое положение было лишь выжидательным.

Вокруг сверкал движущийся световой хаос. Под роялем стояли дикий камень и лесной пенёк, обросший травой. Все колебалось, являлось, меняло форму. По каменистой тропе мимо меня пробежал осел, нагруженный мехами с вином; его погонщик бежал сзади, загорелый босой детина с повязкой на голове из красной бумажной материи. Против меня открылось внутрь комнаты окно с железной решеткой, и женская рука выплеснула с тарелки помои. В воздухе, под углом, горизонтально, вертикально, против меня и из-за моих плеч проходили, исчезая в пропастях зеленого блеска, неизвестные люди южного типа; все это было отчетливо, но прозрачно, как окрашенное стекло. Ни звука: движение и молчание. Среди этого зрелища едва заметной чертой лежал угол стола с блистающим конусом. Находя, что потрудился довольно, и опасаясь также за целостность рассудка, я бросил на конус свой карманный платок. Но не наступил мрак, как я ожидал, лишь пропал разлом зеленый блеск и окружающее восстало вновь в прежнем виде. Картина солнечной комнаты, приняв несравненно большие размеры, напоминала теперь открытую дверь. Из нее шел ясный дневной свет, в то время как окна броксвского жилища были по-ночному черны.

Я говорю: «Свет шел из нее», потому что он, действительно, шел с этой стороны, от открытых внутри картины высоких окон. Там был день, и этот день сообщал свое ясное озарение моей территории. Казалось, это и есть путь. Я взял монету и бросил ее в задний план того, что продолжал называть картиной; и я видел, как монета покатилась через весь пол к полустеклянной в конце помещения двери. Мне оставалось только поднять ее. Я перешагнул раму с чувством сопротивления встречных вихрей, бесшумно ошеломивших меня, когда я находился в плоскостях рамы: затем все стало, как по ту сторону дня. Я стоял на твердом полу и машинально взял с круглого лакированного стола несколько лепестков, ощутив их шелковистую влажность.

Здесь мной овладело изнеможение. Я сел на плюшевый стул, смотря в ту сторону, откуда пришел. Там была обыкновенная глухая стена, обтянутая обоями с лиловой полоской, и на ней, в черной узкой раме, висела небольшая картина, имевшая, бессознательно для меня, отношение к моим чувствам, так как, совладав с слабостью, естественной для всякого в моем положении, я поспешно встал и рассмотрел, что было изображено на картине. Я увидел изображение, сделанное превосходно: вид плохой, плохо обставленной комнаты, погруженной в едва прорезанные лучом топящейся печи сумерки, и это была железная печь в той комнате, из которой я перешел сюда.

Я принадлежу к числу людей, которых загадочное не поражает, не вызывает дикого оживления и расстроенных жестов, перемешанных с криками. Уже было довольно загадочного в этот зимний день с воткнутым в самое его горло льдистым ножом мороза, но ничто не было так красноречиво загадочно, как это явление скрытой без следа комнаты, отраженной изображением. Я кончил тем, что завязал в памяти узелок: спокойно я подошел к окну и твердой рукой отвел раму, чтобы разглядеть город. Каково было мое спокойствие, если теперь, только вспоминая о нем, я волнуюсь неимоверно, нетрудно представить. Но тогда это было спокойствие — состояние, в каком я мог двигаться и смотреть.

Как можно понять уже из прежних описаний моих, помещение, залитое резким золотым светом, было широкой галереей с большими окнами по одной стороне, обращенной к постройкам. Я дышал веселым воздухом юга. Было тепло, как в полдень в июне. Молчание прекратилось. Я слышал звуки, городской шум. За уступами крыш, разбросанных ниже этого дома, до судовых мачт и моря, блестящего чеканной синевой волн, стучали колеса, пели петухи, нестройно голосили прохожие.

Ниже галереи, выступая из-под нее, лежала терраса, окруженная садом, вершины которого зеленели наравне с окнами. Я был в подлинно живом, но неизвестном месте и в такое время года или под такой широтой, где в январе палит зной.

Стая голубей перелетела с крыши на крышу. Пальнула пушка, и медленный удар колокола возвестил двенадцать часов.

Тогда я все понял. Мое понимание не было ни расчетом, ни доказательством, и мозг в нем не участвовал. Оно явилось подобно горячему рукопожатию и потрясло меня не меньше, чем прежнее изумление. Это понимание охватывало такую сложную сущность, что могло быть ясным только одно мгновение, как чувство гармонии, предшествующее эпилептическому припадку. В то время я мог бы рассказать о своем состоянии лишь сбитые и косноязычные вещи. Но само по себе, внутри, понимание возникло без недочетов, в резких и ярких линиях, характером невиданного узора.

Затем оно стало уходить вниз, кивая и улыбаясь, как женщина, посылающая со скрывающих ее ступеней лестницы прощальный привет.

Я был снова в границе обычных чувств. Они вернулись из огненной сферы опаленные, но собранные твердо и точно. Мое состояние мало отличалось теперь от обычного состояния сдержанности при любом разительном эпизоде.

Я прошел в дверь и пересек сумерки помещения, которое не успел рассмотреть. Ступени, покрытые ковром, вели вниз. Я спустился в большую комнату с низким потолком, очень светлую, заставленную красивой мебелью, с диванами и цветами. Ее стены были обиты пестрым шелком. На полпути я был остановлен взглядом Бам-Грана, сидевшего на диване с тростью и шляпой в руке; он дразнил куском печенья фокстерьера, скакавшего с забавным лаем, в восторге и от неудач и от ожидания.

Бам-Гран был в костюме цвета морской воды. Его взгляд напоминал конец бича, мелькающий в воздухе.

— Я знал, что увижу вас, — сказал он, — и, хотя собрался гулять, предоставляю себя в ваше полное распоряжение. Если хотите, я назову город. Это — Зурбаган, Зурбаган в мае, в цвету апельсиновых деревьев, хороший Зурбаган шутников, подобных мне!

Говоря так, он расстался с печеньем и, встав, пожал мою руку.

— Вы смелы, дон Каур, — воскликнул он, — и это мне нравится, как все значительное. Что чувствуете вы, одолев тысячи миль?

— Жажду, — сказал я. — Воздушное давление изменилось, а волнение было велико!

— Я понимаю.

Он сжал мордочку фокса своими тонкими пальцами и, заглядывая с улыбкой в его восторженные глаза, приказал:

— Ступай, скажи Ремму, что у нас гость. Пусть даст вина и льду.

Собака, твякнув, унеслась прочь.

— Нет, нет,— сказал Бам-Гран, заметив мое невольное движение,— это лишь отличная дрессировка. Слово «Ремм» значит — бежать к Ремму, а Ремм знает сам, что сделать, завидев Пли-Пли. Между тем дорожите временем, сеньор Каур,— вы можете пробыть здесь только тридцать минут. Я не хотел бы, чтобы вы жалели об этом. Во всяком случае, мы успеем выпить по стакану вина. Ремм, как умирительна твоя быстрота!

Вошел слуга. Он был в белой пижаме, с бритой головой. Поставив на стол поднос с кувшином из цветного стекла, в котором было вино, графин с гранатовым соком и лед в серебряной вазе, обложенный соломинками, он отступил и посмотрел на Бам-Грана взглядом обожания.

— Лед весь вышел, сеньор!

— Возьми в Норвежском фиорде или у Сибирской реки!

— Я взял Ремма с Тристан д'Акунья,— сказал Бам-Гран, когда тот ушел,— я взял его из страшной тайны зеркального стекла, куда он засмотрелся в особую для себя минуту. Выпьем!

Он погрузил соломинку в смесь льда с вином и задумчиво пососал ее, но я, измученный жаждой, просто опрокинул бокал в рот.

— Итак,— сказал он,— «Фанданго»! Это прекрасная музыка, и мы сейчас услышим ее в исполнении барселонского оркестра Ван-Герда.

Я взглянул с изумлением, так как действительно думал в этот момент о гитарах, грянувших замечательный танец, когда скрывался Бам-Гран. И я мысленно напевал его.

— Барселона не Зурбаган,— сказал я,— а потому не знаю, каким радио вы дадите этот оркестр!

— О простота! — заметил Бам-Гран, вставая с несколько заносчивым видом.— Ван-Герд, сыграйте нам «Фанданго» в переложении Вальтера.

Густой бас вежливо и коротко ответил из пустоты:  
— Очень хорошо! Сейчас.

Я услышал кашель, шум, шорох нот, стук инструментов. Бам-Гран, закусив губу, прислушивался. Писк скрипичной струны оборвался при сухом стуке дирижерского жезла, и я посмотрел кругом, стараясь угадать шутку, но, вспомнив все, откинулся и стал ждать.

Тогда, как если бы оркестр был действительно здесь, хлынуло наконец полной мерой единственное «Фанданго», о котором я мог сказать, что слышал его при необычайном возбуждении чувств, и тем не менее оно еще подняло их до высоты, с которой едва заметна земля. Чрезвычайная чистота и пластичность этой музыки в соединении с совершенной оркестровкой заставила онеметь ноги. Я сам звучал, как зазвеневшее от грома стекло. С трудом понимал я, что говорит рядом Бам-Гран, и бессмысленно посмотрел на него, кружась в стремительных кругообразных наплывах блестящего ритма. «Все уносит,— сказал тот, кто вел меня в этот час, подобно твердой руке, врезающей алмазом в стекло прихотливую и чудесную линию,— уносит, разбрасывает и разрывает,— говорил он,— гонит ветер и внушает любовь. Бьет по крепчайшим скрепам. Держит на горячей руке сердце и целует его. Не зовет, но сзывает вокруг тебя вихри золотых дисков, вращая их среди безумных цветов. Да здравствует ослепительное «Фанданго»!»

Оркестр замедлил и отпустил глухую паузу последнего перехода. Она перевернулась в сотрясающем нервы взрыве последнего ликования. Музыка взяла обаятельный верх, перенеслась там из вышины в вышину и трогательно, гордо сошла вниз, сдерживая экспрессию. Наступила тишина поезда, остановившегося у станции; тишина, резко обрывающая мелодию, напеваемую под стук бегущих колес.

Я очнулся, как приведенный в негодность часовой механизм, если ему качнуть маятник.

— Вы видите,— сказал Бам-Гран,— что у Ван-Герда действительно лучший оркестр в мире, и он для нас постарался. Теперь выйдем, так как время уходит, и если вы пробудете здесь еще десять минут, то, может быть, пожалеете о гостеприимстве Бам-Грана!

Он встал, я тоже поднялся с дымом в голове, все еще полный быстрым, как полет, ритмом фантастическо-

го оркестра. Мы прошли в дверь с синим стеклом и очутились на площадке каменной лестницы довольно грязного вида.

— Теперь мне не следует оставаться здесь, — сказал Бам-Гран, отходя в тень, где стал рисунком обвалившейся на стене известки, рисунком, имеющим, правда, отдаленное сходство с его острой фигурой. — Прощайте!

Голос прозвучал не то со двора, не то из хлопнувшей внизу двери, и я был снова один...

Лестница шла вниз узким семиэтажным пролетом.

В открытое окно площадки сиял летний голубой воздух. Внизу лежал очень знакомый двор — двор дома, в котором я жил.

Я осмотрел три двери, выходящие на площадку. На одной из них, под № 7, была медная доска с фамилией моей квартирной хозяйки: «Марья Степановна Кузнецова».

Под этой доской висела моя визитная карточка, которую я прикрепил кнопками. Карточка была на своем месте, но сама она изменилась.

Я прочел: «Александр Каур» и «и», выведенное чернилами «и». Оно было между верхней и нижней строкой. Нижняя строка, соединенная в смысле своем с верхней строкой этим союзом, была тоже прописана чернилами. Она гласила: «и Елизавета Антоновна Каур». Так! Я был у двери, за которой в отдаленной небольшой комнате меня ждала жена Лиза. Я вспомнил это, получив как бы сильный удар в лоб. Но я не очнулся, ибо последовательность только что окончивших владеть мною событий ярко текла взад. Я упал в этот момент, как спрыгнул бы в темноте на живое, закричавшее существо. Я ожил исчезнувшей без следа жизнью, с ужасом изнемогающего рассудка. Силы оставили меня; между тем два вышедших из пустоты года рванулись в сознание, как вода в лопнувшую плотину. Я грянул по двери кулаками и продолжал стучать, пока быстрые шаги Лизы и звук ключа не подтвердили законность неистовства моего перед лицом собственной жизни.

Я вскочил внутрь и обнял жену.

— Это ты? — сказал я. — Это ты, это ты?

Я сжимал ее, повторяя:

— Ты, ты, ты?..

— Что с тобой? — сказала она, освобождаясь, с пораженным, бледным лицом. — Ты не в себе? Почему так скоро вернулся?

— Скоро?!

— Пойдем. — Она сказала это с решительностью внезапного и крайнего возбуждения, вызванного испугом.

В дверях показались лица любопытных жильцов. Обычное возвращало утраченную власть; я прошел в комнату и сел на кровать.

Я сидел, не двигаясь. Лиза взяла с моей головы фуражку и повертела ее в руках.

— Слушай, что произошло? — сказала она глухо, в разрастающемся испуге. — На голове присохли волосы. Тебе больно? Обо что ты ударился?

— Лиза, скажи мне. — заговорил я, взяв ее за руку, — и не пугайся вопросов: когда я вышел из дома?

Она побледнела, но тотчас подчинилась таинственной внутренней передаче моего состояния. Ее голос был неестественно звонок; не отрываясь, она смотрела в мои глаза. Слова были покорны и быстры.

— Ты вышел в почтовое отделение минут двадцать назад, может быть, полчаса.

— Я сказал что-нибудь, уходя?

— Я не помню. Ты слегка хлопнул дверью, и я слышала, как ты, уходя, насвистываешь «Фандагго».

Память сделала поворот, и я вспомнил, что пошел сдать заказное письмо.

— Какой теперь год?

— Двадцать третий год, — сказала она, заплакав, но не утирая слез и, вероятно, не замечая, что плачет.

Необычным было напряжение ее взгляда.

— Месяц?

— Май.

— Число?

— 23-е мая 1923 года. Я схожу в аптеку.

Она встала и быстро надела шляпу. Затем взяла со стола мелкие деньги. Я не мешал. Особенно взглянув на меня, жена вышла, и я услышал ее быстрые шаги к выходной двери.

Пока ее не было, я восстановил прошлое, не удивляясь ему, так как это было мое прошлое, и я отлично видел все его мельчайшие части, составившие эту мину-



ту. Однако мне предстояла задача уложить в прошлое некую параллель. Физическое существо параллели вы-  
ражалось желтым кожаным мешочком, который весил на  
моей руке те же два фунта, как и какое-то время то-  
му назад. Затем я осмотрел комнату с полной связью  
между отдельными моментами мелькнувших двух лет и  
историей каждого предмета, как она ввязывает свою пет-  
лю в кружево бытия. И я устал, потому что снова пере-  
жил прожитое, как бы небывшее.

— Саша! — Лиза стояла передо мной, протягивая  
пузырек. — Это капли, прими двадцать пять капель.  
Прими...

Но следовало, наконец, дать движение и выход все-  
му. Я посадил ее рядом с собой, сказав:

— Слушай и думай. Я вышел сегодня утром не из  
этой комнаты. Я вышел из той комнаты, в которой  
жил до встречи с тобой в январе 1921 года.

Сказав так, я взял желтый мешочек и высыпал на  
колени жены сверкающие пиастры.

Изобразить наш разговор и наше волнение после  
такого доказательства истины может только повторение  
этого разговора при тех же условиях. Мы сядились, вста-  
вали, сядились опять и перебивали друг друга, пока я не  
рассказал случившегося со мной с начала до конца. Же-  
нна несколько раз вскрикивала:

— Ты бредишь! Ты пугаешь меня! И ты хочешь,  
чтобы я поверила?

Тогда я указывал ей на золотые монеты.

— Да, правда, — говорила она, закруженная безвы-  
ходным положением рассудка так, что могла только ска-  
зать: — Фу! Если я ничего не пойму, я умру!

Наконец она стала спрашивать и переспрашивать в  
глубоком утомлении, почти механически, то смеясь, то  
падая головой на руки и обливаясь слезами. Я был спо-  
койнее. Мое спокойствие постепенно передалось ей. Уже  
стало темнеть, когда она подняла голову с расстроенным  
и значительным видом, озаренным улыбкой.

— Ну, я просто дура! — сказала она, прерывисто  
вздыхая и пачиная поправлять волосы, — признак конца  
душевной бури. — Очень понятно! Все перевернулось и  
в перевернутии оказалось на своем месте!

Я подивился женской способности определять поло-  
жение двумя словами и должен был согласиться, что

точность ее определения не оставляет желать ничего лучшего.

После этого она снова заплакала, и я спросил — почему?

— Но ведь тебя не было два года! — проговорила она с ужасом, сердито вертя пуговицу моего жилета.

— Ты сама знаешь, что я не был дома тридцать минут.

— А все-таки...

С этим я согласился, и, еще немного поговорив, Лиза, как сраженная, уснула крепчайшим сном. Я вышел быстро и тихо, — стремясь по следам жизни или видения? На это, ощупывая в жилетном кармане золотые кружки, я не мог и не могу дать положительного ответа.

Я достиг «Мадрида» почти бегом. В полупустом зале расхаживал Терпугов; увидев меня, он бросился ко мне, трясая мою руку с живостью хозяйственной и сердечной встречи.

— Вот и вы, — сказал он. — Присядьте, сейчас подадут. Ваня! Ихнего леща! Поди, спроси у Нефедина, готов ли?

Мы сели, стали говорить о разных вещах, и я сделал вид, что объяснять нечего. Все было просто, как в обыкновенный день. Официант принес кушанье, открыл бутылку мадеры. На тарелке шипел поджаренный лещ, и я убедился, что это та самая рыба, которую я дал Терпугову, так как запомнил сломанную поперек жабру.

— Итак, — сказал я, не утерпев, — вы сдержали. Терпугов, свое слово, которое дали мне два года назад!

Он хитро посмотрел на меня.

— Хе-хе! — сказал бывший повар. — О чем вспомнили! Мы с вами вчера встретились, и леща вы несли с рынка, а я был выпивши и пристал к вам, ну, скажу прямо, чтобы вас затащить!

Он был прав. Я вспомнил это теперь с досадной неуязвимостью факта. Но я был тоже прав, и о правоте свозей, склоняясь к уху Терпугова, шепнул:

«В равнине над морем зыбучим,  
Снегом и зносом полна,  
Во сне и в движении текучем  
Склоняется пальма-сосна».

— Хе-хе! — сказал он, наливая в стакан мадеру, — шутить изволите!

Был вечер. Моросил дождь.

# ЭЛДА И АНГОТЭЯ

## I

Готорн пришел за кулисы театра Бишома. Это произошло в конце репетиции. Она кончилась. Стоя в проходе среди ламп и блоков, Готорн вручил свою визитную карточку капельдинеру с тем, чтобы он понес ее Элде Сильван.

После того, входя в ее уборную, он снова был поражен ее сходством с фотографией Фергюсона.

Элда была в черном платье, устремляющем все внимание на лицо этой маленькой, способной актрисы, которая еще не выдвинулась, благодаря отсутствию влиятельного любовника.

Она была среднего роста, с нервным и неровным лицом. Ее черные волосы, черные большие глаза, которым длинные ресницы придавали выражение серьезно-лукавой нежности, чистота лба и линии шеи были очень красивы. Лишь всматриваясь, наблюдатель замечал твердую остроту зрачков, деловито и осторожно внимающих тому, что они видят.

Ее свободная поза,— она сидела, согнувшись, положив ногу на ногу,— и мужская манера резко выдыхать дым папиросы, освободили Готорна от стеснения, сопровождающего всякое щекотливое дело.

— Душечка,— сказал он,— вам, вероятно, приходилось встречать всяких чудаков, а потому я заранее становлюсь в их ряды. Я пришел предложить вам выступление, но только не на сцене, а в жизни.

— Это немного смело с вашей стороны,— ответила Элда с равнодушным радушием,— смело для первого знакомства, но я не прочь ближе познакомиться с вами. Единственное условие: не тащите меня за город. Я обожаю ресторан «Альфа».

— К сожалению, малютка, дело гораздо серьезнее,— ответил Говард.— Сейчас вы увидите, что выбор мой остановился на вас совершенно исключительным образом.

Актриса, изумясь и, в то же время, подчеркивая изумление игрой лица, как на сцене,— заявила, что готова слушать.

— Во время своих прогулок я познакомился с неким Фергюсом Фергюсоном: зашел в его дом напиться воды. Дом выстроен на Тэринкурских холмах. Фергюсон существует на пенсию, оставленную ему мужем сестры. Фергюсону — лет сорок пять; его прислуга ушла, тяготясь жить с больным. Он помешанный и, в настоящее время, умирает. Основным пунктом его помешательства является исчезновение жены, которой у него никогда не было; это подтверждено справками. Возможно, что, будучи нестерпимо одинок, он, выдумав жену, сам поверил в свою фантазию. Так или иначе, но фотография Анготэй, — так он называет жену, — изумительно похожа на вас, а вас я видел на сцене и в магазине Эстрема. Это необыкновенное сходство дало мне мысль помочь Фергюсону обрести потерянную жену. Откуда у него фотография — неизвестно. Я думаю, что он когда-то ее купил.

— Вот как! — сказала возмущенная Элда, — вы сватаете меня без спроса, да еще за безумного?!

— Имейте терпение, — перебил Готорн. — Фергюсон умирает, я уже вам сказал это. У меня мало времени, но я должен кончить мой рассказ. В день свадьбы Анготэй отправилась одна по тропе, на которой находится отверстие. Оно — в тонкой стене скалы, перегородившей тропу. Часть тропы, позади овала, так похожа на ту дорожку, которая подводит к нему, что в воображении Фергюсона овальное отверстие превратилось в таинственное зеркало. Он убежден, что Анготэй ушла в зеркало и заблудилась там. По расчету врача, ему осталось жить не более двенадцати часов. Мне хочется, чтобы он умер, не тоскуя. И увидел ее.

— Ну, ну!.. — сказала Элда, немного помолчав из приличия. — Забавно. Станный сентиментальный дурак. Извините, не нравятся мне такие типы. Но скажите, к чему вся эта история?

— Она вот к чему, — строго ответил Говард, — не согласитесь ли вы быть полчаса Анготэй? Потому что он призывает ее. Это человек прекрасной души, заслуживающий иной судьбы. В случае вашего согласия, назначайте сколько хотите.

При последних словах Готорна лицо Элды стало неподвижно, как бездыханное; зрачки хранили расчет.

— Что же я должна говорить? — быстро спросила она.

— Примерно я набросал,— Готорн подал листок бумаги.

Шевеля губами, Элда стала читать.

— Нет, все это изумительно,— сказала она, опуская бумагу.— У меня смятка в голове. Скажите: вы сами — не психиатр?

— Нет,— спокойно пожаловался Готорн.— Я — патолог.

— А! — протянула она с доверием.— Обождите: я попробую. Выйдите пока.

Готорн вышел и стал ходить около двери. Она скоро открылась, и Элда кивнула ему, приглашая войти.

— Я думаю, что мы это обстряпаем,— сказала актриса, усиленно куря и отгоняя рукой дым от глаз, холодно и ревниво изучавших Готорна.— Прежде всего — деньги. Сколько вы намерены заплатить?

— Десять тысяч,— сказал Готорн, чтобы ошеломить ее.

— Что-о-о?

— Я сказал: десять тысяч.

— Преклоняюсь,— сказала Элда, низко склоняясь в шутилом поклоне, который неприятно подействовал на Готорна, так как вышел подобострастным.— На меньшее я бы и не согласилась,— жалко и жадно добавила она, хотя думала лишь о десятой части этого гонорара.— Еще одно условие: если этот ваш Фергюсон выздоровеет,— я не обязана продолжать игру.

— Конечно,— согласился Готорн.— Итак — в автомобиль. Он здесь, собирайтесь, и едем.

## II

Окончательно сговорясь, они вышли, уселись в автомобиль и поехали к Тэринкурским холмам.

Во время этого путешествия, занявшего всего полтора часа, Элда почти молчала; ее ничто не интересовало за пределами, очеркнутыми Готорном, которые она находила вполне достаточными технически. Она смотрела перед собой, что-то упорно обдумывая. Вдруг, когда автомобиль выехал на дорогу, вившуюся над пропастью, с лесом внизу и с медленно слетающими ручьями, а Готорн хотел обратить ее внимание на резкую прелесть этой картины, она сказала:

— Я должна говорить только так, как у вас написано? Ваше не совсем подходит. Надо проще: хотя он и видел ее только в бреду, но тут, ведь, будет уже не совсем бред.

— Пожалуй,— сказал Готорн, для которого случай этот был и экспериментом, и делом сострадания.— Довольно вашего лица. Вашего сходства с несуществующей Анготэй.

— Нет, этого мало.

— Делайте, как хотите, лишь с сознанием великой ответственности,— и затем Готорн, указывая рукой, добавил: — Вот еще пропасть; видите там тени в тумане? Красивый хоровод пустоты.

— Да,— ответила рассеянно Элда.— Я хочу спросить: деньги будут уплачены немедленно?

— Без сомнения.

— Благодарю вас.

Она опять погрузилась в раздумье, и ее вывел из задумчивости Готорн, указавший Элде на тропу, выющуюся среди кустов.

— Мне кажется,— сказал он,— что вам следовало бы взглянуть на воображаемое «зеркало», на тот просвет в скале, в который, по утверждению Фергюсона, ушла Анготэй.

— Да, чтобы настроиться,— согласилась Элда.— Доброму вору все в пору. Это не далеко?

Успокоив ее, Готорн велел остановить автомобиль, и они пошли по тропе. Тропа шла над отсеченным обрывом, и вот — показалось то, очень правильной формы, высокое овальное отверстие в поперечном слое скалы, о котором он говорил. Действительно,— и позади, и впереди этого отверстия,— все было очень похоже; симметрия кустов и камней, света и теней,— там и здесь,— не касаясь, конечно, частностей, были повторные на удивление точно.

Рассмотрев отверстие, Элда переступила овал, прошла вперед шагов десять и бегом вернулась обратно.

— Это, собственно говоря, ничего не дает,— заявила она Готорну.— Так мы поедем теперь?

Ехать оставалось немного. Они вернулись в автомобиль и, обогнув большую скалу, остановились. Стоявший в лесу небольшой каменный дом был виден крышей и отвесом стены. Показав Элде тропинку, ведущую к

нзму, Готорн, условившись, что придет за ней через полчаса, удалился в сомнениях, что привез женщину, сущность которой могла сказаться невольно, обратив все это запутанное и рискованное милосердие в смешное и гяжелое замешательство.

Когда он ушел, Элда отправилась переодеваться в кусты, гоня назойливых мух и проклиная траву, коловшую подошвы ее босых ног. Но деньги—такие деньги!—воодушевляли ее. И тем не менее, в этой дурной и черствой душе уже шла, где-то, по каменистой тропе, легкая и милая Анготэя, и Элда, наспех, изучала ее.

### III

Не заходя в комнату Фергюсона, Готорн попросил сиделку позвать доктора, огромного, всклокоченного человека, а когда тот пришел, ввел его в отдаленное от больного помещение и стал расспрашивать.

— Он лежит очень спокойно,—сказал доктор,—молчит; иногда берет фотографию и рассматривает ее; силы оставляют его так быстро, как сохнет на солнце мокрое полотенце. Изредка забывается, а очнувшись, спрашивает, где вы.

— Я ее привез,—сказал Готорн.—Что же, можно ввести?

— Мое положение затруднительно,—ответил доктор, подходя с Готорном к окну и рассматривая вершины скал.—Я знаю, что он умрет не позже вечера. Однако, возможно ли рисковать на случай прозрения, наступающего, иногда, внезапно, при маниакальном безумии, в случае потрясения нервной системы. Я хочу сказать, что возможен результат, противный желаемому.

— Как же быть?

— Я не знаю.

— Я тоже не знаю,—сказал Готорн.

Наступило насупленное молчание. Готорн искал ответа в себе. Тени скал уверенно покрывали провалы. Он оставил доктора и пошел было к Фергюсону, но вернулся, говоря:

— Я не знал, но теперь знаю. Ко мне вернулась уверенность. Но, доктор, мы с вами к нему не выйдем. Мы будем в соседней комнате смотреть в дверь.

Выйдя через веранду, Готорн поспешил к тому месту, где его ждала Элда, и застал ее сидящей на камне.

Уверенность его возросла, когда он посмотрел на нее, готовую играть роль. Резкая прическа исчезла, сменяясь тяжелым узлом волос, открывавшим лоб. Лицо Элды, очищенное от грима и пудры, с побледневшими губами, выглядело обветренным и похудевшим. Босая, в рваной, короткой юбке, в распахнутой у шеи блузе, с висящим в сгибе локтя темным платком, она, внезапно, так ответила его тайному впечатлению о вымышленной женщине, что он сказал:

— Я доволен, Элда. Я вижу — вы угадали.

— Угадала? Бросьте, — ответила Элда, протирая зуббы раствором яблочного железа, чтобы уничтожить табачный запах. — Все-таки я шесть лет на сцене. Что же, пора идти?

— Да, пора. Ну, Элда, — Готорн крепко сжал ее руки, — смотрите. Вы должны понимать. Вы — женщина.

Она пожала плечами и отвела взгляд. Ей хотелось как можно скорее развязаться с этой мрачной историей и вернуться домой. Они молча достигли дома и, пройдя три заброшенные, неопрятные комнаты, остановились перед полуоткрытой дверью, в свете которой видна была кровать с исхудавшим, на подушках, лицом Фергюсона, обросшим полусседой бородой.

Готорн заметил доктора, который уже сидел, согнувшись на стуле, поставленном так, что из полутьмы закрытых ставен этого помещения была ясно видна картина раскрытой двери.

Элда глубоко вздохнула.

— Я боюсь, — прошептала она, но тотчас же, начиная неуволимо изменяться, стала так близко на свете дверей, что ее лицо осветилось. Ее нога три раза шевельнула пальцами, и она мысленно сосчитала — раз, два, три. — Затем, в слезах, ликуя и плача, Элда быстро пробежала к постели.

Доктор невольно встал, похолодев, как и Готорн, которого искусно сделанное Элдой преобразование освободило от напряжения и ожидания. Тяжесть свалилась с него. Он передал Фергюсона в опытные и ловкие руки.

— Наконец, я здесь! — услышал он с восхищением верные и живые звуки голоса Элды, полного страстного облегчения. — Как будто вечность прошла! Встречай



бродягу свою, друг мой. Ты меня не забыл? Если не забыл, то прости!

Фергюсон сел и, прислонившись затылком к стене, протянул руки. Он смотрел исступленно, как сталкиваемый в пустоту. Но вокруг влажных его зубов, обведенных исхудавшими губами, широкая и острая сверкала улыбка. Ни сказать, ни крикнуть он не мог, лишь задышался, все сильнее выгибая вперед грудь и закидывая лицо. Наконец, он мучительно закричал, и этот его крик — «Анготэя!» — был так ужасен, что доктор и Готорн бросились в комнату. Больной бился и хохотал, заливаясь слезами. Придерживая его руки, Готорн заметил, что Фергюсон никого не видит, кроме Элды; из всех своих последних сил он смотрел на нее.

— Анготэя, — прошептал он, — ты теперь не будешь ходить одна?

— Никогда, — сказала Элда. — Я была далеко, но всегда помнила о тебе. Я изголодалась и напугалась; ноги мои устали и изранены. О, как там было все немило и чуждо! Стены стояли кругом, внизу слышался рокот. Никак нельзя было выйти из скал. Но зеркало-то — разбито...

Готорн с удивлением слушал, как она легко и естественно перевирает его бумажный набросок.

— Разбейте его, — сказал Фергюсон, — прочь дрянное стекло!

— Я разбила его камнем, — подтвердила Элда. Она закрыла одеялом ноги Фергюсона, устала на подушку между стеной и затылком, потом встала на колени перед кроватью и взяла руку больного. Потеревшись лицом о его колено, она вытерла слезы. Другая рука Фергюсона, вырвавшись из руки доктора, протянулась и коснулась ее лба концами дрожащих пальцев.

— Дурочка... — сказал Фергюсон, потом закрыл глаза и стал умирать. Его голова тряслась вначале резко, потом все тише, и он медленно упал на подушку с уже умолкшим лицом, — лишь в его вздувшихся ребрах еще не прекращалась мелкая дрожь.

Доктор открыл веки Фергюсона и пощупал пульс.

— Агония, — сказал он очень тихо.

Элда поднялась с пола. Испуганно взглянув на умирающего, она потеряла занывшее колено и выбежала переодеться.

Когда она возвратилась, умерший был уже закрыт простыней. Доктор и Готорн сидели у стола в другой комнате и рассматривали его бумаги.

При входе Элды они встали, и Готорн поблагодарил ее, прибавив, что лишь характер случая мешает ему воздать должное ее таланту, который она употребила на, может быть,— странное, но истинно человеческое дело.

— А вы — как?! — спросила она доктора.

— Превосходно,— ответил доктор.— Но мне трудно говорить об этом теперь.

Элда подошла к Готорну, чертя на полу концом зонтика запутанную фигуру.

— Вот что,— сказала она с детским выражением больших прямых глаз.— Вы заплатите чеком или наличными? Согласитесь, что завтра банки закрыты.

— Наличными,— сказал Готорн, передавая ей приготовленный пакет с пятьюдесятью ассигнациями.

Вспыхнув от удовольствия, Элда понесла пакет на свободный угол стола. Там она присела считать. Доктор долго смотрел, как она считает ассигнации, затем нахмурился и закрыл глаза.

Досчитав, Элда шевельнула губами, с сомнением посмотрев на Готорна.

— Не хватает семидесяти пяти,— сказала она.— Я считала два раза. Сосчитайте сами, если не верите.

— Я верю и прошу извинить мою рассеянность,— сказал Готорн, добавляя нехватящую сумму.— Теперь идите к автомобилю. Я уже приказал отвезти вас обратно.

— Благодарю,— сказала она, счастливая, усталая и закруженная своей удачей.— Ну, всего хорошего... От меня немного цветов вашему чудаку. Но только две буквы «Э. и С.».

Проводив ее и посмотрев на ее затылок в круто завернувшем автомобиле, Готорн вернулся к доктору, который сказал:

— Она слаба в арифметике.

— Я сделал это нарочно, так как понял ее и знал, что она будет считать. Я сделал так затем, чтобы окончательно отделить Элду от Анготэи...

## ПРИМЕЧАНИЯ

**БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ.** Роман. Впервые отдельным изданием — М.-Л., Земля и фабрика, 1928. Отрывок из романа был опубликован ранее под заглавием «Покинутый в океане» (альманах «Писатели — Крыму», М., изд. Комитета содействия борьбе с последствиями землетрясения в Крыму (в 1927 г.), 1928.

*Левиафан Трансатлантической линии* — крупнейший корабль на линии между Европой и Америкой. *Левиафан* — мифический зверь — синоним гиганта.

*Мерлан* — рыба из семейства тресковых.

*Рибо*, Теодюль (1839—1916) — французский психолог.

*Бишер* (прав. Бишй) Мари Франсуа Ксавье (1771—1802) — знаменитый французский анатом, физиолог и врач.

*Стоячий такелаж* — общее название неподвижных снастей на судне.

*Лаз* — прибор для определения скорости хода судна.

*Акведук* — мост для перевода водопроводных труб, оросительных каналов и т. п. через глубокие овраги, ущелья, долины рек.

*Тали* — здесь: приспособление для спуска шлюпки на воду.

*Узел* — здесь мера скорости судна (миля в час).

*Петарда* — здесь: бумажный снаряд, заряженный порохом и дающий взрывы при фейерверках.

*Матинэ* (фр. *matinée*) — утренняя женская кофта.

*Ватто*, Жан Антуан (1684—1721) *Калло*, Жак (1594—1635), *Фрагонар*, Жан Оноре (1732—1806) — французские художники.

*Бердслэй* (Бердсли), Обри Винсент (1872—1898) — английский художник.

*Каравелла* — в средние века — трех- или четырехмачтовое судно со сложной системой парусов.

**ДЖЕССИ И МОРГИАНА.** Роман. Впервые отдельным изданием — Л., Прибой, 1929. Печатается по тексту этого издания, с небольшими поправками, возникшими при сверке с автографом (ЦГАЛИ).

*Сакраменто* (исп. *sacramento*) — здесь: клянусь.

*Строфант* — тропический кустарник, используется как лекарственное растение, из его семян получают строфантин, применяемый при сердечных заболеваниях.

*Рени, Гвидо* (1575—1642) — итальянский художник.

*Поликрат* (ум. ок. 523 или 522 до н. э.) — древнегреческий правитель на о. Самосе, проводивший политику в интересах торгово-ремесленных слоев демоса. Был убит по приказу Ахеменидов.

*Винт* — здесь: карточная игра.

*Баккара* — азартная карточная игра.

*Сорти де баль* (фр. *sortir de bal*) — бальное платье.

## ПО ЗАКОНУ

*Чужая вина*. Впервые — журнал «Экран рабочей газеты», 1926, № 39.

*Гатт, Внтт и Редотт*. Впервые — «Альманах для детей и юношества» (приложение к журналу «Красная нива»), М., 1924, вып 3.

*Штейгер* — горный мастер, ведающий рудными работами.

*Змея*. Впервые — журнал «Красная нива», 1926, № 42.

*Личный призм*. Впервые — журнал «Смена», 1926, № 20.

*Нянька Гленау*. Впервые — журнал «Смена», 1926, № 17.

*По закону*. Впервые — журнал «Огонек», 1924, № 2. Печатается по изд.: сб. По закону. — М.-Л., Молодая гвардия, 1927.

*Огненная вода*. Впервые — журнал «Стрекоза», 1917, № 18.

*Голос сирены*. Впервые — журнал «Всемирная иллюстрация», 1924, № 5/6. Печатается по изд.: сб. По закону. М.-Л., Молодая гвардия, 1927.

*Золото и шахтеры*. Впервые — журнал «Красная нива», 1925, № 35. Печатается по изд.: сб. По закону. М.-Л., Молодая гвардия, 1927.

*Бедуин* — представитель кочевых и полукочевых арабов Аравийского полуострова и Северной Африки.

## РАССКАЗЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ А. С. ГРИНОМ В СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ ИЗД-ВА «МЫСЛЬ»

*Клубный арап*. Впервые — журнал «Огонек», 1918, № 1.

*Макао* — здесь: азартная карточная игра.

*Вперед и назад* (Феерический рассказ). Впервые — газета «Честное слово», 1918, 1 августа.

Волшебное безобразие. Впервые — журнал «Пламя», 1919, № 52. Печатается по собранию сочинений изд. «Мысль», т. 8, Л., 1929.

Заколоченный дом. Впервые — журнал «Экран рабочей газеты», 1924, № 23 (35).

Бирхалле (нем. Bierhalle) — пивная.

Афронт (фр. affront) — здесь: резкий отпор.

Тристан и Изольда — средневековый роман о печальной любви юноши Тристана и королевы Изольды.

Фандаго. Впервые — альманах «Война золотом. Альманах приключений». М., 1927.

«Человек — это звучит гордо» — из монолога Сатина в пьесе М. Горького «На дне».

«Осенние скрипки» — вальс композитора В. А. Приговского.

«Пожалей ты меня, дорогая» — романс, слова и музыка Н. Р. Бакалейникова.

«Чего тебе надо? Ничего не надо» — слова из популярной в начале XX века песни «Девочка Надя».

Тамбурин — ударный инструмент, род бубна.

Кот Киплинга — герой сказки Р. Киплинга «Кошка, гулявшая сама по себе» (в ранних русских переводах — кот).

Дом ученых КУБУ — общественное и культурное учреждение, открытое по инициативе М. Горького в Петрограде в 1921 году при Центральной комиссии по улучшению быта ученых.

Ренье, Анри де (1864—1936) — французский поэт и романист.

«На севере диком...» — стихотворение Г. Гейне из цикла «Лирическое интермеццо» в переводе А. С. Грина. Заключительное четверостишие на с. 485 сочинено переводчиком.

Сетон-Томпсон, Эрнест (1860—1946) — канадский писатель, автор многих произведений о животных.

Арабеск — здесь: сложный орнамент.

«Вот тебе, кошун, награда...» — из стихотворения Н. А. Некрасова «Секрет».

«Принцесса Греза» — драма в стихах французского писателя Э. Ростана.

Пифия — в древней Греции — жрица-прорицательница в храме Аполлона.

Элда и Анготэя. Впервые — журнал «30 дней», 1928, № 8. Печатается по этому изданию.

Ю. Киркин

## СОДЕРЖАНИЕ

БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ. <i>Роман</i> . . . . .	3
ДЖЕССИ И МОРГИАНА. <i>Роман</i> . . . . .	189
ПО ЗАКОНУ	
Чужая вина . . . . .	347
Гатт, Витт и Редот. . . . .	357
Змея . . . . .	367
Личный прием . . . . .	371
Нянька Гленау . . . . .	377
По закону . . . . .	381
Огненная вода . . . . .	385
Голос сирены . . . . .	391
Золото и шахтеры . . . . .	396
РАССКАЗЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ А. С. ГРИНОМ В СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ ИЗДАТЕЛЬСТВА «МЫСЛЬ»	
Клубный арап . . . . .	403
Вперед и назад ( <i>Феерический рассказ</i> ) . . . . .	414
Волшебное безобразие . . . . .	422
Заколотенный дом . . . . .	426
Фанданго . . . . .	430
Элда и Анготэя . . . . .	485
Примечания . . . . .	495

А. С. ГРИН

Собрание сочинений  
в шести томах

Том V

Редактор тома

В. Л. Россельс

Оформление художника

А. И. Неровного

Технический редактор

А. И. Шагарина

---

Сдано в набор 18.04.80. Подписано к печати 12.08.80  
 Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Бумага типографская № 1. Гарнитура  
 «Академическая». Печать высокая. Усл. печ. л. 26,46.  
 Уч.-изд. л. 27,26. Тираж 600 000 экз. Изд. № 2000. Заказ № 2388.  
 Цена 2 р. 60 к.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции  
 типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.  
 125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

Индекс 70687





